



**Дружба
народов**

6/2018



Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJOURNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.04.2018.
Подписано в печать 27.05.2018.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 8751. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Валентин
КУРБАТОВ
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Захар
ПРИЛЕПИН
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
Александр
ЭБАНОИДЗЕ
ЭЛЬЧИН

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Олег ХЛЕБНИКОВ. Кроме менад своих. Стихи	3
Анатолий КИМ. Дом с протуберанцами. Повесть	7
Алексей ИВАНТЕР. Жаркие деньки. Стихи	58
Мария КУГЕЛЬ. Назови меня ещё как-нибудь. Повесть	61
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ	
Наталья БЕЛЬЧЕНКО. Стихи из Вентспилса	93
Василь ГЕРАСИМЬЮК; Марианна КИЯНОВСКАЯ. Стихи. С украинского	95
Анна КОЗЛОВА. Чёрная дыра. Сценарий для чтения	97
Андрей КОРОВИН. История лица. Стихи	119
Игорь КОРНИЕНКО. Рассказы	122
Арт-группа #белкаведах	
Анна МАРКИНА; Олег БАБИНОВ; Евгения Джен БАРАНОВА. Стихи	153
Сати ОВАКИМЯН. Концерт для верёвки. Рассказы. С армянского	158
Ричард СЕМАШКОВ. Рассказы	170
ПРОЗА.ДОС	
Илья ФАЛИКОВ. Борис Слуцкий: Майор и муза. Главы из книги	176

Дружба на вырост

Влада АХМАНОВА. Волчата. Рассказ	203
--	-----

Первые стихи

Вадим МУРАТХАНОВ. Стихи для себя	209
--	-----

Публицистика

Илья КОЧЕРГИН. Чувствительность к географии	211
---	-----

Моя малая Родина

Александр ГРИГОРЕНКО. Привязка к местности	231
--	-----

Нация и мир

Валерий САНДЛЕР. Под солнцем — Грузия моя	234
---	-----

Литературный барометр

Евгений АБДУЛЛАЕВ. «Ура! Мы побеждены!..»	249
---	-----

Презентация

Александр ЭБАНОИДЗЕ. «Годори» родился из античной трагедии	253
--	-----

Книжный развал

Анна ТРУШКИНА. На дальний гул, к неуловимому эху (А.Грицман. «Спецхран»)	258
Александр КОТЮСОВ. Страна победившей антиутопии (А.Волос. «Шапка Шпаковского»)	259
Геннадий КАЛАШНИКОВ. «Когда я говорю на моем языке...» (Л.Йоонас. «Кодумаа») ..	262

Культурная хроника

Ольга РУСИНОВА. Скульптор Никогосян: образы мысли. К 100-летию Мастера ...	266
--	-----

Эхо

На рубеже эпох, народов и вер. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	270
--	-----

Олег Хлебников

Кроме менад своих

Памяти Анны Саед-Шах

* * *

Хоть в шалмане хавка с кровью,
да с похмелья грусть-тоска...
Непонятно Подмоскowie —
ни Россия, ни Москва.

Не живут, а выживают
здесь, и все — в Москву, в Москву!
Три сестры здесь вышивают
в электричке, где живу.

Я живу в ней очень много
очень разных зим и лет.
На меня глядят нестроого
тётки, дядьки, даже дед.

Типа им понятный парень:
курит в тамбуре и пьёт
пиво с воблой, и не парит
мозги — сам себе живёт...

Проезжаю Подмоскowie
с грустью, с радостью, с любовью.
А в Москве — там что-то ждёт...

Хлебников Олег Никитьевич — поэт, переводчик, журналист, кандидат физико-математических наук. Родился в Ижевске в 1956 году. Окончил Ижевский механический институт (1978) и Высшие литературные курсы (1985). Печатается как поэт с 1973 года. Автор 11 книг стихов. Заместитель главного редактора «Новой газеты». Лауреат Новой Пушкинской премии (2013). Живет в Переделкино.

* * *

Как же досадно — подолгу не жил в Ленинграде
и в Петербурге тем более (хорошо — в Петрограде не жил).
И ходил от вокзала Московского лишь ностальгии ради —
как турист — до Исакия (рядом камешек свой заложил).

Ну и дальше — к Сенной, где крестьянку того молодую,
где опять Достоевский над городом тенью встаёт.
Но поблизости Пушкин — на Мойку, на Мойку пойду я!
А вблизи — на Фонтанке — уже декабристы. И вот —

подлетают они на Сенатскую. Это могло быть
для России и шансом, и чем-то неведомым нам.
Только лошадь тогда не сумела рвануть из оглобель,
и потом победил мной на Лиговке встреченный хам.

Всё равно я люблю эти плоские парки и скверы.
Здесь я должен был жить, и любить, и — уже никогда.
И от этой такой ни на чём не основанной веры
сладко-больно в душе. И при чём тут они, города?

Новая уличная мода

На куртках появились хвостики,
на шапочках — кошачьи ушки.
Звереют постепенно всё ж таки
девицы наши и девчушки.

И как не озвереть при нашем-то
движенье вспять — к членистоногим?
А что веками было нажито,
достанется совсем немногим.

Соседям

Завидую жизни чужой,
вот этим завидую, им —
на то, что друг к другу с душой
и телом ещё молодым.

Обидно, что жизнь и судьба
столкнулись совсем не впопад.
И тут пожалеть бы себя,
да знаю, что сам виноват.

Прощание с Казантипом

1

Уже не увижу звёзды,
какие видел из этой дыры,
и рядом с тобой и морем
не почувствую себя счастливым.
Отваливается жизнь не поздно,
не рано, но, по-моему, до поры.
И это не кажется горем,
но чем-то несправедливым.

Отрезается жизнь кусками,
вот на этом — нелиповый мед,
наверно, гречишный, поскольку
в нём чувствовалась горчинка...
Какими же дураками
мы были в наш лучший год,
когда брели по просёлку
и град нам — слону дробинка.

Места, где бывал счастливым...
Не надо туда приезжать:
их неизменность обидна,
а измененья досадны.
Советуют мне — позитивом
старайся себя окружать,
а что позитива не видно,
так пожил уже — ну и ладно.

2

Едва объявили «нашим»,
он сразу стал не моим.
Давай-ка мадеры вмажем
за этот уплывший Крым.

Мы здесь от глотка свободы
пьянели — не от вина.
И всё это длилось годы,
когда заспалась страна.

Потом и его упустила —
похмельным был этот сон.
Сама себе все простила —
простит ли, приплывший, он?

* * *

Можно ли числить родными
улицы вроде Каширского шоссе?
Сливаться в экстазе с ними —
мол, детство прошло тут и глупости все...

Можно ли столик припомнить,
где наши отцы забивали козла?
И сам тут не буду понят
в майке и тапках с утра допоздна.

Наверное, всё-таки можно,
когда другой-то родины нет,
но сложно и как-то тревожно,
и хочется водочки на обед.

* * *

Как безнадёжно прожить
жизнь свою я сумел!
Дальше умерится прыть,
будет всё меньше дел.

Будет всё меньше тел
рядом и в мыслях злых.
Я ж ничего не хотел —
кроме менад своих.

* * *

Ну, совсем, совсем неинтересно
то, что раньше вызывало дрожь —
по причине похоти телесной
и духовной жажды невтерпёж.

Ничего не дали содроганья —
лишь желанье близости иной
с миром всем и чтобы жизнь другая
овладела мной.

Анатолий Ким

Дом с протуберанцами

Повесть

Никишин

В городке Тума недавно прошел дождь, и перед крыльцом библиотеки топтался в луже Никишин. Он давил бесов, которые лопались под его ногами, словно рыбы пузыри. Бесов было множество, они были еще маленькие и погибали под ногами Никишина без особенного шума, и только некоторые из них издавали протестующий возглас: *чизвлик*, прежде чем быть раздавленными в слизь подошвою обуви во взбаламученной лужице. Обут был Никишин в громоздкие китайские кроссовки с прорезиненными рубчатymi подошвами.

Мимо Никишина прошел в библиотеку немолодой, но еще моложавый, с гладко выбритыми щеками, человек в шляпе. Он взобрался на трехступенчатое крыльцо Тумской городской библиотеки, которая располагалась у меня на первом этаже, в старинном большом двухэтажном доме, — низ кирпичный, верх деревянный, бревенчатый, окна с резными наличниками. Стоя на крыльце перед дверью, приоткрыв ее, человек самоуверенным голосом произнес, обращаясь к Никишину сверху вниз:

— Ты чего, дурачок, в лужу залез? Развлекаешься?

— Бесов давлю, — ответил Никишин.

— И много раздавил?

— Порядочно. Они тут кишат. Видимо, с какой-то детсадовской тучи сыпануло. Как головастики мелкие.

— Ну, дави их, Никишка, никого не пропускай, — деловито молвил мужчина и ушел внутрь библиотеки.

Там за стойкой сидела молодая красавица, которая была вовсе не к месту в пыльном городишке Тума. Об этом сразу же высказался моложавый мужчина, снимая шляпу:

— Откуда тебя принесло в нашу дыру? Из какой тучи высыпало? Раньше здесь такой никогда не было.

— Вы что хотите? В библиотеку записаться?

— Не, я книг не читаю. Я не читатель, я писатель. Хочу познакомиться с тобой. Меня зовут Сашка. А тебя как?

Ким Анатолий Андреевич — известный русский прозаик, драматург, переводчик, автор романа-сказки «Белка», романа-притчи «Отец-Лес», романа-мистерии «Сбор грибов под музыку Баха», метароманов «Остров Ионы», «Радости рая» и многих других произведений. Академик Академии российской словесности. Давний автор и лауреат премии журнала «Дружба народов». Предыдущая публикация в «ДН» — эссе «Моя малая родина» (2016, № 8).

- Меня тоже Сашка.
- Нет, без шуток? Тезки, выходит?
- Выходит так. Что еще хотите узнать?
- Хочу узнать, как ты целуешься. У тебя такие классные губки, как у Мерлин Монро.

Мужчина сделал выпад через библиотечную стойку и обхватил рукой стройную шейку библиотекарши. Но та выгнулась назад и, сделав какое-то неуловимое движение рукой, достала из-за спины пистолет, наставила прямо в лоб мужчине. Причем красивое ее лицо не изменило своего детского выражения. Черные с блеском глаза были спокойны, равнодушно разглядывая ошеломленного посетителя.

— Эй, Саша, Сашок! Ты чего это? У тебя же настоящий Макаров!

— Да, у меня настоящий Макаров. И я вам башку прострелю, дядя, если только еще движение сделаете.

Посетитель молчал, непонятно глядя на библиотекаршу, та тоже молчала, медленно опустив пистолет.

— А вообще-то я пришел к тебе по делу, — совершенно спокойным тоном проговорил мужчина и вытащил из кармана небольшую книжечку. — Вот, я принес тут свою книгу. Я на самом деле писатель, стало быть, и я хочу принести в дар библиотеке авторскую книгу. Прошу принять ее и заприходовать.

— Вы писатель? Что-то не верю вам, — ответила красавица библиотекарша. — Не похожи вы на писателя по всем статьям.

— Клянусь, это правда. «В дебрях Акатюя» называется книга. Посмотри. Я автор. Вот фамилия, могу паспорт показать, — едва ли не с обидой произнес мужчина в шляпе, бросая книжку на стойку.

— Хорошо, я посмотрю, — ответила библиотекарша, продолжая настороженными глазами следить за каждым движением посетителя. — А теперь быстро уходите отсюда.

И тут в библиотеку вошел Никишин. Мужчина оглянулся на него, и вся досада обрушилась на парня.

— А ты зачем приперся сюда, дурачок? — возроптал он. — Ну-ка брысь отсюда! Быстро!

— Не трогайте его! — возвысила голос красивая библиотекарша. — Это мой читатель, он записан в библиотеке... Проходи, Никиша! Ты хочешь что-нибудь выбрать?

Никишин, встревожено подняв голову на длинной тонкой шее, глядел то на мужчину, то на библиотекаршу. Блеклые глаза его вдруг закатились, остались одни полоски белков, ноги подогнулись в коленях, он сложился и упал навзничь — мягко, почти бесшумно.

Библиотекарша выскочила из-за стойки в читальный зал и, опустившись на одно колено, склонилась над Никишиным.

— Это приступ. У него падучая. Ты что, не знала? — произнес мужчина.

— Не знала, — тихо ответила красавица. — А это не опасно?

— Да что он может сделать тебе? — усмехнулся мужчина. — Он аутист.

— Я не о себе. Для него это не опасно?

— Ничего. Полежит, оклемается и потопает себе дальше. А ты, Сашок, вижу, не здешняя. И откуда только тебя принесло? Кто тебя сюда направил?

— Меня направил сюда, Сашок, отдел культуры администрации района, — был насмешливый ответ. — Уже два месяца здесь работаю.

— А я ничего и не знал. Два месяца! Узнал только три дня назад.

— А вы что, все здесь знаете?

— Должен все знать, вроде бы. Про тебя — ничего... Таких красавиц здесь не было и не положено быть... Ну, ладно. Только как это Никишка вошел сюда?

— В дверь вошел, как еще?

— Я не о том. Ты же ключ оставляешь в дверях изнутри, это зачем?

— Я живу на втором этаже. Там моя квартира. А замок всего один — на входной двери. Открываю библиотеку, ключ оставляю в замке.

— Ну да. Понятно. Только другое непонятно. Я вошел, смотрю, ключ торчит в двери изнутри. Ну, я и запер на всякий случай.

— И что?

— Никишка-то как вошел вслед за мной? Ведь я дверь запираю, точно!

— Зачем запирали?

— На всякий случай. Я два дня следил за тобой. Ты живешь одна. Какая у тебя зарплата? Наверное, кукиш с маком. А как ты одеваешься? Таких платьев тут сроду не видывали. К тебе никто не приходит. Здесь книг не читают. И боевой пистолет при тебе. Откуда? Почему?

— Чего вы хотите еще узнать? Обращайтесь в отдел культуры. Там все сведения про меня, — насмешливо говорила девушка-красавица, пряча пистолет за пояс юбки под кофточку.

Тем временем Никишин пришел в себя, открыл свои блеклые глаза, лежа на полу. Мужчина сделал шаг к низенькой дверце, проделанной в стойке, дверца эта отделяла читальный зал от полок книгохранилища. Все нижнее помещение у меня представляло одну большую комнату на весь первый этаж, и лишь деревянная некрашенная стойка разделяла эту комнату на две равные половины. Лестница на второй этаж шла из коридора, и там были жилые комнаты.

Никишин, смотревший снизу вверх в затылок подбиравшегося к дверце мужчины, предугадал момент, когда тот хотел войти в книгохранилище, где стояла девушка-красавица, — и вытянутой длинной ногой ударил того под колено. Мужчина от неожиданности подломился, чуть не упал навзничь и, отступая, наткнулся пятками на лежавшего Никишина, мигом перескочил через его тело одним прыжком назад. Оказавшись над телом Никишина, в состоянии крайней ярости, мужчина хотел бить его ногами, но тут Никишин вскочил и побежал по коридору своего пространства, мужчина устремился за ним. Вскоре они оказались вне дома, метрах в ста от него, где-то на огородах. Никишин стремительно удалялся, и мужчина, увидев, что его не догнать, выругался и пошел назад. Подойдя к крыльцу, возле которого недавно топтался в луже Никишин, мужчина взобрался по трем ступеням на крыльцо и потянул дверь. Она была заперта изнутри. Мужчина не мог вспомнить, как он выходил из нее, хотя помнил, что заходил в дом и запер дверь за собой на два оборота ключа. Он стал стучать кулаком, тыльной его частью, по старой моей двери, обшитой утеплителем и новым черным дерматином. Точно над ним распахнулось окно, и сверху на него уставилось чернобровое лицо библиотекаря.

— Шляпу, — грозным голосом произнес мужчина.

Через минуту зеленая фетровая шляпа вылетела из этого же окна и плавно спланировала на придорожную траву среди лопухов.

Следующее появление мужчины в библиотеке произошло через несколько дней. Никишин доставал с верхней полки стеллажа какие-то книги, рассматривал их и клал обратно. Увидев его, мужчина как ни в чем не бывало приветливо обратился к нему:

— Ну что, Никишка, сегодня бесов не давил?

На что Никишин ответил своим невыразительным будничным голосом:

— Лужа высохла.

— А ты другие бы искал, — предложил мужчина. — Их в Туме много.

— На другие лужи бесы не вытекают, — объяснил Никишин, доставая с полки следующую книгу.

— А ты все же поищи, — посоветовал мужчина. — Может, повезет.

— Нет. Они только сюда устремляются, — отрицал Никишин.

— Ну и зачем же ты их давишь?

— Чизвлик.

— Дурачок ты окончательный. А может, прикидываешься? Ты зачем сюда все время приходишь? Может, с нехорошей целью? — улыбнулся мужчина. — А где же сама библиотекаря?

— У себя наверху, — был ответ.

— Ага, — произнес мужчина и направился к выходу в коридорчик.

— Не ходи к ней, — тем же будничным голосом произнес Никишин.

— Это почему же?

— Тебя убьет бородатый мужик, — сообщил Никишин и далее тихо заговорил на абракадабре: *«Ножиком жик и киж мокижон. Кирдык»*.

— Ты что это там нашептываешь, словно бабка? — вдруг рассердился мужчина. — Какой такой бородатый мужик? У нее что, сейчас находится какой-то мужик?

— Нет, никого. Бородатый сейчас очень далеко. Тедирп кебет и мокижон.

— Да пошел ты, дурак невразумительный, — обругал Никишина мужчина, назвавшийся Сашком, и вскоре потопал по ступеням наверх. Толкнул старую некрашеную дверь, она оказалась закрыта изнутри на крючок. Сашок стал дергать дверь, железный крючок запрыгал в проушине, лязгая и скрежеща, но не поддавался. Старинной работы, кованный сельским кузнецом, с гордостью подумал я. В первые годы, когда человеческие слова еще не пропитали меня насквозь, я не умел думать, и чувство гордости, порождаемое человеческими словами, было мне неизвестно. А было чем погордиться!

Я был первым каменным домом, построенным в городке Тума. Да тогда никакого городка и не было, говорили, что стояла на Муромском тракте ямская станция, и держал ее касимовский татарин по имени Тумак. Но не он, а касимовский купец Силкин построил рядом со станцией кирпичный лабаз на фундаменте из приокского белого камня, первый этаж из красного кирпича, второй — из местной мещерской красной сосны, поселился там с семьей, а внизу, в лабазе, копил товар для осенней окружной ярмарки в селе Воскресенье, что на берегу Гавринского озера. Товар доставляли для оптовика Силкина в течение всего года со всех сторон — от Муром и Касимова с восточной стороны и с Воскресенска, Егорьевска и Спас-Клепиков — с западной стороны. С севера в Туму возили стеклянный товар с Гуся-Хрустального, а с другой стороны, с Гуся-Железного, — ажурную чугунную садовую мебель и всякий скобяной товар, железные оси для телег. И весь этот непортящийся товар, а также гвозди из Сынтула Силкин вываливал на Воскресенской ярмарке у Гавринского озера, куда сходились лучами торговые пути из Муром, Владимира, Рязани.

Обо всем этом я узнал понаслышке, когда достаточно пропитался человеческими словами, русскими, разумеется, и обрел память, которая есть не что иное, как накопление разных слов. Мои слова накапливались сначала в головах тех людей, которые жили под моей крышей или заходили ко мне, а затем впитывались стенами, потолками, полами — всеми моими фибрами и оставались во мне. А множество людей, которые жили у меня, постепенно умирали один за другим или же попросту исчезали куда-то, уходя по коридорам своих пространств, и рассеивали свою память по белу свету, теряли свои слова вместе с памятью о своем существовании.

Только я оставался на месте, накапливал в себе человеческие русские слова, прозвучавшие в моих стенах, которые постепенно становились моей собственной памятью. По прохождении полутора сотен лет с той поры, как начал осознавать себя в русских словах, я понял с большой грустью (чувство, познанное мною опять-таки через слова), что жизнь людей, заходивших ко мне, — лишь одна видимость. И эту видимость создавали невидимые слова, которые, оказывается, существовали сами по себе, независимо от произносивших их людей. Поэтому они, появлявшиеся у меня, жившие в моих стенах, умиравшие и просто однажды исчезнувшие куда-то, все оказались фантомами. И призрачностью явилась суть самой их жизни, я видел все это и в том ничем не мог помочь им, ни одному из них.

Немолодой молодой мужчина поднялся на второй этаж и дергал за ручку дверь, запертую изнутри на железный крючок, который от рывков подпрыгивал и лязгал в проушине. Наконец, словно устав сопротивляться или попросту вывалившись из высохшей древесины дверного косяка, проушина выскочила из своего гнезда, и дверь открылась.

Зайдя в первую проходную комнату, где в прошлом веке стоял рояль, а нынче был навал всяческого житейского барахла, дырявых ведер, разошедшихся кадушек, связок старых журналов, газет и среди всего этого возвышалась сломанная детская кроватка с деревянными точеными перильцами, мужчина прошел по свободному проходу к следующему дверному проему, в котором двери не было. Не помню, куда и по какому случаю ее сняли и унесли, — и теперь висела ситцевая раздвоенная занавеска с голубенькими цветочками, чистенькая, нарядная, предмет заботы новой молодой хозяйки жилья.

За занавеской была еще одна проходная комната, уже пустая, без мебели; в другое время здесь располагались девичья для дочери купца Силкина, затем будуар жены уездного начальника Федотова — лет сто десять тому назад, затем опять-таки женская комната для дочерей купца Архипочкина, Ангелины и Варвары. Архипочкин купил меня у потомков Силкина. И когда пришла в Туму революция (а она пришла в Туму на год позже, в 1918-м), на втором этаже проживало немало людей, быстро сменяя друг друга, и моя память ничего не запомнила о них, кроме того, что жил у меня наверху какой-то мелкий советский послереволюционный народишко. Была в 1929 году создана на первом этаже трудовая коммуна.

В последней, самой дальней, четвертой из расположенных на втором этаже анфиладаю комнат, в бывшей спальне купца Силкина, где он держал кованый сундук с капиталами, сейчас сидела на стуле посреди большого помещения с единственным окном, забранным в чудовищной мощности кованую решетку, красавица-библиотекарьша и смотрела на вошедшего мужчину черными сверкающими глазами.

— Я шахидка, — сказала она. — Я тебя предупредила, чтобы не трогал меня.

— Знаю, — ответил мужчина. — Я навел справки. Твой родственник Валиев — начальник земельной управы, ты жена его брата. Валиев устроил тебя сюда библиотекарьшей.

— Теперь ты все узнал. Ты должен умереть, — прозвучали слова, юным, почти детским голосом произнесенные. — Я тебя предупреждала. Показала, что у меня есть пистолет. Но ты как будто не обратил внимания. И вот пришел опять, чтобы умереть, — говорила шахидка-библиотекарьша.

— Сейчас пистолеты многие имеют для самозащиты, — произнес спокойным голосом мужчина. — Пистолетом меня не удивишь. Но если ты шахидка, как говоришь, то должна иметь пояс со взрывчаткой.

— У меня есть пояс, — ответила шахидка. — Он на мне. И я нажму на кнопку, если ты сделаешь еще шаг.

— Да не сделаю я шаг, успокойся. Давай поговорим. — Мужчина взял свободный стул у стены и сел напротив.

— Все равно ты уже не уйдешь отсюда живым, — детским голосом, с детской улыбкой на лице говорила красавица-шахидка.

— Почему это?

— Потому что мы должны теперь умереть вместе.

— С какой стати? — улыбнулся без всякого страха на лице мужчина. — Я не хочу.

— Ты узнал, кто я. Я нечаянно выдала себя, потому что ты себя нахально вел.

Но я не могла на месте застрелить тебя, Никишка помешал. Я все эти дни ждала, что придут за мной, и не снимала пояса.

— Не пришли же.

— Значит, ты не выдал меня, дядя?

— Значит, не выдал.

— Почему?

— А догадайся, почему.

— Ты все равно отсюда не уйдешь живым.

— Да ладно! Вот заладила. Слышали. А теперь послушай меня. Тебя для какой-то цели спрятали сюда. Для какой?

— Я шахидка. А тебе-то, дядечка, зачем теперь знать, для какой цели я здесь? Мы

скоро умрем вместе, из-за тебя, между прочим. Нас с тобой не будет на свете, дядя, зачем же тебе знать все это? Нас разорвет на куски, и этот дом тоже разнесет, не все ли равно тебе, с какой целью я пряталась здесь? И будет, как будто бы и не было на свете ни тебя, ни меня. Так зачем ты хочешь все знать?

Они сидели друг против друга на стульях, в трех шагах расстояния, но расстояние между ними было не три шага, а в миллиарды раз больше. Свет души от одного до другого никогда не сможет преодолеть это расстояние и рассеется черной пылью во мгле космической бури.

Тем не менее немолодой моложавый человек зачем-то говорил погибающие сразу же после вылета из его рта слова:

— Ты мне понравилась сильно, как только увидел тебя, вот потому и не выдал. Ты шальная голова, таких отчаянных никогда не встречал. Шахидка ты или нет, мне все равно. У меня в детстве была девочка, на год моложе меня, тоже кавказская. Бела Дидикаева. Осетинка. Она очень похожа на тебя. Убьешь ли ты меня из пистолета или разорвешь гранатой, мне также все равно. Я здесь в районе самый крутой человек. У меня тысяча гектаров пахотной земли, я сдаю их китайцам, они выращивают резиновые помидоры и огурцы. Ну и что? Деньги китайцы платят исправно. Я богаче даже твоего родственника Валиева, ну и что? Я могу переспать с любой женщиной во всей округе, могу кого хочешь деньгами задолбить. Но мне все это не нужно. Мне даже не нужно, чтобы и ты переспала со мной.

— А что тогда тебе нужно, дядя? Неужели умереть вместе со мной? Смотри, вот кнопка. Сожму руки — мы взорвемся. Ты этого хочешь? — спрашивала красавица-шахидка-библиотекарша.

— Я хочу, чтобы ты показала свой пояс, — охрипшим голосом молвил мужчина.

— Ладно, смотри, — сказала шахидка и расстегнула на груди длинную черную рубаху.

Она развела в стороны полы рубахи, под нею были свободные белые груди, под грудью висело в подсушках взрывное устройство.

Библиотекарша-шахидка не раз примеряла его наедине с собою, зная, что ее никто не видит. Обычно это происходило глубокой ночью, в моей дальней комнате на втором этаже. Она плакала при этом, тихо всхлипывая.

— Ну, вот ты и увидел чего хотел, теперь пришло время нам умирать.

— Давай, — спокойно молвил немолодой моложавый мужчина. — Нажимай кнопку.

— И зачем только ты пришел ко мне в библиотеку, дядя? Дурачок какой-то ненормальный, — пробормотала библиотекарша.

Она подняла над плечом черный продолговатый предмет — и вдруг ворвался в комнату по коридору своего пространства Никишин, сзади кинулся к шахидке и выхватил из ее руки черный предмет. Взрыва не произошло, девушка не успела нажать на кнопку.

— Опять ты, дурачок Никишка, встрял не в свое дело! — злобно прорычал мужчина. — Откуда ты взялся?

— Она хотела всех нас убить, — своим тусклым тихим голосом возвестил Никишин.

— Ну, а ты что, неужели испугался, жить захотел? — Мужчина лютым взглядом измерил сверху вниз и снизу вверх все ничтожество Никишина.

— Я не хочу жить, я хочу, чтобы она жила, — ответил тот. — Чизвлик, — завершил свою речь бесовским словом.

— Чего сказал? — взревел мужчина, в этот день без шляпы, одетый в джинсы и джинсовую рубаху. — А меня ты спросил, хочу ли я жить? — И он протянул перед собою руку ладонью вверх. — Отдай мне взрыватель.

— На, — ответил Никишин и показал черный длинный предмет на своей ладони.

Мужчина в джинсах сделал шаг вперед к Никишину, но тот отступил на шаг, втягивая противника в свое пространство, и расстояние между ними не сократилось.

Мужчина вспыхнул и с возгласом «ах ты, тварь такая» кинулся на Никишина, но тот отступил, опережая преследователя, и вскоре в дальней комнате на втором этаже осталась одна библиотекарша, красавица- шахидка. Она отупевшим взглядом уставилась в безлюдное пространство перед собой.

Потом встала со стула и направилась, пошатываясь, к кровати, на которой была разворошенная постель с нарядными, в голубых цветочках, простынями. Усевшись на край постели, сняла одним заученным движением пояс с зарядным устройством и засунула его под подушку в наволочке с такими же голубыми цветочками, что и на простынях. И после этого принялась застегивать пуговицы на черной блузке-рубаше с засученными рукавами. Начала застегивать с самой нижней пуговицы, неторопливо перебирая пальцами белых нежных рук, в них я угадал холеные руки всех тех женщин, которым в жизни не выпадали грубый житейский труд и постоянная стряпня на кухне.

Не успела библиотекарша-шахидка застегнуть блузу на все пуговицы, как в комнате вновь оказался Никишин. Она этому не удивилась, уже зная из практики, как и я, о многозначных и многомерных свойствах Никишина.

— Ну, что скажешь, Никиша? — произнесла девушка-шахидка, перестав плакать и устало глядя на парня.

— Я его протащил до самых Клепиков и бросил на обводной дороге подле бензоколонки. Теперь стоит там, голосует, — улыбаясь, ответил Никишин.

— Что ты наделал, Никиша, — тоже улыбаясь, молвила шахидка-красавица. — Теперь он точно найдет тебя и убьет. Это очень страшный человек. Он из тех русских, которые уже и водку не хотят, и денег не хотят, и женщину не хотят, а просто ищут смерти. Вот как Есенин: жизнь моя, иль ты приснилась мне... будто кто, в тумане утра скрытый, проскакал на розовом коне... Никиша, ты читал Есенина?

— Нет.

— А ты почитай. Возьми на третьей полке его стихи и почитай.

Шахидка, почти застегнув рубашу до верхних пуговиц, вдруг начала расстегивать ее назад сверху вниз.

— Ну, а ты-то чего ради стараешься так, Никишок?

— Я не хотел, чтобы ты нажимала кнопку. Я выбросил ее в речку.

— Ах ты, глупый Никиша! — засмеялась она. — У меня же осталось еще несколько запасных. А ты думал? Эх, Никиша!

Расстегнув рубашу, она распахнула ее и позвала Никишина.

— Подойди сюда.

Никишин подошел близко к кровати, на которой сидела шахидка, и встал словно столб. Белесые глаза его стали мутными, как у вареной рыбы.

— Ну, какие они? Видал? Тебе нравится, Никиша? — спрашивала шахидка. — Правда красивые? Это сестрички, вот эта левая, она старшая, ты видишь, у нее сосочек чуть больше. Ты никогда не видел таких, наверное, Никишечка?

Никишин, стоявший неподвижно перед шахидкой-красавицей, вдруг заплакал. Слезы хлынули внезапно из его глаз, и он не утирал их. Они закапали ему на грудь, сбегая с подбородка.

— Ты чего, Никиша? Испугался, дурачок? Никогда не видел голую женщину? Я очень плохая, извини меня, рыбка моя! — И красавица-шахидка стала торопливо закрывать грудь, запахивая рубашу.

— Не надо! — вдруг каким-то необычным, очень глубоким, словно бы и не его, голосом заговорил Никишин. — Дай еще посмотреть.

— Ах ты, Никиша! Да ты все понимаешь, оказывается, не такой уж ты простой! — почти обрадованно воскликнула шахидка и привстала с кровати, поддерживая обеими руками снизу свои беленькие груди. — Хочешь их потрогать?

— Я не поэтому хочу посмотреть, — произнес Никишин, на этот раз своим обычным унылым затухающим голосом.

— Что не поэтому? — не поняла красавица-шахидка.

— Не поэтому, чтобы их пощупать.

— А почему?

— Хочу посмотреть, пока они еще целые.

— Как это — пока они целые?

— Вот эта, старшая сестра, оторвется и вместе с ребрами отлетит в кусты. А младшая вместе с кишками повиснет на решетке. Чизвлик.

— Нет, ты все-таки чокнутый, Никишка. Какие гадости наговорил. Ребра, кишки... Как мясник какой-то. Ладно, ты теперь иди себе, уходи домой. Ты где живешь, на какой улице?

— На Строительной, — ответил Никишин и ушел.

Но он обманул красавицу-шахидку. Оказывается, он умел обманывать. Жил он нигде, у него не было своего дома или постоянного угла. Сейчас он жил у меня, в помещении книгохранилища, спал между книжными полками. Откуда он пришел в поселок городского типа Туму, никто не знал из тех тумчан, кто когда-нибудь заходил в библиотеку.

Прошлой ночью он крепко спал и не слышал, как приезжал на иномарке молодой бородатый парень и библиотекарша тихонько выпустила его в дом. В спальне, раздевшись донага, он пил кофе, который ему сварила шахидка, и рассказывал ей:

— Представляешь, после твоего звонка я не мог сразу приехать, извини, дело было одно срочное. А когда я приехал в Клепики и спросил у брата, он сразу и указал на него: зовут Сашка, самый богатый. Дом трехэтажный, вокруг четырехметровый металлический забор, система слежки и все такое. У ворот охрана, как положено. Ну, пришлось поработать, альпинистское снаряжение и все такое. Заранее узнал, где его спальня, он всегда спит один, даже для баб у него была отдельная комната рядом. Представляешь, спал при открытом окне, на раме только сетка от комаров. А что мне сетка? Я подкрался к кровати, а он спит как младенец, вот такой же голый, как я. Мне заранее сказали, что у него всегда под подушкой пистолет лежит, я не стал церемониться и быстро зарезал его. Кровь так и брызнула из глотки, я не успел отскочить. Так что дай мне свои шаровары и майку, смешно будет выглядеть, но ничего. А сейчас давай по-быстрому сделаемся, потом сразу поедом. Надо к одиннадцати успеть в Москву, гулянье на Ходынском поле начнется с утра, и у ворот будет достаточно народу.

— Хорошо, милый.

Примерно через час после этого ночного разговора они тихонько сошли с крыльца, сели в машину и уехали.

Наутро Никишин проснулся и обнаружил, что библиотека не закрыта, входная дверь на крыльце широко распахнута. Он взбежал на второй этаж, прошел через все три проходные комнаты, зашел в спальню, там и услышал от меня про ночной разговор. И схватившись обеими руками за голову, Никишин принялся выть. Те, которые ночью разговаривали, не знали того свойства слов, что они оставались жить еще долгое время спустя после того, как были произнесены. Что некоторые из них вообще оставались безысходно после своего рождения на свет. Счастлив я, что целовал я женщин, мям цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Есенин, который учился в реальном училище в Спас-Клепиках, бывал у меня, и в доме звучали его стихи... И они тоже навечно впитались в мои стены.

Никишин услышал через меня ночной разговор шахидки и хозяина ее жизни, парня с бородой, и мгновенно могуче настроился на беспрецедентное под звездами дело. Он знал заранее, что произойдет, но решил опередить смерть. Или если прекрасная красавица-шахидка рвалась к ней из-за какой-то своей любви, о которой Никишин не знал и которую ни в коей мере не испытывала она к нему, — то хотя бы умереть вместе с нею, крепко держа ее в объятиях.

Об этом последнем желании я успел узнать у него в тот миг, когда он, выстроив прямой, как луч, коридор своего пространства от меня и до ворот Ходынского парка, устремился к своей цели со скоростью света, а я за ним вдвое быстрее. Почему я определил, что моя скорость оказалась вдвое быстрее скорости света? Я дом, низ кирпичный, второй этаж деревянный, двигаться по земле не умею, летать по воздуху

тоже. Однако каким же это образом я смог оказаться вместе с Никишиным одновременно у ворот Ходынского парка, увидеть все то, что с ним произошло там, и затем снова оказаться на старом месте в дремучем городке Тума? И это не сходя со своего фундамента из тесаных глыб приокского белого известняка? Ответа нет, есть только факт, мысленно увиденный мною.

Значит, если Никишин мог пролететь по коридору своего пространства с самой большой скоростью — каковой, по утверждению Альберта Эйнштейна, является скорость света, — то я, мое сознание, пролетело туда и обратно за то же время и, стало быть, двигаясь вдвое быстрее света.

Дом с протуберанцами

Девочка Геля родилась в этой комнате и умерла там же, когда ей исполнилось 24 года. Умерла она от чахотки в тот день, когда два батальона латышских стрелков проследовали мимо меня по Касимовскому тракту. Шли с тяжким топотом пехоты на марше, растянувшись на две версты, Туму прошли без остановки, только во двор заехали всадники в невиданных мундирах, в высоких фуражках и напоили коней у колодца.

А за четыре года до этого та, что лежала в дальней комнате на белой перине и еле втягивала воздух продырявленными легкими, Геля, была быстроногой барышней с высокой тонкой талией, с пышными гнедыми волосами, убранными в замысловатую высокую прическу в виде короны. Во двор заехали два велосипедиста в коротких до колен штанах и тоже попросили воды, двое красивых парней из благородных. Один был с длинными волосами, другой коротко стриженный. Геля, двадцатилетняя, резво выбежала им навстречу с белой эмалированной кружкой, набрала ведро воды из колодца и предложила им черпать прямо из бадейки. Кружку она передала из рук в руки длинноволосому, Александру, и заглянула ему в глаза. И увидела в этих глазах себя, какою она представилась юноше, а выглядела она совершенной красавицей, каких мало бывает на белом свете. Коротко стриженный его спутник стоял на велосипеде, одной ногой на педали, другою на земле. Он так и не слез с велосипеда и, напившись воды, сразу уехал со двора в открытые ворота, виляя из стороны в сторону на своей двухколесной машине. Этого коротко стриженного парня я больше никогда не видел у себя. И только однажды, когда у Александра спросила Варвара, старшая сестра Гели:

— А тот ваш друг, на велосипеде, куда он подевался? — последовал ответ:

— Он погиб на войне во время Брусиловского прорыва.

Значит, первая встреча Гели и Александра произошла накануне какой-то войны. Их было много с тех пор, как стены мои впитали в себя память живших в доме людей, и она стала моей собственной. Не очень давно провалилась крыша над восточной пристройкой, а потом рухнул потолок, я плохо запомнил, как и когда там появилась, и при каких обстоятельствах, цыганская девочка Маша, которую Варвара, старшая хозяйская дочь, решила обучать грамоте и воспитывать как родную. Варвара, жившая в доме как хозяйка, замужем не была. Стало быть, встреча Гели с длинноволосым Александром произошла весной, незадолго до войны. Его товарищ, коротко стриженный юноша, строгий, не улыбочивый, очень крепкого телосложения, видимо, из господских сыновей, имевший такой дорогой аппарат, как двухколесный велосипед, уже за воротами, с дороги, сигналил в квакающий клаксон, нажимая на резиновую грушу, вызывая товарища. А тот никак не мог завершить разговор, начавшийся между ним и Гелей, которая крутила в руках белую эмалированную кружку.

— И вы собираетесь после гимназии учиться дальше? — спросил Александр, длинноволосый.

— А что прикажете делать? Не учиться? Сидеть дома? — быстро отвечала Геля.

— Ну, купеческие дочери, если судить по литературе, сидят дома и ждут, когда их выдадут замуж, — несколько заигрывающе молвил Александр.

— Вот и выходите сами замуж, а я поеду в Москву, в университет. — Веселая Геля, сказав это, звонко захохотала.

— Нам, по нашему мужскому званию, замуж выходить не положено. К тому же я сам в университете. Через год кончаю на юридическом, — весело ответил Александр.

Он выехал со двора через широко раскрытые ворота, стоя на педалях, согнув спину над рулем велосипеда и так же лихо повиливая на дороге из стороны в сторону, как его коротко стриженный товарищ.

А через два месяца, когда началась большая война и по Муромскому тракту в сторону Спас-Клепиков день за днем пошли густыми разрозненными толпами, словно в крестном ходе, колонны мобилизованных на войну людей, на мой двор зашел длинноволосый Александр. Но длинных волос у него уже не было, и на стриженую голову он натянул мятый мещанский картуз.

Барышня Геля тогда лежала на кушетке в своей светелке и читала книжку, держа ее одной рукой над лицом, и к ней вошла горничная Зинка с известием:

— Ой-я, к вам целовек пришедши, барышня.

— Кто пришел? — встрепенулась Геля, поднялась с подушки, отложила книжку.

Она уже давно не читала, просто лежала, и у нее в голове строчки ушли далеко в сторону, а в сознании перед глазами — я видел — стояло лицо Александра. Был он — мне очень хорошо запомнился — голубоглаз, хорошо смотрел на нее и улыбался... Все это я видел глазами Гели.

— Да кажется тот, который по весне на лисапете заезжал, водичку пил, — ответила Зинка, переступая ногами в старых Варвариных туфлях, подаренных ей хозяйкой, глядя вниз и любуюсь этими синими туфельками с кожаными бантиками.

— И что он? — даже не удивившись ничуть, спрашивала Геля.

Я знал, что с того дня она постоянно ожидала, что юноша непременно появится вновь, и удивлялась тому, что он никак не появлялся. Перестала даже ходить с Зинкой по ягоды, ела спелую землянику и чернику, что притаскивала довольная Зинка, которой больше нравилось ходить в лес за ягодами, грибами, чем быть на побегушках в хозяйском доме.

— Хочет вас видеть, Ангелина Хламповна, во двор вызывает, побалакать-ти непременно.

Купец первой гильдии Харлампий Вавилович Архипочкин жил и держал дом в приближении к дворянскому, господскому обиходу, двух своих дочерей обучал в женской гимназии и слугам, кучерам, приказчикам велел называть их с детского возраста по имени-отчеству.

— Ой, а как же я так, Зинашка? — заметалась Геля. — Не прибрана, не причесана, в старом платье!

— Да чаво там, барышня Ангелина Хламповна, он сам, как муромский побирушка, в старом кафтане, в сапогах стоптанных, — уверяла Зинка.

— И отчего же он так, Зинашка?

— Оттого, что, кажись, как новобранец бредет от Гуся Железного до Клепиков, на войну-ти его гонят — пешим порядком.

— Ах, как на войну? Она же только началась, а уже гонят? — воскликнула Геля. — Да ведь его же на войне убить могут, Зинушка?

— И убьют, чаво там, на войне-ти убивают, Ангелина Хламповна, — поддакнула Зинаха, рыжеголовая, безбровая, с конопушками на белом лице.

— Не надо! Не хочу я этого! — вскрикнула Геля.

И тут из моей восточной стены на втором этаже просочился прямо в уши Гели голос другой женщины, говорившей в той же комнате раньше: «Не хочу я, чтобы вы ушли на войну и там погибли, не помня о том, что я останусь на этом свете без вас!»

Геля схватила рыжую прислугу за ее крутые плечи и начала трясти, приговаривая изменившимся голосом, не понимая, что это вовсе не ее голос:

— Иди и приведи его сюда. Да смотри, сделай это, когда во дворе никого не будет. Батюшка и конторщики в лабазе, но чтобы и гостей на повозках ни души!

— Ня будя никого, барышня! — обещала рыжая прислуга. — Я у ты ловкая!

Она убежала из светелки, топая тяжелыми пятками, отчего задрожал и зазвенел хрусталь на серванте. А Геля, оставшись одна, заметалась в светелке из угла в угол, ломая руки, и вдруг принялась судорожно, торопливо раздеваться. Расстегнула широкий капот на груди, сбросила на пол, стоптала с ног и осталась в легчайшей батистовой сорочке. В таком виде она встала возле кровати и замерла, судорожно выпрямившись.

И когда служанка ввела в комнату Александра, девка ахнула от неожиданности и заголосила:

— Ты чаво это, барышня! Ай стыд потеряла? Раздевшись-то?

— Уходи, Зинаха, — почти зарычала Геля низким чужим голосом. — Иди, стой на лестнице, никого не пускай сюда.

— Ахти, барышня! А если батюшка ваш попретя, как же я не пушу?

— Не будет батюшки, — спокойным голосом произнесла Геля и шагнула навстречу стоявшему у двери Александру, одновременно сильно толкнув в грудь служанку, которая вмиг выскочила из комнаты.

— Вы почему так долго не появлялись, Александр Васильевич? Я, чай, почти два месяца.

Александр, уже не длинноволосый, а коротко стриженный, в старом сюртуке и мешанском картузе, в потрясении от увиденного, стоял как столб, опираясь спиной на дверной косяк.

— Не смел вас беспокоить, Ангелина Харлампьевна.

— От чего же не смели? Разве вам не стало ясно мое расположение с первой встречи?

— Очень стало ясно, Ангелина Харлампьевна, оттого-то и не смел.

— Но объяснитесь, Александр Васильевич, ведь я вас ждала! Если бы вы знали, как я вас ждала! — со стоном произнесла Ангелина.

— Я видел ваше расположение ко мне и знал, что вы ждете моего нового появления, но не мог найти достойного повода.

— Но вы ведь и без повода явились в первый раз?

— Тогда мы с товарищем просто заехали на велосипедах в открытые ворота, чтобы воды попросить напиться. И я не знал, что встречу вас.

— И что же?

— Ваш папаша купец первой гильдии. Мой род хотя и дворянский, но мы бедны. Я не хотел и думать о недостойном мезальянсе, Ангелина Харлампьевна, и решил предусмотрительно забыть о нашей случайной встрече.

— И что, забыли?

— Нет, не смог-с.

— А теперь, значит, вы уходите на войну и там погибнете, не помня о том, что я останусь на этом свете одна без вас, Александр Васильевич!

Весь этот скоропалительный бредовый разговор происходил вот в этой спальне, где сейчас живет в углу лишь жирный паук-крестовик, окна на восточную сторону выбиты, а из стены когда-то просочился голос, ясно прозвучавший в ушах Гели: «Он уйдет на войну, и смерть встанет между вами».

— Вы уйдете на войну и погибнете, и я больше не увижу вас, — повторяла она, как в бреду. — Поэтому я нахожусь перед вами почти голая. Смерть стоит между нами, вечная разлучница. Вы снимите с себя эти лохмотья, Александр Васильевич, и мы ляжем вместе в чистую постель. Вы только оттолкните в сторону смерть, которая встала между нами.

Геля шагнула вперед и, положив руки ему на плечи, потянулась губами к его поцелую. И он поцеловал ее. Потом сказал:

— Ангелина Харлампьевна, я отпросился из колонны на минутку, чтобы только попрощаться с вами. Если я не приду в Спас-Клепики вместе с колонной, я буду считаться дезертир и предан военному суду. Мы с моим товарищем — помните? —

пошли вольноопределяющимися. Колонна ушла уже далеко, мне надо скорее догонять ее, Ангелина Харлампьевна.

— Ничего, догоните. У меня верховая лошадь есть, вы на ней и догоните колонну.

— Но я не погибну на войне, родная моя. Обещаю, что вернусь живой, только чтобы встретиться с вами здесь же, — говорил между тем дрожащим голосом Александр.

В комнате, где живет сейчас один лишь жирный паук-крестовик, расчетливо и удачно развесивший свои тенета в углу, нагие юноша и девушка, Александр и Ангелина, взявшись за руки, подошли к белоснежной разложенной постели и легли в нее, оба сразу на спину, испуганно глядя в потолок.

Я понимал, что этим безумцам, на миг оторвавшимся от вещества остального человечества, необходима посторонняя помощь, нужен непроницаемый для чужих взоров покров, иначе им грозит неминуемая гибель. И я решил дать им этот покров, удалив их обоих, вместе с их ложем любви, на некоторое время из пространства данного времени и переместив в пространство другого, не трогая, однако, комнату девичьей спальни со своего места.

А через определенное время, как это бывает у людей, у Гели родился ребенок в этой же комнате, старшая сестра Варвара и повитуха вдвоем приняли роды. Отец Харлампий Архипочкин недавно умер, и никто из посторонних ничего не заметил. Ни в лабазе, ни в конторе, ни соседи не видели младшую дочь купца беременною. Всем неожиданно она потом предстала с ребенком на руках.

Варваре также был голос из восточной стены, возле которой она спала на кровати, той самой, на которой зачала своего ребеночка младшая сестренка Геля.

Голос из стены просочился ночью в самые уши Варвары, это был низкий женский голос помещицы Белохвостовой.

— Вы были так нужны мне, Сергей Иванович, но, презрев все мои мольбы, уехали на Балканы и там, я чай, сложили свою буйную голову. А теперь лежу я здесь одна, вы знаете, я за два года вся поседела, на подушке своей я нахожу свои длинные белые волосы...

Варвара слышала ужасные потусторонние пени женщины, понимая, что там, где сейчас сама находится, когда-то умирала от горя какая-то другая женщина, и ей, Варваре, так были понятны чувства этой женщины. И другое, с холодеющим сердцем, постигла Варвара: тут речь шла о любви, бестолковой, бессмысленной, необъяснимой, как и у ее младшей сестры Гели, и эта любовь вошла в жизнь и душу Гелину в призрачных одеждах смерти, поэтому бедная сестра не смогла противиться роковому чувству. Ибо любовь и смерть встретились в каких-то тайных коридорах окружающего пространства — и поменялись одеждами. Заморочив голову Ангелины образом неодолимой любви, смерть вошла в девушку раньше своего календарного срока, и, борясь противу ее вероломства, Геля безрассудно и безоглядно отдалась Александру на кровати своей старшей сестры. И на то, чтобы остаться в вечности с плодом от Александра, она смогла выхватить у смерти всего полчаса времени.

Обо всем этом Варвара раздумывала — грезилась — бредила долгими ночами, лежа под восточной стеной на своей узкой монашеской кровати и слушая сквозь полусон просачивающиеся из небытия иных времен голоса. Я мог донести голоса тех, кто проживал в моих комнатах на первом и втором этажах и в двух каменных пристройках на первом этаже, — от одного к другому, из помещения в помещение, из одного времени в другое. Две пристройки были приделаны ко мне с разных концов, в одной пристройке обычно жила прислуга, в другой располагались в разное время то конторка, то мастерские, то комната для зарядки кислотных аккумуляторов, то шерстобитка. Несколько лет в правой пристройке жила цыганская девочка Маша. Самопроизвольно голоса раздавались из северной стены на втором этаже. Я же не мог вступать в разговоры со своими жильцами. И я не способен был осведомить Варвару и Гелю, двух образованных купеческих дочерей, что голос, просачивающийся к ним из северной стены, был из других времен и принадлежал помещице Белохвостовой

Валентине Савельевне, которая одно время жила у доктора Курицына, открыто сойдясь с ним.

Она появилась у меня впервые в проходной комнате верхнего этажа, где доктор Сергей Иванович Курицын принимал больных.

На первом этаже в то время располагалась общая палата земской больницы, где Сергей Иванович с фельдшером Требухиным Петром Ивановичем и медсестрицей Козьевой пользовал лежачих больных, в основном мещан и крестьян Тумской волости.

В свое первое появление помещица Белохвостова пришла в пышном зеленом платье, с множеством кружавчиков на рукавах, с рюшками на шее, и капризным детским голосом обратилась к Сергею Ивановичу:

— Доктор, голубчик Сергей Иванович, сестра милосердия внизу в палате ставит клистиры, моей горничной сегодня со мною нет, так что вам придется, миленький, самому распустить мне шнуровку на спине.

И когда доктор помог расшнуровать зеленое платье, помещица Белохвостова сбросила его на пол, перешагнула через него и, встав перед ним в одних панталонах, молвила:

— Что скажете, мон шер? Я ведь безрассудная женщина?

— Безрассудная, Валентина Савельевна! — ответил, улыбаясь в усы, доктор, снимая с лица близорукие очки.

— Но ведь я хороша, Сергей Иванович? Немедленно отвечайте, хороша ли я? — говорила Валентина Савельевна, приближаясь к доктору.

— Хороша, ма шер Валечка, особенно сегодня, в этих панталончиках! Вы только гляньте! С кружавчиками на разрезе! Это специально для меня приготовлено, Цирцея вы моя?

— Ну конечно для вас, Сергей Иванович! Для кого же еще? И вы должны целовать! Целовать! Шалунишка!

И помещица своей белой ручкой нагнула бородатую голову сидящего на стуле доктора.

В моих стенах помещица Белохвостова поселилась уже немалое время спустя, когда разразилась какая-то война на Балканах и доктор Курицын Сергей Иванович решил идти на эту войну лейб-медиком при великом князе. Об этом его решении и пошел разговор, когда Валентина Савельевна со слезами на глазах вбежала в кабинет доктора.

— Голубчик, зачем вам идти на эту войну? Ведь вы, чай, не молоденький, а у вас даже семьи нет своей и детей наследных, Сергей Иванович. Ну, убьют вас на этой войне, что от вас останется на свете? Фамилию-то свою знаменитую кому оставите? Вы же один как перст, ни родных, ни братьев, ни даже сестер — никого, кроме меня грешной! Последний в роду граф Курицын! Куда же вы пойдете на войну? А меня как сможете оставить тут без вашей милости? — низким, почти мужским голосом говорила помещица Белохвостова, и этот голос впитывался в меня, когда она говорила, стоя лицом к восточной стене напротив доктора Курицына. И я через глаза Курицына увидел, как неузнаваемо исказилось мокрое от слез лицо женщины.

— Но я, матушка Валентина Савельевна, не могу не пойти на войну! — ответил ей доктор, отводя в сторону свои глаза. — Когда я осиротел, меня воспитали за счет казны по волеизъявлению великого князя, учиться определили в военное учебное заведение на медика, так что я выучился на лейб-лекаря, но был определен на цивильное служение, вплоть до военной ситуации. И я не могу, голуба моя, не пойти на войну, коли военное ведомство меня призывает! На то я присягу давал!

— Не хочу я, чтобы вы ушли на войну и там погибли, не помня о том, что я останусь на этом свете без вас! — своим низким голосом проговорила помещица Белохвостова, и эти ее слова почти на сто лет впечатались в восточную стену этой комнаты и просачивались из нее наружу постоянно, и ночами звучали в сновидениях тех людей, что спали в своих постелях у этой стены.

И когда такие слова возникли однажды в сонной голове Варвары Харлампьевны, старшей сестры Ангелины, то, проснувшись наутро, она в одно мгновение догадалась, от кого забеременела Геля. Строго допросив горничную Зину, она все выведала про вторую безумную встречу Гели со студентом. И когда Александр в 1922 году неожиданно появился в этой комнате, сильно прихрамывая, одетый в обрезанную выше колен шинель офицера царской армии, Варвара сразу сказала:

— Могу сообщить вам, что сестра перед смертью все рассказала мне о вас, и это дитя, которое вы видите перед собою, есть плод ее безумного чувства к вам. Звать Елизавета.

— Отчего умерла Ангелина Харлампьевна и когда же? — спрашивал Александр, обросший бородою, как мужик, сидя на стуле с вытянутой перед собою ногой, держа руку на трости с замысловатым набалдашником в виде козлобородого черта.

— Умерла она чахоткою в восемнадцатом году, когда Лизочке исполнилось три годика. Покойница признавалась мне, что совершила свой поступок под воздействием особенных слов, внушенных ей свыше, и я знаю примерно, что это были за слова, хотя сестра обошлась без подробностей.

— Что это были за слова? — спросил Александр, глядя на Варвару недоумевающими глазами.

— Слова о том, что вы уходите на войну и будете убиты, а она останется на этом свете без вас, сударь мой.

— Эти слова были сказаны и мне, я помню, но я-то ей обещал, что обязательно вернусь живым сюда, в этот дом, — вспыхнув самым неожиданным образом, чуть ли не с возмущением говорил Александр. — И как видите, я не обманул ее.

— Ах, голубчик, что теперь толку говорить об этом? Гели нет, и ее не вернуть. А вас, сударь, слишком долго не было, и не написали вы с войны ни одного письма.

— Я попал в плен после Брусиловского котла, был ранен, долго лечился в плену, в Австрии. Домой добирался с большими трудностями. Был задержан, прослужил еще в Красной армии два года. Опять был ранен. Я всегда помнил об Ангелине Харлампьевне, всей душой стремился к ней. Я любил ее, как Ромео — Джульетту, и эта любовь помогла мне выжить. Если бы вы знали, Варвара Харлампьевна, через что мне пришлось пройти. И у меня также чахотка, и я тоже скоро умру.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Александру, собственно, некуда деваться, матушка его, вдова, проживавшая в Ветчанах в захиревшем дворянском гнезде, умерла после революции, дом разграбили и сожгли мужики. И Варвара дала приют Александру в своем доме, где занимала верхний этаж. Первый был отдан под народную шерстобитную мастерскую, и орудовал там на своих самодельных станках внук Когина Кузьмы Ивановича, Володя Пушкин, трепал и бил овечью шерсть для всей Тумской округи. На первом этаже с утра до вечера стоял стук от двух станков, толкался в очереди народ с мешками шерсти.

В доме были произнесены тысячи и тысячи слов, прозвучали тысячи и тысячи разговоров, некоторые слова и речи почему-то впитались в мои стены навсегда, словно те бессмертные формулы и афоризмы, что бытуют в человечестве как вечные речевые бабочки, перелетая из века в век, из эпохи в эпоху. Разумеется, некоторые из этих бабочек залетали и в мой дом: «Бог дал — Бог взял», «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте...» Но за все мое существование всего один раз прозвучало в доме слово «протуберанец». Всего один раз и более никогда.

Оставшийся жить в доме Александр, вроде бы как отец при своей малолетней дочери Лизочке, был на самом-то деле отделен от нее ввиду боязни заразы туберкулезом, и его поселили в пристройке первого этажа, за шерстобиткой. Там обитала цыганская девочка Маша, воспитанница Варвары. И тут оказалось, что Александр, много лет побывавший в плену в Австрии, научился там малевать живописные картинки масляными красками. Поселившись у меня, он выпросил у Когина-Пушкина мешок из-под шерсти, распорол его, натянул на деревянный подрамник, загрунтовал столярным клеем, смешанным с мелом, сверху закрасил масляными белилами и нарисовал

первую свою картинку. На сюжет про то, как охотник в тирольской шапочке с пером, в коротких штанишках, с собакой и ружьем за плечом, встретил на опушке леса девушку в пышной юбке, в белых чулках, очаровательную и веселую. Картину-ковёр Александр срезал с подрамника и унес на рынок, откуда пришел довольный, с покупками — картошкой и с льняным маслом в синей резиновой грелке.

Он и дальше продолжал рисовать свои картинки-ковры, возил в Касимов, Спас-Клепики и вскоре поставил производство картин на широкую ногу. Этими картинками он и спас семью Архипочкиных в голодные годы, когда в соседней губернии, на Волге, говорили, были случаи массового людоедства.

Заехал в дом знакомый человек Александра, Гирей Гиреевич Рифатов, посмотрел на картины Александра и сделал вывод:

— Удивления достоин наш революционный народ. Повсюду свирепствует голод, голодающие ползком расползаются из городов в разные стороны — и находятся люди, которые покупают твои ковры, чтобы повесить на стены. Что делать с такими? Ловить их и расстреливать как контру?

— Думаю, ни вылавливать их и ни расстреливать не надо. Это же мужики и бабы из деревень, они меняют на продукты мои картины... Значит, какая-никакая, а красота им очень нужна в жизни. Ну что такое жизнь без красоты, Гирей, сам подумай. Зачем жить, строить дом, пахать землю — и сдохнуть в конце, напоследок дрыгнув ногою? Знаешь, Гирей Гиреевич, если не будет хоть немного красоты в этой жизни — она невозможна! Все гниет, и протухает, и пропадает, а красота остается! Посмотри на цветы, на красивую женщину и нарисуй ее. Что скажешь, Гирей?

— Контра все это, — ответил Гирей, выпил стопку водки и закусил соленым рыжиком.

И уже потом, когда Александр умер, Гирей Рифатов заезжал навестить Варвару Харлампьевну. С ним был еще один человек, тощий, с длинной шеей, в шляпе.

— Хочу посмотреть картины, которые Александр Васильевич дома оставил, не продал на базаре, — пожелал Гирей.

— Зачем вам? Разве вы понимаете что-нибудь в картинах? — усмехнулась Варвара.

— Что-нибудь понимаю, Варвара Харлампьевна. У нас в доме, в Плесе, Левитан останавливался, видел его в детстве. Ходил за ним, мольберт на плече таскал.

— Поэтому и понимаете в живописи, Гирей Гиреевич?

— Ладно, я вас не трогал, и вы меня не трогайте, гражданка Архипочкина, — спокойно молвил Рифатов. — Я привел к вам товарища иностранца, который был знаком с Александром Васильевичем в Австрии, когда тот был в плену. Товарищ приехал к нам специально для того, чтобы купить картины Александра Дашкова. Готов заплатить большие деньги и внести за покупку налог в наши финорганы.

— Картины, которые Александр Васильевич оставил дома, те, что не выносил на продажу, висят по стенам. Можете посмотреть, будьте любезны. — Сказав это, Варвара направилась к выходу на первый этаж, на ходу бросив: — Сейчас схожу вниз в пристройку, принесу еще две картины.

Когда она принесла две картины наверх, гости стояли посреди комнаты и разговаривали. Разговаривали, наверное, по-немецки. Когда Варвара поставила на пол картины, прислонив их к стене, Гирей Гиреевич обратился к ней по-русски:

— Это его картины?

— Да. Последние.

Иностранец долго смотрел на принесенные Варварой картины, потом показал рукой на одну из них и пространно что-то говорил Гирею.

Мои стены от создания своего впитывали в себя только русские слова, немного татарских и кое-что из того местного наречия, которое называлось мещерским. «Цера»... «Нарма»... «Култуки»... «Муташисья»... Немецкая речь и немецкое сознание мне были недоступны. Но Гирей Рифатов, образованный человек, от татарских корней, все прояснил своим переводом:

— Товарищ австриец покупает только одну эту картину, которую он называет «Дом с протуберанцами». Остальные картины находит очень слабыми, не достойными профессионального внимания. Но за единственную картину товарищ отваливает страшные деньги!

— Как он узнал про картины Александра? — спросила Варвара. — А за деньги спасибо, они пойдут на Лизочку.

— В плену в Австрии Александр и этот товарищ познакомились, его родители были фермерами, и Александр с другими пленными работал у них на мызе. Этот товарищ сам художник, он забрал Александра с поля к себе в мастерскую, чтобы растирать краски. Александр знал немецкий. И там, в мастерской, у него проявились большие способности. Товарищ Шоре говорит, просто великие способности. Он написал несколько гениальных картин, а потом однажды бежал из плена. И вот после революции австриец стал искать Александра и нашел его следы, но было уже поздно. Александр умер, и товарищ Шоре из Австрии считает, что после побега из плена и возвращения в Россию художник потерял свою гениальность и написал совсем плохие картины. Дальнейшей прогрессии его талант не получил, и товарищ Шоре покупает только эту картину, которая отдаленно напоминает те гениальные работы, что он создавал в плену в Австрии.

Австриец показал на ту картину, в которой изображался я в вечернее предзакатное время. Мне трудно судить о том, насколько похоже был я изображен, ибо я не мог видеть себя со стороны. На картине же был обычный русский купеческий дом о двух этажах, нижний из красного кирпича, верхний из дерева. На углу дома, возвышаясь над вторым этажом, торчала остроконечная башня. Таких домов вокруг меня было еще несколько, только без башни. Тума стояла на пересечении купеческих дорог — от Муром до Егорьевска и от Владимира до Рязани.

На картине я был изображен темным силуэтом, фасадом на зрителя, на фоне густо-малинового заката. А над островерхим коньком ввысь в виде брызнувшего огненного веера устремлялись потоки ярко-алого солнечного света, его сияющие лучи, само же солнце полностью было скрыто за остроконечным верхом крыши.

Картину увезли, и я не могу даже предположить, где, на каком месте этого мира может находиться она, в какой точке бесконечного пространства, в котором обитаем мы все вместе: дома, люди, картины, отдельные слова, зеленые деревья и травы, пауки, стрекозы, ползучие змеи и мелькающие в воздухе бабочки, — все, совоккупленные в один ком жизни. Картина. Картина безответна на мои призывы. А мне хотелось бы хотя бы еще раз увидеть ее.

Сейчас я нахожусь в состоянии некоего отпуска, что ли, или в положении безработного. На обоих этажах моих давно безлюдно, входная дверь на второй этаж стоит раскрытой. И там, где была приемная доктора, где была спальня сестер Архипочкиных, где проживало множество каких-то кратковременных квартирантов, где недолгое время была квартира библиотечарши-шахидки, где была при первом хозяине дома, купце второй гильдии Силкине, девичья его дочери Авдотьи, — теперь окна выбиты, в углу уверенно раскинул свои пыльные тенета громадный паук-крестовик.

Все эти люди и многие другие, что заходили сюда, уже умерли, а из восточной стены все еще сочится женский голос:

«Не хочу я, чтобы вы ушли на войну и там погибли, не помня о том, что я останусь на этом свете без вас».

Этот голос сопровождал Гелю Архипочкину до последнего вздоха, после которого грудь ее опала и больше не вздымалась, а по дороге мимо проходили тем временем батальоны латышских стрелков, и мерный грохот сапог сотрясал мои стены.

В доме было много разговору об этих стрелках, где-то в Гиблицах, в Колесникове они наводили революционный порядок, подавляли какой-то мятеж, в Колесникове поролли мужиков розгами, в Гиблицах расстреливали — под эти разговоры прошли похороны Гели, и женский голос из восточной стены надолго умолк.

Я вспомнил! У меня внизу, в правой пристройке, тогда же и появилась цыганская девочка лет десяти, ее привела с кладбища Варя после похорон Гели, та с голоду хватала куски с могил, отстав от своего табора, который спешно бежал из Гуся-Железного, когда там свирепствовали латышские стрелки. Цыганскую девочку звали Машей, она потерялась среди кровавых дел революции в округе, табор ушел в неизвестном направлении, и Варя привела цыганочку в дом. Ее поселили в пристройке, и она почти четыре года прожила там, туда был вселен и Александр Дашков.

Мне доподлинно известно, что между ним и цыганской девочкой ничего не было, спали они по разным углам пристройки, каждый на своем деревянном топчане. Но однажды, это уже после того, как Александр перешел жить на второй этаж и стал спать с Варварой в одной постели, цыганская девочка Маша устроила шумный скандал с выкриками, что Александр к ней приставал каждую ночь. Варвара тогда жестоко выстегала свою воспитанницу хлыстом для верховой езды, оставшимся после прошлой богатой жизни, когда для дочерей купец Архипочкин завел верховых лошадей.

И в тот же день цыганская девочка Маша сбежала — и появилась уже по смерти Александра. Это была красивая взрослая молодая цыганка. Она бросилась с объятьями к Варваре, потом приласкала, погладила по голове девочку Лизу, дочку покойных Александра и Гели, и произнесла громким уверенным голосом:

— Не подумай, Варюшка, чего плохого про Александра. Я наговорила на него тогда.

— А я знаю, — ответила Варя. — Александр все мне рассказал.

— Ай, это же я любила его, очень любила, хотя была мала еще, — уже тише говорила цыганка Маша. — Это все по ревности я. Это все она — любовь.

Сказано было слово «любовь», но от этого веселее не стало. Цыганка Маша поселилась у Вари, заняла вторую от входа проходную комнату, в первой была устроена кухонька. В третьей располагалась детская, там спала на своей кровати с точеными балясинами девочка Лиза, дочь умерших от чахотки Ангелины и Александра. В самой дальней комнате, изначально спальне купца Силкина, жила теперь Варвара Архипочкина, и после смерти Александра оставалась там висеть на вешалке кое-какая его одежда, офицерская шинель, обрезанная купо, до колен, и шляпа, в которой он явился после австрийского плена. И была прибита к стене картина-ковер Александра Дашкова, одна из тех, что малевал он на продажу: девица с толстенькими икрами в белых чулочках, с корзиною грибов на согнутой в локте руке, стояла перед пастушком, который был в расписном жилете, в коротких, до колен, панталонах. Он сидел на пеньке, нога на ногу, и они тоже были толстенькие и в белых чулках. А на голове пастуха — такая же шляпа, что висела рядом на вешалке с боку зеркала, только шляпу эту художник украсил дугою изогнутым пером какой-то ярко-красной птицы.

Как-то на втором этаже осталась одна цыганка Маша, а Варвара и маленькая Лиза куда-то ушли, и цыганка сняла с вешалки шляпу Александра и долго нюхала ее, закрыв глаза с длинными загнутыми остроконечными ресницами. Эти загнутые черные ресницы я увидел глазами самой же цыганки, устремленными в зеркало трюмо, три створки которого блистали рядом с вешалкой, дважды отраженные в зазеркальном мире одной из створок. Цыганка видела в зеркале самое себя как бы со стороны. Слезы выбегали из ее глаз и скатывались по смуглым щекам. Глядя на эти бегущие слезы молодой цыганки и на то, как она покрывает частыми поцелуями заморскую шляпу давно умершего человека, я и решил, что имеет место то самое понятие, которое другие люди и цыганка Маша выражали словом «любовь». Это все она, любовь, сказала юная цыганочка.

Но мне не пришлось ее глазами посмотреть ей же в глаза — прямым взглядом в зеркало, чтобы усмотреть в них какой-то коварный замысел. И я так и не понял, по какому это духовному порыву и по какому соображению сознания цыганка украла маленькую девочку Лизу. Однажды Маша тайком заварила в большой белой эмалированной кружке настойку из сухих маковых головок и, подмешав в чай, напоила хозяйку Варвару и маленькую Лизу. Ночью, когда они крепко спали, опоенные зельем, цыганка достала девочку из кровати, завернула в большой шерстяной платок и тихо

унесла ее из дома. На другой день, проснувшись поздно, где-то пополудни, Варвара не увидела ни девочки, ни цыганки и чуть с ума не сошла. Может быть, и сошла, ибо она, приходя домой откуда-то после бесплодных поисков племянницы, бегала по дому и выла, пучками выдирая из головы волосы. Бросалась в постель лицом в подушку и замирала, изредка била кулаками себя по голове.

Вскоре после этого Варвара Архипочкина навсегда исчезла из моих пределов, навсегда исчезла и цыганка Маша, убежавшая в ночь с украденной девочкой на руках, укутанной в большой серый шерстяной платок. Они выпали из моего пространства, как и многие жильцы дома, унесенные в беспредельность мира невидимыми ураганами своей судьбы.

Я и Нива

В комнате наверху стал жить человек, у которого был автомобиль. Мы с ним вскоре сошлись. Он первым предложил знакомство. Это произошло не сразу, а после довольно долгого времени.

— Я класса «Нива», из марки «Лада», четыре дэ, — сообщил он при знакомстве.

— Ничего не понимаю в машинах, — ответил я. — Объясни попроще.

— А попроще — я «Нива», зови меня Нивой.

— Идет, — согласился я. — Давно служишь хозяину?

— Это он служит мне, а я вожу его. Только он служит плохо.

— Почему плохо?

— Ничего не понимает, не знает, что мне нужно.

— Как же это?

— А вот так. Может ездить, не подливая масла, пока не загремит двигатель. Уже давно растянулась цепь зажигания, а он не подрегулирует.

— Может быть, не слышит?

— Кто его знает, может, и не слышит. Но одно я знаю точно — не любит он меня.

— Да что же ему любить тебя? Или ты человек? Ты же машина.

— В том то и дело, что я машина, не человек. Это и позволило мне узнать, что он не любит меня.

— Как же это, Нива? Что-то сложновато для меня.

— Ничего сложного. Хозяин часто возит на моем правом сиденье разных женщин. Всем говорит, что любит их. А мне никогда этого не говорил. Он этих многих привозил к тебе, Дом, и они ночевали с ним.

— И он говорил это хриплым голосом? Что любит их? — полюбопытствовал я.

— Говорил, но не обязательно хриплым голосом. Иногда он говорил сладким даже голосом. А часто ты слышишь такое у себя? — поинтересовалась машина.

— Нет, Нива, не часто. И вообще, у меня в моих комнатах происходило много мужских историй с женщинами, но что-то не могу припомнить того, чтобы другие мужчины, как этот твой хозяин, говорили бы женщинам о своей любви хрипло или сладко. Скорее всего, только женщины произносили слова любви.

— Вот-вот! Я о том же. Хозяин говорил женщине, сидящей рядом на правом сиденье, «я тебя люблю», клал руку на ее колено или, остановив машину где-нибудь на опушке леса, наваливался на нее.

— Ну и продолжением этого или, скажем, завершением являлось действие, что происходило в дальней комнате на втором этаже, где твой хозяин живет, — уверенно предположил я.

— Не всегда, не всегда!

— Что значит не всегда, Нива?

— Не всегда продолжение или завершение происходило в твоей комнате. У меня передние сиденья откидываются и раскладываются так, что образуются спальные места, и хозяин частенько использовал их по назначению. При этом он, грузный

мужик, большого роста, так раскачивал мои рессорные пружины, что я даже опасался, как бы они не поломались.

— Ну, ты, брат Нива, рассмешил меня. Стальные рессоры поломать раскачкою — мыслимое ли дело? Ты поэт в своем роде, Нива!

Такой разговор произошел при нашем первом знакомстве. После этого долго не было у нас общения, потому что его хозяин, мой жилец, уезжал куда-то с самого раннего утра и задерживался допоздна, и утомленный Нива не имел никакого желания общаться со мною. Устало повздохав во дворе перед крыльцом, долго остывал, потрескивая, и потом тихо спал до утра. И спящего я его не беспокоил своими разговорами, хотя мне хотелось кое о чем спросить Ниву.

Вот, например, о том, куда его хозяин отвез ту женщину, которую он привез однажды поздней ночью, а через совсем небольшое время увез куда-то? Они только посидели за столом друг против друга, не разговаривая, молча переглядываясь, причем каждый делал это исподтишка, и когда сидящий напротив ловил на себе чужой взгляд, тут же отводил свой собственный в сторону. А потом оба вдруг вышли из дома, и ты увез их за раскрытые ворота.

Не вспомнит ли Нива про этот случай? Ведь было совершенно невиданное дело для его хозяина, который привозил по ночам множество женщин к себе и со всеми проделывал одно и то же, быстро и нетерпеливо, а потом отворачивался от женщины и засыпал, громко всхрапывая. Некоторые женщины зажигали свет и начинали одеваться или поправлять одежду, если нетерпеливый мужчина не удосуживался дожидаться, когда она разденется. Но иногда он принимался сам ее раздевать, делая это не очень умело, грубо и нетерпеливо. Он стаскивал с нее брюки, если она была в брюках, предварительно опрокинув ее на постель, и буквально вытряхивал ее из штанин. И я спросил у Нивы:

— Ты однажды привозил хозяина с женщиной, которая совсем недолго пробыла с ним, а потом хозяин увез ее. Не помнишь, куда он ее увез среди глухой ночи?

— Разве могу я запомнить всех, кого привозил, куда увозил? — равнодушно ответила машина.

— Но это было всего однажды, причем ночью. Ты должен был запомнить это, Нива, — настаивал я. — Не бывало такого с ним и после.

— Почему тебя так это заинтересовало, Дом? — усмехнувшись, ответила машина. — Тебе не все равно, что делают люди друг с другом? Ведь они нас, свои машины, свои дома, совсем не жалеют, плохо служат нам, хотя мы их и возим, и оберегаем, и укрываем. А ты, старый дом, как будто жалеешь их?

— Тебе суждено быть с людьми совсем недолго, — ответил я Ниве. — А вот я с ними уже около двухсот лет. И тебе не понять, как старые дома пропитываются человеческим духом. Стены и потолки проникаются горьким дымом избыточного страдания, оно никак не уходит в небытие. Тебе с железным твоим корпусом и стальным сердцем никогда не пропитаться избыточным отчаянием человека, которое, раз возникнув, никогда уже не исчезает, впитывается во все поры окружающих стен, в землю, в скалы и даже в воду, если отчаяние настигает человека в воде. Например, у того, кто упал ночью с корабля в океане. Об этом я узнал из одной библиотечной книжки. Там было подробно рассказано о том, что испытывал и о чем думал человек, прежде чем утонуть одиноким в открытом море. Глянув из воды в небо, он увидел в просвете тучи одинокую звезду и подумал, что если бы он сумел оказаться сейчас на этой звезде, то спасся бы, наверное, и не утонул в море. И эта отчаянная надежда мгновенно растеклась пленкой по всему соленому океану.

О подобных вещах размышлял и, наверное, писал на бумаге один курчавый усатый человек, который на какое-то время появился у меня в особенной комнате, в башенке, торчащей на моем северном углу. Я говорю о человеке с именем Альберт Эйнштейн. Он, уединившись в башне, размышлял о том, что если двигаться со скоростью света, то можно преодолеть смерть или потерять самого себя. И тому подобное.

Появившись в башне, он первым делом срезал с пеньковой веревки висевший на ней белый человеческий череп, положил его на лавку перед собою, а сам что-то усердно писал, стоя на коленях перед лавкой, записывая на листах бумаги какой-то низвергающийся из него бесшумный словесный поток. Время от времени он вскакивал с пола на ноги и, почесывая кончиком пера в седых кудрявых волосах, принимался с возбужденным видом расхаживать по тесной башенке, что-то шепча самому себе. С победоносным видом поглядывал при этом на белый череп, который спокойно лежал на конце широкой лавки, темнея ямами глазниц и скаля два ослепительных ряда безупречных зубов.

О, мне очень хотелось знать, что пишет этот немолодой усатый человек, с шевелюрою всклокоченных курчавых волос, ознакомиться с удивительными мыслями, которые приходят в эту голову. Он явился из того же миропространства, где мы все едины, живые и мертвые, где никто никогда не знает, впрочем, почему и когда он появился там, где он появился и отчего его зовут, скажем, Альберт Эйнштейн. В сущности, мы все неинтересны друг другу, ни о чем не расспрашиваем у другого и не особенно расположены к разговору, в особенности, если ты двухэтажный купеческий дом — низ кирпичный, верх деревянный, — а визави твой усатый сморщенный человек с буйными кудрями, неожиданным образом появившийся у тебя. И я тогда сам обратился к нему:

— Ваше появление здесь, в моей башне, дает мне возможность предположить, что мы с вами состоим из одних и тех же элементарных частиц, которые все друг о друге знают.

— Скорее всего, так оно и есть, коли я слышу вас на русском языке, — ответил этот человек. — Я немного говорю по-русски. Итак, что же из всего этого следует?

— Да просто мне стало любопытно, зачем вы из своего пространства перешли в мою башню и почему так беспокойно выглядите, Альберт Эйнштейн? И что это вы там все пишете в своих бумагах?

— Отвечаю последовательно, в порядке заданных мне вопросов. Первое. Я не мог не прийти сюда, когда вы небрежно, мимоходом обмолвились, что преодолели некоторое пространство со скоростью большей, чем скорость света. Я не вижу вас и не знаю, чей голос я слышу, но заявляю вам со всей ответственностью, что вы ошиблись, господин инкогнито, — ибо скорость света есть величина абсолютная, большей скорости просто не бывает. Ответ на второй ваш вопрос: я выгляжу беспокойно потому, что весьма возмущен этим вашим безответственным заявлением. Таковое вообще не должно было прозвучать во Вселенной, где неизбежно царят научно обоснованные законы.

— И тем не менее, господин Эйнштейн, со мною это произошло — я двухэтажный Дом — низ кирпичный, верх деревянный, — и я проделал путь до Москвы и обратно, не стронувшись с места. Время преодоления пути туда и обратно — ноль. Так какая же при этом была скорость? Но это, уж извините, еще один вопрос, а вы не ответили мне на третий: что вы так бурно пишете, уединившись в моей башне?

— Я уже давно умер, но все еще не могу завершить работу над Единой теорией поля, — был ответ. — Если вы дом, мыслящее существо, такое же, как я, то прошу оказать мне милость: разрешите еще немного побыть в вашей башне, ибо я подхожу к очень важному моменту в своей работе.

— Извольте, господин Эйнштейн, пробудьте у меня сколько вам будет угодно. Надеюсь, ничто не мешает вам?

— О, единственное — это не дает мне покоя загадка: что за череп висел здесь на веревке? Прошу прощения, но я снял его с веревки, положил на лавку. А то висел над головою и как будто заглядывал в мою рукопись.

— Это череп одной бедной татарской женщины из Касимова, — ответил я. — Она была из гарема татарского мурзы. Погибла из-за своей любви к моему первому хозяину.

И я поведал Эйнштейну жутковатую историю русско-татарской любви, закончившейся столь плачевно и нашедшей свой мемориал в моей башне.

Эту узкую деревянную башенку затеял выстроить первый мой хозяин, купец Силкин, запер ее на огромный амбарный замок и никого не пускал туда, да и сам побывал там, как мне помнится, всего несколько раз за всю свою жизнь. Ничего он там не делал, уединившись, лишь молча озирает стены и потолок, сидя на тяжелой широкой лавке, единственном предмете мебели. Затем надолго замирал, уставившись в белый человеческий череп, висевший на пеньковой веревке. Потом он вставал с лавки, подходил к одному из узких окон, выходивших на три стороны света, смотрел на ямскую слободу Тумы и после молча уходил восвояси, гремя сапогами по дубовым ступеням крутой лесенки, выходил через нижнюю дверь, которую вновь запирает на амбарный замок. Когда же купец умер, никто не знал, где ключ от этого замка, и башня оставалась неприступно запертой чуть ли ни на целое следующее после купца поколение Силкиных. И лишь к тому времени, когда меня продали земскому чиновнику Свистунову и в доме завелись совсем другие порядки, замок был спилен вместе с проушиной и остался болтаться на массивной кованой железной навеске.

Свистунов, обедневший помещик, осмотренную им единолично башню снова закрыл, велел дверь, выходившую на лестничную площадку второго этажа, наглухо забить большими коваными гвоздями. Я чувствовал, как у этого лысого, с бородкой клинышком, с тонким голосом, беспокойного человека заколотилось сердце и в душе зародилась какая-то смута, когда он первый раз в одиночку забрался в башню и увидел висевший на веревке белый череп. И туда больше до самого своего конца не пытался попасть и никого другого не допускал.

И следующим человеком из Тумы, пробравшимся в необжитую, невесть для чего построенную островерхую башню, был хозяин «Нивы». Он открыл дверь, немало потрудившись топором и шестигранным гвоздодером, и заполз наверх, шаря руками по пыльным ступеням лестницы — в полной темноте, ибо ни лучика света не проникало в узкую трубу башни. Он вошел в ее клетушку-фонарь, подошел к непроницаемому от пыли и грязи окну и приник лицом к мутным стеклам, глядя на редкие огоньки ночной Тумы. Так простоял он долго, до самого рассвета, и только тогда увидел, что на конце широкой лавки лежит и скалит зубы белый череп. Равнодушно посмотрев на него, он спустился вниз, помыл руки под рукомойником и повалился спать.

— Это произошло в ту ночь, Нива, о которой я тебе рассказывал, когда твой хозяин привозил ко мне женщину, посадил ее за стол, сел напротив и через некоторое время, молча поглазев на нее, вдруг поднял ее со стула за подмышки и увел из дома. И вот, через какое-то время, вернувшись назад, выдрал шестигранным гвоздодером кованые гвозди из забитой башенной двери и вошел в башню, и сидел там до самого рассвета.

— Когда он тащил ее вниз, у нее на шее была синяя косынка? — спросил Нива.

— Синяя? Не помню, — ответил я. — Я плохо различаю цвета ночью.

— А я цвета запоминаю хорошо. Нас первым делом раскрашивают. Серийные цвета. Свой цвет ведь не забудешь. Я вот охра золотистая. Другим не буду.

— Ты железный, на металле краски держатся отлично, долго сохраняются. А мой низ кирпичный, его вообще не красили, а верх красили много раз и всегда в разные цвета. Разве тут запомнишь?

— Но косынку-то на шее у женщины ты запомнил? — настаивал Нива.

— Кажется, была косынка. Моталась у нее на шее, свободно повязанная.

А почему ты спрашиваешь про косынку, Нива?

— Если это была та косынка, то и женщину я вспомнил, и ту ночь помню, когда она появилась на дороге передо мною при свете фар. Шла посередине дороги, не оглядываясь, мы подъехали совсем близко, посигналили, она идет себе по-прежнему, не оглядываясь.

— Вижу теперь, — ответил я Ниве. — Вижу глазами твоего хозяина. Слышу его ушами. Наполняюсь его словами.

Женщина была небольшая, с широкими бедрами, шла быстро, нагнув голову, словно хотела что-то разглядеть под ногами, от которых на асфальте дороги впереди нее шевелилась длинноногая тень, уходя далеко вперед и сливаясь с темнотой ночи.

— На шее этой женщины была синяя косынка, — сказал Нива, — потом он повязал косынку вокруг зеркала заднего обзора, и теперь она всегда перед его глазами, когда он сидит за рулем.

— Что произошло на дороге, можешь вспомнить, Нива? — спросил я.

— Теперь могу. Косынка висит и сейчас в кабине спереди. Когда мы подъехали на тихом ходу близко и хозяин дал сигнал, женщина остановилась и повернулась, отгораживая глаза выставленной ладонью, потом ушла на обочину. Хозяин объехал женщину, потом остановил меня, бросил двигатель на холостом ходу, выскочил из кабины и подбежал к ней. Они стояли в трех метрах от меня, я — посреди дороги, чуть наискосок, фары мои горели на ближний свет, мне хорошо было видно их и все слышно.

— Тебе что, жить надоело? — говорил хозяин. — Лезешь под колеса! Пьяная, что ли?

Женщина ничего не ответила, только вдруг отвернулась и пошла прочь по дороге. Но хозяин быстро догнал ее и схватил за руку. Она не вырывалась, однако отворачивала от него лицо.

— Ты пьяная, что ли? — крикнул хозяин. — Куда летишь ночью?

Женщина не ответила, лишь старалась круче отвернуться от него в сторону.

— Ты чего плачешь? — сказал хозяин. — Чего, спрашиваю, плачешь? Ходишь ночью одна по дороге и плачешь.

Она не ответила, но и не вырывалась. Тогда он потащил ее в машину. Открыл переднюю дверцу, затолкал на сиденье женщину, потом захлопнул дверцу, предварительно быстренько утопив на ней кнопку автоматического запора. Потом обошел меня спереди, моргая глазами под ярким светом фар, и забрался на свое водительское место. Сидя за рулем, посмотрел на женщину, будто сомневаясь, не сбежит ли она, все же на всякий случай пристегнул ее ремнем безопасности. Женщина, однако, сидела не двигаясь. Хозяин отвел меня на обочину, остановил на холостом ходу и, потушив фары, оставил одни подфарники и зажег свет в кабине.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Зубцова, — ответила женщина.

— У тебя не фамилию спрашивают, а как звать тебя.

— Зубцова, — ответила женщина.

— Ну, Зубцова так Зубцова. Чего шатаешься ночью по шоссе, под машины лезешь, Зубцова?

— У меня муж умер.

— Где умер? Когда?

— В больнице, в Снохино. Тут рядом.

— Знаю эту больницу. Когда умер?

— Сегодня ночью.

— Так ночь еще только начинается!

— Он умер час назад. Я выпрыгнула из палаты через окно, побежала.

— И куда же ты побежала?

— Не знаю... Выпрыгнула из окна и побежала.

— Почему из окна? Ты, Зубцова, или как тебя там, расскажи мне по-человечески, что случилось, отчего умер муж, чем болел.... Приди в себя, расскажи мне. Все мы люди-человеки, у всякого своя болячка. Какое имя у тебя?

— Люда.

— Чем болел твой муж, Люда?

— Туберкулез костей. У него позвоночник сгнил. Он не мог даже сидеть, только лежал на больничной койке на спине. Я к нему перелезала через окно, он хотел меня любить, не гляди, что больной. Плакал, целовал меня, а я тихонько садилась на него. Ему было хорошо. Он смеялся, уже не плакал. Шутил даже. Козел чесоточный, говорил на соседа. В палате был один сосед, старый пенсионер, бывший учитель. Сначала он злился, плевался, зажигал свет и хотел звать медсестру. Потом ему надоело злиться или он подобрел. Спал себе, похрапывал, когда я перелезала ночью через подоконник в палату.

— А сегодня что случилось? — спросил хозяин у женщины.

— Он умер, когда я была с ним. Тихонько ойкнул и перестал двигаться. Я испугалась и убежала назад в окно. Старик-сосед даже не проснулся. А я вышла из больничного двора на дорогу и пошла.

— Куда же ты пошла?

— Не знаю. Мне страшно. Скажут, что я его убила. Позвоночник ему сломала, ему ведь двигаться было нельзя. Меня однажды медсестра поймала, хотела выдать главврачу, потом пожалела, сказала мне: в мою ночную смену не смей приходить, а там как хочешь.

— И что же ты, Люда, думаешь теперь делать? В милицию идти? Или скрывать все?

— Не знаю, дядя. Очень страшно.

— Дети есть?

— Нету, не успели. Я же его как любила... И он меня до слез любил. Не хотел умирать. А вот сегодня умер.

— Вот что, Людка. Сейчас поедем ко мне. Там и подумаем. Что-нибудь до утра придумаем.

— Так говорил мой хозяин и привез женщину сюда. А дальше ты сам все знаешь, — сказал Нива.

— Не все знаю. Они тут сидели за столом друг против друга и ни слова не сказали. Потом хозяин взял ее, приподнял со стула и повел вниз по лестнице. И дальше только ты знаешь, наверное, что с ними было, я же ничего не знаю... Рассказывай, Нива.

— Дальше ничего особенного не было. Хозяин привез женщину, Зубцову эту, на то же самое место, посадил на дорогу и, развернув меня, один вернулся домой. Женщина осталась ночью на той же дороге возле Снохинской больницы. С тех пор она исчезла из моей жизни, куда входили, забираясь в мою кабину, довольно много людей, мужчин и женщин, и я забыл, как она выглядела. Но от нее осталась памятка: синяя косынка, которую хозяин подвязал к зеркалу заднего обзора.

Он в ту ночь, выкинув на дорогу женщину, вернулся домой и стал открывать уж более чем сто лет как заколоченную дверь, ведущую на башню. И повозившись немало, выдернув с помощью шестигранной монтажки с полдюжины кованых гвоздей из двери, он открыл ее, взобрался на башню.

Пока он там находился, стоя у высокого узкого окна и разглядывая редкие огни ночной Тумы, я представил на его месте другого человека — помещика Свистунова из земской управы, который и велел заколотить дверь коваными гвоздями. Я вспомнил, что когда-то Свистунов один сидел в башне, с ужасом выпучив глаза на свисавший сверху на пеньковой веревке белый череп, к нему через меня просочился голос купца Силкина, что еще сильнее напугало помещика Свистунова. Ему показалось, что голос возникает от черепа, из душного застоявшегося воздуха, и колотит его по ушам, словно набатный звон.

— Я этот теремок выстроил для Адильки, в Касимове ее из гарема Шамя Усманова выкрал. В Касимове одни татары крестились, а другие в своей вере оставались, и у них по две-три жены имелось. Я Адильку выкрал и хотел в эту башенку запереть, а Шамя со товарищи, конокрадами и разбойниками, догнали, стянули Адильку с коня, а меня хотели зарубить, но я не дался, ускакал. Адильке они голову отсекли, бросили ее в лесу. А дознания не было, сам касимовский пристав боялся этого Шамя. И ты сюда больше не ходи и никого не пускай, не то я тебе самому голову оторву и всякого непрошеного соглядатая буду зубами рвать.

После этих услышанных в башне слов, переданных от Силкина через меня, Свистунов и повелел снова забить коваными гвоздями дверь. И до самой его смерти и еще лет семьдесят после она не открывалась. А умер Свистунов в задней комнате на втором этаже, где умирали все те, кому суждено было умереть у меня. И в ночь, когда хозяин «Нивы» открыл башню и взобрался на нее, призрак чиновника (из бывших помещиков) Свистунова, лысенький, с бородкой клинышком, похожий на Ленина, явился пред очарованным человеком, хозяином «Нивы», и окончательно свел его с ума своим страшным рассказом.

О Ленине лет сто говорили в моих помещениях, говорили разное — то он вождь всемирного пролетариата, то любимец всех красных китайцев, то кремлевский мечтатель — ничего толком из всего этого я так и не понял. И видел всего лишь его портрет в коричневой деревянной рамке, который висел внизу на первом этаже, когда в лабазном помещении создали библиотеку, а потом этот портрет Ленина, похожий на Свистунова, исчез со стены, и о нем в доме совсем перестали упоминать — это почти через сто лет после того как впервые упомянули о нем в те времена, когда мимо меня прошел батальон латышских стрелков, сотрясая мои стены ударами подкованных сапог о брусчатую дорогу.

Когда хозяин «Нивы» потащил вниз женщину, рывком подняв со стула, обхватив ее обеими руками под мышки, она крикнула, показав на дверь, ведущую на башню:

— Это кто там?

— Там никого, — ответил хозяин «Нивы» (еще не побывавший в башне) и хотел дальше тащить женщину, но она уперлась и стала вырываться.

Они долго возились на лестничной площадке, женщина не хотела спускаться, кулем шмякнулась задом на ступеньку лестницы.

— Ты чего упираешься? — начиная злиться, спрашивал хозяин «Нивы». — Чего надумала?

— Муж не умер. Он там, за дверью. Я чувствую это. Он перебрался туда. Он был тепленький еще. Он не умер, он перебрался туда, за эту дверь, — убежденно, настойчиво, почти спокойно говорила женщина, показывая пальцем на дверь, ведущую в башню. — Открой ее.

— Ты чокнулась на самом деле или притворяешься? — рассердился хозяин «Нивы». — Не будем дальше обсуждать твою дурацкую версию, шагаем дальше.

И он опять поднял за подмышки женщину и безжалостно столкнул ее по лестничному маршу.

— Вот почему, — сказал Нива, — хозяин так нервно крутил баранку и повторял про себя одно и то же: ну, попался я, ну, вляпался.

— Что бы это значило, Нива? — спросил я.

— А он, когда вез ее к тебе, думал совсем другое. Он жалел ее. Он думал: неужели ее судить будут? Надо ее уговорить, чтобы она сама пошла в полицию и все рассказала, как дело было. Определят чистосердечное признание, непреднамеренное убийство, дадут минималку, а то и вовсе условный срок... Вот как он думал, когда вез ее к тебе... И вовсе по-другому, с другим, дурным, чувством, — когда вез ее назад, на то же самое место, где подобрал.

— Чего же он думал, когда вез ее ко мне? — спросил я.

— Он думал: успокою, уговорю ее, пусть побудет у меня до утра, а утром отвезу ее в полицию.

— И почему же у него изменились намерения? — задумался я.

— Это тебе лучше знать, — молвил Нива. — Все в дальнейшем происходило на твоём втором этаже.

— Я почти двести лет имею дело с людьми, которых немало побывало у меня, — но я так и не понял их и никогда как следует не понимал. Они начинали жалеть человека, когда он уезжал, пропадал где-то в далеких краях или умирал и исчезал из их жизненного пространства навсегда. Когда же он был рядом, чего только не позволяли в отношении него — и ругали, и били, и обнимали, и целовали, и любили, и снова ругали и били, кричали на него и снова любили. Когда люди умирали, то по ним начиналась в душе оставшихся еще в живых такая неизбывная печаль, такая тоска невозвратности, что эти люди тихо сходили с ума, не замечая за собой этого. Или сами устремлялись к смерти, дорога к которой пролежала всегда через какую-нибудь неизлечимую болезнь. Нередко кто-нибудь кончал самоубийством. На Руси обычно вешались или топились. Об этом любил порассуждать доктор Сергей Иванович Курицын, когда оставлял у себя на ночь помещицу Белохвостову и всегда для чего-то пугал ее и вгонял в тоску после своих с нею неистовых любовных утех. Так

продолжалось до тех пор, пока помещица не переехала к доктору на постоянное сожительство и не поселилась у него. А сам доктор, когда вернулся с войны без одной руки, с крестом на груди и офицерским пенсионом, когда узнал, что помещица Белохвостова сбежала куда-то с каким-то заезжим цирковым акробатом и сгинула где-то в Соединенных Штатах Америки, — Курицын, последний в роду граф, запил горькую вместе со своим фельдшером Петром Ивановичем Требухиным, допился до белой горячки и повесился в кабинете.

Хозяин «Нивы», значит, вернулся ночью после того как отвез на то же место, где подобрал ее, — женщину, вроде бы сошедшую с ума, раздербанил дверь в бревенчатую башню, забрался на нее и просидел там до утра. И вот я увидел его глазами — когда рассвет окрасил край неба над Тумою в тускло-розовый цвет, — как на краю лавки, где сидел хозяин «Нивы», лежит и скалит на него белые зубы человеческий череп. Этот мужчина не сделал никакого движения, не вскочил, не отшатнулся, когда, обернувшись на лавке, вдруг увидел рядом мертвую кость человеческой головы, уставившую на него черные круглые дырки глазниц и выставившую два ряда безупречно ровных белых зубов словно в дружелюбной улыбке. Хозяин «Нивы» смотрел на череп, не отводя глаз (через которые я смотрел на эту жуткую картину), и час, и два часа. Точно так же смотрел на него лет за тридцать до того и Альберт Эйнштейн, просочившийся по коридору своего пространства из Австрии, чтобы побыть в абсолютном уединении от всего человечества и поработать над бумагами, как объяснил он мне. Для этой цели он выбрал бредовый участок русского захолустья, городок поселкового типа Туму, путь куда ему подсказал его родственник Готлиб Шоре, приезжавший ко мне купить картины Александра Дашкова. Он купил тогда всего одну картину, которой дал название «Дом с протуберанцами», и это был мой портрет с башнею на левом углу.

Итак, Альберт Эйнштейн не дрогнул, увидев подвешенный белый череп, — но просто снял его с веревки и поставил на конце широкой сосновой лавки. Потом стал работать, стоя на коленях перед лавкой, разбросав по ней листы бумаги. Работал весь день, не отрываясь от них, лишь время от времени поднимал голову, чтобы взглянуть на череп — как бы переглядываясь с ним. Он исчез из башни столь же внезапно, как и появился в ней, на прощанье склонился к черепу татарки Адильки и шепнул ей в ушко что-то совершенно для меня непонятное: «С моей формулой люди могут ни о чем не беспокоиться, у них в руках неиссякаемая энергия для прогресса — или они сожгут сами себя. Но я написал дочери письмо, которое она должна передать людям после моего ухода, и в нем я указываю энергию, превосходящую по силе во много раз ядерную. Эта сила таится и в тебе, голубушка, — сказал Эйнштейн, поглаживая ладонью гладкий череп, — и, умноженная на квадрат скорости света, способна спасти человечество от самоуничтожения».

И перед тем как исчезнуть из башни по своему коридору пространства, Альберт Эйнштейн сказал мне: «Спасибо за приют и гостеприимство, столь необходимые для главной моей работы. Единая теория вселенной есть! И я должен признаться тебе, ты был прав в своем утверждении, Дом. Есть скорость быстрее скорости света. Это скорость сознания во вселенской игре разума, скорость полета любви».

Хозяин же «Нивы» утром спустился с башенки, снова забил дверь старинными коваными гвоздями и продолжал мотаться где-то на своей одышливой «Ниве». Но стал много пить вина, часто возвращался на машине вдребезги пьяным. Однажды заехал во двор, остановил машину и выпал из дверцы на землю.

Он лежал у крыльца и, скосив глаза, смотрел вверх, на угловую башню. Там на фоне сиреневого вечернего неба сверкало огненным зрачком стекло с отраженным лучом закатного солнца. Это был огненный луч моего взгляда, летящий прямо в зрачки лежащего на земле пьяного человека. Он смотрел мне в глаза, но я — дом, старинный купеческий дом в два этажа, нижний из красного кирпича, второй этаж и башенка деревянные; никаких глаз у меня не имеется, я смотрел на окружающий мир и на все, что находится у меня внутри, глазами тех призрачных людей, которые жили во мне хозяевами, квартирантами, призраками, случайными постояльцами. Я смотрел

на лежащего возле колес своей машины полуживого от алкогольного отравления ее хозяина, и он смотрел мне в глаза — в глаза какого-то человека, который сидел в деревянной башне сто, может быть, все сто пятьдесят лет земного времени тому назад. Его истомленный дух впитался в мои стены еще до того времени, когда я лет через двадцать после новоселья купца Силкина стал потихоньку ощущать самосознание через человеческие слова, впитанные моими стенами. Чья душа должна была быть заключена в башенку, и попала ли она туда случайно, а если и так — что случилось с нею?

И отчего больше века башня с такой неземной силой и столь мучительно воздействовала на самых разных моих обитателей? Что за томительность, какая непреходящая боль и чья жгучая неутоленность были заключены в ней?

Вот ты, такой истрепанный автомобиль «Нива», уныло стоящий над выпавшим из левой дверцы хозяином, упокоившим свою наполовину седую голову возле твоего переднего левого колеса, — ты такое же насильно созданное волею, сознанием и руками человека сооружение, насильно и даже вопреки сопротивлению материалов. Получивший человеческое сознание — безо всякой для себя надобности, — ты брат мне по рабству неверным двусмысленным хозяевам, кои по-русски зовутся людьми. Мы их рабы от рождения и до самой смерти. Я, каменная машина, везу их вместе с матушкой-землей лет по сто или даже тысячу, а ты возишь их на себе лет до полста от силы, и то если не попадешь в сокрушительную аварию или не свалишься где-нибудь с моста. Ты мне брат по рабству от людей, и я расскажу тебе, кто смотрит на тебя и на твоего пьяного хозяина пылающим огненным зраком из моей деревянной башенки. Слушай, Нива.

Явившись в башню в образе земского деятеля помещика Свистунова, столь похожего на Ленина, призрак иных времен сильно напугал хозяина «Нивы», который, будучи в недавнем прошлом партийным коммунистом, и впрямь принял привидение за ожившего Владимира Ильича Ленина и пал перед ним на колени, ожидая немедленного расстрела за предательство дела партии. Но фантом Свистунова еще больше напугал бывшего партийца, ставшего мелким капиталистом, — до запредельных возможностей ужаса, — пересказав ему слова другого призрака, купца Силкина, моего строителя-основателя.

— Мне дух Силкина вот на этом же месте сказал, что украл жену татарского мирзы Гирея Усманова, Адильку, и хотел ее спрятать сюда, в башенку, чтобы любить ее одному и никому не показывать. Но его догнали в лесу люди Гирея, стащили с коня украденную Адильку, сам же Силкин ускакал. Адильке они отрезали голову и бросили ее в лесу на съедение зверям. Силкин потом вернулся тайком, похоронил тело, а голову забрал с собой и спрятал в башне. Он подвесил ее на веревке, чтобы приходить и смотреть на нее, так сильно он любил эту татарку. Силкин сказал, что за один день и одну ночь ее съели шершни, построившие гнездо в стене башни под деревянной обшивкой. На веревке осталась висеть обглоданная шершнями белая кость, и Силкин потом навевался в башню, чтобы смотреть на голый череп.

Такими словами рассказывал эту жуткую историю, которую я еще не знал, земский чиновник Свистунов — призрак — твоему хозяину в ту ночь, о которой речь. И на минуту, весь озарившись неземным ярчайшим светом, наполнившим всю башню и вырвавшимся из нее через окна к небу, фантомный чиновник показал твоему хозяину, Нива, белый череп, лежавший на конце широкой лавки. Картинка оказалась и для меня страшноватой, а для твоего хозяина и вовсе роковой. С той ночи его душа смутилась, должно быть, и сознание покатилося по наклонной, он стал пить, и я уже ни разу не видел его трезвым.

— Отчего это происходит? — спросил у меня Нива. — Почему люди сходят с ума, спиваются насмерть? Почему твой строитель, купец Силкин, подвесил голову татарки на веревке, а мой хозяин привязал на зеркало заднего обзора голубую косынку?

— Наверное, потому, Нива, — ответил я, пока огненный зрак был направлен от окна башенки вниз, на желтый автомобиль, стоящий во дворе, и на человека,

лежавшего возле его переднего колеса, откинув в сторону руку, — что люди знают, как сделать нас, машины и дома, чтобы жить, но не знают, для чего им жить.

— Нет, они знают, для чего жить, — ответил Нива. — Об этом я слышал разговор моего хозяина с одним человеком, которого подвозил. Я такого человека подвозил впервые — это был бородатый, в длинном черном платье, иеромонах, поп из Тумской церкви. Тот монах сказал: ради любви мы живем. Так велел, мол, Иисус Христос.

— А твой хозяин как на это ответил?

— Ответил: ну, ради нее-то я и сам живу, без всякого на то повеления со стороны Иисуса Христа. Без его подсказки, питаюсь одной любовью, сказал мой хозяин. Он же то, что делал с женщинами, запрокинув их на разложенном горизонтально переднем сиденье, считал любовью.

— Нет, Нива, — сказал я, — не это одно люди называют любовью, братишка.

— А что же еще?

— А то, что я мог видеть глазами моего строителя, купца первой гильдии Силкина, мог видеть только я один, ибо в башенке никого постороннего не было. В то время я еще был совсем юн, еще не пропитался достаточно человеческими словами, не обрел сознание, и то, что видел глазами Силкина, не казалось мне страшным или печальным. Он сидел на лавке и, держа перед собою обеими руками отрубленную голову татарки Адильки, смотрел в ее полузакрытые мертвые глаза, иногда целовал голову в губы и шептал, шептал слова любви. О, я впоследствии наслышался их достаточно на втором этаже в продолжение сотни лет. Все эти слова были одинаковыми у людей разных поколений и возрастов, ничего нового не появлялось, слова любви отнюдь не обновлялись. Обновлялись люди. Одни исчезали, другие появлялись. И твой хозяин, Нива, скоро исчезнет, а вместе с ним и ты. И мне будет жаль, что не смогу больше поговорить с тобой. Ибо я сильно пропитался человеческим сознанием и плохо стал переносить свое неизмеримое одиночество. И я стал испытывать к тебе что-то вроде человеческой любви, братан Нива.

Одиночество призраков

Они сидели вдвоем в пустом читальном зале и разговаривали — молодой парень с лысиной ото лба до макушки и Никишин, который появился у меня в библиотеке неизвестно откуда.

— Где живешь? — спрашивал лысый парень.

— На Строительной, — отвечал Никишин.

— Врешь. Такой улицы у нас в Туме нет.

— А где она есть? — спросил Никишин.

— Я не знаю. Это ты должен знать. Откуда ты приехал в Туму? Тебя здесь раньше не видели.

— Чизвлик, — произнес Никишин.

— Не хочешь говорить, не надо. Или не помнишь? Ты, наверное, больной, аутизмом болеешь?

— Я не больной, я здесь книжки читаю.

— И я здесь книги читаю.

— Я много книг прочитал.

— А я тут почти все книжки перечитал.

— Зачем читаешь?

— А ты зачем?

— Я давно читаю. Сто лет.

— С тобой все ясно. Зачитался ты, парень, и стал ку-ку. Я, Никишка, скоро тоже стану ку-ку. Тут у нас в Туме больше делать нечего. Только книжки читать.

— Нет, ты не станешь ку-ку. Ты зачем ездил в Москву? — вдруг спросил Никишин.

— Откуда тебе знать, что я ездил в Москву?

- Я сам еще не ездил в Москву, скоро поеду, — сказал Никишин вместо ответа.
- А ты-то зачем? — парень с лысиной.
- Хватать ее за руки. — Никишин.
- Кого хватать за руки? За какие руки?
- Мягонькие такие. Женские.
- Ну ладно. А я в Москву ездил потому, что влюбился. Ты знаешь, что это такое?
- Это когда руки мягонькие.
- Вижу, знаешь. Но я не про такую любовь говорю.
- И я не про такую.

— Я водилой работаю. Все время за рулем сижу. Вот ноги и атрофировались, не могу ходить пешком. От Киреевки до автобазы всего-то километра два, а я утром стою на дороге и голосую, жду, когда кто-нибудь подвезет. И вот однажды останавливается машина. Иномарка дорожная. За рулем молодая баба, блондинка шикарная, вся надушенная. Красоты необыкновенной, Никиша, как на старинных картинах про ангелов. Вам куда, говорит? А я говорю: два километра по дороге. Она: садитесь. Я начинаю рассказывать, что ногами почти разучился ходить. На работе сижу постоянно за рулем. Из дома никуда не выезжаю, сижу и книжки читаю. Вот ноги и атрофировались. Книжки читаете, спрашивает, а что вы читаете? А все, что под руку попадается. И много прочитали? Я не считал, вагон и еще маленькая тележка. А почему вы так много читаете, спрашивает. А что еще тут в Туме делать, отвечаю. Только книжки и читать. Ну, например, говорит дама, на царицу похожая, можно ходить в лес за грибами. Вон у вас сколько грибов на рынке и вдоль дороги продают. Ходил я за грибами, когда помоложе был, да надоело. Наберешь грибов, принесешь матери, она зажарит, наварит, замаринует. Некоторые деды, пенсионеры, этим делом увлекаются до самой старости, таскают из лесу грибы корзинами, раскладывают кучками вдоль дороги и продают. Не очищают корешков, чтобы не видно было червотчины. А я в гробу видал эти грибы, чтобы на старости лет продавать их возле дороги. Сколько же вам лет, спрашивает дама. Скоро помирать, отвечаю. Жена, дети есть? Еще чего, отвечаю. Нищету плодить. Как же вы можете так жить, говорит, один, без семьи. Почему же один, отвечаю, мать рядом. Говорит: мать когда-нибудь да умрет. Ну и я тоже когда-нибудь умру, говорю, все мы когда-нибудь умрем. И тогда она мне говорит, представляешь, Никишка: вы интересный человек. Вы водитель? Да, говорю. Какой класс? Первый, отвечаю. Не хотите в Москве работать, спрашивает. Кем работать, спрашиваю. А водителем. Я знаю в Москве издательский дом, там книги издают, как раз то, что вы любите. В подвальном помещении есть комнаты для охраны и для водителей, там и будете жить. Могу устроить. Хотите? А что делать, интересуюсь. Везишь книги из Ярославля.

- Почему-почему? — спрашивает Никишин.
- Чего почему? — отвечает парень с лысинкой.
- Из Ярославля почему?
- А в ярославской типографии книги печатают, говорила она. А предприятие наше в Москве. В Ярославле книги печатать дешевле.
- Тудемо-сюдемо. Далеко, наверное, — засомневался Никишин.
- Тебе не все равно, Никишка? Тудемо-сюдемо. Как будто что-то понимаешь.
- Кажется, теперь немного понимаю.
- Чего ты понимаешь?
- В Ярославле Строительная улица. Я присел под стенкой — и раз! Говняшка там остался, а я здесь, в Туме.
- Ты, Никишка, наивняк. Я тебе про любовь, а ты мне про что? Она мне визитную карточку дала, с телефоном. Хотел, как другу, рассказать. Купил билет, сел в автобус, поехал в Москву. А ты про это самое.
- Не надо рассказывать. Все знаю. Ты приехал в Москву, ну, раскрыл варежку, постоял на площади перед автовокзалом. Потом зашел в вокзал, купил обратный билет и назад поехал. Почему-почему?

— Да потому, Никишка, что там много надо было ходить. Она мне адрес дала, визитную карточку. Лилия Владимировна имя ее. Фамилию забыл. Добрая! Приехал на автобусе в Москву, а там, оказалось, до метро надо добираться пешком минут двадцать. И ехать на метро, потом снова пешком. Народу мильон. На всех смотришь, а на тебя — никто. Все время надо куда-то идти, не то затолкают. А я ходить не люблю, Никишка, у меня ноги атрофированные. Вот я и выбросил визитную карточку, поехал назад.

— А я не поеду назад из Москвы, — печальным голосом произнес Никишин.

— Почему?

— Почемучки-потому. Не успею.

— Чего не успеешь?

— А схватить за беленькие ручки.

— Чьи ручки, Никишка?

— Не знаю. Я еще их не видел. Скоро увижу.

— Где увидишь?

— Здесь, в библиотеке.

— И что будет, Никишка?

— Я не успею раньше добраться до Москвы и схватить за руки, чтобы они не нажали на кнопку.

— На какую кнопку, Никиша?

— Этого я тоже еще не знаю. Но скоро узнаю.

— Ты знаешь все, что будет. А почему не знаешь того, что у тебя было?

— Чизвлик.

— Это мы слышали. Вот, скажи толком: откуда ты приехал в Туму?

— Из Ярославля. Улица Строительная.

— А как ты попал к нам в Туму, вспоминаешь?

— Вспоминаю. Спустил штаны, сел под стенкой, потом здесь оказался.

— Ну, толку от тебя мало, о прошлом спрашивать. О будущем скажи. Что это за кнопки такие, на которые ты должен нажать?

— Не я. Беленькие ручки должны нажать. А я должен схватить эти ручки и не дать им нажать.

— И что?

— Не успею.

— Почему не успеешь, Никиша?

— Почемучки-потому. Времени не хватит.

— На что времени не хватит?

— Еще не знаю на что. Наверное, скоро узнаю.

— Ладно, Никишка. Когда будешь знать, сообщи по почте. Телеграмму дай.

Наверное, я основательно постарел и уже никому не нужен. Много лет как у меня никто не живет, входная дверь не запирается на замок, библиотека пустует, книги пылятся на полках. Никто и не думал растаскивать брошенные книги, и даже тот еще не старый, но облысевший парень, раньше заходивший в библиотеку, теперь, в отсутствие их хранителей, не брал книг, а заходя в умершую библиотеку по привычке, доставал с полки какой-нибудь томик, неохотно листал его и потом бросал на пол в проходе между полками. Перешагивая через груды брошенных на пол книг, он уходил, и у меня на обоих этажах снова наступала тишина, поднятая человеческими движениями пыль медленно оседала вниз — в направлении прошедшего времени.

Дом, если в нем не живут люди, постепенно умирает; если даже и крыша цела, и на окнах не все стекла выбиты, и входная дверь хоть и держится на одной петле, но еще закрывается, и стены не сквозят и не протекают. Дом может жить сколько угодно, если в нем живут люди, но если он покинут ими, то начинает от постоянной тишины и полного безмолвия в его жилых недрах быстро разрушаться — и мне кажется, что я просто распыляюсь на элементарные частицы. Единственным отвлечением от

разрушительных настроений является то, что я могу теперь впитывать в себя знания из множества брошенных на пол самых разных книжек в бумажных обложках, томов и фолиантов в картонных переплетах. Таким образом, сознание мое расширяется, образование солидно пополняется.

Дома умирают постепенно, незаметно, вот я и кажусь, наверное, со стороны совершенно целым сооружением, стройно возвышающимся на фундаменте из тесаных глыб белого приокского известняка, но на самом-то деле большой мой кусок, правый угол со стороны башни, уже мертв, мертва и пристройка с этой стороны. Омертвление моего правого угла произошло уже давно, а началось оно совершенно незаметно, в незаметное для меня время.

С какого-то момента своего вполне здорового процветающего существования почувствовал я некую саднящую боль в фундаменте. С каждым годом она усиливалась, и обострение ее наступало к концу осени и началу зимы. С приходом же холодов, от первых заморозков до серьезных морозов, боль становилась невыносимой, и я чувствовал, как моя белокаменная плоть фундамента рвется по живому.

Мы, старые дома, беспомощны, когда нас постигает какая-нибудь опасная болезнь — мы можем лишь стоять на месте и терпеть стреляющую боль от образовавшейся трещины в кирпичной кладке, тлеющий зуд гниющей древесины в бревенчатом срубе, под тесовой обшивкой, характерный привкус ржавеющих гвоздей в обрешетке кровли, под протекающим железным кровельным листом.

А тут десятилетиями меня мучила боль каменного разрыва под цоколем, постепенно углубляющегося от внешней стороны к внутренней в монолите фундамента. И вот наконец-то, уже в зрелом своем возрасте, я нашел причину стреляющих сезонных болей в моем фундаменте с правой стороны. Просто в самом начале строительства по недосмотру или нерадивости каменщиков в фундамент уложили большую глыбу тесаного известняка, через которую проходила незаметная трещина. В эту трещину натекала вода, в осенне-зимнее время образовывался лед и постепенно разрывал камень, делая трещину чуть больше. Дождевая и талая вода вымывали из трещины образовавшиеся крошки, и она становилась все шире и шире. Вскоре она стала весьма заметной и внушительной, но хозяева дома не обращали на это никакого внимания. Зато обратили внимание крысы.

Этот серый народец лет сто, наверное, не мог проникнуть внутрь моего каменного строения. Ведь цокольный этаж с фундаментом был врыт в землю настолько глубоко и представлял собой монолит такой мощности и толщины, что был недоступен для любого проникновения снаружи. И крысы с окрестных пустырей и соседних подворий не могли проникнуть сквозь монолитный каменный фундамент и ровную безупречную кладку стен из красного кирпича, уложенного друг за другом, ряд за рядом, в несокрушимую клетку известкового раствора, который при застывании становился крепче каленого в огне красного кирпича. Я все свое существование и до сих пор, в преддверии своего конца, чувствовал здоровье и надежность кирпичных стен своего первого этажа и полагаю, что бодрый вид и богатырскую осанку я имел благодаря безупречности и крепости кладки стен.

Итак, о крысах. Думать о них и строить историю почти столетнего крысиного штурма моих внутренних пространств я позволяю себе не потому, что этот серый длиннохвостый народишко хотя бы в какой-то мере занимал меня. Нет, просто в последние годы ввиду полного отсутствия человеческой жизни в моих анналах я сильно скучаю и в ожидании скорой гибели, которую ясно предчувствую, пускаюсь по разным ушедшим пространствам небытия, чтобы хоть как-то развлечь себя и отвести внимание от картины моего начавшегося необратимого распада. Я имею в виду, что примерно одна десятая моя часть уже погибла, я говорю о своей правой пристройке. И виною тому много тысяч поколений крыс.

О, сколько времени их нестройные колонны ползали вокруг моего фундамента, разыскивая малейшие щели или дырочку, чтобы проникнуть внутрь, однако все было напрасно. Поколения их сменялись одно за другим, но я видел глазами многих

случайных людей, также разных поколений, эту массовую суетливую возню крыс вокруг дома, куда они никак не могли проникнуть. Я могу сказать лишь об отдельных смелых проникновениях храбрых разведчиков, кои среди бела дня на глазах у многих людей и стоящих во дворе упряжных лошадей прошмыгивали в широко раскрытые двери лабаз или даже случайно оставленную раскрытой дверь на крыльце главного входа. Эти отдельные проникновения наиболее дерзких охотников задач всеобщей цели крысиной экспансии не решали. Ибо входы в лабаз и жилую часть на втором этаже были расположены высоко над землей, на уровне цокольного этажа, пороги во входной двери на крыльце также были высоки, а двери в лабаз раздвигались и сдвигались в глубоких пазах на железных колесиках. Дерзкие же лазутчики, как правило, погибали либо раздавленные мощными капканами, либо нажавшись крысиного яду. Жить же и размножаться в помещении лабаза на первом этаже случайным диверсантам из крысиного воинства не получалось из-за постоянного многолюдья, топавшего по крепко сплоченному, без единой щели, сосновому полу. А на второй этаж ко мне ни единой крысе не было ходу более чем на полтора столетия. И только тогда, когда я уже начал умирать и одна часть моя уже умерла, крысиная экспансия обоих этажей свершилась.

Трещина в фундаменте расширилась благодаря упорной невидимой работе воды, русского мороза и терпеливому шахтерскому труду тысяч поколений крысиного народа, по крошкам выносившего отколотый известняк. Таким образом, этот самый упорный на земле серый народ проштробил наконец ход в фундаменте и проник в мое подполье.

А уж там, в погребке, было чем поживиться. Коллективный многотысячный инстинкт и гений отдельных мудрецов крысиного народа не ошибся в своем упорстве и предположениях. На много лет этот народец моего подворья и всей прилегающей ко мне пустырной территории получил привольное райское существование, ориентируясь в своем пропитании на запасы большого количества овса, гречишной крупы и нескольких деревянных бочек растительного масла. Весь этот провиант был завезен в 1929 году в мой подвал.

В том году я много слышал от жильцов первого этажа, образовавших какую-то трудовую коммуны, что в аккурат той порою упраздняются подобные же коммуны на селе и там все они сгоняются в более крупные образования, называемые колхозами. И мои коммунары заговорили, что доморощенную трудовую коммуны также разгоняют. Вскоре трудовики с первого этажа почти все разбежались. Однажды глухой ночью во двор заехало несколько подвод, высоко загруженных туго набитыми мешками и деревянными бочками. Люди, прибывшие с подводами, сошлись в подвале с последними из моих коммунаров и в полной темноте, не зажигая света, провели собрание. То коммуны «Трудовик Тумы», мои доморощенные, и какая-то сельская коммуны «Гуд» тайно договаривались о том, что селяне сдают трудовикам свое зерно и льняное масло на общее хранение, не желая отдавать нажитое коммунарское добро в гигантский нищий колхоз «Заря коммунизма». И затем перетасили в мой подвал мешки с зерном и перекатили бочки с маслом. Все это совершалось в темноте, почти бесшумно, по завершении дверь заперли на два огромных амбарных замка и ушли так же бесшумно.

Больше я про этих людей ничего не слышал. Возможно, их пересажали в тюрьму или даже расстреляли, а про схрон в моем подвале другие люди так и не узнали или попросту открестились от него ради своей безопасности, и весь провиант достался крысам. Крысиный народ сначала лет десять растаскивал зерновой фураж — ячмень, гречку, рожь, овес, затем добрался до масла. Прогрызая в верхних крышках деревянных бочек неровные округлые дырки, крысы стали сыпать через отверстия зерно, таская его из мешков в своих зашечных карманах. Овсянка и гречка не тонули в бочках и постепенно скапливались на поверхности масла ковриком, набухали и подступали снизу к дыркам, вываливались из них, напивавшись растительным жиром. Бесконечные колонны спокойных крыс подбирались к питательным кратерам и без всяких драк и препирательств спокойно уносили драгоценный полезный корм к своим дальним гнездам.

Я все это мог наблюдать, потому что в годы безлюдья очень скучал в помещениях первого и второго этажей и сосредоточил свое внимание на погребах, где шла самая бурная жизнь крысиной цивилизации. И постепенно, по мере переброса внимания в подвал, в мир крыс, я обрел их свойство видеть почти в полной темноте. Но сознание, интеллект и язык крыс оказались для меня недоступны. Погреб мой, за толстенными стенами из известняковых блоков, накрытый двойным сосновым полом из исполинских тесаных досок, проветривался вертикально устроенными коробами-отдушинами вентиляции, уходившими по всем четырем углам подвала прямо под крышу, в чердак. Поэтому погреб имел зимой и летом сухой воздух и примерно одну и ту же прохладную температуру. Да, поистине сложились в моем подвале райские условия для цивилизации серых крыс. Они размножились в несметном количестве, это было заметно по беспрерывно шевелившемуся потоку животных, направлявшемуся к бочкам и затем восвояси, с масляным зерном за щеками.

Вдоль утоптанной зверьками тропы образовалась широкая полоса их помета, ибо эти нечистоплотные животные отнюдь не держали место своего фантастического кормления в чистоте и порядке. И вскоре от душной вони крысиных нечистот, похожей на концентрированный удушливый запах аммиака, подпольный рай для крыс превратился в сущий ад для людей — если бы они захотели вновь занять мой подвал для своих нужд. Но люди напрочь забыли про него, и казалось, про самый дом забыли. А когда, подточенный крысиным ходом, мой фундамент треснул и правый угол вместе с пристройкой осел, отвалился и постепенно умер, я понял, что мои дни сочтены.

Я просуществовал почти двести лет, пропитанный насквозь сознанием тех людей, что обитали в моих стенах. У каждого сознания был свой коридор существования в пространстве, по этому коридору каждый и проходил ко мне, и уходил. А я оставался на месте, и в моих стенах оседала эманация людских сознаний, испускавших самые разные оттенки свечения чувств, которые на первый взгляд вроде были одинаковыми у людей, но на самом-то деле чувства человеческие оказывались совершенно разными! Даже двух одинаковых чувств не исходило от человек, коридоры жизненного пространства часто шли подолгу в одном направлении, порой пересекались друг с другом, но всегда уходили каждый в свою сторону особенных судеб и настроений. Живя в моих комнатах, жильцы мои безнадежно были разделены коридорами своих несхожих жизненных пространств.

— Се ля ви, — говорил по этому поводу один из снимавших комнату на верхнем этаже жильцов, Пушкин-Когин по фамилии, Володя по имени, господин с бакенбардами, кудрявой головой, и впрямь очень похожий на классического Пушкина.

Говорил своему доверенному человеку, который также был курчав, но без бакенбард, гладко выбрит над верхней губой, но свирепо бородач под нижней, — бывшему, ныне обнищавшему помещику Рукавишникову. Этот бывший помещик частенько заезжал к бакенбардисту, с которым был сотоварищем в деловых отношениях. Он открылся Пушкин-Когину, что был смертельно влюблен в его двоюродную сестру, Олимпиаду Васильевну, но не решился посвататься, потому что уже был разорен родным папашей, промотавшим имение и проигравшим наследный дом в карты. А вскоре Олимпиада Васильевна умерла от горячки, и Рукавишников остался навеки безутешен, с одним лишь светлым образом Липочки в сердце и сладкими сновидениями, после которых просыпался весь в слезах.

Володя Пушкин-Когин, далеко не великий русский поэт, был всего лишь внуком шерстобитчика Когина, и когда Когин помре сразу вскоре после революции, унаследовал его станки, устроенные в левой пристройке, чтобы трепать овечью шерсть. Он снял у обедневшей Варвары Архипочкиной комнату на втором этаже, закупал и привозил со всей округи шерсть для битья. Пушкин-Когин прожил у меня совсем недолго, всего одно лето, а потом ушел по своему коридору жизненного пространства через самоубийство: выстрелил себе в рот из пистолета. Перед тем как это сделать, он и произнес это свое сакраментальное: се ля ви.

А обнищавший помещик Рукавишников заезжал ко мне и раньше, до революции. Как выяснилось, Пушкин-Когин и впрямь мог быть потомком великого поэта. В

пушкинские времена неженатый Пушкин А.С. заезжал, говорят, в Ветчаны к своим друзьям Волконским на три недели и там обрюхатил дворовую девку, которая после отъезда поэта родила. И крепостному бастарду и всем его потомкам досталась — в некотором ироническом контексте — великая фамилия.

Помещик Рукавишников любил разговаривать с Володей Пушкин-Когиним, который был по бакенбардам и кудрям весьма похож на легендарного поэта, — порассуждать на разные отвлеченные темы, а я слушал и пытался вникнуть в их беседу, которая была не похожа на все другие разговоры в моих помещениях между заполнявшими их людьми. Пушкин моих дней, бакенбардист Володя, видно, был начитан изрядно. Он говорил, что ничего нет из того, что мы видим, а вся видимость вокруг есть пустота. Ничего нет на самом деле, а все есть видения, и видения эти возникают в наших глазах, как возникают сновидения в наших мозгах, когда мы спим.

Посреди шерстобитки, которую он унаследовал от деда Когина, Володя Пушкин поставил старый мольберт, когда-то принадлежавший художнику Александру Дашкову, и на этом мольберте стоял кусок фанеры от ящика с прикрепленным на нем дешевым плакатом с портретом А.С. Пушкина и словами из его стихотворения — «К нему не зарастет народная тропа».

— Отцы-с, — назидательно говорил Пушкин-Когин Рукавишникову, — хотя мы и продолжаем их, не имеют к нам никакого отношения и ничего не должны нам, и вы напрасно своего картежного батюшку не кляните. Так же ровным счетом и мы ничего не должны своим отцам, играем ли мы в карты или нет.

— Как же так, — поражался бородатый юный помещик, — ведь вы сами же и говорили, что мы продолжаем отцов. Как же это мы не имеем к ним отношения, а они к нам?

— Продолжать-то продолжаем, но мы совершенно разные существа-с. И мы ничего не можем сделать друг для друга, и ничего не должны делать.

— Но позвольте, а как же сыновний долг? Как же родительская ответственность? — не соглашался Рукавишников, волнуясь. — Я чай, существует ведь по закону наследственная связь?

— Не существует, — решительно отказывал Пушкин-Когин. — Наследство есть то, что законно перестает принадлежать отцу. И если даже он еще не умер по старости, а наследие передано, то все отрубается от него напрочь, и какая тут связь? Все должно быть, как у короля Лира.

— А как же «отче наш иже еси на небесех»? Неужели вы и его отрубаете, получив от него в наследство свою жизнь? — вопрошал бородатый, но без усов, помещик Рукавишников.

— Ему нет никакого дела до каждого из нас, похожего на микроба, — утверждал Пушкин-Когин. — Какие же мы сыны божии? Ведь он и своего истинного сына не снял с креста, хотя мог это сделать — одним мизинчиком. Все мы пребываем в своем собственном сне, который называем жизнью и которой вовсе нет. Есть только сон жизни, который нам снится уже после смерти.

— А смерть, — спрашивал с испугом помещик Рукавишников, — смерти тоже нет, мать честная, или она также однажды лишь приснится нам после того, как мы помрем?

— Это надо спросить у нее самой: эй, смерть, или ты приснилась мне?

— Но как же это я могу спросить об этом после своей смерти? И у кого? И где, на каком свете? — пугался своих слов Рукавишников.

— Да на этом месте, прямо сейчас и непосредственно у своей смерти. Она всегда рядом с нами, за спиной. Вот и спрашивайте у нее.

— Что же это такое, — чуть ли не плакал помещик Рукавишников. — Вы меня застрашали, и в мозгах моих устроили полную неразбериху! Прямо сейчас и у своей смерти спрашивать, обернувшись через плечо, не приснилась ли она мне?

— Ну и спрашивайте! Кто же вам мешает, сударь? — язвил бакенбардист. — Представьте себе, что вы умерли тысячу лет назад и за порогом тысячелетия,

оглянувшись, взираете на самого себя и видите самого себя сейчас, разговаривающего со мной, закручивая пальцем бороду и засовывая ее себе в рот-с.

— Извините, у меня это дурная привычка-с, проявляется в минуту сильнейшей ажитации-с, — смутившись, говорил помещик Рукавишников, выплевывая из румяных губ мокрую прядь бороды. — Но извольте пояснить, сударь, как это я спрошу у своей смерти, которая случилась у меня тысячу лет назад: не приснилась ли она мне?

— Для этого вам надо бы сейчас, на этом самом месте умереть, но препоручить рассмотрение своей смерти глазам тысячелетней будущности-с, — с досадою в голосе молвил Пушкин-Когин.

— А как же такое совершить? Каким таким магическим фокусом?

— Никакого фокуса, мой друг! Надо просто взять пистолет и застрелиться!

— Но это, я чай, шутка ваша, профанация? Вы меня профанируете, сударь, и делаете это с безжалостной насмешкой!

— Никакой насмешки! Вот посмотрите, как это делается!

И с этим бакенбардист вытащил из кармана сюртука пистолет, вставил дуло в рот и выстрелил. Пуля вышибла из его затылка изрядный кусок черепа, мозги растеклись по моему крашеному полу.

Помещик Рукавишников с перепугу убежал, как помешанный, и я потом долго не видел его у себя. За бакенбардистом пришли какие-то казенные люди, милиционер Баранчиков — и унесли на носилках вон из дома, по коридору пространства, так и оставшегося непонятным для меня человека, самоубийцу Пушкин-Когина.

По прошествии довольно долгого времени Рукавишников однажды, крадучись, вошел в пустующую комнату Пушкин-Когина, прошел напрямик в угол к отопительной печке, сунул руку в не приметную квадратную дырку сбоку печки, которую называют «печуркой» и где обычно зимой сушат сырые варежки. Пушкин же Володя во времена оны прятал там свои тетрадки, в которых что-то записывал. Эти тетрадки Рукавишников унес, также крадучись удаляясь из комнаты, но он не заметил того, что из печурки в момент того, как он вытаскивал тетрадки, выпали на пол три пожелтевших листочка, из тех же тетрадок, наверное. Эти листки много дней и ночей провалялись на полу возле печки, и вот что там было написано.

ПЕРВЫЙ ЛИСТОК

Безсмертие, господа, — не предмет достижения, но суть предмет постижения. Это не проживание жизни без пределов времени, а умственное проникновение за пределы смерти и рождения. Вектор времени безсмертия каждого из нас обозначен двумя пограничными вехами — датой рождения и датой смерти.

Постигание безсмертия состоит в том, чтобы, пользуясь телом и сознанием, уметь выходить за пределы границ смерти и рождения, причем делать это не раз и не два за жизнь, а практиковать сие ежедневно, ежечасно. Это и значит — постигать безсмертие.

Неоспоримость безсмертия подтверждается неоспоримостью смерти и рождения.

Мы имеем вечность до рождения и вечность после смерти. Жизнь соединяет эти две вечности, погружая нас в одну единую вечность. Узреть это — значит обрести чувство безсмертия. Жить, сообразуясь с этим, — постичь состояние безсмертия.

Как же соотносится с обретенным чувством безсмертия страх надвигающейся смерти, боль бытия, тревога бренности, физические страдания — все, что гнетет человека?

Тут надо начать с того, что беда, страдание и смерть суть результат какой-то неправильности жизнедействий внутри человеческого тела-сознания, а снаружи — в неправильности общественного бытия социального тела-сознания.

Убрать эту неправильность — значит отвести столкновение между чувством безсмертия и чувством смерти.

Итак, дело не в том, кто кого победит, а в том, чтобы не допустить этого столкновения.

Неправильность бытия тела-сознания человека, его смертные грехи, объясняются наличием в мире злого начала — сатанинского, демонического. Говорят, что оно неодолимо, поэтому и неискоренимо зло в существовании человека. Приводят в пример всю историю человечества, исполненного зла.

Но если мы верим в божественное сотворение мира, то должны поверить и в то, что сатана тоже есть творение бога. Значит, сатана нужен для какого-то высшего божия замысла.

Но никогда тварь не может быть больше Творца, воля твари не превысит воли Творца. Зло сатаны никогда не сможет уничтожить жизни и человеческого существования в нем. И на феномене человечества виден отсвет какого-то высшего замысла Творца.

Он еще не осуществился. Ни к чему сетования — почему-де так долго торжествует зло на земле среди людей. Да потому лишь, господа, что совсем недавно началась человеческая история, и замысел высший еще не определен вполне, и он не может быть прерван на самой ранней стадии. И если на пути осуществления творящей воли слишком откровенно и нагло заявит себя власть сатаны, грозя превратить людей на земле в скопище отвратительных злодеев, то Творец скорее уберет с пути человечества старого сатану, нежели совсем молоденькое человечество.

P.S. — 1 Надо полагать, смерти для человека вообще может не быть, если исключить неправильности в бытии тела-сознания. И тогда человека постигнет только рождение, смерти не будет. Будет не смерть, а перерождение. Не умрем, а снова родимся. Когда я буду умирать — это не смерть, это мое следующее новое рождение.

Мне кажется, что когда это событие произошло — бакенбардист застрелился на втором этаже, — во мне пробудилось то, что называется у людей самосознанием, и я впервые задался вопросом: кто же, собственно, я?

Я дом, стою на земле, я дитя земли, я могу что-то сказать о человеках, которые живут на земле, в моих помещениях на первом и втором этажах. Мои стены пропитались человеческими словами, преимущественно русскими, через их накопление я и обрел сознание. Сознание же подвело меня к вопросу: кто я? Итак, я большой двухэтажный купеческий дом, первый этаж каменный, краснокирпичный, второй этаж деревянный, рубленный из мещерских сосновых кряжей, обшитый тесом. На правом углу моем высится островерхая башня с окнами на все четыре стороны света. Дерево и камень моих стен, полов и потолков впитали много тысяч слов, из которых сложилось мое сознание. Но одно дело свободное сознание, которое гуляет само по себе, как загадочный кот, другое дело — знание, которое загнано в строгие рамки и помещено в коробочки, называемые книгами. Знание, запертое в книгу, никуда уже не денется, но любой человек может его оттуда извлечь, раскрыв страницы. Мне же это не дано, ибо я не могу ни раскрыть книгу, ни листать, ни читать глазами текст, ибо у меня нет физических глаз. Но оказалось, что благодаря сознанию я, старый купеческий дом, стал обладать духовным зрением. Лет двадцать спустя после моего рождения я смог различить то, что творится в моих помещениях. А через окна и первого, и второго этажей, а также из окон башенки взирать глазами наблюдающих на окружающее, непосредственно подступившее к самым моим стенам пространство садово-огородных участков захолустного русского городка Тума.

Да, обретя сознание, я смог и видеть, не имея глаз, и мог, оказывается, без физического процесса чтения получать знания из книг. Также мог видеть картины, афишки и плакаты, висевшие на моих стенах. То есть чтобы обрести дополнительную компоненту сознания, его метафизическую одежду — знание, я должен был непосредственно, физически соприкоснуться с веществом книги, картины, плаката.

Я не мог читать книги, которых было немало на полках в библиотеке на первом этаже, потому что не умел собственно читать. И если книга непосредственно не касалась меня и стояла на полке вертикально, она была недоступна для меня. Но если

книга, упав с полки или со стола, лежала на моем полу, я мог воспринять ее содержание через слова, запертые между обложками книги. Составленные в смыслы, слова порождали знание, исходившее радиацией догадок и гипотез, а оно выстраивало сознание. И последнее стало доступно для меня, впитавшись в вещество моих стен, потолков и полов таинственной эманацией русских слов.

Действительно, в начале всего было Слово — в начале начал, Слово было из Ниоткуда, и слово же было — в Никуда.

И коридоры пространства, по которым приходили ко мне и уходили разные люди-человеки, были наполнены словами, что являлось — собственно — не их принадлежностью. Слова принадлежали сами себе, таинственные, несущие в себе такую далекую родословную весть, что дух захватывало от почтительного удивления. *Родилище* слов, исторгнувшее из себя *слова* — *родичи*, составлявшие словесный *род* человеческий, собранный воедино из речений разных *народов*, каждый из которых имел собственную *родину*, — сонм человеческий, *род гуманистический* атомарно состоял из слов — отсюда *родословная* мира уходит в невероятные глубины слов. Мир выстроен из слов, как я — из кирпичей, камня-известняка и обструганного дерева.

Когда с кудрявыми волосами и пушистыми бакенбардами человек выстрелил себе в рот из пистолета и упал навзничь, мозги его вытекли на мой пол — не было в этих мозгах никаких слов, а одна лишь рыхлая мозговая каша. Разве не жалко этих людей, которые считают, что мыслят своими мозгами? Но мысли то прилетают, то улетают все же через их мозги, вот для чего только и годится оно, это серое вещество, столь похожее на внутренность грецкого ореха. О, эти орехи любил давить человек с бакенбардами, зажимая их в специальной чугунной орехоколке с длинными выгнутыми ручками, — изделие литейного завода из Гусь-Железного. Сколько же грецких орехов поколол пушкиноподобный бакенбардист — целые горки расколотой скорлупы наваливал он посреди стола, одиноко просиживая в средней комнате моего второго этажа, все о чем-то думая, думая. Вот и додумался — выпустил свои мозги на мой деревянный пол.

Пытаясь разобраться в его раздумьях, которые через аппарат мозга приходили в его сознание, я по большей части ничего не понимал. О чем разумеет микроб? — приходила к нему мысль. Да ни о чем, отвечала мысль самой себе. И далее эта мысль делала кувырок: думает ли микроб про великое множество микробов, к каждому из которых какая-нибудь мысль да и приходит? Но для чего это микробу, которого даже никто и не видит, и он есть обыкновенная *тарарушка* по названию *чизлик*? Это было знакомое мне словечко, его произносил Никишин, другой такой же, как и Пушкин-Когин, никчемный житель Тумы. И понимал кудрявый человек с пушистыми бакенбардами, что через свои мозги пропускает какие-то не свои мысли, и приходил к каким-то не своим малоутешительным выводам, и наконец подвел себя к дурацкому решению выстрелить в себя из пистолета.

Когда-то ко мне заходил неприкаянный странный человек, невнятный парень Никишин, Никишка, который видел бесов в лужице подле моего крыльца и давил их ногами, обутыми в китайские кроссовки. И он был первым человеком, с кем я вступил в непосредственные сознательные отношения и мог разговаривать по-русски. Произошло это потому, что мы с Никишиным оказались выстроены из одного духовного материала, который мог переходить из плотного состояния в виртуальное, пульсируя из бытия в небытие и обратно в бытие по разным причинам, а то и без причин, по прихоти воли Неисповедимого, не известного ни ему, ни мне.

То есть нас с Никишиным по законам той действительности, которая считается (*считает* — *ся*, себя) убедительно существующей, самоуверенно убедительной, — на самом-то деле не существует и не существовало. Он часто ночевал внизу в библиотеке, пробираясь туда по коридорам своего пространства, а я и не замечал, когда и как он это делал. Располагаясь на ночь между книжными полками на полу, лежал в полной темноте, подложив под голову несколько книжек — пялил свои пустые глаза в

невидимый потолок, изредка зевал, потом закрывал глаза и бесшумно засыпал. Никишин, Никишка... Никто из заходивших ко мне людей не знал, где он живет в Туме. Днем он заявлялся, чтобы читать книги, — вернее, листать их, рассматривая картинки, а ночью проникал в библиотеку по своему загадочному коридору пространства и тихо спал до утра. Я не знал, когда Никишин зайдет ко мне, когда уйдет. Он от остальных людей во всем отличался настолько разительно, что приходилось диву даваться, что окружающие люди не замечали этого различия и общались с ним как с равным.

Но он не был равен никому, потому что мог неведомо как проходить сквозь мои стены, уноситься по своему коридору пространства в одно мгновение, а потом так же и возвращаться, проделывая путь невероятной длины, если судить по тем сообщениям, которые он делал мне. Я научился общаться с ним не сразу, но только после того случая, когда Никишин увел бизнесмена Сашку за собою из спальни шахидки-красавицы.

Выхватив из руки шахидки взрыватель, Никишин поманил за собой бизнесмена Сашу. Перед этим Никишин беззвучно обратился ко мне: *пропусти Сашку за мной*. Так впервые человеческая душа непосредственно обратилась ко мне, и я мгновенно ответил: *вали, парень, пропускаю*.

Никишин не только открыл мне мою возможность общаться с человеком наедине, в обстоятельствах экстремальных, но и следовать за ним вне времени и пространства.

В то утро, когда Никишин после ночного сна в библиотеке поднялся на второй этаж и увидел, что шахидки нет, он обратился ко мне: где она? И я поведал ему о том, что было прошлой ночью и как парень с бородой, шахид-командир по всему, на рассвете увез ее, чтобы она в 11 часов утра совершила подрыв у ворот парка на Ходынском поле в Москве. Услышав от меня весть, Никишин схватился руками за голову и взвыл, затем полетел по коридору своего пространства, прямому, как световой луч, к воротам Ходынского поля, где было объявлено народное гулянье. Не ведомую мне самому мою духовную субстанцию втянуло в образовавшийся вакуум, и я пролетел со скоростью мысли, вдвое быстрее скорости света, вслед за Никишиным к железным решетчатым воротам Ходынского парка. И только успел заметить, как Никишин, раскидывая перед собой толпу людей, подскочил к шахидке в черном платье, в черном платке, повязанном низко на самые брови, и обхватил ее сзади обеими руками. Он хотел не дать ей возможности нажать на кнопку взрывателя, но не успел, их обоих разнесло взрывом на кровавые ошметки. Внутренности тел Никишина и шахидки бросило на прутья железной ограды, и все это — их бывшее — смешалось, повисло и закачалось на решетке. А вокруг лежало на земле множество окровавленных целых тел, и многие из них шевелились, истекая пульсирующими струями крови из множества открытых ран.

Передо мною было всего лишь небольшое поле ненавидящих друг друга людей, но оно было столь необъяснимо в своей разрушительной энергии *противожизни*, что дух мой смутился, я почувствовал, будто обрушиваюсь с фундамента, и потерял сознание.

Очнулся я уже на своем месте, где и стоял раньше, в безликом городке Тума, входная моя дверь с высокого крыльца была раскрыта настежь, в библиотеке стоял лысоватый парень, частенько приходивший в библиотеку, чтобы сдать книги и набрать новые. Это был еще один из тех неприкаянных парней городка Тума, неизвестно чем занимающихся на этом свете, который существовал как бы в нереальности и полным одиночестве и тоже приходил в единственную городскую библиотеку книжечки почитать. Я уже к тому времени научился читать мысли некоторых людей, заходивших ко мне, но у этого парня трудно было их прочесть, потому что в голове его всегда бубнило что-то совершенно невразумительное, хотя и похожее на стихи: *бутя-вытя-мировутя! рая-мая-почему-худая...* и тому подобное. Скучаясь позевывая, парень перебирал книги из стопок, лежавших на конторке выдачи, и время от времени с

удивлением поглядывал на входную дверь в библиотеку, видимо, недоумевая, куда подевалась библиотечка. Не дождавшись ее, парень ушел, оставив книги, которые принес, и не взяв ничего нового. Он приходил еще несколько раз, но библиотечка на месте не оказывалась, дверь в библиотеку оставалась незапертой, дверь же на второй этаж, что располагалась рядом, была закрыта на всякий замок, и приходивший за книгами лысоватый парень каждый раз уходил без книг, не решаясь, видимо, самостоятельно распоряжаться библиотечным фондом.

Сначала, оказавшись в непонятных обстоятельствах, он брал с полки книги, садился за стол в читальном зале, листал, рассматривал, иногда и вчитывался в какую-нибудь книгу, и перед уходом книги клал на прежние места в полках. Но постепенно, когда стулья и столы из библиотеки унесли какие-то соседние слободские люди, парень стал заходить в хранилище, шарил по полкам, вытягивая разные книги, читал или просто листал, стоя меж стеллажами. И уже ленился класть книгу на прежнее место, бросал ее под ноги на пол. Благодаря этому я мог эти лежащие на полу книги впитывать в себя, особенно хорошо усваивал те, что лежали в самом низу, под грудой других наваленных книг. Смысловая энергия слов тем легче проникала в мой деревянный пол, чем лежала плотнее прижатой книжка на гладких досках, покрытых масляной краской. Этот лысоватый парень, уже не читавший книгу, а просто бегло просматривавший ее, небрежно раскрыв обложку, и потом отбрасывавший, помог мне существенно пополнить мое образование, побросав на пол довольно много книг. Я не мог того знать — может быть, парень тоже научился, как и я, поглощать словесное содержание через одно только соприкосновение с книгой, вовсе не читая ее?

Я пытался проникнуть в его мысли... У меня ничего не получилось. Слова, формирующие мысли, существовали сами по себе в его таинственной духовной энергетике. И может так обернуться, что они будут существовать и без человека и смогут обойтись без его мозгов.

Я дом, первый этаж каменный, второй деревянный. Мои стены, пол и потолок впитали энергию слов и сталиместищем сознания и без мозговой деятельности серого вещества, похожего на ядро грецкого ореха. И мое независимое сознание намного совершеннее, долговечнее и неуязвимее, чем сознание каждого из людей, заходившего в мои помещения.

Но основным своим преимуществом я считаю свою возможность — в отличие от людей — существовать без необходимости быть счастливым. Они-то, люди, все скопом и каждый сам по себе, могут пребывать на белом свете и совершать проход по коридорам своих пространств только лишь при непременном устремлении к счастью. С этим устремлением они только и могут двигаться по тяжким путям своего бытия, а утратив эту могучую тягу, они и шагу не способны ступить по земному пространству. Без зова и отклика счастья люди падают на землю и умирают, как комарики, стреляют себе в рот из пистолета, вешаются на веревке, укрепив ее на балках. Или превращаются в невидимок, от которых на земле нет ни следов, ни отзвуков, ни шороха, ни воспоминаний.

Но никто из людей не знает точно, что это такое — счастье. Была у меня последняя встреча с автомобилем «Нива», когда он заехал в мой двор года через два после нашего последнего разговора про его хозяина и ночную гостью.

Вид у бедолаги Нивы был донельзя потрепанный, катастрофичный, рыжая краска кузова пошла пузыриться от внутренней эрозии, порошки под дверцею прогнили и зияли ржавыми дырами, справа над бампером была солидная вмятина, кое-как замазанная коричневой краской.

Из машины вылез не тот прежний с полуседой шевелюрой хозяин, а новый, и этим новым хозяином оказался лысоватый парень, любивший заходить в библиотеку! На этот раз он явился, чтобы увезти куда-то книги, начал таскать их пачками к машине и забрасывать кучей на дно багажника, крышка которого была высоко поднята. И пока он был занят этим делом, пользуясь темнотой и безлюдьем ночного времени, я в последний раз поговорил с Нивой.

— Так твой прежний хозяин продал тебя этому новому? — спросил я, рассматривая машину сквозь раскрытую на крыльце входную дверь. Я видел Ниву глазами лысоватого парня, который думал в тот момент о чем-то непонятном для меня, как и всегда.

— Не продавал он меня новому хозяину, насколько это мне известно, — ответил Нива, — а достался я ему по наследству, когда мой прежний хозяин умер. Он, мой прежний, как я постепенно понял, не имел жены, которая народила бы ему детей. Хотя баб я немало перевозил к нему, и в моем салоне их немало перебивало в горизонтальном положении на разложенном сиденье. Да ты и сам должен помнить, сколько я привозил их к тебе и увозил.

— Да, Нива, этого товару было немало. Но я не помню, чтобы хотя бы с одной из них он имел бы женатый счастливый вид.

— Что? — молвил в ответ Нива. — Что-то я тебя не понимаю, Дом. Какой такой счастливый вид? Если подразумеваешь тот самый вид, с каким он подкидывал тут на сиденье свой голый зад и какая при этом была его физия и это самое называешь счастливым женатым видом, то такого хозяин прежний имел предостаточно.

— Нет, дорогой мой Нива, дружбан любезный, это вовсе не вид женатого счастья. Ты всего навсего железка, и тебе не понять, что я имею в виду.

— Не понять так не понять, — согласился Нива металлическим голосом. — Хозяин умер в прошлом году, прямо у меня в кабине, уронив голову на руль. Я ему благодарен, что он сумел меня остановить и поставить на обочину, а не вклеить со всего ходу в кирпичную стену.

— Теперь я тебя не понимаю. Ты сказал — благодарен. Разве железки испытывают чувство благодарности?

— Не знаю, что тебе и сказать, Дом. Значит, испытывают, раз я это испытываю. И мне жалко моего прежнего хозяина, — молвил Нива с глубоким вздохом, отдающим горячим моторным маслом.

— Жалко? А это как понимать? Каким местом ты чувствуешь жалость к человеку? Бампером, что ли, когда со всего ходу таранишь кого-нибудь на дороге? Колесами, когда переезжаешь через него?

— Ты, Дом, стоишь на месте с самого начала и до самого конца. Поэтому не знаешь, не понимаешь. Жалость приходит тогда, когда передвигаешься с одного места на другое и вдруг узнаешь, что на прежнее место никогда не вернешься. Тебе, Дом, такое неведомо, ты никуда не передвигаешься. Поэтому, когда хозяева твои умирают, ты не чувствуешь к ним жалости.

— Да, Нива, я не испытывал того, что ты называешь жалостью. К тем, что жили у меня, потом уезжали или уходили в смерть, я ничего не испытывал, кроме легкого сочувствия к себе и шороха забвения в своих стенах, куда укладывались на бессрочное хранение все слова, произнесенные моими хозяевами и квартирантами... Это сочувствие самому себе ты и называешь, наверное, жалостью?

— Не знаю, Дом, — был ответ ржавым голосом. — Я тоже скоро пойду на металлолом, умру, растасканный на запасные части. Но никакого сочувствия к самому себе не испытываю. А вот жалость к своему прежнему хозяину испытываю, точно. Где он, бедолага, теперь покоится?

— Там же, наверное, где находят свой вечный дом покойники всех времен и народов, — предположил я. — В земле. И что это такое — жалость? Разве можно — всех пожалеть? Вот твой новый хозяин появился на крыльце, тащит двумя руками кипу книг и думает при этом про какую-то *чавычу*. Ты его тоже будешь жалеть, Нива? — спрашивал я.

Но Нива уже ничего не успел ответить, потому что его новый хозяин закинул книги в машину, захлопнул багажник и, усевшись за руль, повернул ключ зажигания. Вспыхнули фары, включились красные габаритные огни — и Нива молча укатил с моего двора. Я полагаю, что навсегда. И тут я что-то почувствовал в самой своей середке — между первым этажом и вторым, возле срединной толстой балки перекрытия — что-то вроде теплового комка, который становился все горячее и

горячее, так что я стал беспокоиться, уж не начался ли у меня пожар по причине замыкания электропроводки.

Может быть, это и была жалость? Да... Жалость по отношению ко всем тем людям, которые прошли через мое пространство жизни почти за двести лет. Которые — все до одного — хотели жизни, любви и счастья, которые все это получили или не получили, но которые все до одного это потеряли или вовсе не имели.

Этот лысоватый парень, племянник хозяина Нивы, и увез из библиотеки те книги, которые он просматривал, снимая их с полки, а потом бросал на пол. Немало времени проводя за этим никчемным, как мне казалось, занятием, он, оказывается, отбирал те книги из заброшенной библиотеки, которые собирался увезти. И вот он увез их, и между полками полумертвой библиотеки осталась лежать на полу одна-одинешенька книга, и я мог теперь спокойно ознакомиться с нею.

Книга называлась «В дебрях Акатуй», в ней какой-то беглый бродяга с каторги со страшными мучениями проделал немыслимый путь по сибирской тайге, преодолел бесчисленные комариные болота. И выходя к заполярной тундре, уже еле живой от мучений и физического истощения, внезапно набрел на стойбище аборигенов, о которых ничего не знал весь остальной мир людей на земле.

Бродяга в книге рассказывал, как аборигены, жившие в домиках-чумах из оленьих шкур, одетые в оленьи шкуры, из того же материала выделывавшие себе обувь, приютили бродягу, накормили, одели в свои меховые одежды — ибо его каторжное тряпье уже истлело и обовшивело — и научили жить новой жизнью. Он и не подозревал, и не догадывался, что такая может иметь место на земле.

Все, что он знал о том, как люди жили в остальном мире, здесь отсутствовало. Яростная сила давления одних людских масс на другие во имя пожирания сильных слабыми здесь не действовала. Все то, к чему в процессе мировой истории стремились человеческие цивилизации, сменяя одна другую, было здесь неизвестно и никогда даже не возникало. И понял этот бродяга, глядя на улыбающиеся скуластые лица аборигенов, взрослых и детей, что вся история остального человечества, о которой аборигены ничего не знали, была ошибочной. Живя на подножном корме, которого вокруг было сверхдостаточно, народ аборигенов не нуждался ни в каких увеличивающих их природную силу механизмах и не придумал ни одной машины, работающей на усилия рычагов, вращении колес и сжигании топлива.

Бродягу аборигены научили тому, что сами знали и чего достигли, живя не так, как всю свою историю жило остальное человечество всех времен и народов Земли. Они научили его постоянно улыбаться, и во сне и наяву. Дети аборигенов знали больше взрослых, были умнее их, потому что, пока взрослые пасли оленей или промышляли рыбу, зверя на море, дети оставались дома и общались с живыми ангелами, которые в большом количестве слетались к ним в Акатуй, покидая гибнущие одна за другой на земле цивилизации. И живя рядом с детьми и прилетными ангелами, бродяга, бежавший с каторги и добравшийся к ним, обновленными глазами увидел, что все человечество с самого своего начала существовало не в правильной реальности, а где-то в неопределенном, вероятностном приближении к ней. Поэтому никто никогда нигде на земле не мог быть подлинно счастливым, кроме улыбающихся аборигенов заполярной лесотундры.

Первые и последние страницы книги почему-то отсутствовали, они были выдраны вместе с обложками, поэтому я не узнал, как этот бродяга попал на каторгу, как потом вернулся в свой прежний мир и смог написать эту книгу. А может быть, беглого бродяги вовсе и не было, и книга была написана автором от вымышленного лица.

Человек, забравший отборные для него книги и уехавший на Ниве, бросил дверь в библиотеку распахнутой настежь, и туда вскоре беспрепятственно проникли полчища крыс из моих подвалов. Зверьки употребили стоящие на стеллажах книги так, как это было им надобно, — прыгая по полкам, они грызли переплеты, пропитанные органическим клеем.

Единственную же книгу, валявшуюся на полу, крысы посекали на мелкие полоски и растащили на устройство своих гнезд в подвале. И я вскоре остался без последнего

развлечения — читать книгу о возможности другого устройства на земле человеческой жизни, чем та, которая просуществовала на протяжении всего прошлого — и до сего времени. Мне скоро конец, а чувства сожаления по этому поводу я не знаю. Как не знаю и того, что имели в виду люди всех человеческих эпох и цивилизаций под понятием «жить», и я не знаю, жил ли я сам, — хотя обладал сознанием, прилетевшим откуда-то извне через человеческие слова. Все жильцы, перебивавшие в моих помещениях, очень хотели жить, знали, как жить, но не знали, зачем жить. И постепенно превращались в одиноких призраков.

ВТОРОЙ ЛИСТОК

Тело и душа. Материя и сознание. — Разделение неверное!

Не будь сознания, не было бы материи, материальной Вселенной, которую можно измерить и взвесить с помощью тех же слов. Без материи не было бы человека, а значит и его сознания. А без его сознания не было бы космического мироздания, столь тщательно определенного только лишь с помощью слов, то бишь сознания.

В феномене человека существует неразделимое тело-сознание. Оно, как и понятие Вселенной, существует только в нематериальных словах.

И коли сознание способно выйти за пределы пространства и времени, значит, и тело способно выходить за эти же пределы.

Здесь ключ к разрешению этической коллизии между чувством абсолютной безысходности бытия и чувством бессмертия. Ключом тела-сознания открывается дверь в вечное существование человека, куда можно проникнуть очень просто: выстрелив в себя из пистолета. Смертью смерть поправ.

Теперь: зачем нужно быть злу в существовании нашего тела-сознания? Зачем богу нужен был сатана? Этого мы никогда не узнаем. Можем лишь смутно предполагать и догадываться, что если любит Творец свои творения, то должен он любить и сотворенного им сатану. И поэтому, вменяя ему творить зло и сеять его в людях, Творец делает это не для того, чтобы уничтожить свои творения.

Может быть, это делается для того, чтобы продвинуться дальше к цели — полному освобождению людей от зла. Но после этого богу придется освободить сатану от его суровых, неблагоприятных обязанностей и снять с него вину за страдания человечества.

Смерть — механическая циклическая пауза в телесном мире. Синкопа, совершенно необходимая для его ритмического продвижения — для участия тела в бытии вечности. Пока душа человечества, привитая на его животное тело, постепенно вырастает и укрепляется во времени и пространстве, человеко-клетки, человеко-листья и человеко-цветы должны обновляться циклически — умирать и обновляться. И человек так же рождается, зреет, умирает. Это один из его векторов — вектор физический. Есть и другой его вектор — духовный, который уходит в бесконечность.

Очевидно когда-то вектор физический сможет быть направлен туда же, куда и духовный, — и тогда два эти вектора совпадут, две ипостаси человеческие схлопнутся. И может быть, человек будет жить очень долго, сколько ему не надоеет, и уход из мира земного будет для него не смертью — той самой, которую мы сейчас знаем, но чем-то вовсе другим.

Одиночество призраков-2

И вот я уже почти умер. Что-то невероятное, чудовищное произошло со мной и вокруг меня. Сначала разобрали по кирпичику мою правую умершую пристройку, затем раздолбали на куски ковшем экскаватора и увезли кирпичные глыбы правого угла, обрушили деревянную башенку, а затем начисто снесли весь мой второй этаж. Отвалившийся давно правый угол мой завалили ударами экскаватора наземь, зацепили стальными стропами и стащили с фундамента. Осталась от меня одна кирпичная

коробка первого этажа без правого угла, и я ощутил себя изуродованным обесчещенным калекой. Правда, отсутствующий правый угол восстановили, выложив его новыми силикатными серыми кирпичами, сотворили протез, но бесчестье и позор мои не кончились. Вместо снесенного деревянного второго этажа — с резными наличниками на окнах и остроконечной башенкой на углу — соорудили нечто тяжкое из серых бетонных блоков, состыкованных друг с другом и уложенных один на другой, словно косточки домино. Мой старинный первый этаж из каленых красных кирпичей накрыли новым перекрытием, железобетонными плитами, водрузили сверху два этажа из бетонных блоков — и могу представить себе, в какого урода превратили меня! Потому что таких же трехэтажных уродов возвели около меня штук десять, наверное, я не считал. Настала для деревянно-кирпичного городка новая эпоха бетона и стали. Вместо островерхих одно-двухэтажных домов с резными наличниками поднялись вокруг меня серые бетонные коробки с плоскими, словно отрубленными, крышами.

Хорошо, что я не увижу себя со стороны и в моей памяти останется «Дом с протуберанцами», картина маслом кисти тумского художника Александра Дашкова, которая была куплена заграничным коллекционером и увезена куда-то в Австрию. О, мне нравился мой портрет, написанный на фоне малинового заката, — с огненными солнечными коронами, взлетевшими к небу над остроконечной крышей башенки. А теперь, когда я почти умер и от меня остался всего один клоч кирпичной кладки первого этажа, а на него взгромоздили два этажа из серых бетонных блоков, мой расчлененный полутруп не ощущает никакой связи с новой надстройкой и не чувствует на себе ничего живого, сущего, продолжающего прежнее существование. Я чувствую только неимоверную тяжесть мертвого груза верхних этажей и ничего живого, хотя по железобетонным недрам дома снует множество жителей, совершенно мне неизвестных и недоступных для моего разума.

Купеческий дом Силкина в городке Тума перестал существовать, а тот кирпичный клоч от него — на монолитном фундаменте из касимовского белого камня — почти исчез под гнетом серого железобетонного монстра, восседающего на нем, и превратился, в сущности, в кусок мошей от меня, бывшего Дома.

Но эти мои останки, обложенные сплошь бетонным раствором и кафельными плитками, были превращены в просторный спортивный зал, уставленный механическими дорожками для ходьбы и бега на месте и многочисленными станками для накачивания мышечной массы на руках и ногах.

Городок Тума из тихого двухэтажного становища зачарованных в русском захолустье, не знающих смысла жизни людей, ведущих прелестную бесцельную жизнь, превратился в толпу кубических бетонных идиотов с одинакового размера квадратными окнами-глазами. И что происходит за этими окнами, какие люди заполняют собою дома-кубики вокруг, мне уже неизвестно.

Наверное, исторический финал мой незавиден и вызывает сожаление; от меня не осталось ни романтических седых руин, ни архивных хроник о делах достославных под моими сводами. Но никаких сожалений у меня не может быть, и мертвые срама не имут, я умер бесславно и невразумительно, и никакого воскресения моего не предвидится. Идея воскресения, пришедшая на землю вместе с Иисусом Христом (*Иисус воскресе смертию смерть поправ*), с ним и ушла, я не знаю куда. Не знаю я и того, повторил ли кто после Него акт воскресения и вознесения живым на небо. Моя же гибель произошла окончательно, и я в своем посмертии не оказался ни в раю, ни в аду — после своей смерти я пребываю в коробке кирпичной кладки о трех уцелевших углах, четвертый отсутствует — вместо него выстроена лестничная клетка для пешего прохода на два надстроенных этажа. Стены мои кирпичные, первого этажа, старинной добротной кладки, теперь снаружи оштукатурены цементным раствором «под шубу», и в такой бетонной шубе, сиречь саркофаге, пребуду Бог весть сколько еще времени. Итак, если я жив, меня ни за что не узнать, если я уже мертв, то тем более. Не помню я, как возник, не помню и того, как умер. Может быть, мы все, суще сущие, только рождаемся однажды и вовсе не умираем?

Ее нет, моей смерти, я ее не чувствую, и мне было бы непонятно, как просуществовать в этой создавшейся беспросветной скуке безвременья — ни жизни, ни смерти, — если бы не одна непредвиденная вселенская загогулина, лишенная какого бы то ни было содержания техническая абракадабра. По всему моему первому этажу деревянный пол залили бетонной стяжкой, а сверху положили кафельную плитку, и все это непонятно для чего. Но мне на это наплевать, то есть мне все равно, и я не хочу акцентировать свое затухающее внимание на этом.

Я заметил то, чего не заметили рабочие-строители. В углу бывшей библиотеки валялась книжка, вернее — оторванный с задней обложкой последний кусок книги. (Более ранние страницы которой я успел впитать в себя, прежде чем крысы располосовали их в лоскуты и унесли бумагу для утепления своих гнезд.) Оторванный же конец книги, не попавший раньше в поле моего внимания и не замеченный крысами, завалился в угол за крайней полкой книгохранилища. Безвестный клочок книги, никому не попавший на глаза, оказался на веки вечные замурован бетонной стяжкой, поверх которой был выложен гладкий кафельный пол.

Мой старинный изначальный деревянный пол из толстых пиленных вручную сосновых досок, отлично сохранявшийся в сухом помещении на протяжении более чем двухсот лет, оказался в роковом неотторжимом соитии с конечным фрагментом книги.

Отныне я мог — живой или неживой — безраздельно обладать лакомым текстом книги, начало которой вкусил гораздо раньше, но почти все уже позабыл в результате множества рекреаций моей продолжительной судьбы.

Теперь я могу снова и снова упиваться текстом, замурованным возле самой стены моего первого этажа — и наплевать мне, жив ли еще на свете автор книги или уже давно умер — между мною и кусочком этой книги никого нет, все это — мое и только мое.

«Акатуй»

... и дети у акатуйцев вовсе не рождались, а превращались в них из уставших жить стариков. Никто из аборигенов не знал, сколько их было в начале времен и как они оказались на Акатуе. Но сколько их было в самом начале, примерно столько и осталось до сих пор, ведь они не размножались и никто из них не умирал, потому что смерти акатуйцы не знали, вместо смерти старый человек превращался в младенца.

Это происходило всенародно, в объединенной из трех юрт Большой Яранге, куда приходил уставший жить человек в сопровождении своих близких и друзей детства. Свершив прощальную трапезу в первой юрте, люди провожали старика (как правило, это был старик) или уставшего от какой-нибудь изнурительной болезни человека в среднюю юрту триединой Большой Яранги, задерживали за ним полог и покидали первую юрту. Через три дня шли в третью. Там был проход в среднюю священную юрту, и та из женщин, которой хотелось материнства, входила в эзотерическую ярангу и выносила оттуда младенца, завернутого в праздничные замшевые пеленки.

Что происходило за эти три дня в священной средней юрте, никто не знал, да и не пытался узнать, и сколько бы я ни спрашивал, никто не знал и не пытался узнать, как происходит превращение стариков в младенцев.

Однажды я заявил, что устал жить от перенесенных ранее страданий и хочу в среднюю юрту Большой Яранги. Семья, в которой я нашел приют, проводила меня в первую юрту, устроила прощальную трапезу, проводила в среднюю юрту. Я зашел туда и ничего особенного не увидел — пустая юрта, на полу меховые ковры из оленых шкур, горел жировник об один фитилек, подвешенный к деревянной застрехе яранги. Я просидел день, два, потом проголодался, замерз и сам покинул среднюю юрту, потому что почувствовал, что ничего со мной не произошло, не произойдет и произойти не может. Ибо я не возник на этом свете акатуйцем, а родился обыкновенным русским мужиком — периода заката Российской империи.

Акатуйцы жили семьями, в двух рядом стоящих юртах, в одной муж и жена, в другой их приемные дети. Кровных детей у них не было от природы, жёницы акатуйки не знали кровавых родовых мук, потому как не беременели, а детей набирали из Большой Яранги. Когда же дети подрастали и выросли, они находили себе пару из другой семьи, и родители двух семей сообща строили новую ярангу для молодой семьи. И она вскоре начинала брать детей из Большой Яранги. Когда семейная пара, состарившись или устав жить, уходила на свое преображение, их юрты и имущество доставались старшим из детей. Они обзаводились парой и переходили из детской яранги в родительскую.

Те супруги, которые приняли меня в семью, Акахонд и Слингера, поместили меня в детскую ярангу, усыновили, значит, — хотя мне показалось, что они не намного старше меня. Я не смог установить, сколько же им лет, ибо акатуйцы не знали счета и не представляли себе, что время можно как-то измерить. Эти не умирающие, но только рождающиеся люди не пришли к представлению о существовании времени. Они просто не знали, что это такое. Суточные часы они определяли словами: рано, очень рано, совсем светло, темно. Времена года определяли пробуждением тундры, прилетом птиц, появлением китов в море, отлетом птиц на юг, приходом холодов и полярной ночи. Понятия долго, быстро, прошло много времени, будущее — у них отсутствовали. Нечто, во всем остальном мире называемое временем, для них не существовало, а стало быть, никак не начиналось, не проходило мимо и не истаявало навсегда — прошлого и будущего для акатуйцев не было.

Может быть, поэтому они всегда улыбались. Улыбались днем и ночью. Во сне и наяву. Улыбались, встречаясь друг с другом, улыбались на охоте, подкрадываясь к моржам и тюленям. Я был уверен, что акатуйские охотники улыбались и во время широких облетов над морем, когда искали китов, чтобы добыть их жир. Эти люди обладали той же антигравитационной силой, какою наделены от природы все летающие тяжелые жуки, имели и пчелы, а также жирные утки и всякая прочая на коротких крылах летающая птица. Все они не смогли бы даже оторваться от земли с помощью своих слабых машущих крыл, не говоря о том, чтобы без помощи антигравитационной силы перелететь с северного полушария земли в южное. Акатуйцы владели этой силой, а я нет, поэтому не мог с ними облетать морские просторы в поисках китов, и только по той причине не стану свидетельствовать достоверно, что акатуйцы улыбаются и во время охоты за китовым жиром, — не видел этого воочию.

Акатуйцы, бессмертные сами по себе, никого не убивали и вокруг себя. Оленей, которых они пасли в больших количествах, пастухи не забивали для еды, не резали. Это делали громадные полярные волки, от яростных набегов которых погибало немало оленей. Оленеводы же акатуйцы, заметив смятение оленей в дальних пределах пасущегося в тундре несметного стада, немедленно поднимались в воздух и, взмахивая надетыми на предплечья перепончатыми крыльями из оленьих шкур, атаковали с воздуха волчью стаю. Лютые звери огрызались, лязгая зубами, некоторые умудрялись совершать невероятно высокие прыжки, пытаясь на лету схватить воздушного охотника, иной волк в прыжке переворачивался и заваливался на спину, и кубарем катился на землю. Но я не знал ни одного случая и не слышал, чтобы волку удалось схватить зубами парившего над ним человека. Бывало наоборот — какой-нибудь могучий пилот-антигравитатор хватал на подскоке за шкуру волка и вздымался с ним по вертикали на высоту, чтобы швырнуть сверху на землю. Но обычно пастухи, орудуя с воздуха длинными шестами-арканами, быстро разгоняли по тундре серых разбойников, позволяя все же унести какого-нибудь убитого ими олененка. С остальных убитых оленей пастухи снимали шкуры и мясо, уносили в стойбище. Головы, рога и всю стерву внутренностей оставляли на съедение летающим стервятникам и полярным песцам.

Теперь о том, как акатуйцы добывали жир, в море с китов и на берегу с моржей, тюленей и сивучей. Выследив с высокого облета какого-нибудь большого серого кита, они на бреющем полете долго барражировали над ним, дожидаясь, когда морской великан нырнет и уйдет в глубину. И дождавшись, когда он вынырнет в следующий раз, охотники дружно спускались на его спину и на голову. Длинными костяными кинжалами из

моржовых клыков охотники срезали жировые шишки со спины и щек кита, пока он плыл по воде и переводил дыхание, пуская над собой фонтан. И времени, которое нужно было киту, чтобы сделать очередной вздох и уйти на глубину, вполне хватало на то, чтобы охотникам — а это обычно были женщины — набить сумы жировыми хрящами-наростами с тела и головы гиганта.

Жир моржей, тюленей и сивучей добывался акатуйцами другим способом. С парящего полета, совершенно незаметно для лежащих на отдыхе зверей, охотники среди тысяч громоздких туш выбирали какую-нибудь одну особь, которая в полном блаженстве чувств ваялась на спине, раскинув по земле ласты. Бесшумно подлетали к ним — и двое из команды одновременно атаковали сверху и накидывали ветвистые олени рога на распластанные по земле моржовые или сивучовы лапы. И тогда пригвожденный ветвистыми рогами к земле морж или сивуч не мог ни сдвинуться с места, ни перевернуться на живот. И с этого толстого живота остальные из команды, сделав на шкуре надрезы, снимали длинные ремешки нежного сала. Набив жиром сумы, охотники взмывали над зверем, освободив его ласты от оленьих рогов, удерживавших их на спине. Раны на теле толстой морской скотины, откуда были вырезаны пласты сала, никакого вреда им не наносили, ибо в жировом слое морских скотов не было ни кровяных сосудов, ни нервных окончаний. Моржи и сивучи во время драк распарывали друг в друге чудовищные раны, которые потом благополучно зарастали, оставляя на их шкурах многочисленные шрамы. Жир морских зверей шел у акатуйцев на освещение и на обогрев яранг во время долгой полярной ночи и на смазку обитых мехом лыж, также нартовых полозьев, а китовый жир с их головных шишек употреблялся женщинами для косметики.

Когда я пришел в их стойбище, меня приютили у себя супруги Акохонд и Слингера. Я был помещен в детскую юрту, где жили маленький мальчик Узаланд и девочка старшие по имени Уанда. Они еще, как и другие дети в стойбище акатуйцев, не умели летать, и обучали их этому делу ангелы, появляясь перед ними прямо из воздуха. Когда это произошло на моих глазах первый раз, я очень испугался, приняв их за потустороннюю силу или за инопланетян, что было для меня одно и то же, и к ним у меня было однозначно негативное отношение, внушенное мне в прежней действительности, до акатуйцев. Ангелов-инструкторов было трое, материализовавшись из воздуха, они появились вначале в виде полупрозрачных сгустков, но те очень скоро уплотнились и приняли вид обычных акатуйцев — в оленьих кухлянках с капюшонами, в узорчатых торбасах.

Дело происходило летней порою, когда солнце почти не уходило с небес, взрослые мужчины стерегли оленей на береговой тундре, обдуваемой океанским ветром, женщины улетали в море в поисках китов, добывать жир. Возле каждой детской юрты проходили занятия по обучению антигравитационным полетам. И сколько бы детей ни проживало в детской юрте — хоть один, хоть трое или пятеро — инструкторов-ангелов было по трое на каждую юрту.

И я повторюсь: когда перед входом в юрту из прозрачного воздуха появились три человека, двое мужчин и одна женщина, я дико испугался и схватился за нож, хотя все трое были красивой внешности и улыбались. Ангелы, принявшие облик человеческий, в меховых кухлянках, явились передо мною впервые в жизни. Но они быстро успокоили меня благотворным телепатическим внушением и приступили к своему делу.

Двое мужского вида ангелов с двух сторон взяли девочку Уанду за кончики пальцев на руках и приподняли ее над землей, совсем невысоко, сантиметров на двадцать-тридцать. Женщина-ангел, удивительно красивая, похожая на девочку-осетинку Белу Дидикаеву, которую я знал в детстве и без памяти любил, отошла метров на десять вперед и, стоя на месте, протянула к Уанде обе руки. Два ангела, державшие чуть воспарившую над землей девочку за кончики пальцев на руках, бережно, плавно качнули ее вперед-назад и с раскачки пустили по воздуху к простиравшей к ней руки красивой ангелице. И, улыбаясь, Уанда медленно, как во сне, перелетела к ней, коснулась ее протянутых рук и легко приземлилась на серый тундровый мох. Улыбающиеся два инструктора подошли к ним и опять взяли ее за кончики пальцев на руках, ангелица же отошла дальше, чуть на большее расстояние, чем первый раз, — и урок продолжился.

То же самое обучение проведено было и с ее братом, мальчиком Узаландом, только высота первоначального подъема над землей и расстояние плавного перелета в невесомости были поменьше, чем для его старшей сестры.

Подобные уроки совершались возле каждой детской юрты в этот благостный солнечный день полярного лета. И я попросил у инструкторов-ангелов моих брата и сестры, чтобы они попробовали и меня обучить полету. И вот что я услышал в ответ...

Три ангела-инструктора в меховых кухлянках, рядом акатуйские дети, Уанда и Узаланда, стояли передо мной, улыбаясь, и женщина-инструктор, так похожая на мою прекрасную, чернобровую и кареглазую детскую любовь Белу Дидикаеву, говорила мне с улыбкой на лице:

— Мы ничем не можем помочь тебе, пришелец. Когда-то небесные ангелы и вы, земные люди, были созданы из одного и того же состава, и каждый ангел, и каждый человек в точности были похожи друг на друга в духовном своем теле, не знали смерти, потому что не знали жизни, и были свободны от жестокого и тяжкого закона гравитационного притяжения. Но потом люди земные захотели — непонятно для чего — жить, как все земные звери, поедая других и убивая для этого. И ты такой же, как все люди, — ты хочешь жить, ты знаешь, как жить, но не знаешь, зачем тебе жить. Тебе надо оставить в покое единственное на земле племя людей, которое еще умеет летать, как ангелы. Может быть, когда вы все погибнете на планете по какой-нибудь причине, они станут новым человечеством.

Я выслушал с необоримой великой печалью ангела, столь похожего на мою утерянную детскую любовь, и в душе моей созрело стойкое желание вернуться к тем людям, от которых я ушел, и жить вместе с ними до конца своего земного существования.

Если все остальное — мое человечество — представляло одну великую голограмму, а каждый человек — и я среди них — представлял один голографический кристаллик, то аборигены Акатуя были зернами другого голографического пространства-времени. И хотя они были прекрасны и с ними были их бессмертные ангелы, меня до кровавой боли в сердце потянуло к своим...

На этом обрывалась книга, дальнейших страниц не было. Этот последний клочок был прижат к моему деревянному полу первого этажа бетонной стяжкой и представлял собою кусок мощей когда-то цельного книжного организма. Такими же мощами когда-то цельного купеческого дома — первый этаж кирпичный, второй деревянный — являлся теперь я САМ, о трех изначальных стенах красного кирпича с сосновым полом, запечатанный в бетонный саркофаг. Все мои старинной кладки стены вместе с цоколем из приокского белого камня были сплошь покрыты снаружи цементной штукатуркой «под шубу», пол же на первом этаже, из трехдюймовых досок, пиленных вручную, покрыт кафельными плитками.

Итак, мощи умершего купеческого дома состояли из двух уровней: первого этажа, где раньше был лабаз, а потом библиотека, и наглухо запечатанного подвала, в котором беспредельно царили темнота и крысы. Но внутри моих мощей оказались еще одни мощи. Каким-то образом попал в замурованный подвал человеческий череп, почти два века находившийся раньше в моей деревянной башне. Должно быть, когда разламывали эту башню, череп попал под ноги какому-нибудь разрушителю, и тот, по своему разумению, зашвырнул ногой бранные останки человека в дверной проем подвала, который вскоре был наглухо заложен белым силикатным кирпичом.

Он долго пролежал в полной темноте, прямо на самой середине крысиной тропы, безразличный к тому, что бесцеремонные зверьки пролезают в его пустые глазницы, царапают кость, пробуя ее на зубок. Равнодушен он был и к тому, что, будучи когда-то частью живого существа, теперь оказался чем-то вроде округлого рукового предмета из куска приокского известняка, обработанного человеком. Черепу было все равно, что в этом огромном мире, где каждый предмет имеет причину своего появления и может объяснить, если понадобится, свое родовое происхождение, — он, череп, еще ни разу никому не объяснил, почему существует на

свете и имеет округлую форму. Правда, никто, кроме меня, об этом его и не спрашивал.

Но, видимо, все имеет свой предел, и однажды он обратился непосредственно ко мне:

— Вот и ты стал наконец таким же, как и я. Мы стали равны.

— В чем наша равенность? — спросил я, обрадованный тем, что в моем создавшемся необытйном положении нашелся хоть один собеседник.

— Когда-то мне, дочери эфенди Мураталиева, крещеного татарина из Касимова, отрубили голову и поместили ее в твоей башне на двести лет. А теперь тебе тоже как бы отрубили голову, вот мы и стали равны.

— Я раньше полагал, что слова, русская речь могут возникать только в русских людях или в русских домах, пронизанных насквозь русскими словами. Так же — и в мошах умерших русских людей. А ведь ты частичка мошей не русского человека. Ты череп дочери татарского ученого человека, эфенди Мураталиева. Звали тебя Адилью. Но твоя русская речь звучит весьма добротно. Как же так случилось, что ты можешь столь хорошо изъясняться на русском?

Так расспрашивал я, часть мошей купеческого дома, частичку мошей татарки Адильки, жившей более двухсот лет назад в городе Касимове.

И тотчас получил ответ:

— Мой отец выучился в Казанском университете, крестился в православие, а потом и мне дал русское образование. Я училась на статистических курсах в Москве вместе с дочерью одного из купцов Баташовых, Ириной. После, когда я вернулась из Москвы в Касимов, мой отец умер, а его родня, некрещеные татары, выдали меня второй женой за богатого мурзу Шамиля Усманова, потомка хана Касыма. А купец второй гильдии Силкин увидел меня до этого, когда мы с Ириной Баташовой ехали в открытой коляске на Касимов из Гуся Железного. Силкин развернул свою коляску, догнал нас и поехал рядом, и мы познакомились. А больше нам не удалось увидеться, меня вскоре выдали замуж. Но Силкин посылал мне через своих лазутчиков письма, я их читала и плакала. Чувствовала, что все это добром не кончится. У Силкина была семья, дети, он широко торговал в Касимове, потом построил дом в далекой ямской слободке Тума, где находится теперь моя бедная головушка и беседует с тобою, Дом. Ты был выстроен для меня, и я должна была быть выкрадена и тайно спрятана у тебя в высоком терему.

Силкин обещал в письме, что мы с ним убежим в Соединенные Штаты Америки. Мы ни разу не дотронулись друг до друга вплоть до той ночи, когда я вышла из незапертой садовой калитки, и Силкин ждал меня, а конь его был привязан к дереву. Этот конь и выдал нас — когда Силкин подсадил меня на него сзади себя, конь фыркнул и заржал, и тотчас залаяли сторожевые псы. В темноте я не увидела его лица, но я помнила, как мы ехали рядом в колясках, и глаза у него были синие, нос уточкой, зубы белые. На одном месте колеса наших кабриолетов зацепились, нас качнуло, и лицо Силкина, ехавшего наклонившись ко мне, вдруг оказалось совсем близко, возле самого моего лица, и я уловила на себе его дыхание. Но впервые дотронулась я до него во время ночной скачки на коне по пустым улицам Касимова, изо всех сил сжимая руками его широкое тело с узкой талией. И когда, выскочив с окраины города, мы свернули на проселок, ведущий к лесу, сзади собачий лай вдруг разразился на весь Касимов. Раздались в ночи звуки дробота множества копыт погони. Нас догнали уже в глухом лесу, меня ухватили сзади за косы и сдернули с лошади, Силкин ускакал.

Он хотел меня спрятать в тереме, любить и миловать, целовать в губы, он и сделал это, но я была уже мертва, тело мое было похоронено Силкиным в лесу. Он нашел мою отрезанную голову в кустах, привез в Туму и, сидя на лавке в твоей башне, целовал меня.

— Я это видел, — сообщил я. — Тебя еще не обглодали шершни, устроившие огромное гнездо под деревянной обшивкой башни. Черные глаза твои были полузакрыты,

ресницы были длинными и пушистыми. Казалось, что голова спит с открытыми глазами. Так было дело, верно?

— Откуда мне знать, — ответил череп. — Но как ты мог видеть это? Как мог заглянуть в мои глаза?

— Такою видел тебя Силкин, купец второй гильдии. А я заглядывал в твои глаза глазами Силкина. Прежде чем быть обглоданной шершнями и стать белым черепом, ты, Адилька, была в глазах молодого купца красива, как птица Сирин. Он так и шептал: «Краса моя ненаглядная, лапушка моя медовая! Ты как птица Сирин, прилетевшая в сад первоцветный, яблоневый». Кстати, не можешь сказать мне, кто такая была эта птица Сирин?

— Не знаю я птицы такой. Не знаю, что мерещилось глазам Силкина и что подразумевалось у него в голове. Но когда в этих моих пустых глазницах еще обитали живые глаза, они видели, заглядывая в зеркало, чудо невероятное, да, которое надо было любить. И купец полюбил меня.

— Скажу тебе, Адилька, что мне, слышавшему от людей это слово тысячи и тысячи раз, так ничего и не пояснило. Что бы это значило?

— Объяснить это нельзя, надо любить.

— Ну, не объясняй. Отвечай на вопросы.

— Добро.

— Любовь приходит откуда-то?

— Не знаю.

— Любовь уходит, улетает, улетучивается?

— Остается.

— Где остается?

— В каждом кусочке ее мощей.

— В каждом кусочке? И сколько остается этой любви в маленьком кусочке? Тоже маленький кусочек?

— Нет, в каждом кусочке мощей остается вся любовь, какой была.

— И выходит, что если человек по смерти распадается на миллионы частей, в каждой части его бывшего существа сидит вся его любовь?

— Так оно и есть.

— Значит, она бесконечность?

— Да.

— И она вечность?

— Не знаю, что это такое — вечность. Но любовь, если она явилась — неизвестно откуда, — остается до тех пор, пока остается во Вселенной хоть одна самая маленькая частица того, кто любил.

— Это может быть только человек, Адилька?

— Нет.

— А кто еще? Зверь? Птица?

— Да. Все живое.

— А неживое? Дома? Камни?

— Не знаю, Дом. Спроси у камней. Спроси у себя.

Вот я спрашивал у себя: «Ты не живое существо, ты и не человек, хотя обладаешь человеческим сознанием; ты можешь не желать разъяснений, что такое любовь, а просто любить?»

И самому себе отвечал: «Как я могу любить, если не знаю, что это такое?» И снова я спрашивал у самого себя: «Благодаря русским словам, пропитавшим тебя, ты обрел сознание. Через знания, заключенные в книгах твоей библиотеки, ты обрел высшее знание. Неужели со всеми этими приобретениями ты не способен понять, что такое любовь?» — «Нет, не способен, — капитулировал я перед самим собой, — нет, не понимаю, не способен, не представляю, что это такое, хотя слышал про любовь от людей тысячи раз».

И на этом месте я вынужден был снова обратиться к желтому черепу:

— Адилька, мы с тобой абсолютно одни, двое запечатанных в бетонный саркофаг носителей русского языка. Слава твоему батюшке, просвещенному татарину эфенди Мураталиеву за то, что он дал тебе русское образование. Слава библиотеке, которую открыли у меня на первом этаже в послевоенные годы. Мы можем с тобой общаться, нам никто не мешает. Ни крысы, ни камни, ни гнилые бочки. Вот и расскажи мне внятно по-русски, что же это за такое явление любовь, которая обуяла купца Силкина и хозяйку твою Адильку настолько жестоко и безрассудно, что она лишилась головы, а купец второй гильдии тайно вознес к себе на башню ее, то бишь тебя, держал перед собою в руках и, рыдая, целовал в окровавленные губы. Расскажи мне, Адилька, какие препозиции привели вас обоих к такому состоянию?

— Я не знала такого мудреного слова — препозиция, но, я чай, это что-то вроде прелюдии или увертюры, наверное, — ответил мне череп, лежавший в глубине моего замурованного подвала. И мне показалось, что в зубастом оскале черепа промелькнула ироническая улыбка. — Полагаю, что при всех твоих знаниях, Дом, ты не знаешь, что такое опера.

— Слышал, но никогда не посещал-с, — тоже настроившись на иронический лад, ответил я.

(Ирония и сарказм свойственны всему классу скалозубых человеческих черепов всех исторических эпох. Присмотритесь. Ирония, а скорее самоирония, свойственны также и всем величественным руинам прошлого человечества. Присмотритесь к развалинам самых дивных дворцов, крепостей и замков — и вы увидите их иронию над собственным когда-то невероятным величием и сиюминутным убожеством.)

— Увертюрой называется самое начало оперы, — стала просвещать меня бывшая татарка Адилька. — Я в Москве ходила с Ириной Баташовой на оперу.

— Ну, и при чем тут опера? — обратился я в глубину своего подвала, отдающего аммиачным резким запахом крысиного помета.

Последовал из удушливой ядовитой тьмы ответ:

— В опере «Руслан и Людмила» злой карла Черномор пленил невесту Руслана Людмилу.

— И что с этого?

— Эта препозиция, или прелюдия, отразилась на моей судьбе, — с горечью, которую не могло смягчить почти двухсотлетнее посмертие, ответил череп татарки Адильки.

— Как же это?

— Когда я после курсов вернулась из Москвы в Касимов, отец умер, а родня моя позволила украсть меня мурзе Шамилю Усманову, словно Людмилу — карле Черномору.

— Ну, а жених Руслан что делал в вашей касимовской опере? — спрашивал я.

— Руслан появился перед самым воровством невесты нукерами мурзы. За два дня до этого. Мы с Ириной Баташовой ехали в коляске из Гуся Железного в Касимов. Навстречу нам ехал Силкин, купецкий сын. Это и был Руслан. Мы заглянули друг другу в глаза. Об этом я уже рассказывала, Дом.

— И долго вы смотрели друг другу в глаза двести лет назад? — спросил я, вслушиваясь в темноту своего замурованного погреба.

— Секунды две, наверное. Или, может быть, три, — донесся до моего первого этажа, превращенного в тренажерный зал, ответ от желтого черепа.

— За две или три секунды между вами возникло чувство, которое длится до сих пор, хотя вас уже давно нет на земле? Может ли это быть? — усомнился я.

— Как видишь, может, — едва различимо донесся ответ сквозь забетонированный кафельный пол, на котором стояли тренажерные беговые дорожки, по которым бежали, не продвигаясь вперед ни на шаг, одетые в спортивные костюмы мужчины и женщины.

— Это и есть любовь, Адилька? — отодвигая звуки тренажерных станков и сосредотачиваясь на биовиртуальных сигналах снизу, спрашивал я.

— Да, это и есть любовь, Дом, — еле донеслось до меня. Сигналы заметно угасали.

— Как же она могла возникнуть за несколько мгновений? — спрашивал я, но уже не смог услышать ответ, заглушаемый мощным рокотом тренажерных машин.

Однако ответ все же прозвучал, и он дошел до меня:

— Потому что у него были синие глаза, кудри золотые до плеч, и он был настоящий Руслан из сказки. Я читала «Руслана и Людмилу» Пушкина.

Ответ дошел до меня, но я ничего не понял. И тут меня охватила тревога. Тренажерные станки так раскрутились, что кафельный пол, на котором они стояли, стал сильно вибрировать и прогибаться, и я испугался, что старая деревянная основа пола не выдержит, и тяжелая бетонная стяжка, положенная на доски, проломит их и рухнет в погреб.

И тут я вспомнил один из трех, последний, листик пожелтевшей бумаги, исписанный как бы знакомым всему русскому миру летучим почерком, каковой с большой точностью изобразила рука потомка Пушкина, увы, не способного больше ни в чем поэтическом повторить своего гениального предка.

ТРЕТИЙ ЛИСТОК

Чувство бессмертия связано с видовым началом человека, а все, что связано с индивидом человеческим, насквозь пропитано удушливым запахом смерти. Ибо она, смерть, касается только индивида — вид же его, род, народ, нация, цивилизация смерти не знают. И если животное от человечества — этнос — исчезает с лица земли, то его уход в небытие не проходит через процедуру умирания. Этнос, цивилизация, эпохи уходят без физического распада — тихо и незаметно.

Чувство бессмертия, таким образом, обеспечивается родовым началом, с видовыми переживаниями земного бытия, похожими на сон. История народов заполнена национальными, расовыми, племенными, религиозными, политическими сновидениями человечества. Но это — самый первый план.

*Итак, господа, Вид, к которому принадлежит род человеческий, распространяется в пределах биологического, ф и з и ч е с к о г о вида на земле. Но Индивид же человеческий прилежит к роду м е т а ф и з и ч е с к о м у. **Метафизический вид существования, который имеет человеческий индивид, исходит из космической черной дыры, образовавшейся на месте гибели какой-то одной из погибших звезд.***

Итак, я дитя гибели, поэтому бессмертен, хоть застрелись я тысячу раз. Моя индивидуальная смерть — это ничто.

Смерть сама по себе, в отдельности, не существует. Цель смерти — не ее собственная цель. Смерти ничто не принадлежит. Она словно гиена — раба своего ненасытного брюха. Которое мучительно страдает, если не наполнить его. Изучающие смерть обнаружат одно только это страдание. Смерть пожирает все живое, чтобы утолить голод, другой цели нет. В этом смысле она вполне невинна.

*Бессмертие не может отрицать смерть ввиду ее очевидности. И бессмертие — это не существование после нее или без нее. Но бессмертие — это постижение своего вечного существования еще при жизни. Постигание того, **что есть существование человека вне зависимости от смерти.** То есть, наличие в нем того, что существует б е з с м е р т и.*

Это душа. Человек умирает, но это означает, что тело перестает жить, распадается и переходит в окружающее пространство, а душа не распадается, но целиком уходит в другое пространство. Таким образом, на земле телоечно, переходя из одного состояния в другое, а душа, улетающая в другое измерение, смертна для земного мира.

Но сама по себе, во Вселенной, душа бессмертна, и постижение в своем теле-сознании души — это и есть путь постижения бессмертия. Все гении человечества потому бессмертны, что они постигли свои души. Бессмертие гениев подтверждается плодами их душевной деятельности, которые существуют без смерти.

ДВЕ АКСИОМЫ

1. Душа любая — уникальна. Нет двух одинаковых душ.
2. Душа рождается от других душ (как и тело от других тел).

Есть очень плодовые души-родители. Это писатели. Это мой предок арап Пушкин-Ганнибал Александр Сергеевич, гений. Уж он-то наплодил столько душ — от Руслана и Людмилы до Онегина и Татьяны!

Моя фамилия Пушкин. Но я не писатель. Я шерстобитчик. На двух станках, которые оставил мне в наследство дед Кога, я тереблю шерсть в Тумском уезде.

А все, что я написал в своих тетрадках, то ч и з л и к. Итак, господа, я не гений. Двум Пушкиным на свете не бывать.

Но разве могут все люди, жаждущие бессмертия, быть гениями? Могут. Каждый в этот мир рождается гением — это заложено в г е н а х. Но не каждый становится г е н и е м. Существует в природе вещей высший закон постепенности, который предлагает последовательное движение — постепенный количественный рост гениальности в человечестве. И когда-нибудь все человечество будет состоять из одних только гениев. А пока что можно и застрелиться. У меня и пистолетик есть. Купил у татарина из Касимова.

Желающие постигнуть бессмертие не должны бороться со смертью. Она непобедима, как жизнь. Пока есть жизнь, смерть непобедима. Постигание бессмертия происходит не через борьбу со смертью. Она сама по себе, бессмертие само по себе.

Если человек умирает с улыбкой на устах, значит он постиг бессмертие. И тогда смерть и бессмертие расстанутся в нем навсегда.

*P.S.-2 Я бы хотел умереть.
Но в сердце бушует такая огромная нежность!
Как же тут умирать.
Володя Пушкин-Когин.*

Напрасно я считал, что в мозгах этого парня, которые растеклись на моем крашеном полу, не было никакого сознания. Оказывается — в каждой клеточке того, кто жил, сохраняется не только все содержание его жизни, но и бессмертие всех родов, которые были отправлены высшей духовной властью Безвестного Вершителя Мира на землю.

Однако я, по имени *Дом с протуберанцами*, ничего не могу сказать про детей погибели небесных звезд, которых называю человеческими душами. Они выпадают на землю из небесных черных дыр и уносятся обратно в черные дыры, отметившись перед Лицом Безвестного своею краткой жизнью, наполненной любовью, ужасом, ничтожеством и бесстрашием своего личного бессмертия.

Алексей Ивантер

Жаркие деньки

* * *

Встала из дубовой домовины —
Никому, старуха, не нужна —
Липовой ногой до Украины
Стучает Гражданская Война.

Хромая, а выкинет коленца,
Спляшет казакам и морякам,
Русским ополченцам, и чеченцам,
Западэнцам, вдовам, старикам.

Сирая, идёт по полю боя,
Маловато полюшко по ней,

Стукнет деревянною ногою —
Ну-ка, дать тачанку да коней!

Русская — она наполовину,
На другую — липова она,
Покряхтит да ляжет в домовину
Старая Гражданская Война.

Крышку деревянную надвинет,
Снова одинёшенька одна...
На Войне ни крови, ни вины нет,
На Войне какая уж вина....

* * *

Александр Ремизову

Коровяк, подсолнухи и клевер, бабье лето — жаркие деньки. Поезда, идущие на север, подают короткие гудки. Пью кефир «Любани из Кубани», мимо ив и розовых кустов по шоссе — хоть сталкивайтесь лбами — понемногу еду на Ростов. Жар сухой, как в листовенничной бане, то ли воздух, то ли жидкий воск. Через пекло выжженной Кубани, через знойный город Тимашёвск. Старики — как пишут на иконе — статные, сухие старики. Нет коней; а чудятся мне кони, боевые кони, казаки. Всюду только пасеки и пашни, полусонный мир и благолеп. Что же я всё вижу день вчерашний — в рукопашно вздыбленную степь? Вижу перекошенные лица, всполохи непрощенной беды, ночью запалённые станицы, погорельцев около скирды? ...сироты и сгорбленные спины, глотка опалённая и грудь... Просто мимо Неньки-Украины пролегает путь.

Ивантер Алексей Ильич — поэт. Родился в 1961 году в Москве. Автор семи книг стихов, в т.ч. «Каменная правда» (Новосибирск, 2011), «Станция Плюсса» (Новосибирск, 2012), «Самогитский полк» (М., 2015). Живет в Москве.

* * *

Нужен памятник старухе
На скамейке в телогрейке,
Не дедку в косом треухе,
Жизнь идущему по змейке.
Ведь у каждой деревеньки,
У вокзала, у причала,
В телогрейке на скамейке
Она вечно нас встречала.
Ведь от каждого селенья,
Где есть братская могила,
Евдокия ли, Евменья
В вечный путь всех проводила.
В телогрейке цвета сена,
В телогрейке цвета поля,
В телогрейке неизменной,
Как любовь её и доля...

* * *

Мело над Хлебозаводскою, дома и ветви тороча, но в сердце не было покоя у отставного палача. Всё думал он, бредя с дежурства через газон и детский сквер, что всё же было самодурство — отмена радикальных мер. Он думал — Надо всех построить; одних — на ржавый пароход, других — в Сибирь, пусть землю роют, а миллионов пять — в расход. И будет сердцу тихо-мило, и на душе легко-тепло... Но как-то слева защемило в груди и в руку отдало. И он подумал — Вот же суки, ну не врачи, а упыри, и сел. И сунул руку в брюки, но что-то плавилось внутри. Оно росло. И, сердце жая, на горле затянуло жгут. И вдруг шепнул он — А ведь жаль их, да ну их к Богу, пусть живут...

И привалясь к столбу стальному, хватая воздух рыбьим ртом, он всё увидел по-иному — уже посчитанный Христом. Он вспомнил, как метель иная мела, и стыли рычаги, и каждой бабонькой родная страна возникла из пурги, он вспомнил очередь за мылом, отца — хоть Смерть с него пиши, и ту, с которой всё, что было — так мало было для души!

Пятнадцать лет один живущий, злобу жуящий битый день, услышал он детей, поющих про привокзальную сирень. Он уплывал, он пел с народом, он шёл к далёким голосам... И ангел над хлебозаводом черкнул крылом по небесам.

* * *

В Форосе облачно. Ползёт туман с Байдар.
Едва видны огни береговые.
И кажется мне — войско янычар
Размахивает саблями кривыми.
В Форосе облачно. А голуби клюют
Татарский хлеб, выклёвывая мякиш,
На мокрой гальке. Волны в берег бьют.
И ты не спишь, и кажется, что плачешь.
В Форосе облачно. На том и порешим.
Под кратким игом, облачным Османом
Давай друг другу просто разрешим
Побыть немного с морем и туманом.

Крым

Александр Хабарову

Нет горы, а облако осталось,
 Срыли гору, а оно стоит,
 Где ему клубилось и леталось,
 Грезилось и плакалось навзрыд.
 Тут оно постилось на дорогу,
 Серебристый оставляло след,
 Здесь оно привыкло понемногу
 Так стоять за миллионы лет.
 Для хозяйства — гору эту срыли,
 Но сквозь параллельные миры
 Из белёсых облачных надкрылий
 Свет скользит над склонами горы.

Много было флюса и расплава —
 Ценного народного добра;
 Облако висит над Балаклавой,
 Где стояла древняя гора.
 Жёлтые дымятся буераки,
 Всюду лязг и грохот заводской,
 К той, чьё имя было Псили Рахи,
 Припадает облако щекой.
 Гнать бы нас гуртом бараньим взашей,
 Ухожу, но чую за спиной
 Облако, молчащее над чашей,
 Облако, следящее за мной.

* * *

Из земли вырастают татары,
 Пахнут сеном, навозом.
 Вырастают и строят Байдары
 Всем обозом.

Ходят, топчут навоз каблуками
 В своей Трое.

Есть булыжник, есть пилёный камень,
 Что имеют, тем строят.

Их рубило, как кость на колоде,
 Мглою крыло —
 Не признавших империй; и родин,
 Кроме Крыма.

* * *

А если ночью ехать по Кубани,
 Как партизан, скрываясь в бороде,
 Где машут виноградники чубами,
 И водомерки ходят по воде,
 Где наподобье облачного дара,
 Пока ещё вконец не рассвело,
 Над рисовым квадратом Краснодар
 Азовской чайки вспыхнуло крыло —
 Там высохшим тутовником отжившим,
 Приговорённым печкой к топору,
 Старик сутулый, видимо, отбивший —
 Смолит свою сигарку на ветру.
 Прозрачный взгляд без суетной заботы
 Направлен вдаль от пережитых дней,
 И на ладони, крепкой от работы,
 Лежит лопата, чёрного черней.
 Сидит и курит ближний мой и сродник,
 Травы палёной выпускает дым...
 Мне предрассветный этот огородник
 Понятен, близок, дорог; и любим.
 Далёк от жизни пафосной и званской,
 Как и его китайский драндулет,
 И ус, пропахший куревом кубанским,
 Скрывает фразу, брошенную вслед.
 А можно жить на лени и обмане,
 А можно жить на правде и труде,
 А можно ночью ехать по Кубани,
 А можно ехать ночью по Кубани,
 А можно просто ехать по Кубани,
 Как водомерки ходят по воде.

Мария Кугель

Назови меня ещё как-нибудь

Повесть

Die Gedanken sind frei,
Wer kann sie erraten,
Sie fliehen vorbei,
Wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
Kein Jäger erschießen
Mit Pulver und Blei.
Die Gedanken sind frei!

Walter von der Vogelweide

Я пытаюсь отследить чужую волю в цепи событий, приведшей меня в эту историю, и не нахожу. Все происходило совершенно случайно и в то же время закономерно проистекало из прошлого, как это и должно быть в нормальной жизни. Итак, в 2006 году, через три года после развода, я зарегистрировала аккаунт на сайте знакомств.

То ли по неопытности, то ли из-за фильтров на корпоративном сервере это удалось только с третьей попытки на сайте с немодным и пошловатым названием «Девачка». Его обитатели забавлялись тремя способами: вели дневники, болтали в чате и упражнялись в остроумии в игре «Выбери ответ». Я по привычке принялась писать и познакомилась с питерским дизайнером интерьеров, московским системным аналитиком и капитаном рижской пожарной части.

А потом в жизни наступил тотальный цейтнот. Умирала от диабета мама: инъекции, памперсы, больницы, гипогликемический бред. По ночам мама кричала от боли и падала с кровати, и я, человек вдвое легче нее, взгромождала ее обратно. Не ко времени предложили должность замреда бизнес-еженедельника, на которую я нацелилась давно, отказаться не хватило духа. Дети, сиделки, собака, вечерние сдачи номера в печать, ночные крики, утренние побудки в школу, завтраки и обеды, два наполненных доверху пакета из супермаркета ежедневно: я превратилась в машину для выживания.

В конце концов, мама умерла, предоставив мне жизненную свободу. Вновь зашевелились в голове романтические мысли. Потом грянул кризис, доходы от рекламы упали, и мой журнал закрыли. Я ринулась спасти семейный бюджет, спешно организовав свежий интернет-проект, но у инвесторов тоже кончались деньги. Работа иссякла, но осталась колоссальная инерция. Меня, привыкшую расписывать день по

Мария Кугель — журналист-расследователь. Родилась в Риге в 1966 году. Изучала германистику в Латвийском государственном университете, занималась переводами с немецкого и испанского. Печаталась в журналах «Форбс Украина», «Огонек», «Даугава», «Этажи» и др. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

минутам и барабанить по клавишам, буквально разрывало от неизрасходованной энергии. Промаявшись восемь бездельных часов в редакции, я возвращалась домой через весь город пешком. Вспыхнул и угас, едва начавшись, интернет-роман — мужчину испугал напор моих эмоций. Я записалась на прием к психоаналитику, поставив замужество целью терапии, и вернулась к виртуальному дневнику на сайте «Девачка.ру».

Человек меняет кожу

написано: 28 апреля 2009.

Впервые в жизни хожу к терапевту. Чувствую незащищенность и страх потери контроля. Ужасная у этого человека работа. Однажды возмечтав докопаться до истины, он вынужден это делать каждый рабочий день по несколько раз на сомнительном по качеству материале.

* * *

В начале кризиса в воздухе висела истерика. Люди, объятые паникой, делали странные вещи. Моего соседа по кабинету, редактора глянцевого приложения, вызвали на разговор учредители. Бедняга владел запасной офшорной фирмочкой на Кипре и входил в правление издательского дома. На следующее утро он, дрожащий и уже пьяный, отравляя воздух перегаром, завел меня в гнусную рюмочную. Правление вознамерилось провести через его кипрскую контору пять миллионов баксов со счета материнского холдинга в рухнувшем банке. Не обещав ему за риск даже комиссионных. До конца рабочего дня он, набираясь дешевым алкоголем, изливал в мои уши ужас из придавленной шантажом души: «Я сказал им, это противозаконно, меня посадят! Но они говорят: на твою позицию много претендентов...»

В стране проходили муниципальные выборы. Конъюнктуру сильно качнуло влево. В политику ринулись друзья и знакомые, нацелившиеся на господдержку. Партии учреждались «на коленке». Один из таких одноразовых политических продуктов, уже оплаченный спонсором, за его спиной в считанные дни был перепродан лидером в неизвестные руки и вышел у хозяина из повиновения. Товарищи, оставшиеся за бортом сделки, от возмущения хватили ртом воздух.

Еще одну партию основал известный революционер. Он только что вернулся из политической эмиграции, отсидел месяц в тюрьме, вчистую выиграл суд у правительства и теперь слегка опьянел от свободы. Революционер задумал политический перфоманс: учредил партию апатридов и подал документы на регистрацию в расчете на скандальный публичный провал. Пришел в мой кабинет уговаривать меня примкнуть к его рядам. По старой дружбе.

Ставя подпись, я вдруг усомнилась. Что будет, если произойдет чудо и партию зарегистрируют? Мне придется заниматься политикой? Ходить на заседания думских комиссий? «Нет, что ты, это абсолютно незаконно!» — воскликнул приятель в ответ на мои сомнения, по обыкновению скосив в угол карие семитские глаза. «Впрочем, я тебя понимаю», — молвил харизматик, вдруг уловив абсолютный характер моего допущения. И подняв на меня гипнотические глаза, изрек: «Тебя все равно не выберут. Ты значишься последним номером в списке».

Редактор глянцевого приложения, с которым я делила кабинет, выяснил, что уже давно болен туберкулезом. Я пила с ним из горла одной бутылки...

Новости оф зе рекорд переполнили мое воображение и настойчиво просились наружу. Я выкладывала их в дневнике на сайте «Девачка.ру» под грифом «только для постоянных читателей». Единственным читателем дневника была я сама.

1 мая 2009 года.

Знакомый говорит: «Я читал в газетах, что ты вступила в партию N. Молодец. Наконец-то ты бросила нашу несуществующую экономику и занялась политикой!» О боже! Несуществующей политикой! Вчера некий высоколобый экономист поблагодарил меня за к месту подброшенный термин «постмодернизм». Он считает, что именно это

слово точнее всего отражает жизнь в стране, правительство которой пишет бюджет, основываясь на данных с сайта центробанка.

Где точка отрыва от реальности? Является ли уже наша повседневная жизнь таким же интеллектуальным конструктом, как политическая? Моя, например, жизнь, в которой я избираюсь в депутаты городской думы в составе списка, ни один член которого не имеет на то законного права?»

* * *

Постепенно в мой дневник записывались обитатели сайта. Осью архитектуры «Девочки.ру» была блог-лента под названием «Свежие записи в дневниках». Я, отлученная от ленты новостного агентства, страдала от информационной абстиненции и приняла к этому источнику эрзац-новостей как к кастальскому ключу.

Записи пользователя под ником Гай пропустить было невозможно.

Он зацепил меня эротикой. Мне казалось, меня не пронять блогowym экзгибиционизмом. Я сама писала самую откровенную порнографию в первую эротическую газету СССР. Но тут читался иной замысел. Пунктирный, неявный. Гай не искал любви женщин. Он завладевал вниманием читательниц и знал, как его удержать посредством постоянного возбуждения простых и сложных желаний, которые не собирался удовлетворять.

Я узнала из его дневника, что он: основал и редактировал газету независимых расследований (приватизация, рентные слияния и поглощения, войны компроматов, свадьбы и разводы бизнеса и власти). Он побывал на войне и стоял безоружным под дулом автомата; ушел от двух жен; у него была взрослая дочь; бизнес; и видная должность в мэрии; он якобы обладал даром точно предсказывать события и признавался, что близкие называли его шаманом. Он писал книгу о любви. Он пил и шатался по клубам. Хвастался домом на Рублёке и квартирой на Фрунзенской набережной. Для человека, обладавшего публичностью такого качества, Гай был до неприличия щедр на подробности своей биографии. Но фото в дневнике отсутствовало. Гай детально описывал свою внешность, но цельного образа этот словесный набор особых примет не создавал.

В его профайле имелась ссылка на прежний дневник, оборванный внезапно в конце труднообъяснимой истории, которая развивалась стремительно прямо на глазах у читателей. Гай попал в любовный треугольник между виртуальной девушкой и реальной. Причем виртуальные отношения казались более осязаемыми, чем реальные, «*запах по проводам*», и их разрыв сыграл для него роковую роль, дав повод пережить предательство настоящее — и предать самому. Предательство было скрытым ключом к обоим его дневникам. Оно загоняло его, словно Рапунцель, в башню недоверия, земля вокруг которой кишела рыцарями в женском обличье. Но трудно было не заметить, какие перемены произошли с автором за три года от первого поста первого дневника до последнего поста второго. Вначале он был прост, искренен и доверчив.

Второй дневник он писал страстно, повторяя зачины, рубя тексты на короткие ритмичные фразы, удлиняя периоды к концу и приводя читателя к парадоксальному выводу. Отличный ритор, он вызывал безотчетное доверие и требовал от читателей безоговорочной веры.

Это было чистое шаманство, и между собой читатели его дневника спорили, колдует ли он намеренно, или гипнотический ритм его речи выражает внутреннее напряжение, попытку успокоить, уговорить самого себя. Ощущение немого крика, бессмысленного слепого кружения, топтания на месте присутствовало в каждом посте. Мучительный поиск некоего смысла внутри себя, который откроется вдруг, и все завесы с тайны мироздания спадут. И этот смысл, видимо, лежал во взаимоотношениях полов.

Женщины любят надрыв. Они все, перебивая друг друга, помогают искать выход, и каждая думает, наверное, что если она найдет, то этот великолепный мужчина, могущественный, умный, с такой сложной судьбой, но такой близкий, такой смешной

и трогательный, что он выберет ее. И я, увы, тоже ввязалась в эти поиски, бесплодные по замыслу.

И вот мы сидим в интернете практически круглые сутки. Пара-тройка десятков женщин и пяток мужчин. Убеждаем, спорим, соглашаемся, спорим, соглашаемся, в зависимости от личного опыта и склонности к протесту либо конформизму. И все вместе ходим по кругу. Этого добиться легко. Достаточно просто не позволять никому найти выход. Никакой. Ниоткуда. Для этого можно менять на ходу посылки, ловить на неточностях, выхватывать из контекста. Возвращать обвинения нападающему. Подозревать в лицемерии. Не отдавать инициативу никому и никогда. Формулировать задачи, в принципе исключая решение. Ахилл никогда не догонит черепаху потому, что когда он преодолеет расстояние, которое его от нее отделяет, она проползет еще немного...

Предает первым тот, кто допускает мысль, что другой может его предать. Сама эта мысль уже является предательством.

Любой ответ на это герметичное утверждение втягивал человека в самооправдания, но мало того: получалось, что априори Гай узурпировал право аудировать мысли читателей.

Со временем записи в его дневнике становились все более лапидарными, казалось, он нашел простую и малозатратную формулу поддержания постоянной активности читательниц, и это было его целью. А порой создавалось впечатление, что постепенно, но вполне намеренно Гай снижает уровень беседы и провоцирует женщин на непристойности. Если женщина признавалась, что не может материться, Гай объявлял ее закомплексованной и внутренне несвободной. Однажды вся честная компания в течение нескольких дней обсуждала шуточный текст, посвященный акту дефекации.

Сотни комментариев, он отвечал каждой и каждому, личная переписка в чате со множеством женщин и мужчин, на которую он постоянно ссылался на этом сайте и еще на одном, по мобильному телефону. Сколько времени это должно было занимать! Каждый новый пост — перелицовывание старых мыслей и одних и тех же биографических сюжетов, в которых он выступал то действующим лицом, то рассказчиком. И все свелось однажды к простому и короткому символу веры:

Мужчина ради любви должен сделать все.

Женщина ради любви должна от всего отказаться.

Если нет — ты мужик в юбке, баба с яйцами. И странное дело, этот ярлык воспринимался как приговор гадалки. Ненстоящая женщина! Не достойна счастья! Мужик твой будет тряпкой, а виновата ты сама! Феминистки оборонялись, обвиняли и убеждали, конформистки грубо и откровенно льстили. Он брал сторону то тех, то этих, периодически выделял какую-нибудь одну, отдавая ей переходящее знамя правоты и обращая на нее ненависть всех остальных.

* * *

Гай вызывал у меня страх столь же безотчетный, сколь явным было мое восхищение им. Во мне поселилось неутолимое желание завладеть его вниманием, пробить его герметичную неуязвимость. Разозлить, смутить, хотя бы на мгновение выбить из колеи или просто рассмешить. Я радовалась, если в ответ на мой комментарий он обильно сыпал смайликами и даже — если раздражался длинной отповедью. Но чаще он обдавал меня холодом снисходительного равнодушия. Следуя неременному правилу отвечать всем, он оставлял на мою долю короткие дежурные отписки. Его восхищение принадлежало не мне.

Прежде чем я увидела тебя, такую белокурую, такую великолепную в черном дизайнерском платье, энергично шагающую к моему подъезду с зеленой обшарпанной

дверью прекрасными ногами на высоченных каблуках. Такую неуместную с большим самсонитовским чемоданом, громыхающим колесами по разбитой отмошке на фоне поселка для рабочих завода силикатного кирпича. Даже зная о смертельном ужасе, сквозь который ты пролагаешь каждый свой день, каждый свой шаг. И что это именно я помогаю тебе преодолевать его и вытягиваю из беспросветного отчаяния длинными еженощными разговорами в чате. Даже зная, что это я нашла тебя, рискуя собственным рассудком, спасла тебя, предупредила, и это ты хватаешься за мои слова в интернете как за соломинку...

Даже тогда я все равно уже знала, что ты лучше меня. Моложе, прекрасней, успешней, умнее, сильнее, добрее и счастливее. Потому что Гай об этом написал в своем дневнике.

Ты и страдающий вслух Печорин были двумя мифологическими героями его дневника, вокруг вас завязывались все сюжеты и вертелись все разговоры. Он многократно и настойчиво признавался в любви к вам обоим. Ты была его музой, Прекрасной дамой. А Печорин — несчастный молодой эскапист, заливающий протест против надвигающегося миропорядка водкой — объектом нежного и жалостливого отцовского чувства. Видел ли Гай в нем себя?

Он лишил вас с Печориным человеческих лиц, превратив в аллегории. Точнее, в притчи во языцех, мишени для упражнений в злословии ревнивых женщин. Он заслонял вами свою частную жизнь, как щитами, потому что постепенно от его бывлой откровенности не осталось и следа. Предложив тебе дружбу, я даже не подозревала об истинном смысле этого движения души. Мной поначалу владел вполне эгоистический мотив: я сама стремилась избавиться от наваждения, а для этого мне нужно было очеловечить его главную легенду — тебя, нащупать за твоим образом живую девушку.

Гай посвятил тебе, кажется, около двух десятков постов: красивых, страстных, но... подлых. Помню, он описывал сон: в кабине душа стоит обнаженная девушка, стекло матовое, он разговаривает с ней, но ее не видит. Он хочет близости и знает, что нужно просто толкнуть дверь. Но она запрещает. Нет, поправляет себя автор, девушка просто не просит его сделать это. Девушка ждет, и мужчина знает это, и знает, что она знает. Но не может сам преодолеть границу между бездействием и действием. И когда он, наконец, решается и толкает дверь, он уже знает, что девушки за ней нет. А проводя рукой по стеклу, обнаруживает, что оно прозрачное, просто запотело изнутри.

Ахилл никогда не догонит черепаху, потому, что это не входит в его намерения... Ты стояла словно в свете прожекторов, одна-одинешенька на сцене, и у меня возникло неприятное предчувствие: он приучает тебя к вниманию, чтобы потом лишить его и наблюдать, как ты делаешь глупости, роняющие твое царственное достоинство, в попытке вернуть status quo.

Я прекрасно помню, с какой записи начала его комментировать. Он признался, что его молодой коллега из администрации повел себя нечистоплотно по отношению к внешним контрагентам. Точнее, зависил откат вдвое сверх положенного за спиной у коллег. И Гай маялся месяц моральной дилеммой, покрывать ли партнера, сохраняя корпоративную лояльность, или вывести на чистую воду, восстановив справедливость. Писал, как он блевал в туалете от отвращения к себе и ситуации, а затем все же вывел «крысу» на чистую воду. Я, помню, наивно заявила, что сама блевала бы в тот же вечер.

Именно тогда я решила с ним познакомиться лично, и он открыто и приветливо отвечал мне в чате. Он писал орфоартом, я заметила, что это не добавляет общению интимности, он согласился. Он собирался в Ригу, не по делу, просто так. Я предложила встретиться за чашкой кофе. А потом он вдруг быстро свернул разговор. То ли я спросила лишнее о службе. То ли обидела его, предположив, что исписался. Но разговор оборвался на полуфразе.

Тогда я мгновенно загрузила в поисковик его имя, отчество, которое он назвал не однажды, и слово «газета». И Google в первой же строчке выдал мне фамилию Гая, название газеты и должность в городской администрации. Но фото его, к моему вящему удивлению, отсутствовало даже в интернете.

Впрочем, о природе внутреннего конфликта, разъедавшего подсознание Гая,

мне удалось получить совершенно случайно вполне достоверные сведения, и отнюдь не от него самого. В то время одна из пользовательниц сайта, студентка филфака, писала дипломную работу о выражении эмоций в языке интернет-общения. Я заинтересовалась темой и попросила прислать почитать. В работе содержался добросовестный количественный анализ текстов из дневников, в том числе и Гая. По частоте употребления в его текстах преобладали эпитеты, выражавшие вину и раскаяние.

* * *

В начале лета разгорелась читательская активность в одном девичьем дневнике. Его хозяйкой была, судя по данным в профайле, красивая темноволосая девушка двадцати шести лет по имени Инна, ник — НАВСЕГДА. Судя по ее рассказам, мать-одиночка с неопределенной, но ответственной работой. Личных примет и склонностей за ней не наблюдалось. Она вызывала у меня одновременно симпатию, уважение и сильное недоверие. Гай, который редко отмечался в чужих дневниках, ее комментировал, она комментировала Гая.

Писала она о вещах, актуальных для многих. Инна будто читала сокровенные мысли людей, сама предпочитая держаться в тени. Ко всем благоволила, называя по имени, а не по юзернейму, но бесполезно было пытаться вызвать ее на откровенность. Она мастерски вела дискуссию и наблюдала за реакциями пользователей. Существовал стилистический разрыв между текстами комментариев и постов, а посты, казалось, принадлежали перу разных людей. За слогом комментариев мне мерещилась не двадцатилетняя девушка, а умный немолодой мужчина высокого роста. Наверное, дело даже не в росте, а в объеме легких, ведь каждый пишет, как он дышит. Эту строчку из песни Окуджавы следует понимать буквально: речь человека, устная или письменная, определяется ритмом дыхания.

Когда события заводят тебя в историю, в которой ты не должен был оказаться, ты задним числом всегда пытаешься определить ту точку сюжета, в которой произошел роковой поворот. Где ты совершил ошибку? Однажды приятель, читавший вместе со мной дневник НАВСЕГДА, прислал неожиданное сообщение: *«Инна тырит посты по всему интернету. Я уличил ее в этом, и она немедленно удалила ворованое»*. Приятель предположил, что девушка, не умея писать, ищет дешевой популярности.

Я же, следуя интуитивной догадке, ответила ему, что это не дневник вовсе, а проект, и создан он не для удовлетворения личного тщеславия, а совсем в других целях. И ведет его вовсе не девушка, а мужчина. А авторство можно установить, внимательно присмотревшись к комментариям с характерным графическим строением «елочкой» и инверсией, придающей речи эпическую размеренность. И глубиной... Глубина и широта мысли, эпический охват реальности мешали мне увидеть их автором юную и, судя по фото, тщеславную девушку. Приятель ответил, если уж допустить, что хозяин дневника мужчина, то так на сайте пишет только Гай. И он был прав.

Этот знакомый ритм глубокой страстности.

Ритм мышления,

Ритм речи,

Ритм дыхания,

Он не оставлял никого равнодушным,

И я влюбилась в него.

Я влюбилась в ритм.

Вот здесь и случилась поворотная логическая ошибка. Точка отрыва от реальности. Я решила, что человек, который пишет, как Гай, и есть Гай. Мысль о том, что кто-то другой может подделывать его стиль с намерением ввести меня или кого-то еще в заблуждение, была в тот момент слишком сложна для меня. Она предполагала слишком громоздкий замысел. Допусти я такую мысль, и уравнение приобрело бы бесконечное число неизвестных, а я, возможно, смирилась бы с его принципиальной нерешаемостью.

Накануне мы с приятелем обсуждали цели общения разных людей в интернете и различные способы приобретения популярности. *«В моем дневнике и в дневнике Гая*

характер комментов совершенно разный, — писал мне приятель. — *И аудитория совершенно разная, хотя и там и там почти исключительно женская*. Я отвечала: «Ты, дорогой мой, философ, и пребываешь в поисках истины, пусть даже она скрывается от тебя в борделе. Цель, преследуемая Гаем, иная, он упивается тайной властью. Его дневник — это сераль».

Весь вечер я напряженно размышляла над двойной загадкой призрачного родства дневников НАВСЕГДА и Гая. До рези в глазах сличала тексты, подсчитывала прилагательные и глаголы. А наутро решилась задать девушке вопрос. Но не любовой. На прямое разоблачение у меня уже не хватило бы духу. Я выразилась намеком: «Знакомый слог, знакомая пунктуация». И получила в ответ: «Ты, Анна, как *Шахерезада*, не переставешь меня удивлять». «А кто султан?» — я вздрогнула у монитора от неожиданного совпадения, но отбила мяч. «А султан тот, у кого много жен, — ответила девушка НАВСЕГДА. — И он замыслил недоброе». Я встревожилась: «Кто в опасности, кого спасать?» — «Султан женищин убивает».

Итак, мне недвусмысленно дали понять, что между двумя дневниками есть прямая связь. И что дело здесь затевается опасное. И, наконец, я могла предположить, что человеку, пишущему эти строки, в силу полномочий, более широких, чем у обычных пользователей, доступна чужая частная переписка в чате.

Позволив увлечь себя на путь иносказаний, я совершила вторую фатальную ошибку. Я предполагала, что под личиной девушки со мной говорит мужчина и что он — совершенно конкретный мужчина, имеющий имя, историю и должность. Я дразнила, уличала и провоцировала, пользуясь его же оружием — намеком. Увлечшись игрой «маска, я тебя знаю», я не заметила, как она опасна. Мое сознание раздваивалось. Я пускалась в свободное плавание по волнам догадок, одновременно прочно придерживаясь «официальной версии».

Я предполагала, что НАВСЕГДА — это Гай, и одновременно допускала, что НАВСЕГДА — это не Гай, а Гай — это не НАВСЕГДА. В своем дневнике он по-прежнему демонстрировал мне высокомерие государственного человека. А она показывала себя девушкой мягкой и деликатной и даже, кажется, испытывала ко мне несколько снисходительный интерес. Гай в обличье Гая по правилам какой-то не мной придуманной игры не мог проявлять ко мне интерес и выказывал расположение тайно, в обличье НАВСЕГДА. И получалось, что мне эта травестия была даже на руку.

Опасность эзопова языка заключается еще и в том, что слова могут значить то, что они значат, и одновременно что-то еще. Мою мысль можно было направить в любом направлении, отличном от прямого. И этот таинственный второй смысл был более притягателен и желанен, чем очевидный, такой скучный и плоский. Тем более что и сама очевидность в текстах НАВСЕГДА была какой-то придуманной, призрачной, обильно усыпанной символами и сказочными сюжетами с сексуальными подтекстами: Шахерезадами и Аладдинами, Аленькими цветочками и Чудовищами. И все это богатство истинных потайных смыслов, рождающих томление внизу живота, — только для меня, в то время как профанам (думала я) предназначалась откровенная, банальная, незамысловатая ложь.

НАВСЕГДА писала, что по окончании рабочего дня едет домой к грудному ребенку. Но ничто решительно в ее дневнике не выдавало сентиментальности молодой мамы, которая любую царевну превращает в наседку. Зато я видела, как он(а), прикрываясь фабулой, исподтишка соблазняет и путает людей.

Он(а) соблазнял(а) меня, я — его (ее). Что же, в самом деле, помешало мне с треском разоблачить обманщицу вслед за моим приятелем? Любопытство, желание подойти поближе, не вспугнув дичь? Щепетильность, не позволяющая мне ломать сгоряча чужие планы? Наверное, думаю я сейчас, я не хотела разрушить ту особую интимность, которая возникает между двоими, когда они хранят одну тайну. А может быть, отчасти это был мелочный страх усестыся в лужу. Сердце сладко ныло от восхитительного интеллектуального флирта, но голова по-прежнему иступленно трудилась над разгадкой таинственной деятельности, наблюдаемой мной на сайте. Мозговые усилия постепенно стали меня утомлять. Мне казалось, я думаю даже ночью.

НАВСЕГДА стала читателем и комментатором моего дневника, и в нем завертелся хоровод. На собственный дневник у меня стало уходить непривычно много времени. Одновременно мой дневник стал шалить. Он закрывал от новичков то одно, то другое. Однажды он не дал прочесть себя мне. Мой дневник вел себя. Ему, казалось, не нравилось то, что в нем происходит.

Но терпению приходит конец! Я твердо решила покончить с двусмысленностью и с открытым забралом предложила НАВСЕГДА на странице ее дневника встретиться лично! Она ответила обтекаемо: *«Что ж, я не против обналичить наши отношения»*. Стоп, но эту фразу я написала в письме бизнесмену из моего февральского романа. Я хорошо запомнила ее потому, что волновалась, когда писала письмо. Я придумала ее сама и гордилась ею, и, клянусь, никто в моей жизни никогда еще кэш и виртуальность не противопоставлял. И Google не нашел ее в глубинах мирового интернета. А ты когда-нибудь слышала ее от кого-нибудь?

Я рассерженно бросила пальцы на клавиши: *«Эй, это мое слово!»* На мониторе появилась запись от НАВСЕГДА:

Анна)!

Браво!

* * *

Про эмпатию

написано: 12 июня 2009

Иногда от малознакомого человека слышишь словечко, которое тебя настораживает. Оно тебе знакомо. Дежавю ставит тебя в тупик. И через минуту или день напряженного размышления вдруг понимаешь, что оно твое, это слово. И ты думаешь: он читал мои письма. Он это специально меня зеркалит. Или: он эмпат-профессионал. Он чувствует, что нужно сказать. Или.... или.... а вдруг он на самом деле родная душа?

Может быть, вы читаете мысли друг друга? Вы в одном смысловом поле?

Что вы думаете про эмпатов? Эмпатия — это хорошо или плохо? Ее нужно контролировать?

Вопрос чрезвычайной важности: что вы чувствуете и что вы делаете со своими чувствами? И еще: интеллект, по-вашему, бывает мужской и женский?

Последний вопрос я задала, чтобы уколоть травести. НАВСЕГДА отвечала:

*Интеллект, в первую очередь мужской
а потом, если повезёт, то и женский))))*

Снисходительный шовинизм уверенного в себе мужчины. И даже ошибки пунктуации в обоих дневниках были одинаковыми! Я все глубже утверждалась в гипотезе, проверить которую не могла. В кресле у аналитика рассказывала, что увлеклась мужчиной в интернете, который ведет два дневника, один из которых женский. Я говорила, что мне интересен этот мужчина и меня интригует флирт с ним. В то время я верила, что встреча возможна. Я говорила аналитику, что мне неизвестны цели этой странной игры в переодевание. Забава большого человека, который не может найти себе дело по калибру? Социологическое исследование? Оттачивание политтехнологии? Аналитик кривил губы в скептической ухмылке. Ему не нравились такие игры, но он старался избегать оценок.

Пришла пятница, еженедельный повод для радости в интернетах. НАВСЕГДА вопрошала читателей своего дневника: *«Как вы думаете, почему слово "суббота" с двумя "б" пишется?»* Название «Суббота» носила еженедельная рижская газета, и вторая «б» в «шапке» выглядела как тень от первой. Так я и написала: *«Вообще-то буква одна, просто тень упала»*. В качестве иллюстрации скопировала фотографию газетного номера: аккуратно под «шапкой» — портрет редактора скандального латвийского сайта независимых расследований Гая А. В заголовке статьи ясно читается слово «компромат».

Добавила комментарий: «Без подтекста: взяла то, что попало под руку. Попался сукин сын А., надеюсь, он этот ресурс не читает».

Понимала ли я, что дразню тигра? Да. Я наслаждалась азартом поединка. Правда, полагала при этом, что тигр цирковой. Пост был немедленно удален вместе со всеми комментариями.

В этот момент я интуитивно поняла, что рот отныне придется держать на замке. Следовало немедленно прервать терапию.

Игра. Влюбленность, азарт, наслаждение. Опасность, интимность, интеллектуальный драйв. Гремучая смесь гормонов. Я чуяла тайну, я увязла в игре как наркоман.

Времени на онлайн уходило не так уж много, но и в оффлайне мысли с навязчивостью осенней мухи кружились вокруг разговоров на сайте. Комментарии НАВСЕГДА в дневнике Гая. Комментарии Гая в дневнике НАВСЕГДА. Перекрестные реплики. Сквозные символы. Диалог стимулов, отражений, взаимодействий. Я всем телом чувствовала некую сеть, структуру, внутри которой я находилась, которая опиралась на архитектуру сайта, но не была ей тождественна. Я тщетно пыталась понять, как она строится и, главное, из какой точки ею управляют. Это сеть анкет-клонов с центром в дневнике Гая? Или демиург имеет доступ админа? Или сайт взламывают извне? Мне не пришла тогда в голову мысль, что сеть существует сама по себе и управляется распределенно, а «кукловод» просто делает пассы руками.

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. От ответа на этот вопрос зависело решение другой, более масштабной проблемы: имею я дело с частной активностью команды пользователей, которые даже, возможно, не общаются друг с другом в реале, или санкционирована администрацией сайта (что предполагало иное положение деятелей)? Либо это хулиганство, злокозненная игра некой группы, сфера влияния которой выходит далеко за рамки этого сайта? Я превратилась в сканер пространства. У меня осталось только одно чувство, одна страсть — поиск. Он страшно утомлял и, в общем, не стоил жертв. Но в редакции занять себя было нечем, журналистов отправили в отпуск до конца лета, дальнейшая судьба моего рабочего места стояла под вопросом, и в этой обстановке, полной бытовой неопределенности, изыскания в области теории заговора уже ничто не могло остановить.

Об истине

написано: 15 июня 2009

Я всегда ищу ее. За вещами, явлениями, событиями и словами. Я называю ее разными именами. Иногда она любовь, иногда свобода, иногда порядок, иногда хаос. Иногда она во мне, иногда в другом. Поэтому я бросаю профессии, меняю характер, ухожу от людей. Я постоянно должна менять направление взгляда. Я как пуля, выпущенная из ствола, который нигде, в цель, которая везде. Поэтому я жестока к людям и невнимательна к деталям. Я не могу быть счастлива с кем-то. Я не могу быть счастлива одна. Я могу быть счастлива только с ней.

Но иногда в моменты напряженных поисков я попросту забываю жить.

Меня преследовало смутное ощущение, что за мной наблюдают. Он наблюдал за мной, я наблюдала за ним. Его преимущество было в том, что он оставался невидимым, а я перед ним — вся как на ладони. Зато он лгал, а я говорила правду. Он прятался, а я уверенно держалась на поверхности. Я вспомнила роман Дюрренматта о наблюдении за наблюдателем. Перечитала его. Для пушей прозрачности решила открыть лицо.

На живца

написано: 16 июня 2009

Мне вспомнился случай из жизни. В начале 90-х мне позвонил один знакомый из Москвы, он снимал документальные фильмы. В основном про дела духовные и мистические. Всякие культы, практики, нетрадиционные секты, места силы и проч. Рижская киностудия

заказала ему фильм про какого-нибудь сильного целителя в Латвии. А меня в то время дико колбасило. Песок у меня из почек шел, но диагностировать было невозможно. Так вот, он предложил мне работать, так сказать, живцом. Я должна была найти целителя ДЛЯ СЕБЯ. Он сказал: тебе я верю. А я была в него влюблена. Мы прошли с ним по таким жутким местам, встречались с такими ... даже не знаю, как их назвать... Одна армянка собирала просто вереницы людей, они к ней стояли в длинной живой очереди, она их пользовала по конвейеру, на каждого по три минуты. Потом у него украли его профессиональную камеру, и он поехал домой покупать новую. И тут закрыли границы, и он не смог вернуться. А то не знаю, сидела бы я тут и писала бы вам об этом, или бы меня закрыли в дурдоме.

Это фото стоит на приличных профессиональных сайтах и на моей пресс-карте.

Занимаясь на сайте археологией таинственной сети, я не часто задавалась вопросом, что именно делается посредством нее? А тем временем это что-то делалось со мной. Будучи уверена в неуязвимости своей позиции, идя по следу охотника, я уже попала в его ловушку и растворялась в его замысле.

Кайрос

написано: в 15.10

Так что ж мы с вами излучаем, Попав в земную круговерть? Любовь и счастье? Слезы? Горе? Я знаю точно: Жизнь и Смерть! Изнутри наружу, снаружи вовнутрь и так без конца и края.

Konrad_Adenauer

написано: в 15.30

Нельзя внутри и снаружи одновременно. Нельзя без границ. Это шизофрения, Кайрос.

Кайрос

написано: в 15.37

Каждый сам обозначает себе границы. А шизофрения (шизо — расщеплять, френос — разум) — это естественная функция рассудка, на которую на достаточном эмпирическом материале указывал в своё время ещё Жан Пиаже.

Рассудок естественно обращается к самому себе как не к себе. Для каждого из нас это обычное дело, воспринимать себя как «я» и оценивать себя в третьем лице. Вот вам и простой пример естественности переживания себя как два в одном. То есть в некоторой степени и типичный пример расщепления сознания, в строгом смысле — шизофрении?

Умение переживать то, что внутри и снаружи, — это не предмет спора, это предмет опыта. Опыта, который каждый сам в себе может развивать или считать, что это невозможно.

Вполне может быть, что это так и есть — невозможно для Вас. Да Вам этого, может быть, и не нужно? И замечательно, это ваш выбор и ваша жизнь, которую каждый проживает на свой лад.

Каждый имеет право на выбор, в том числе и на выбор риска переживания экстремального опыта.

Например, отнюдь не всем интересно скалолазание, особенно без страховки. Ну и что, обязательно ли это значит, что скалолазы — психи? Тем более, это касается профессиональных воинов, например. Но им это нравится. Также кто-то занимается йогой, развитием сознания, преодолением всевозможных границ. Кому-то без этого жизнь скучна и пресна.

Стоит ли сходу заносить это в раздел патологии?

Самое удивительное, пожалуй, в том, что это очень безопасный и благотворный путь.

Наибольшей ценностью обладают внутренний покой и равновесие. Когда достигаешь во всё большей степени этого состояния, то всё становится просто и легко.

Konrad Adenauer

написано: в 16.20

Не такой уж безопасный путь, Кайрос, — потеря себя.

О пользователе, присвоившем себе имя бога счастливого момента, мне было известно только то, что он написал в своем дневнике. Он интересовался восточными духовными практиками, когда-то воевал в Афганистане, видимо, в диверсионных частях. С мастерством, выдающим совершенное владение темой, он писал, как в предрассветной тишине душманский разведотряд перебил на рассвете весь полк, начав с часовых и не разбудив ни одного бойца. Описывал спокойно и подробно выражение немого ужаса на лице человека, пробудившегося в момент, когда шомпол входил в ушное отверстие. Когда-то до войны Кайрос профессионально играл на ударной установке. (*Научи меня стучать на барабане! — Да что за наука, просто берешь палочки, кусок резины и папа-мама, папа-мама.*)

Ровно с тем, что он позволил узнать о себе вначале, я и вышла из длинной переписки в чате. Никакие мои уловки и рокировки не заставили его выдать хоть кроху личной информации сверх того небольшого, что он сам хотел сообщить. Где он жил? Кем он был? Наконец мне удалось прижать его к стенке, и он назвал свое имя: Ник. Странное имя. Имя ли? И что мне с него? Он ушел, взорвав за собой свой дневник, бессвязные обрывки которого несколько дней летали по блог-ленте, отражавшей посты его виртуального друга Китайца.

* * *

Я дразнила Его сразу в трех дневниках: писала вопрос в дневнике у Гая, отвечала НАВСЕГДА в своем. И постепенно во мне нарастало желание, такое тяжелое и мощное, чреватое таким взрывом инстинктов, что его следовало бы измерять в тротиловом эквиваленте. Все окружающие мужчины казались мне маловесными и вялыми. Вот позвонил из Германии кузен, азылянт.

написано: 17 июня 2009

доступно для: постоянных читателей

Я думала, что «бабочки в животе» — это такое сугубо девичье, чисто русское общее место. Оказывается, нет. По-немецки это звучит так: Schmetterlinge im Bauch. По-моему, еще более пошло. Когда мне это 58-летний мужик заявляет, ну, извините.... тошнит. Он этих своих бабочек на каком-то сайтике взращивал, и они все сдохли.

Это у вас в животе бабочки. А у меня там, бя, бомба. Не знаю, что в этом может быть приятного.

НАВСЕГДА комментировала:

я знаю, что такое «бабочки в животе».

для одних любовь — это «бабочки в животе»... для других — внезапно выросшие крылья за спиной. у кого-то от влюбленности черти пляшут внутри, а кто-то начинает слышать музыку внутри себя, танцевать под ритмы собственного сердца и говорить стихами))

ЗЫ:Маша, бомба замедленного действия???

Я отвечала: Нет, мина. Морская. Это не любовь. Это секс. Любовь выше диафрагмы.

Я флиртвала с мужчиной, мне отвечала девушка. Девушкой она была для всех, кто читал ее, кроме меня. Для меня она была предположительно Тартаковым А., заместителем директора департамента N Правительства Москвы, бывшим журналистом, политтехнологом и лгуном. Он лгал в моем дневнике людям, которые мне доверяли, и я была его пособником. Он замарал мой дневник двусмысленностью. Двойственность разъедала мое сознание.

работаю я иногда и по субботам, ложусь порой и в час и в два, а в 6.30 подъем и по пробкам до работы(обратно такая же система)... еще ребенок маленький ждет дома маму и я ему спешу)тоска, Ань)

— писал он. Все это было ложью, ложью, ложью... возможно. Но я не могла ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. Я приняла решение временно перестать писать, но продержалась всего три дня.

написано: 22 июня 2009, 3:29

доступно для: постоянных читателей

Разрешите ненадолго отклоняться. Придавали смыслы и контексты. Кризис идентичности.

Но неужели ни один человек, кроме меня, не учуял подвоха? Я совершала осторожные вылазки к другим участникам замысловатых виртуальных менюэтов: *«Что вы чувствуете в дневнике НАВСЕГДА? Что вы делаете со своими чувствами? Приводят ли они вас к каким-то выводам?»* Нет, ничего. Ничего необычного. Красивая женщина, характер приятный, конформный, не лишенный известной доли рефлексии. Ни один пользователь, ни мужчина, ни женщина, не готов был увидеть ничего подозрительного в дневнике, если фото его хозяина изображало миловидную девушку.

(Спустя полгода все те же люди шумели и ругались в блогах, вычисляя клоны НАВСЕГДА. Этот прохвост, будь то женщина или мужчина, используя сразу несколько аккаунтов, водил за нос весь сайт. Он состоял в личной переписке с двумя-тремя десятками женщин, втираясь в доверие притворной откровенностью, раскручивал их на ответные признания, а затем попался на несостыковках, поскольку сорил подробностями выдуманной жизни слишком щедро. В *войне с фантомами* паранойя поразила целое сообщество. Женщины рыдали у мониторов и подозревали обманщицу за каждым аккаунтом без фото. И в конце концов, не особо церемонясь и используя все этичные и неэтичные приемы фактчекинга, принялись проверять на реальность и достоверность друг друга.)

В безмятежном тоне НАВСЕГДА появились угрожающие нотки. Мне казалось, что во всех постах она показывает мне мой страх и смятение. Точнее, страх и смятение, которые я должна была бы испытывать, если бы не любопытство. Мне давали понять, что знают все мои слабые стороны. Например, что у партнеров кончаются деньги на интернет-проект.

* * *

Проект, который я назвала «Мозговой штурм», требовал изрядных организаторских усилий. Нужно было собрать команду экспертов — бизнес-тренеров, экономистов, юристов, психологов и специалистов по взысканию долгов. Все эти умудренные знаниями и опытом люди должны были сообща решать на сайте проблемы мелких и малых предпринимателей, согласившихся вынести свою боль, а также финансовые и управленческие проколы на суд общественности. Предприниматели получали бесплатное решение их кейсов, специалисты — бесплатный пиар среди целевой аудитории.

Я рассчитывала войти в бизнес интеллектуальной собственностью и получать стабильную зарплату в качестве его руководителя. (Такую модель мне посоветовал Гай. Партнерши заявили, что дольщики должны делить расходы пополам, а мне вкладывать было нечего. И я попросила у него совета, впрочем, не без задней мысли, а как бы намекая, что мне известна его роль в газете, основанной на деньги лица, близкого к президенту). Какую цель преследовали инвесторши, их было две, мне до сих пор непонятно, поскольку механизмов монетизации этого клуба неудачников я предложить не могла. Но до поры они готовы были вкладывать деньги.

Неудачников в начале кризиса в предпринимательской среде имелось достаточно, однако народ о своих бедах, которые заключались в основном в недостатке ликвидности,

предпочитал помалкивать. Претендентов на разбор полетов найти было трудно. Однажды виртуальный приятель с сайта «Девачка.ру» написал в дневнике: *«Не желаете ли прикупить итальянский заводик РТИ, терпящий бедствие?»* Среди заказчиков небольшого семейного предприятия, каковые составляли львиную долю машиностроительной отрасли Италии, числился ни много ни мало аэрокосмический концерн Alenia. Проблем со сбытом компания не имела, но вот расплачиваться с поставщиками было нечем. Директор завода в свое время обеспечивал перенос технологий в некоем петербургском предприятии, а приятель переводил ему с итальянского на русский.

Финансовый кризис одинаково обескровил и итальянских резино-технических фабрикатов, и латвийских производителей овощных консервов. Итальянец не нуждался в консультациях, ему нужен был стратегический инвестор, готовый оплатить долги, а деньги в то время водились разве что в России. Однако Джулиано оказался парнем общительным и вполне европейцем. Он согласился раскрыть структуру предприятия, не преминув упомянуть на нашем русском сайте и козырного заказчика из космоса. Пока консультанты точили скальпели, среди юристов началось шевеление: меня попросили выдать прямые контакты владельцев.

К этому моменту моя паранойя уже выплеснулась за границу «Девачки.ру». Я иступленно думала и думала о том, где кончаются козни манипуляторов. Вдруг мне подбросили этого итальянского директора, чтобы дискредитировать в глазах коллег? Существует ли завод на самом деле, или его домашняя страница — фальшивка? Как только консультанты собрались на ежемесячный мозговой штurm в офлайне и объявили итальянский кейс закрытым, я написала приятелю, что моя функция выполнена и я умываю руки. Посредничеством заниматься отказалась.

В ночь накануне принятия этого решения я вышла с собакой на берег реки. Я с привычным подозрением всматривалась в небо над противоположным берегом, где в темноте висел оранжевый огонек метеозонда, отдавая себе отчет в том, что не смогу проверить ни одной гипотезы относительно местоположения наблюдателя. Я обдумывала запись в дневнике некоего пользователя, который, судя по всему, общался с НАСЕГДА более интенсивно, чем другие. Это был романтически настроенный молодой человек, писавший под ником Техподдержка, занимавшийся интернет-торговлей, поклонник Николы Теслы и любитель мистического символизма. До недавнего времени я беседовала с ним в чате довольно откровенно. Но уже дней десять из этого дневника со мной тоже говорил Он.

Полночь увенчалась короткой записью в дневнике Техподдержки, озаглавленной емко:

написано: 30 июня 2009 в 00.00

ТЫ

(Юноша, видимо, был влюблен. Однако его обращение к незнакомой мне девушке выстрелило в меня)

Ты только — танцуй!

Это было до ужаса, невыносимо интимно.

Танцуй для меня по моему сигналу. Я вижу каждый твой шаг, каждый твой миг. Это жестоко, но разве ты не об этом мечтала? Разве не мечтаем мы все о свидетеле каждого мгновения нашей жизни? Чтобы ни один миг нашей драгоценной жизни не канул в забвение. Отныне я проявляю и храню все мгновения твоего бесценного бытия, нравится это тебе или нет. Я смотрю на тебя сейчас. Танцуй!

Я не выдержала напряжения чувств, захлопнула ноутбук.

Я шла в темноте по пустой набережной и смотрела на огонек метеозонда, зависший на неопределенной высоте. Он любит меня и охотится на меня.

* * *

Наверное, виртуальный флирт с незнакомцем из дневника НАВСЕГДА не мог длиться бесконечно. В ее туманных текстах уже звучали прощальные нотки. Она писала о готовности к переменам, о предчувствии конца непонятно чего. Я ожидала, что однажды дневник будет удален, а я лишусь последнего контакта с человеком, в которого я, не зная его, была влюблена.

Но случилось то, чего я не ждала.

Утром, зайдя в на сайте «Девачка.ру» в заветный дневник НАВСЕГДА, я прочла текст, злой и предельно откровенный.

Если вам неудобно на сайте, и вам невдомек, что за дерьмо здесь творится, задайте прямой вопрос. Сегодня вы сообщили Феде о том, что ваша собака оценилась, а послезавтра Вася расскажет вам со ссылкой на Петю, что вы утопили щенков в ведре. Сайт «Девачка.ру» — это большая стеклянная банка, в которую вы набиты, как сельди. И только вы устраиваетесь удобно в вашем тесном виртуальном сосуде, некто Большой и Умный берет банку и встряхивает ее, враз меняя условия игры. Этот Большой и Умный сидит за столом, горит настольная лампа, а под рукой у него лежит рукопись книги «Управление замкнутым социумом с помощью слухов». Идет мыслительный процесс, работа продвигается ритмично, на подходе последняя глава...

Вот и книга о любви. Досадно, но ответ, ради которого я неделями ломала голову, я нашла не сама. Трудно поверить, но, похоже, у Большого и Умного просто не выдержали нервы. Пост вызвал у меня сложное тройственное чувство: смесь испуга, огорчения и разочарования. Я знала слишком много. О чем тут еще говорить? Игра окончена. Назавтра дневник был стер, ник НАВСЕГДА изменен на ИНАЯ. Он уходил в тень.

Итак, администрация сайта в курсе. Кто может вести систематическую слежку с использованием спутниковых технологий, заключать соглашения с администрацией популярной социальной сети, нанимать команду? Я вспомнила о профессии Гая и тесных связях с не последним лицом из охраны прежнего президента. О его нынешней должности, при которой невозможно было избежать контактов со спецслужбами.

Еще пару недель ИНАЯ писала дневник в закрытом режиме, затем «убила» аккаунт. Исчез главный смысл моего пребывания на сайте. А Гай уже больше месяца не баловал читателей новыми текстами. Однако я полагала, что охота не может быть прервана. Он должен проявить себя иным способом. Возможно, от него придут какие-то люди. Я отступила в оффлайн, пытаюсь выманить его наружу.

(Позже, спустя многие месяцы борьбы за реальность, я была готова считать параноидальным бредом все события этого июня. Но в эпоху *борьбы с фантомами* на сайте «Девачка.ру» о своем общении с НАВСЕГДА вспомнил Техподдержка. Он рассказал мне, что спросил о причинах, заставивших девушку удалить дневник. «*Анна Konrad_Adenauer* сунула нос не в свои дела», — был ему ответ.)

* * *

Но я помнила, что Гай собирался приехать в Ригу, и я ждала его со дня на день. Дело в том, что хотя связь с ним и прервалась, в каждом посте блог-ленты он давал мне понять, что вот он садится в машину и отправляется в путь. Идя по улице, я оглядывалась на каждый черный внедорожник, замедляющий ход рядом со мной. Теперь я больше не искала его в небе. Он был совсем рядом, за моей спиной. Я чувствовала спиной, что за тонированными стеклами сидит человек, возможно, его человек, который смотрит на меня. Наверное, он собирает обо мне сведения по бумажным архивам. (Почему черный? Я узнала потом от самого Гая, что он ездит на серебристой Ауди. На черном внедорожнике неизвестной мне марки, по крайней мере, я не могла определить ее по фото, ездил афганец Кайрос.)

А через пару часов в каждом посте блог-ленты Гай сообщил мне, что не

встретится со мной в Риге. Какое-то внутреннее напряжение, недавно пережитая трагедия, заставлявшая его бежать от любви, невыносимый страх близости при одновременном страстном ее желании. Ненависть к объекту слежки, от преследования которого он вынужден скрываться, фактическому противнику. Тогда я написала Ему в своем дневнике:

написано: 12 июля 2009 в 20.07

доступно: для постоянных читателей

То, что мы любим друг в друге, — это бессмертная душа. Все остальное только сонастройка инструментов.

Для неверующей меня это была просто красивая метафора. На завтра на новостном портале появилась заметка о том, что какие-то люди открыли фирму по выдаче потребительских кредитов под названием «Контора». Никаких документов от заемщика не просили. Чтобы получить деньги, ему надо было только заключить с компанией договор о том, что он закладывает кредитору свою душу. Электронная форма прилагалась. Подпись тоже не требовалась.

Ты попался, голубчик, подумала я, сейчас я возьму тебя с поличным. Я скопировала заметку на сайт «Девачка.ру». И прочла в первой строчке верхнего поста блог-ленты: «*Не тронь! Мое!*» Адреналин кипел, и тут я впервые совершила оплошность. Я ответила Ему под постом неведомого пользователя, не следя за контекстом: «*Поздно! Редакционная машина уже заработала.*» Я уже готовилась пойти по следу зловещего политтехнолога, но отрабатывать новость поручили не мне. Коллега, которой достался сюжет, уже звонила по телефону, указанному на сайте, и застала его хозяина в Москве. Я вызвала ее на разговор в кафе и сказала, что, кажется, знаю автора этой шутки, и поэтому прошу ее сделать две вещи: узнать, на кого зарегистрирован сайт, и кто является владельцем фирмы. Не знаю, что она подумала про меня, но сделала только половину. Мне почти всегда удавалось подкреплять фактами мои паранояльные идеи. Но лицо и интонации иногда выдавали меня.

История с кредитами под залог души разворачивалась во времени, и через несколько месяцев после победы в борьбе за реальность я расследовала ее и послала текст редактору одного московского аналитического портала, моему земляку. Он отказал мне, заявив, что не понимает, зачем ему публиковать материал о прошлогодних событиях, тем более что история обычная, на Регнуме, например, таких провокаций полно. Я копирую тебе текст сюда целиком.

Слухи — известный инструмент манипуляции общественным сознанием и дискредитации оппонента. Удобнее всего взращивать и легитимизировать сплетню в ограниченном информационном пространстве, а затем открыть шлюзы и выпустить ее в свободное плавание. В этом смысле Латвия для России — идеальный полигон.

30 апреля 2009 года журналист газеты «Вести сегодня» Дмитрий М. впервые поведал миру о том, что в Риге некий человек, называвший себя Виктором Мирошниченко, дает людям деньги в долг под залог бессмертной души под вывеской фирмы «Контора».

В начале 2009 года, в момент резкого падения латвийской экономики, я работала корреспондентом экономической газеты Бизнес&Балтия. Когда работаешь в ежедневной газете маленькой страны, легко отследить путь любой новости и ее фидбэк. В статье «Душу за деньги!» журналист писал: «О более чем странной конторе нам сообщил бдительный читатель». Собственно, дело обстояло не совсем так. Коллеги вспоминают, что от имени новой кредитной фирмы повсюду был разослан пресс-релиз. Его содержание в латвийских СМИ сочли настолько несерьезным, что ни одно уважающее себя издание на него не отреагировало. М., отвечающий в ежедневной газете за развлекательную полосу, был единственным из пишущей братии, кто заглотил наживку.

В офисе «Конторы», занимавшем одну комнату в подвальном помещении в тихом центре Риги, на улице Рупниецибас, 7, М, увидел стол, три стула, компьютер и самого Виктора Мирошниченко, которого в статье почему-то назвал Вадимом. Предприниматель

заявил, что выдает ссуды в размере от 50 до 500 латов на срок до 90 дней под 1% в день (365% годовых) под честное слово заемщика. Кредитная история, справки и даже паспортные данные не требуются, и единственным условием получения займа является подписанный типовый договор.

С этим договором можно было ознакомиться на сайте фирмы. Приводим его целиком.

«Я, _____ (имя), _____ (год рождения) нижеподписавшийся и подтвердивший данную подпись, указанное имя и год рождения своим словом, беру займ у заимодателя на известных мне условиях в размере _____ (сумма в латах) под залог нематериальной сущности, а именно своей бессмертной души. Я также подтверждаю, что вышеуказанный залог до сего момента являлся незаложенной собственностью нижеподписавшегося».

Сайт «Конторы» был беден информацией и производил впечатление однодневки, наспех скроенной для выполнения разовой задачи. Ни истории фирмы, ни ее юридического статуса, ничего, кроме мобильного телефона, e-мейла на том же сайте, адреса, инструкции по взятию и отдаче долга и договора. Информация на нем была размещена только на русском и английском языках. Отсутствие латышского текста (а это запрещено латвийским законом о рекламе и невозможно для местной бизнес-практики) рождало мысль о том, что предназначен сей незамысловатый продукт веб-дизайна не для местной аудитории. Кому, собственно, продавалась услуга?

Сначала вирусный контент инфицировал блоги и форумы рунета. Волна прокатилась от Берлина до Воркуты (видимо, не без специальных усилий) и была такой мощной (учитывая ничтожную глубину новости и малочисленность информационных поводов), что еще на 49 странице Яндекса по запросу Kontora.lv я находила упоминания о странной фирме. «Контора» превратилась в интернет-мем и была занесена в неформальную энциклопедию интернет-сетевых субкультур Lurkmore.

Обсуждали тему христиане, финансисты, юристы, потенциальные заемщики, просто любопытствующие. И профессиональные пиарщики, которые признавали: вброс, какую бы цель он ни преследовал, удался. Предположения о цели делались разные: социологическое исследование, пиар-кампания альтернативной модели скоринга, начало серьезной раскрутки нового вида кредитных карт. Ни одно из них со временем не подтверждалось какими-либо видимыми результатами.

Больше месяца блоги шумели автономно, и только в начале июня информация стала распространяться по развлекательным сетевым и бумажным СМИ. В середине июня Виктор Мирошниченко выступил на Русской службе новостей Латвийского радио, сообщив, что кредиты выданы уже двум сотням человек. На следующий день новость напечатала «Вечерняя Москва», затем портал Russia Today разместил ее на английском языке. 3 июля «Контору» посетил корреспондент Reuters, о чем мир узнал из публикации под заголовком «Latvian Banker Taking Souls as Collateral» (Латвийские банкиры берут души в качестве залога).

Шестого июля не выдержали отцы церкви. Главы латвийских христианских конфессий — архиепископ Янис Ванагс, кардинал Янис Пуятс и митрополит Александр — собрались и вместе осудили рекламную кампанию, проводимую компанией Kontora, сообщив об этом новостному агентству LETA. Такой серьезный повод уже не могло обойти ни одно уважающее себя латвийское издание, в том числе и экономическая газета «Бизнес&Балтия». Так я выяснила, что фирма «Контора» не внесена в Регистр предприятий, а имеет статус «индивидуальная услуга». Виктор Мирошниченко исправно отвечал на телефонные звонки по указанному номеру, но почему-то из Москвы.

Со ссылкой на Reuters, LETA и главный латвийский новостной портал Delfi информацию опубликовали десятки серьезных российских и мировых изданий. 16 июля Андрей Малахов выставил Виктора Мирошниченко с его затеей на всеобщее обозрение в шоу «Пусть говорят». Выпуск назывался «Контора дьявола». Телезрители увидели самого займодавца, одного из его заемщиков и журналиста Дмитрия М.. Виктор Мирошниченко, атеист по убеждениям (как он заявлял не раз различным СМИ), не горячился и не вступал в спор. На вопрос, чьи деньги он раздает без какой-либо гарантии возврата, он заявил: «Ну... скажем так, одолженные деньги».

Последнее интервью с Мирошниченко вышло в эстонской газете «День за днем» уже после передачи Малахова. В нем он рассказал, что деньги на ростовщичество получает от распродажи недвижимости, которой он занимался до кризиса. А кредитная контора, оказывается, действует вообще безо всякой регистрации. «С точки зрения государства, это и не бизнес вовсе, — писала газета, — частное лицо Мирошниченко одалживает деньги таким же частным лицам». Однако бизнесмен заявил о возможном расширении в России и на Украине. «Сейчас ведем переговоры, — говорил Мирошниченко эстонскому журналисту. — Если статистика за первые полгода нас удовлетворит, будем открывать филиалы». К этому времени офис на Рунниецибас уже был закрыт.

В ноябре того же года тот же Дмитрий М. закрыл тему, написав в той же газете, что фирма исчезла, телефон не отвечает, в справочных службах о ее судьбе ничего не известно, а долг с заемщиков никто не требует.

Сайт Kontora.lv был зарегистрирован на некоего Дениса Мелкова, молодого человека, имеющего аккаунты в Фейсбуке и на Одноклассниках со множеством друзей, специалиста по компьютерным технологиям, судя по аккаунту в профессиональной сети LinkedIn. В открытом доступе имеется его e-мэйл и телефон. Я связалась с ним, объяснив, что готовлю материал о необычных пиар-кампаниях, и попросила рассказать о событиях, связанных с «Конторой». Он ответил: «Я передал ваши данные людям, которые все это организовали, они свяжутся с вами, если захотят». Со мной не связались.

Теперь, по прошествии времени, можно резюмировать: единственным очевидным результатом этой странной квазикоммерческой деятельности оказался феноменальный каверидж. Все возможные каналы распространения информации были «пробиты». Зачем?

Словно в ответ на этот вопрос, не успела отшуметь «дьявольская» история, появился ее сиквел. 13 июля 2009 года в рекламном разделе сайта delfi.lv под грифом «Оплаченная информация» появилась статья на латышском языке «Резидент с химическим профилем: «Уралхим» хочет сменить адрес прописки — с московского на рижский». 15 июля ее перевод, без упоминания о рекламном характере, опубликовал портал Иносми.ру, а затем, со ссылкой на него, некоторые российские сайты.

В статье содержалась уже известная информация о том, что в апреле одна из крупнейших российских компаний — ОАО Объединенная химическая компания «Уралхим» открыла свое представительство в Риге, выбрав Рижский морской порт для перевалки минеральных удобрений на западные рынки. «Процесс создания новой структуры, — писали авторы статьи, имея в виду, видимо, совместное с Рижским торговым портом строительство на острове Кундзиньсала контейнерного терминала, уже обсуждавшееся в прессе, — находится в стадии завершения, поэтому детальных планов в компании «Уралхим» пока не раскрывают».

И вслед за этим следовало неожиданное заявление: «Однако стало известно, что руководство холдинга планирует перенести из Москвы в Ригу и свой головной офис. В этом случае «Уралхим» может стать крупнейшим налоговым резидентом Прибалтики. Не исключено, что вслед за головным офисом «Уралхима», в Ригу переедет и сам господин Мазепин, которому будет, безусловно, удобнее и спокойнее руководить своей компанией отсюда».

Ссылаясь на анонимных аналитиков, авторы намекали, что председатель совета директоров компании Дмитрий Мазепин намерен использовать Латвию для оптимизации налогов, а также упоминались растущие убытки компании и проверки со стороны Ростехнадзора и других надзорных ведомств, которые «для России являются нехорошим сигналом для руководителей компании».

Вредоносный вирус был «встроен» в аналитический по стилистике текст с нейтральной тональностью, что резко отличало его от обычного черного пиара. Казалось, авторы даже симпатизируют герою: «Экспортноориентированному производителю важно встраиваться не завтра, а уже сейчас в европейские экономические и политические стандарты, чтобы пробить свою нишу на западном рынке. Глобальный кризис подталкивает к опережающим решениям. Кто опоздает, тот проиграет. Владелец "Уралхима" г-н Мазепин действует в соответствии с этой здоровой логикой».

16 июля рекламная статья на латышском языке была размещена на портале

повторно, и ее процитировала газета «Бизнес&Балтия». Почерпнув в российской прессе сведения о том, что Дмитрий Мазепин в начале июля отправился в Лондон, экономический журналист поспешил назвать того бизнес-эмигрантом. Именно эта публикация послужила спусковым крючком для целой кампании по обвинению Дмитрия Мазепина в намерении вывести капиталы в Латвию и в конечном счете сбежать самому. Правда, даже журналист отметил, что источник информации показался ему странным. Однако это не помешало перепечатать новость из газеты главному новостному агентству страны LETA, что давало право ссылаться на авторитетные латвийские источники, как это сделало, например, издание «Век» в январе 2010 года в статье «"Уралхим" уходит из России». Мало того, ярлык «ухода из России» приклеился к затее строительства терминала и возникал снова и снова при каждом следующем движении в этом направлении (передача «Ничего личного», май 2010 года).

Прикладной характер этого вброса, в отличие от предыдущего, был очевиден, а его след — более длинным, чем в истории с «Конторой». По горячим следам я позвонила руководству портала и спросила, кто разместил рекламу. Рекламный отдел портала не согласился выдать имя заказчика, но сообщил, что он физическое лицо, россиянин, точнее, москвич, а текст составлен им в сотрудничестве с рижским пиар-агентством, название которого тоже огласке не предали. Сотрудник портала сообщил мне также: «Рекламный отдел сожалеет о том, что согласился разместить текст, формат которого так сильно отличается от рекламной статьи, тем более что там понимают: рано или поздно вопрос о заказчике все равно кто-нибудь задаст».

Случайно или нет, последний аккорд в истории мазепинского компромата сыграл Андрей Малахов. В ноябре прошлого года, используя свой блог, он распространил сплетню про неверность жены Мазепина и внебрачное происхождение двух его младших детей, чем спровоцировал скандал, широко отозвавшийся в Рунете. Текст этот звезда телеэфира начал так: «По случаю дня рождения Оксаны Бондаренко был дан изысканный ужин. Оказавшись рядом с двумя красавицами и бонвиваном средних лет, я невольно услышал поразительную историю, которую они обсуждали...»

Профессор Дмитрий Ольшанский в книге «Основы политической психологии» писал: «Сплетня — особое дополнение к иной, официальной, институционализированной, нормативной и общедоступной информации. Современный человек испытывает своеобразный эмоциональный голод в отношении необъективной, субъективной информации, особенно — с привкусом «клубнички». Главная цель ее распространителей — даже не заставить людей поверить в недостоверную информацию. Она сформулирована в названии шоу Малахова: "Пусть говорят"».

Надо сказать, что когда разыгрывалась история с «Уралхимом», я уже почти наизусть знала журналистский стиль А. Кроме манеры незаметно менять посылку, у него была еще одна характерная привычка: он заключал текст афористической сентенцией, часто парадоксальной, закрепляющий в сознании читателя ложный вывод. Мне необходимо было хоть как-то подстраховаться, вывести информацию, бывшую до сих пор достоянием только моим и Его, в какие-то осязаемые формы, которые я могла бы хоть кому-нибудь предъявить. Назначила встречу с бывшим мужем на автобусной остановке ровно посередине своего обычного маршрута. Прежде чем начала говорить, вынула из мобильного телефона батарею. Эта мера предосторожности давно практиковалась журналистами, замеченными спецслужбами в связях с известным революционером. (Как раз на днях коллега собирался на встречу с ним: разобрал телефон и положил батарею в один ящик стола, аппарат в другой, перекрестился и вышел.)

Этот жест мне самой казался нелепым, но у меня имелись поводы подозревать электронную слежку. Мобильный телефон скрежетал при разговорах и грелся, электроприборы то и дело сбивались. Ноутбук, выданный мне партнерами по интернет-проекту, внезапно выключался сам. Электронные письма опаздывали на сутки, а то и просто терялись. В дневнике моего приятеля-переводчика появилась тревожащая запись: «Говорит, может слушать разговоры по сотовой связи, настроить все передатчики на прием и даже отслеживать выключенный телефон. Врет?»

Итак, я встретила с бывшим мужем на автобусной остановке рядом с мостом. Сидя на скамье под стеклянным навесом, — телефон в одной руке, батарея в другой, — я рассказывала ему, что попала в опасную ситуацию. Этот человек когда-то обещал защищать меня в любых жизненных обстоятельствах, но ни разу не дал повода в это поверить. Впрочем, смысл был не в его участии: главное, чтобы обо мне и о Нем знал кто-то еще.

Я говорила, что познакомилась в интернете с видным московским чиновником Тартаковым А., что чиновник во времена обеих информационных войн издавал газету, служившую для слива компромата на конкурентов людьми, которые продвигали нового президента. Добавила, что по моим подозрениям он отработывает на сайте «Девачка.ру» технологии по манипуляции общественным сознанием по заказу спецслужб, и я, сунув нос в его дела, теперь тоже под колпаком. Бывший муж велел мне немедленно прервать с ним любые контакты и ни под каким предлогом не посещать сайт «Девачка.ру».

Однако я полагала, что это уже не поможет. Отыграть назад нельзя, нужно двигаться только вперед. Я не смогла объяснить бывшему мужу, почему это так: с точки зрения формальной логики я ничего не знала и никому не могла угрожать разоблачением. Но интуитивно я понимала, что логика любой системы безопасности основывается на статистическом прогнозе, и с этой точки зрения риск моего вторжения в тайну перевалил критическую отметку. Я стала оставлять мобильный дома, но это не помогло: Большой и Умный доказывал мне, что знает все, о чем я разговариваю с людьми в реале, в любом дневнике.

Так вот, опишу тебе возможности сайта. Содержание постов в блогленте можно регулировать так, чтобы они все отражали тему и настроение: твоего последнего поста; твоего текущего разговора по телефону; и, наконец, твоих мыслей на данный момент. Посты в блогленте могут быть одобрительные, осуждающие и просто издевательские. Динамику настроения можно регулировать, например, от нежно-идиллического до угрожающе-уничтожительного, и, наконец, навевать мистический ужас. Если верхние три дневника говорят тебе об одном и том же (например, о том, что ты здорово попала и нещадно трусишь), ты найдешь ключевое слово во всех трех. Даже если ты живешь с их авторами в одном городе, даже если знаешь лично, регулярно общаешься и можешь немедленно набрать их номер и спросить, что они имеют в виду. Да что там говорить. Интернет вещает тебе об этом с каждого форума, из каждой блог-ленты, какую бы ты ни открыла. В результате ты чувствуешь, что тебя окружили и травят и пора валить.

Но несмотря на это, ты сидишь и пялишься в монитор, как приклеенная.

* * *

Мина, рогатку которой я задела, взорвалась в дневнике твоей соседки по квартире и тезки Юлечки. О ней я не знала в тот момент ничего, кроме того, что она маклер в Москве и отдыхает в Тайланде. Она выкладывала фото с пляжа и тексты с несмелыми попытками рефлексии. Я, конечно, тогда не знала, что каждое утро она вывешивает на ваш общий холодильник листочки с «диктовками», записанными от руки карандашом или ручкой, что оказались под рукой в интимный момент общения с ангелом. И вообще не подозревала, что у вас общий холодильник. Но ссылку на сайт ченнелинга, хозяева которого обещали за умеренную плату свести каждого желающего с его персональным ангелом, я заметила.

В тот день я много часов, не вставая, сидела на сайте в редакции. Работы не было, новый редактор меня не любил, но рутинный процесс приходов на работу и уходов с нее хоть как-то форматировал плывущие контуры моего существования. Я с остервенением исследовала чужие дневники. В дневнике Юлечки наткнулась на запись.

написано: 17 июля 2009 в 11.23

доступно: для всех

кажется я схожу с ума)))

всю ночь — информация, потоком, голоса, голоса со всех сторон, перебивая друг друга... уже под утро я кричу: СТОП! Пожалуйста! я БОЛЬШЕ НЕ МОГУ! Прошу вас, давайте мне информацию ПОСТЕПЕННО!!! Затихли... проснулась с головной болью.

Запомнила важное: мне необходимо простить свекровь свою бывшую.

Информация потоком, голоса, голоса... Я ничего не поняла, но услышала угрозу: Он сказал мне, что может общаться со мной и без применения материальных средств. Я выключила компьютер и вышла на улицу. Внезапно мне стало худо. Голова, не останавливаясь, кружилась слева направо и вниз. Стали откуда-то снизу вылетать и маячить перед внутренним взором яркие, но обрывочные картинки прошлого. Они хотели добыть все про меня уже не из интернета и не из архивов, а непосредственно из моей головы. Я не должна была им этого позволить. Я зашла в пиццерию и заказала капучино. Пила его долго, потом сидела перед пустым картонным стаканом, впившись глазами в колечки лука и халапеньо, круги салями и полоски бекона на фотографиях пицц на стенах. Чтобы не вспоминать. Прошлое упорно просилось наружу. Просидела, наверное, с час. Головокружение не прошло.

Тогда я встала и пошла пешком по улице. Чтобы зафиксировать курс, сосредоточила взгляд на красных огнях автомобилей и светофоров. Меня спасали только красные огни. Улица была прямой, и габаритные сигналы долго не терялись из виду. Но иногда она пустела, а красные сигналы светофоров сменяли зеленые, и я боялась, что вот-вот проиграю битву за свое сознание. Сопrotивляться вращению было невероятно трудно, мне казалось, что неведомые телепаты, соединив усилия, стараются отвинтить крышку моей черепной коробки. Темнело. Я размеренно шагала квартал за кварталом, ритмично дыша носом и не сводя глаз с текущего вперед потока красных огоньков на проезжей части, даже не представляя, когда кончится и кончится ли когда-либо это противостояние.

Так я прошла всю улицу насквозь и добралась до площади, на которой выступали литовские рокабилли. Это были весьма неплохие музыканты. Даже в моем состоянии я могла чувствовать мелодию и ритм и даже получать удовольствие. Стоя в толпе раскачивающихся и притопывающих людей, я раскачивалась, хлопала в ладоши и притопывала в унисон, и к концу концерта почувствовала, как хватка моих противников ослабла. Я решила, что этот поединок я выиграла. И с облегчением направилась к автобусной остановке, чтобы ехать домой. На щите социальной рекламы было изображено лицо ребенка с застывшей в глазу слезой. Я встала рядом со щитом, и тут мои мысли, как дым, поплыли за пределы черепной коробки, которая больше не была для них непроницаемой. Я поняла, что меня победили.

Признаюсь, что описывать тебе это событие мне было наиболее тяжело.

* * *

На следующее утро я снова пошла на работу. Ничего не происходило. За квартал до редакции в воздухе вдруг отчетливо пахло корвалолом. Людей вокруг не было. В голове, как бы перед глазами, но внутри, промелькнула картинка. Я увидела крупного мужчину у окна от потолка до пола, на нем был бежевый летний костюм, он стоял, прислонившись лбом к стеклу, отодвинув тяжелое кресло начальника, обитое черной кожей, и с усилием дышал. Вернее, я своими мышцами почувствовала это усилие на вдохе, а дальше подумала, что, видимо, у него сердечный приступ. У этого мужчины. У Него. Возможно, из-за меня. Я почувствовала себя виноватой.

Но когда я поднималась по лестнице от лифта до своего этажа (лифт шел только до предпоследнего, а редакция располагалась в мансарде), меня что-то мягко толкнуло в грудь и нежно разлилось от шеи по плечам. Это было чувство любви. Но не мое. Не моей, Его любви, которую я теперь могла ощущать своим телом. В моей груди цветком расцвела признательность, моя к Нему, и нежность, и тут мне невыносимо захотелось

секса. Я мысленно подошла к мыслимому нему, все еще стоящему у окна, и растегнула молнию на его ширинке, мысленно нащупала его член, провела по нему ладонью и вдруг почувствовала во влагалище толчок наслаждения такой силы, какого никогда не испытывала во время реального секса. Я задержалась на лестничной площадке у маленького окошка и попыталась довести половой акт до конца, я хотела почувствовать его оргазм, но вдруг он будто отстранился от меня, и контакт прервался. Я ощутила это по холоду, почти боли в груди. Зашла в редакцию, села к компьютеру, открыла сайт «Девачка.ру» и прочла первую строчку первого поста блог-ленты: *«Ты мешаешь мне работать»*.

Я решила написать ему в личку: *«Гай, какого цвета у тебя в кабинете кресло?»* — *«Черное кожаное»*, — ответил он.

Вот так мы теперь будем общаться, подумала я. Он «слышит» меня, я его чувствую. Мое тело ежесекундно было связано с человеком, которого я любила. Я задавала ему мысленно вопросы, он отвечал мне через мое тело волнами любви, утвердительными кивками или отрицательными покачиваниями моей головы, а также в чужих дневниках. Его по-прежнему звали Тартаков А.

Мне трудно было скрывать улыбку и эти легкие, но определенные телодвижения от окружающих. Коллеги стали коситься на меня. Я старалась не показываться им на глаза, благо, сосед по кабинету лечился от туберкулеза, и я занимала его одна. Особенно затруднительно было ездить в автобусе. Я садилась, Он входил в меня спереди или сзади, я отворачивалась к окну...

Он нападал на меня неожиданно и держал часами. Я испытывала невозможное наслаждение, это все равно воспринималось как изнасилование, но я выбирала наслаждаться. Он любил брать меня сзади, когда я стояла у кухонной раковины и мыла посуду, когда стояла у окна и смотрела на растущие во дворе тополя. Я опасалась подходить к окну. Я занималась с ним любовью в гостях и на работе и даже на занятиях фитнесом, хотя туда я ходить потом перестала, потому что стеснялась его. Он видел моими глазами и слышал моими ушами. Или *не в поле зрения, а в поле определения*, как позже уточнил он сам в ответ на мой вопрос, может ли он видеть все, что находится перед моими глазами, когда смог говорить со мной в моей голове. Иногда я ходила на вечеринки сальсы, и когда меня приглашали на танец, я мысленно просила у него извинения, а когда кавалер сажал меня на место, спрашивала: «Ну, как?» Он благосклонно принимал такой менаж а труа. Весь июль я провела в экстазе слияния с возлюбленным, полного слияния с бесконечно любимым Гаем, Тартаковым А., который жил в Москве, ходил на работу в мэрию и, поскольку он давно не писал ничего в дневнике, я даже не знала, что в его жизни происходит. Я просыпалась утром, ждала несколько мгновений, и он приходил, и был со мной, пока я не засыпала вечером. Он брал меня за руки и ласкал мою шею. Но я все равно хотела с ним встретиться.

(Забавно, что я до сих пор испытываю многие из прошлых ощущений. Щекочущее тепло вокруг шеи, про которое я однажды вычитала на сайте, посвященном ЛСД, что это признак глубокого транса, покалывание в пальцах и прочие. Они не такие сильные, как раньше, я обнаружила пару приемов, с помощью которых их можно снимать, а с другой стороны, если бы они исчезли совсем, моя жизнь, наверное, опустела бы, опала бы, как шарик, из которого выпустили воздух. Они всякий раз означают что-то определенное, но я уже не пытаюсь разгадать что. Конечно, я больше не считаю, что нахожусь с Гаем в телепатической связи. Истолковать их подобным образом можно было только очень захотев, чтобы это было именно так.)

Мы были так близки, что мне казалось, будто мы с ним сообщающиеся сосуды: если вода (то есть эмоции) поступает в одного из нас, ее уровень повышается и в другом, и когда мы переполнимся, то взорвемся одновременно. Как-то я даже остановилась по дороге в редакцию у вытоптанного газона, подобрала веточку и нарисовала на сухой земле схему соединенных примерно посередине запаянных колб с двумя присоединенными к внешнему боку трубками, чтобы уяснить для себя, что выхода нет и, наверное, рано или поздно мою голову разнесет. Мне казалось, что череп у родничка расходится, мне хотелось удерживать его руками.

Пришло время, и я не смогла больше смотреть на монитор: глаза вылезали из орбит, перед ними постоянно мелькали белые молнии. Я пошла к офтальмологу, тот отправил меня проверить внутричерепное давление. Я дошла до невропатолога, только когда эта жуткая история для меня уже окончилась, но давление в черепе по-прежнему было повышенным, приток и отток крови нарушен, а МРТ показывал очаги необычной активности, не помню уже где. Впрочем, сказала врач, мозги у многих здоровых людей работают ненормально. Когда ты рассказала мне, что у тебя обнаружили водянку мозга и делали шунтирование, меня это ничуть не удивило, однако предполагаю, нарушение оттока ликвора является не причиной, а следствием твоего состояния.

* * *

Все разыгрывалось вполне банально в наших с Тартаковым А. отношениях. Он, состоявший со мной в телепатической любовной связи, хотел меня всю, а мне нужно было заниматься детьми. Начинался учебный год, предстояло поднимать их в школу, водить на кружки и к врачу, ходить на родительские собрания и зарабатывать деньги, в конце концов. Но чтобы поддерживать с ним романтические отношения, я должна была постоянно сидеть на сайте «Девачка.ру» и читать чужие дневники, где он отвечал на мои к нему вопросы. Сначала я сократила объем чтения до трех верхних дневников в ленте, потому что в них ответы выражались наиболее четко. Потом и вовсе перестала просматривать ленту, ограничившись дневниками моих друзей. Однако зловещим образом он заговорил и из них. Я честно пыталась выяснить, являются ли они его агентами или, может быть, он внушает им свои мысли. Если пройтись по дневнику сверху вниз, ты замечаешь, что в нем прослеживается внутренняя сюжетная связь. Но верхний пост в данный момент отвечает на заданный тобой мысленно вопрос, и этот ответ при проверке на соответствие действительности дает положительный результат.

Мы по-прежнему занимались бесконечным выяснением вопроса, почему мы не можем быть вместе. Это действительно казалось невозможным, несмотря на предельную душевную близость. Дело в том, что, еще не познакомившись друг с другом, мы уже все друг о друге знали. Он перетряхнул содержимое моей памяти, видел моими глазами (предполагалось, что и своими одновременно, и я думала, что это ужас как тяжело) и слышал моими ушами, чувствовал мое тело в весьма деликатных физиологических ситуациях. Когда я сидела, например, на унитазах. Стыд между нами уничтожен был еще до того, как мы узнаем друг друга вживую. Но как можно будет при этом еще смотреть друг другу в глаза? И потом, как я смогу простить ему то, что он сделал со мной? Вскрыть мое сознание было с его стороны очень жестоким поступком, и он знал об этом заранее. К тому же он полагал, что это необратимо. Что мы будем делать, когда встретимся лицом к лицу, одновременно чувствуя друг друга, как самих себя? Может в принципе выдержать человек такое напряжение чувств? Ну и, наконец, мы политически по разные стороны барикад и стоим друг другу в нешуточной схватке, которая может привести его к необходимости моего физического уничтожения.

Но так или иначе, дальше со встречей тянуть не имело смысла. Надо было решаться. Я поставила ему ультиматум: мы встречаемся или я больше не выхожу на контакт в «Девачку.ру». Это его здорово разозлило. Он был чрезвычайно вспыльчив. У него оказался характер маньяка. Его гнев, соответственно, отдавался болью в моей голове и характерным свистом в ушах.

Было начало сентября, стояли последние теплые дни, бывший муж решил помочь мне развеять мрачные мысли (он полагал, что я маюсь депрессией) и пригласил на регату. Регата называлась «Треугольник», яхта звалась «Спаниэль», это было спортивное состязание, моторы включать не полагалось. Сначала ветер наполнял паруса, потом наступил штиль, мы остановились и стояли бездвижно. Время растаяло между пасмурным небом и морем. Мы с бывшим мужем были гости, канаты тянуть нам не разрешили, мы разговаривали, сидя на носу яхты и глядя в пустое пространство, а Тартаков А. в моей голове ревновал. Потом совсем пропал. Потом наконец подул сырым ветром, парус натянулся. Наш «Спаниэль» пришел в гавань к полночи, в темноте, первым.

На следующее утро Он не вернулся в мое тело. Несколько часов я безутешно рыдала в постели. От этого (или от того, что Он вознамерился меня наказать) у меня невыносимо разболелась голова. Я лежала в постели, боясь шелохнуться, из уголка губ стекала слюна, но зато Он сжалился наконец надо мной, вернулся ко мне и снова мысленно держал меня за руки, как он это умел. Я чувствовала это по теплу и вибрации в кончиках пальцев. К вечеру боль отпустила. Я вышла в угловой магазин за хлебом. Мы стали с А. так близки, что не смогли больше заниматься сексом. Мы стояли друг против друга и вошли друг в друга, потому что больше некуда было двигаться, я была он, а он был я. Неожиданно мышцы живота так напряглись, что с меня чуть не упали джинсы. Я почувствовала, что плечи у меня широки, а таз узок, и испугалась, что так и останусь мужчиной. Но страх по-прежнему соседствовал с любопытством, и я попыталась прочувствовать свой член. Член мужчины, телом которого я воспользовалась как своим. Это продолжалось минуты три, потом живот так же внезапно расслабился. Он прошел сквозь меня и теперь стоял у меня за спиной спиной ко мне. Теперь мы поменялись ролями.

Я очень боялась, что тоже стану слышать его в своей голове. Но понимала, что этот момент приближается. И когда я в темноте возвращалась домой, это буквально пара шагов, он сказал тихо: «Спасибо!» Поначалу я слышала просто отдельные слова, потом потек бесконечный диалог. Мне уже не нужен был сайт «Девачка.ру». С тех пор Тартаков А., Гай или, по крайней мере, тот, кто гостил под таким именем в моей голове, стал болеть и постепенно, медленно и мучительно умирать. При этом он мучил меня, желая свести вместе с собой в могилу, заставляя мое тело корчиться, лез во влагалище и другие места, дергал за руки и ноги, как марионетку.

* * *

Кажется, с этого момента я перестала ходить на работу и даже включать компьютер. Две недели почти без сна я болтала в своей голове с возлюбленным и еще примерно с десятком людей, как совсем не знакомых, так и виртуальных знакомцев с сайта. Там были в основном люди, не все из них могли меня слышать, многие не говорили, но был, например, среди них *сайт Александр*. Он не причинял мне страданий и вообще приносил пользу, поскольку чистил нас всех от *вирусов*. Предполагалось, что таких, как я, у таких, как они, много, и вообще мы все, возможно, одинаковы, наши мозги соединялись беспроводной связью через сеть компьютеров, стоящих в *компьютерном зале*, и периодически злоумышленники засеивали их вирусами. Когда они вползали в меня, у меня похрустывало в основании черепа. Но *сайт Александр* имел недостаток: он любил детей, любил как-то нехорошо, и забирал их. Я боялась за своих детей.

Невозможно было что-либо сделать даже самое простое, подмести, например, пол или помыть посуду, потому что правой рукой управлял один сигнал, а левой совсем другой. Два сигнала одновременно я обработать была не в состоянии. Я все время ходила по кругу — вокруг обеденного стола. Слева направо. Справа налево. Перекладывала вещи из левой руки в правую и обратно. Они говорили мне что-то о кататонии. Или это я спрашивала их, не называется ли мое состояние кататоническим возбуждением. Нет, они говорили у *тебя логофрения*. И это, говорили они, навсегда.

Сначала я пыталась получить объяснение происходящему у них как у единственных его свидетелей. Все, что я слышала и читала днем, к вечеру они развивали в бесконечный фантастический киносюжет у меня в голове, *Коламбия Пикчерз*, в котором нигде невозможно было поставить точку. Это было так: я спрашивала, они отвечали, я не верила, они изменяли версию, извращали ее до полного неправдоподобия, и я говорила: все, *перебор*. И я решила ни во что не верить, поскольку единственная их цель заключается в том, чтобы запутать меня и не позволить мне действовать. (Но некоторые слова и выражения повторялись так часто и в таком волнующем контексте, что я запомнила их на годы, и однажды принялась искать в интернете. К моему удивлению, я нашла термин «логофрения» только на английском, на одном-единственном сайте, посвященном психиатрии. Логофреник — это человек, страдающий

редким симптомом: самопроизвольной и навязчивой визуализацией вербальных текстов.)

Я почти отвыкла разговаривать вслух, да и это было физически трудно. Мой взгляд был направлен внутрь. Теперь я знала, что значит шекспировское «ты повернул глаза зрачками в душу». И это отнюдь не метафора. Для того чтобы видеть не потоки и объёмы, а материальную поверхность мира, приходилось постоянно прилагать усилия к удержанию фокуса *на поверхности взгляда*.

Все потому, что теперь я видела его глазами и слышала его ушами. Мы были *параболическая пара*. Картинки его реальности появлялись на внутренней поверхности моих век, когда глаза были закрыты. И самая малость, я чувствовала, отделяет меня от того момента, когда я увижу их с открытыми глазами. То, что я видела и слышала, и в чем, по всей видимости, даже могла участвовать так же, как раньше участвовал в моей жизни он, меня чрезвычайно захватывало. Прежде всего, скоростью смены событий и интенсивностью их переживания, а также качеством их анализа. Моя интеллектуальная жизнь максимально углубилась и ускорилась, мысль пронзала пространство насквозь, а внешняя канва медлительного и цикличного телесного существования вызывала скуку.

Что же происходило с Тартаковым А. «на том конце телефонной трубки»? Я видела, как он пьёт алкоголь прямо в мэрии и сильно пьянеет, что его под руки выводят из кабинета, сажают в машину. Потом его увольняют и посылают на отдых в Ригу. Потом он уже бомж с надтреснутыми очками, его волокут по лестнице, потом по длинному коридору какой-то больницы к окну с намерением сбросить вниз, очки падают на ступени, на них наступают. Я умоляю его обидчиков сохранить ему жизнь. Потом он в Чечне, ему стреляют в спину люди, которым он доверял. Я вижу, как приближается к телу в свободном падении земля, борозду от танковой гусеницы у своих глаз и травинку, слегка качаемую ветром, и это невыразимо печально. «*Он умер в Чечне*». Они толкают его в багажник, везут в госпиталь и подключают к вискам электроды. «*Он очень кричал*». Потом он лежит на железной койке под жестким бурым одеялом, его парализованное тело гниет, а мозг горит, пропуская сквозь себя терабайты информации. «*Он думает за всех нас*». Все — это *люди-боты в компьютерном зале*. Мы подключены к нему беспроводной связью, и он наполняет наши мысли содержанием. *Люди-боты* сидят у компьютеров в забытьи и автоматически пишут под его диктовку тысячи постов и комментариев в сеть. «*Он не компьютер, он за-прог-раммированный человек*». Здесь девушка в длинном черном платье с обтрепанным подолом. «*Они тащили меня три квартала*». Здесь моря, океаны горя, и я спасаю Его ежесекундно ценой своей нервной энергии, исходя в слезах, сгибаясь пополам от душевной боли. Плачу по всем мальчикам, погибшим в Чечне. А через минуту уже смеюсь его шуткам, среди ночи, в голос, рискуя разбудить детей. Я плачу и смеюсь, плачу и смеюсь, почти не ем и почти не сплю. Наверное, он должен был умереть, но, видимо, я вымолила ему жизнь, и вот он уже сидит у окна в темной комнате, глаза его видят только *картинки* из чужой жизни, рядом с ним женщина, жена, он зовет ее *Ларисонька*... Он постарел, пополнел, плечи обвисли. «*Помилуй, я немолодой человек*». Вот они уже мирно беседуют со мной оба. «*Ларис, ну что ты говоришь чепуху?*»

Но вот он снова статный чиновник в бежевом костюме, *главный шаман России*, он возвращается в *компьютерный зал*, из которого разговаривает со мной с помощью таинственных аппаратов. Он издевательски хохочет: «*Они сказали, я умер в Чечне, я смотрел и не верил, как они могли!*» И напевает мне гадкую песенку: «*Между мною и тобою есть один лишь только миг*». Я не могу разгадать, кто он, что он, человек ли он Тартаков А. или *компьютерррная прогrrrrрама имени А.Тарrrртакова*. А *люди в компьютерном зале* — они, похоже, жалеют меня: «*Он издевался, а ты любила, ты умирала, а он смеялся*».

Я так упорно добивалась правды, что однажды завеса тайны приоткрылась. Мне приснился сон, в котором группа молодых мужчин, одетых по моде 90-х и стриженных под *Dereche Mode*, собралась в большой квартире, чтобы начать рискованный эксперимент над собой по методике западного ученого по фамилии

Бохвелл. «Бохвелл?» — переспросила я, чтобы лучше запомнить. «*БоГГГ-велл*» — поправил меня строгий голос за кадром.

(Чиновника и твоего приятеля А. действительно уволили в сентябре, ты-то знаешь, но я, конечно, об этом знать не могла. Однако большая часть событий, увиденных мной в те дни в состоянии глубокого транса, происходила отнюдь не в реальном времени с другими людьми, знакомство с которыми случилось только спустя несколько лет. За одним исключением. *«Юлечка была хорошая девочка, она пришла к нему в мэрию и увидела на мониторе то, что увидела. Она не поверила в то, что увидела, она в настоящего Тартакова поверила, и за это Тартаков застрелил ее прямо в кабинете. Взглядом убил. Свел с ума. И теперь она лежит в больнице под капельницей, с параличом воли, с ноутбуком в руках и рассказывает ему сказки»*. Ну что, себя узнаешь?)

Однажды, коротко заснув, я проснулась от удара. Он вошел в правый висок и ушел в стену, к которой я прислонилась левым виском, поскольку давно не могла спать в горизонтальном положении. Я быстро села в постели, очень кружилась голова, меня трясло крупной дрожью, с которой невозможно было справиться. Автоматизм вдоха и выдоха пропал, грудь сдавило. Накануне они обещали мне что-то зловещее из их арсенала под названием *«ритмическая атака»*. Я дышала с натугой. Стало не как бы, как бывало во время трипа, а по-настоящему страшно. Несмотря на угрозы *прислать перевозку*, я вызвала скорую. *«Они приехали? Ты уже в дурке?»* — Я должна? — *«Нет, ты нормальна»*. Врач сделала мне кардиограмму, не обнаружила патологии, накапала корвалол, выписала какой-то рецепт и уехала, оставив меня с конвульсиями. Тогда я села за стол и очень осторожно, тихонечко стала настукивать ладонью по столу простой ритм, какой играют на улицах кришнаиты. Постепенно дрожь оставила меня, задышалось само. Это происшествие здорово разозлило и отрезвило меня. Я решила, что пора делать хоть что-то. Утром записалась к семейному врачу, позвонила подруге и напросилась в гости...

* * *

Я сидела и молчала, изредка улыбаясь в ответ на чужие реплики. Дело происходило за семейным столом, вокруг нас бегали дети. *«Настоящие люди»*. Она вдруг посмотрела на меня пристально и сказала, что я ужасно выгляжу. Кожа приобрела пепельно-бурый оттенок, щеки ввалились. Она предложила мне взвеситься. С конца августа я потеряла пять килограммов. Выяснилось также, что рост мой уменьшился на полтора сантиметра. Как ты себя чувствуешь, дорогая, спросила она. Я решилась на признание. Я чувствую себя так, будто разговариваю по двум мобильным сразу. Я имела в виду ее и людей у меня в голове. Она, как позже выяснилось, не поняла, но приняла решение интуитивно: сказала, что знает, кто может мне помочь. Сама, мол, ходит на групповые медитации к одному учителю Живой Этики. Он сильный экстрасенс. Там собирается по пять человек, но она договорится для меня об индивидуальном визите. Берет недорого: три лата за раз.

Это первое предложение помощи с начала моего добровольного сошествия в ад. Я совсем не могу больше бороться, смиренно опускаю бразды и вверяю свою жизнь другому человеку. Вот она берет трубку и набирает номер. Я замираю: сейчас все сорвется. Дождивается ответа и подносит трубку к моему уху. И тут телефон издает скрипучий звук и гаснет. Попытки его оживить результата не дают. Подруга глядит на меня нехорошо: я спалила ее телефон. Сама я уже почти неделю без связи: мой мобильный поступил со мной точно так же. Трубку услужливо протягивает ее муж. От греха подальше, она назначает мою встречу сама. До моего спасения остается еще десять дней.

* * *

Мне трудно восстанавливать ход событий, потому что они преимущественно происходили внутри моей головы и не сохранились в зрительных воспоминаниях. Вернее, как бы снаружи, но на самом деле внутри. В конце лета я взялась редактировать

книгу моего психотерапевта. Я делала это на рабочем компьютере, потому что ноутбук постоянно гас, почту опять взломали. Шел странный спам, а однажды я получила со старого брошенного аккаунта на «Девачке.ру», зарегистрированного на другой почтовый ящик, уведомление о том, что в моем дневнике оставила комментарий моя рижская подруга под ником Seledka, которая уже три года не заходила на сайт. Я прошла по ссылке, ее комментария, конечно же, не нашла, но верхняя строчка верхнего поста в блог-ленте рассказала мне, что «Собака в данный момент дожевывает танку. Мы выставили ее вон». Я тут же вернулась в почтовый ящик, но письмо со ссылкой исчезло, как не бывало. А на следующий день, попытавшись зайти в интернет-банк, я узнала, что пятикратно ввела неверный пароль, и вход заблокирован. Мне грозила, если я буду продолжать своевольничать, *информационная блокада*.

В конце концов, ноутбук тоже скрежетнул и угас. Договариваться о финальном брейнсторминге, которым партнерши решили закрыть проект, пришлось из офиса «Мозгового штурма». Обсуждался кейс индивидуального предпринимателя, хозяйина клинингового бизнеса в провинции. Мероприятие было его последней надеждой, но специалисты между собой говорили, что бизнес обречен. Мне удалось созвониться с ним и отложить собрание ровно на месяц. На обратном пути я случайно вышла из здания во двор-колодец, и за мной захлопнулась дверь. «Не думай символами», — тщетно уговаривала я себя в отчаянных поисках незапертой двери, пока не нашла служебный вход в дизайнерский магазин.

В августе я даже еще написала два текста в газету. Ради одного сходила на пресс-конференцию в банк. И вот сейчас меня позвал заведомо и сказал: «Здесь пришел человек, который утверждает, что его включили в черный банковский список». Он вошел, бизнесмен Андрей Филоненко из районного города, в черной рубашке в тонкую белую полоску, которая расходилась над ремнем дорогих черных брюк так, что виднелся белый живот. Я задавала вопросы. Он что-то путано отвечал. А Тартаков А., основатель и куратор группы *информационных террористов*, или иначе *ботов*, в глубоком подполье *работающих на ФСБ*, убеждал меня в моей голове, что *Филоненко заговорен*: они управляют его мыслями. Многие люди, с которыми мне предстояло иметь дело, *заговорены*, бежать некуда, да и мной они скоро научатся управлять.

Он мстил мне за то, что больше не мог меня трахать, силой заставляя думать о членах мужчин, с которыми я общалась, и я с трудом удерживала себя от того, чтобы не смотреть на гульфик несчастного бизнесмена. Свои вопросы, которые я даже не знаю, как смогла извлечь из измученной головы, и его ответы, в которых мысль постоянно кружила и топталась на месте, я записывала на диктофон. Пока я смогла расшифровать их, прошло недели три. Мне даже пришлось сказать заведомо, что материала нет, поскольку спикер ничего дельного не рассказал. На самом деле, мне было невероятно трудно распутывать его петляющие тирады. Но когда я все же заставила себя это сделать, я узнала, что человека заблокировали в банковской системе Латвии, не сообщив ему о причинах, и его нормальная жизнедеятельность оказалась совершенно нарушена. Его расчетный счет, а также счет его фирмы арестовали, и в каком бы банке он ни пытался открыть новый, менеджер отказывал ему без объяснений. Снимая интервью с диктофона, я явственно чувствовала, что этого Филоненко ничего хорошего не ждет. Вернее, я чувствовала, что все совсем плохо. И этого мне даже не говорили те, кто беседовал со мной в моей голове. Такое было жуткое ощущение, с которым я сама из оптимизма старалась спорить, что вот стоит передо мной покойник, пока живой.

Уже в декабре, после того как интервью вышло, я готовила следующий материал на ту же тему и позвонила Филоненко спросить, чем закончилось его дело. Он ответил мне бодрым, но хрипловатым голосом, что лежит в реанимации под капельницей после автокатастрофы, в которой в его джип врезался другой джип, но надеется на позитивное решение. А в феврале его нашли на каком-то пустыре мертвым. Его бывший деловой партнер, который был ему должен большую сумму, похитил Филоненко, вывез за город и застрелил.

* * *

Люди несведущие, которым я пытаюсь рассказать эту странную историю, упрекают меня в безосновательном риске. Зачем вступать в разговор с тем, кого ты не приглашала и приходи к кому не рада? Просто не отвечай. Но дело в том, что если даже ты не произносишь вслух ответ на любой заданный тебе вопрос, он все равно немедленно рождается в твоей голове как намерение отвечать. Вот передо мной листок из блокнота врача, на одной стороне реклама препарата Potassium Iodide 2%. Листок исписан ручкой с обеих сторон. Я с трудом разбираю свой почерк, так как писалось на весу:

«Это было бы правильно сделать раньше...» — упущенные возможности. «Но правда и то...» — отрицание наличия одной истины. «Однако с другой стороны...» — полагание иных возможностей. «И было бы неверно утверждать...» — размывание предположений. «Так значит, ты действительно...» — принижение достижений в установлении истинной способности. «Однако дело обстоит как раз наоборот...» — предположение обратной причинной связи между голосом и человеком, который этот голос слышит в своей голове.

Как ты думаешь, что это такое? Это интервью. Представь себе, что все, что ты собираешься сделать, ты проговариваешь про себя словами, потому что у тебя постоянно требуют ответа на вопросы «что происходит» и «что ты собираешься делать». И каждую твою сентенцию собеседник немедленно подхватывает одной из таких фраз. «Моя дочь заболела, и я должна вызвать скорую», — *«Это было бы правильно сделать раньше»*. «Филоненко в деле пострадавшая сторона», — *«Но правда и то, что он нарушал закон»*, и так далее. В результате ты не можешь прийти ни к какому решению, не можешь не только закончить, но даже и начать ни одного дела. Я заподозрила, что мой собеседник использует НЛП, чтобы свести меня на нет.

И тогда я прижала его к стенке: «Признайся, Гай, в чем суть этих фраз, которые ты все время повторяешь». Конечно, не так спросила, как-то короче, и даже, возможно, не спросила, а просто обозначила внутреннюю интенцию. Потому что общаться с человеком, который говорит с тобой в твоей голове, можно разными способами. Можно старательно проговорить фразу про себя, и это трудно. Можно шепотом вслух, но есть опасность, что это заметят окружающие. Можно метнуть в него зрительным образом, и это создает для него проблемы, потому что он вынужден сам переводить его в слова. *Не думай образами*. И можно просто обозначить интенцию. Станным образом профессиональная привычка задавать вопросы вдруг позволила мне перехватить инициативу, он перестал комментировать мои действия и намерения и принялся говорить о своих. Я была чрезвычайно горда собой: взять интервью у человека, который говорит с тобой в твоей голове!

Все это происходило в момент, когда я покупала продукты в супермаркете. Я остановилась посреди зала рядом с ящиком с помидорами, вытащила из сумки этот листок и ручку и незамедлительно на коленке стала фиксировать разговор. С ними важно действовать незамедлительно. Во-первых, практически невозможно замедлить внутренний диалог. Во-вторых, ты хочешь что-то сделать, а обстоятельства, побудившие тебя к этому действию, уже изменились. Но если уж ты что-то задумала, гни свою линию.

Было начало октября, ко мне давно никто не приходил, дети были предоставлены сами себе, сами вставали, варили на завтрак кашу, периодически сжигая кастрюлю, сами ложились спать. В один из дней в дверь позвонил старичок, который жил в соседнем квартале. Я помогала ему переводить с латышского решения суда. Он судился с дочерью, которая обманом переписала на себя его квартиру. Он принес очередное официальное письмо. Зрочки мои дрожали, я смотрела на буквы и не могла сложить их в слова, а люди, которые говорили со мной в моей голове, говорили, что они лишат меня способности к чтению навсегда. Я попала практически в квест и должна была пройти его до конца. Он так и говорил, Тартаков А., который стал очень

злой, но которого я по-прежнему, в общем, любила как ритм: «*Это такая нехорошая игра*». А там, где игра, страх ненастоящий. И я придумала прием: стала сгибать лист так, чтобы видеть только одну строчку. Старичок сидел, вздыхал и ждал. Пусть медленнее, чем обычно, но я прочла письмо на латышском и перевела его на русский. Он посидел еще, пожаловался на дочь, повздыхал и ушел. Я прошла этот уровень и, торжествуя, предъявила победу Тартакову А. Как только ты находишь способ преодолеть очередное препятствие, про которое тебе говорят, что оно тебя убьет, оно больше не встает на твоём пути, проблема исчезает. Но главное даже не преодолеть препятствие. Главное найти способ.

Или, например, ты хочешь куда-то прийти, но не можешь найти дорогу. Ноутбук, который партнерши выдали мне под расписку как рабочий инструмент с удаленным доступом к сайту «Мозговой штурм», нужно было отдавать целым. Я попросила у бывшего мужа отнести его в ремонт. Мы встретились в редакционном кафе, и я сказала ему, что постоянно чувствую вибрацию. Он испугался, кричал на меня прямо в кафе. Но потом как-то обмяк и сказал, что брал недавно интервью у одного геоэколога, и тот рассказывал, что в городе есть несколько зон, где стыкуются тектонические плиты, там постоянно тонко вибрирует земная кора, и я, мол, должна выяснить это у него. Я созвонилась с экологом и договорилась с ним о встрече. Но Тартаков А., естественно, был против этой затеи. Он пообещал меня *закатать в асфальт*, что бы это ни означало.

Контора эколога находилась на той же улице, что и редакция, в паре остановок троллейбуса. Я вышла из троллейбуса и не узнала местности. Я не понимала, в каком направлении мне идти. Траншея, вырытая посреди дороги, заканчивалась знаком: стрелкой, указывающей вниз, в разрытую землю. Я вздрогнула и чуть не повернула обратно. Дело было даже не в том, что этот знак символизировал. А в том, что я никак не могла прочесть его иначе, чем буквально. Но я разозлилась и, собрав все свое мужество и все свои умственные возможности в кулак, сделала следующее: представила себе карту улицы, а затем и планировку дома, и мысленно прочертила маршрут, обозначив цель и поместив в нее себя. Удивительно, но после этого я смогла его преодолеть, этот маршрут.

Однако предстояло еще заставить незнакомого собеседника меня услышать. Главная угроза — это срыв коммуникации. Если я буду недостаточно убедительна, наверное, меня сочтут сумасшедшей, а это хуже всего. Но коммуникация начинается с волевого акта, который ты совершаешь, чтобы собеседник легитимизировал тебя. Неважно, что ты для этого делаешь. А откуда взять волю к вступлению в разговор с незнакомым человеком, если она используется для общения с другими людьми, пусть злонамеренными паразитами, пусть разговаривающими только у тебя в голове, но вся? Итак, я прошу у своих собеседников извинения, отворачиваюсь от них и улыбаюсь геоэкологу. Тут очень тонкий момент: волю нужно переносить аккуратно, без рывков, иначе ты испугнешь собеседника, и контакт все равно сорвется, все разозлится, а у тебя будет болеть голова.

Я говорю ему, что чувствую вибрации. Он достает большую истрепанную карту города, разворачивает ее на столе и объясняет, как устроена земная кора, где проходят стыки тектонических плит и как их трение действует на здоровье людей и целостность механизмов. Мне очень трудно вникать в слова, но это обязательно, и к тому же он здорово помогает мне, рисуя схему процесса на чистом листе бумаги карандашом. Я внимательно слушаю, следя за карандашом, хотя почти уверена, что дело не в плитах. Но я собираю улики, и мне нужно честно исключить эту версию. На прощание геоэколог берет мой номер и обещает позвонить, как только выяснит, пролегают ли стыки под моим домом и есть ли там радон, поскольку и это важно. Я торжествую, а Тартаков А. в моей голове сокрушается ритмичной скороговоркой: «*Ты переленила меня, перелистала меня*», — и я снова гадаю, что бы это могло означать. Эколог действительно звонит через неделю и говорит, что в моих краях не трясет.

Постоянные разговоры внутри моей головы мешали мне сосредоточиться на действии, и в определенный момент я стала записывать подробный план в блокнот-

ежедневник. Другая задача записей — фиксация улик. Чем глубже внутрь моего сознания уходила коммуникация с преследовавшим меня Тартаковым А., тем более упорно я стремилась получить хоть малейшие видимые не только мне запечатлевшиеся в реальном мире признаки того, что со мной происходило. Составила список лабораторий, изучавших колебания разнообразной природы в различных средах, их обнаружилось пять. Эколог был первым в списке, за ним последовала лаборатория по измерению бытового шума. Я готовила базу вещественных доказательств для уголовного процесса.

Нельзя сказать, что все мои ощущения и переживания возникали вместе с уверенностью в том, что на меня воздействуют извне определенные люди. Наоборот, чем жестче и изощреннее были ощущения, тем сильнее я сомневалась в том, что кто-то в принципе может все это организовать. Но к выводу, что источник находится где-то вне меня, неопровержимо приводила привычка к каузальному мышлению. Например, я не могла представить себе, что грубые вибрации в разных частях тела не имеют технической природы. Картинка перед моими глазами все время дрожала. Я полагала, что на меня направлено какое-то излучение, и постоянно искала глазами источник. Это как если у твоей собаки заводятся блохи, и ты всю ночь пытаешься найти в своей постели насекомое, потому что кто-то как будто ползает по тебе.

То же с голосами. Они на самом деле звучат внутри головы, в мозжечке, или в какой-либо части тела, или снаружи, когда ты включаешь вытяжку на кухне, а они накладываются на шум агрегата. А сильный ветер над лесом их, какое счастье, на время рассеивает. Но удивительным образом они звучат только для тебя, и для того чтобы это выяснить, тоже нужно приложить мыслительные усилия. И что страшнее всего: они знают, что с тобой произойдет. Они говорят тебе: *«Мы сейчас выключим свет»*, — и свет гаснет. Они говорят: *«Я набираю твой номер»*. И звонит домашний телефон, однако когда ты поднимаешь трубку, слышишь отбой. Они говорят: *«Это наш человек»*. Ну, ты, конечно, не веришь, потому что как это возможно, ты знаешь его сто лет. Ты говоришь, как вам не стыдно наговаривать на человека...

Таким образом, чтобы прийти к выводу, что на тебя воздействуют извне, нужно сделать простые логические умозаключения. И как раз наоборот, чтобы объяснить себе все происходящее иначе, нужно вывернуть наизнанку свое мышление. Потому что объяснение, которое вернет тебя в ряды нормального человечества, лежит не в плоскости формальной логики, которой это нормальное человечество пользуется для объяснения мира, а как раз логику нужно перевернуть.

В мой рабочий почтовый ящик уже долгое время падал только спам. Но в один прекрасный день я обнаружила в нем письмо от Юлии Фукушимы. Она вернулась из Токио в Ригу, которую покинула десять лет назад с намерением снова добывать лечебную грязь, и хотела, чтобы я прорекламировала ее продукт в газете. Предлагала встретиться в ресторанчике рядом с ее домом, знакомом еще с прошлой рижской жизни. Я ответила, что с удовольствием. Но она больше не писала.

Они мне сказали, что с ней они начали работать одной из первых, но она ушла от них. Это было возмутительно. Ладно еще использовать для лживых манипуляций людей, с которыми я была знакома только виртуально. Но с Фукушимой нас связывала реальная длинная история. Я спросила: «Хорошо, почему же она от вас ушла?» — *«Она сказала: это не те люди, это не те чувства»*. В этом символическом изречении заключалась парадигма какого-то фрагмента бытия. Или какая-то история, которая будет иметь для меня последствия. Я изо всех сил запрещала себе думать символами, они *уводили*.

* * *

Последователь учения о Живой Этике Михаил принял меня за столом в чистенькой светлой кухне. Сначала он налил мне чаю и спросил, что меня к нему привело. Я пожаловалась на вибрации, в то время как у левого уха глумился Тартаков А., который, конечно, не верил, что из этой затеи выйдет что-нибудь путное, хотя, в общем, был настроен скорее благожелательно. Михаил был симпатичным человеком,

в прошлом инженер, теперь целитель. Он кратко ознакомил меня с махатмами, особенно мне запомнился Лев Толстой — *Левушка-соловушка*. Подержал за руки в минутной совместной медитации, затем взял кристалл на нитке и приступил к диагностике моих грехов. Я дала себе слово относиться ко всему серьезно, делать что скажут, но Тартаков А. над левым ухом уже посмеивался. Михаил дал мне лист бумаги и ручку и, водя кристаллом над списком, велел записывать за ним мои грехи, которые он вместе со мной будет искоренять. Этот листок хранится в моем блокноте, в котором я записывала слуховые галлюцинации и планы сбора улики для полиции. Ничего безумнее этой записи в нем нет. Итак:

Каузальное тело

Личные грехи:

1. Занятие магией и колдовством.
2. Прокливание близких и врагов.
3. Пристрастие к деньгам, вещам, роскоши.
4. Тиеславие.
5. Чревоугодие.

Тартаков А. хохотал в голос, но я обещала себе и подруге.

Родовые грехи:

1. Нет живой веры в бога.
2. Убийство.
3. Самоубийство.
4. Прелюбодеяния, блуд, содомский грех, занятия сводничеством и проституцией, изнасилование.

Боже правый, неужели это все я?

Обретенные в прошлом воплощении блоки выходу кармичности.

Несовершенство:

1. Хвастовство.
2. Многословие.
3. Вероотступничество.
4. Самомнение.
5. Самоуничижение.
6. Агрессивность.
7. Потакание злу и насилию.
8. Психоз.
9. Цинизм.
10. Непочитание иерархий.
11. Несоблюдение законов космоса.

Я писала уже из чистой вежливости. Попытка спасения меня адептом Живой Этики имела все признаки провала. Единственное, что меня обнадеживало, это мысль, что я, видимо, менее безумна, чем он. Потом Михаил попросил меня нарисовать план моей квартиры и стал водить над ним кристаллом, отмечая точки его колебания крестиками. Это были места негативной энергии. Под унитазом, в частности, их оказалось три, два справа и одно в центре. Михаил сообщил мне, что нужно будет повесить над ними специальные магические конструкции, которые я сама сооружу из палочек для гриля, которые куплю в хозяйственном магазине. Конструкции, весьма красивые, висели по всей квартире Михаила, он виртуозно склеивал палочки скотчем между собой, показывая, как это делается, но у меня так ловко не получалось.

В заключение он велел мне купить книгу, которую написала под диктовку махатм какая-то женщина. И тут я не выдержала и заявила, что такие диктовки я и сама слышу

каждый день безо всяких махатм. Михаил опешил. Я, пьянея от собственной наглости, добавила: «Вот прямо сейчас». Он хрипло спросил: «Во время разговора со мной?» Я ответила: «Да, все это время». Тартаков А. тоже явно не ожидал такого поворота. «Ну, как?» — спросила я у него у себя в голове, торжествуя. Он предпочел промолчать. Михаил провожал меня суетливо, чувствуя, что утратил инициативу. На прощанье сказал: «Вы все-таки купите книжку. Без нее метод не работает. Приходите на следующее занятие с книжкой, помедитируем».

Я уходила от целителя с мыслью, что, видимо, средства избавления меня от Тартакова А. не существует. Но между нами уже поселилось прощание. Мне было даже жаль отпускать от себя человека, который воплотил для меня мечту об абсолютном слиянии душ. Я понимала, что заскучаю, когда вернется экзистенциальное одиночество. «Ну, есть там что-нибудь еще в вашем арсенале?» — поддевала я его почти породистенному. *«Это такая игра: удиви меня еще чем-нибудь»*, — устало отшучивался Тартаков А. Ему больше нечем было крыть.

Я с новым рвением отправилась на охоту за живым Тартаковым: засела за интернет-серфинг, пытаюсь откопать в сети его фотографию. И как сеть ни сопротивлялась, она все же выдала мне, в конце концов, его пресс-карту с фотографией десятилетней давности, еще не облысевшего и без бороды, с печатью основанной им газеты. Я нашла в себе смелость вернуться на сайт «Девачка.ру» и запостила пресс-карту в своем дневнике. Пригвоздила Тартакова А. к сайту. Мало того, я даже выяснила, что мой шеф-редактор звонил Тартакову А. лично в Москву также лет десять назад, когда тот выпустил из-под своего пера «утку», игравшую на руку владельцам нашего крупнейшего банка. Редактор требовал выдать источник, их разговор опубликовали в газете. Живой Тартаков А. был ближе, чем я предполагала. Я укреплялась в мысли, что меня провели. Эти люди, *информационные террористы*, украли историю жизни публичного человека, которого я, в общем, уважала как такового, чтобы нагромоздить на нее гигабайты чудовищного вранья.

И наконец, я лишила человека, говорившего со мной в моей голове, права называться Тартаковым А. за недоказуемость тождества. Ведь как ни крути, рассуждала я про себя, и он это слышал, правом называться Тартаковым А. обладает лишь физически осязаемый и зримый человек, и никаким известным науке способом нельзя подтвердить, что он говорит со мной в моей голове, даже если он встанет передо мной и сообщит, что да, это он. Человек в моей голове попытался было присвоить себе какое-то новое имя, но вся легенда рушилась стремительно и необратимо, как Вавилонская башня. *«Это такая забавная игра: "Назови меня еще как-нибудь"»*, — грустно резюмировал бывший Тартаков А. и замолчал. Через пару дней, не прощаясь, в один момент ушли все остальные. В последнее время они просто повторяли за мной все мои мысли, лишившись собственной субъектной силы. В канун моего дня рождения я вышла на набережную с собакой, и бледный хор покинул мою голову. Я ждала час, два, весь вечер, но они не вернулись и наутро.

Всю зиму я изживала страх, которого, наконец, получила всю меру, отвешенную мне во времена борьбы за реальность. Я не понимала, чему обязана своим освобождением. Возможно, люди, которые мучили меня полгода, однажды возьмутся за меня с новыми силами. Я загрузила в интернет «чтение мыслей» и нашла целый культурный слой под тэгом «психотронный террор». Все железно сошлось, когда я прочла там про метод психометрии, изобретенный американским профессором Лоуренсом Фарвеллом.

Примерно тогда же, сжав зубы от ужаса, я вернулась в дневник А. и, пока он его не удалил, писала туда комментарии. Я втерлась к тебе в доверие, застала тебя во время твоего бегства на Бали, ты позволила мне читать твой закрытый дневник, и я все о тебе поняла. Ты рассказала, что родом из Риги, твой отец заведовал отделом в республиканском КГБ, а после развала СССР уехал в Россию, увезя тебя, десятилетнюю, с собой. Я нашла твоего отца в списке штатных сотрудников латвийской конторы, он публично доступен. Прости, что ввела тебя в заблуждение. Я и сама довольно долгое

время пребывала в уверенности, что мы имеем дело с высокими технологиями спецслужб. До тех пор, пока ты не рассказала мне, что, воспользовавшись прежними связями отца, увидела эти машины, и тебе объяснили, что это не та симптоматика. Тогда я снова начала копать, и один технарь из засекреченного КБ, входившего в чемезовскую корпорацию «Ростех», который пасся на форумах по пси-террору из любопытства, подтвердил мне, что таких машины не могут.

Летом в открытом кафе в старом городе я встретила Селёдку и спросила у нее, почему она бросила сайт «Девачка.ру». Она рассказала, что вовсе не бросала его. Однажды при авторизации на мониторе всплыло окно, в котором ей предлагалось сменить пароль, поскольку она якобы давно не посещала сайт. Такой функции смены пароля на «Девачке.ру» старожилы, которых я расспросила, припомнить не смогли. Селёдка тоже удивилась, потому что заходила несколько дней назад, но сделала, что требовалось, — и больше в свой аккаунт попасть не смогла. Тогда она завела новый. Однако через пару месяцев с ним повторилась та же история. Больше попыток она не предпринимала.

А еще раньше, в марте, мне снова написала Юлия Фукушима. С лечебной грязью не шло, но она взялась продавать прогрессивный косметический аппаратик для устранения отвислости шеи. Мы встретились в популярном ресторане быстрого обслуживания, в том что был ближе к ее дому. Она сказала, что привыкла к здешней кухне, и сразу, не приступив даже к супу, завела разговор о голосах. Я не поверила своим ушам. Лисица из театра Кабуки уже лет пять общалась с кем-то в своей голове. Она называла их то ангелами, то бесами, но ошибка была исключена. История преследования Юлии Фукушимы, шведской гражданки русского происхождения, 66 лет, замужем за всемирно известным японским специалистом по нейронауке, особо приближенной ученицы Ошо, началась в Риге в 1999 году. Юлия связывает ее со знакомством с профессором Виталием Ланским, первооткрывателем торсионного поля. Тогда она впервые услышала характерный писк в ушах. Он не прошел с отъездом (точнее, паническим бегством) домой, в Токио. В тщетных поисках убежища, недостижимого для лучевых пушек преследователей, она металась по всему миру, из Сан-Паулу в Тегеран, оттуда в канадский Квебек, тратя пенсионные сбережения мужа, а профессор Ланской направлял ее по телефону. Однажды Юлия в хаотических поисках спасения в интернете зашла на некий американский сайт адептов ченнелинга и купила программу по знакомству с персональным ангелом. Она загрузила программу и проготовилась общаться с ангелом в скайпе. Однако неожиданно услышала его в своей голове. Он разговаривал с ней попеременно на всех трех языках, которыми она владела. Один серфер на Бали, с которым Юлия позволила себе заговорить откровенно, предположил: возможно, она имеет дело с секретными технологиями спецслужб. Но она не поверила и попала в объятия сначала одной экзорцистской секты, потом другой, а потом полностью растворилась в бразильском харизматическом культе. Темнокожий пастор говорил страстно, лил оливковое масло на камень, и тяжелый вязкий ритм его проповеди более подходил для мистической церемонии кандомбле, чем для пятидесятнической службы. Эту историю я назвала бы «Это не те чувства». Но ко мне тут пришли, и я расскажу тебе ее позже. Скажу только на прощание: не так уж важно, выходит, чем ты все это считаешь.

Наталья Бельченко

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Стихи из Вентспилса

* * *

Приходит день короткими словами
и падежами — в дивном языке —
диакритичнее знакомых знаков.
Единорог листа робеет слов,
которым улдис где-то рядом с чайкой, —
тут, в Вентспилсе, их гнёзда прям на крышах,
а киевским стригам легко гнездиться
в щелях старинных городских фасадов:
квадратных окнах вентиляционных.
Пусть белизна и тяжесть этих чаек
уравновесят черноту стрижей,
их юркую породу дополняя
до совершенной ясности, когда мы
плывем по Эмайыги, или Венте,
иль по центральноукраинским рекам,
Срединный путь губами намечая
и трогая душистым языком.

* * *

В себя оглянувшись в тревоге,
Окажешься вновь виноват...
Но вдруг милосердные боги
Вам сделают всё же возврат?
От цельности не отвертеться.
А был ведь довольно дыряв,
И каждой прорехою сердца
Ловил исключенья стремглав.
Где узкоколейка лесная
Подобна путям родовым,

Ты въедешь, младенца спасая,
И выдохнешь время, как дым.
И вентспилсская Ариадна
Не станет тебя торопить:
Пусть сердце берёт сколько надо
Её путеводную нить.
А вентспилсская Эвридика
До срока не будет пенять,
Хоть знает, что память-заика
Оглянется в сердце опять.

* * *

Янтарным божеством
Прирученного леса
Недаром станешь ты,
Зародыш и орех.
Единственный пароль
Отведается вместо
Избыточного сна,
Делённого на всех.
Смеющейся волной
Обдаст волну другую —
На Колке было так,
В слиянье здешних вод.
Раскачивайся в такт.
Тебя перерифмую,
Переплыву тебя,
А берег подождёт.

* * *

Как любовников после измены
Вновь друг к другу бросает стремглав,
Так поэтом швыряет о стены
Речевого двоения нрав.
Он смеётся, давясь тошнотою
(Что-то рифма сегодня колом).
Сговорился он с речью другою,
Но теперь-то ему поделом.
Он, такой андрогин двуязыкий,
Возвратился как будто назад,
Но теперь закавыки и стыки
На отступника всюду глядят.
Что-то склеилось, что-то пропало,
Что-то в руки уже не идёт.
Нет магичней/трагичней кристалла,
Чем отчаявшийся недоглот.

* * *

Все мы живы ещё,
нам хватает пока языка —
не оправдываясь, произносить близкое чуду.
Пахнет голос палисадником после дождя,
где чёрный кот Рудис любит гулять —
графически-грациозный Сидур.
В этом городе мартынов и котов
гигантские чайкины перья торчат
из огромной чернильницы на площади.
А белое пятнышко на груди Рудиса —
то самое, единственное найденное слово...

* * *

Где музыка привет передала
В обход пространства сдавленного смысла,
Где в бурсака, бродягу, гимназиста
Занозой входит сила ремесла, —
Быть там, где раздевают догола
Такие руки, где простые числа
Заведомого обнулятся быстро:
Блок-флейта к нам на нерест приплыла.
Чтоб не досталось ничего утратам
И чтобы нам с тобою вместе взятым
За эти губы, руки и года
С гончарно-поворотным кругом яви
До обжига дойти случилось. Вправе
Навёрстывать неявное тогда.

Современные украинские поэты в переводе Натальи Бельченко

Василь Герасимьюк

Мужской танец

Ты должен танцевать аркан¹.
Хоть раз.
Хоть раз ты обязан почувствовать,
как тяжело рвётся на этой земле
древний мужской круг,
как тяжело переплетены мужские руки,
как тяжело начать и остановить
этот танец.
Хоть раз
ты стань в этот круг, теснейший из тесных,
охватив руками плечи двух побратимов,
намертво сжав ладони других,
и тогда в заветном кругу
ты протанцуешь под бездной неба
с криком по-звериному протяжным.
Чтобы не выпасть из этого грешного мира,
хоть раз
смешай с ближними
пот и кровь.

Василь Герасимьюк — поэт. Родился в 1956 году в Казахстане, в г. Караганда. Вырос на Украине, в с. Прокурава Ивано-Франковской области. Окончил филологический факультет Киевского университета им.Т.Шевченко. Автор нескольких книг стихов. Лауреат литературной премии им. Павло Тычины (1998), национальной премии им. Тараса Шевченко (2003) и др. Живет в Киеве.

¹ Аркан — сугубо мужской гуцульский танец, главный элемент инициации для двадцатилетнего парня.

Сын Человеческий,
ты становишься в мужской круг,
ты готов к этому древнему танцу
только теперь.
С крестом за плечами.
С двумя разбойниками.
Только раз.

* * *

Запахло яблоками в сене —
на молодость, на грешный миг...
Миры Галичины осенней —
есть дух феллиниевский в них.

Иных не сыщешь никогда ты.
Порой потеря — Божий дар.
На горизонте спят Карпаты.
Горят леса. Гудит базар.

Марианна Кияновская

* * *

дом где я увидела первые сны
рассасывается как гематома
чёрная на шее зелёная на языке
белая на глазу не бельмо а страх
не ненавижу просто научилась
не думать не помнить
как не думаю не помню
о мясе кровавом под кожей вообще
не ненавижу не отрицаю
не забуду не забуду умираю умираю
это там она меня была убивала
была убивала любила била
была убивала любила била
была убивала любила била
была убивала любила била
повторяю повторяю тут клёну
клянущу и кричу тут с липой всхлипываю
стою на крыше девятиэтажки
и думаю боже не долечу
осуши господи слёзы пусть вижу
пусть ропщу но боже пусть прошу
тому дому где я кричала где мои первые сны
смерть смерть смерть смерть мою
не мою нерассосавшуюся не гематому
потому что потом
час сей сейчас

Марианна Кияновская — поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1973 году на Украине, в г. Жовква Львовской области. Окончила филологический факультет Львовского национального университета им. И. Франко. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат литературных премий. Живет во Львове.

Анна Козлова

Чёрная дыра

Сценарий для чтения

1 серия

1.1. ЗАЛ ПРИЕМОВ. ВЕЧЕР.

АСЯ, ПАВЕЛ, ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ, ЕЛЕНА, ПОСОЛ, ГОСТИ,
ОФИЦИАНТЫ (МАССОВКА)

Идет прием на высшем во всех отношениях уровне. Негромкая классическая музыка, снующие с подносами ОФИЦИАНТЫ, женщины в вечерних платьях, мужчины в смокингах, все как-то достойно и без суеты. Крупным планом АСЯ и ПАВЕЛ (семейная пара, ей лет 27, ему — 30-32, оба красивые, здоровые, успешные, и вид их свидетельствует о том, что во всю силу своего жизненного успеха они еще не успели войти; АСЯ отчетливо беременна — где-то 6-й месяц), стоят неподалеку от фуршетного стола.

ПАВЕЛ. Как ты себя чувствуешь? Тебе не холодно?

АСЯ (*невзначай, без тревоги оглядывается по сторонам*). Ты видишь Леонида Степановича? Он уже здесь?

ПАВЕЛ (*улыбается*). Мы не должны суетиться.

АСЯ (*тоже улыбается*). Как вы правы. Господин советник посла...

ПАВЕЛ (*обнимает ее одной рукой*). Я бы сказал — возможный господин советник посла...

АСЯ (*прижимается к нему*). Очень возможный господин советник посла.

Смеются. ПАВЕЛ, смеясь, цепко осматривает публику в зале. Берет АСЮ под руку.

ПАВЕЛ. Посол. Говори со мной и улыбайся.

Начинают медленно, с достоинством двигаться через толпу.

АСЯ (*с широкой, нежной улыбкой, негромко*). Я нашла совершенно волшебную студию в квартале от моста Александра Третьего...

ПАВЕЛ (*улыбается ей*). Потрясающе, детка.

АСЯ. Это кондоминиум. Из холла на первый этаж едет эскалатор.

ПАВЕЛ. Эскалатор?

АСЯ. Внизу патиссерии. Мы будем по утрам пить там кофе с круассанами. Я списалась с агентом.

ПАВЕЛ и АСЯ оказываются прямо перед ЛЕОНИДОМ СТЕПАНОВИЧЕМ (лет 55–60, моложав и подтянут). Он стоит со стаканом виски в руке и беседует с ПОСЛОМ Франции. Рядом с такой же приклеенной, как недавно у АСИ, улыбкой стоит ЕЛЕНА (жена ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА): лет максимум 38–40, такая женщина-витрина, с великолепной фигурой, породистым лицом, из тех, кто ничего из себя не представляет, потому что это просто не нужно. ЕЛЕНА, увидев ПАВЛА и АСЮ, улыбается еще шире.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*радостно*). Кого я вижу!

Обнимается с ПАВЛОМ. ЕЛЕНА и АСЯ, практически плача от счастья, обе смотрят на живот АСИ.

1.2. ЗАЛ ПРИЕМОВ. ВЕЧЕР.

АСЯ, ПАВЕЛ, ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ, ЕЛЕНА, ПОСОЛ, ГОСТИ,
ОФИЦИАНТЫ (МАССОВКА)

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*по-французски*). Господин посол, разрешите представить вам Павла. Потрясающе талантливый молодой специалист. Назначен на должность советника посла. Документы утверждаются в министерстве.

ПОСОЛ (*пожимает ПАВЛУ руку, по-французски*). Рад знакомству. У вас очаровательная жена.

ПАВЕЛ (*по-французски*). Спасибо, господин посол. Ее зовут Анастасия.

ПОСОЛ, ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ и ПАВЕЛ поворачиваются к АСЕ и ЕЛЕНЕ.

АСЯ. Бонжур.

ПОСОЛ целует ей руку.

ПОСОЛ (*по-французски*). Кого вы ждете, мальчика или девочку?

АСЯ (*по-французски*). Девочку, мсье.

ПОСОЛ (*одобрительно кивает*). Прекрасный выбор!

Все смеются. ЕЛЕНА мягко берет АСЮ под руку и уводит слегка в сторону от мужчин.

ЕЛЕНА. Ты просто расцвела, моя дорогая. Какой уже месяц?

АСЯ. Шестой. Спасибо.

ЕЛЕНА (*доверительно*). Я дам тебе контакт лучшего гинеколога в Париже. Он вел беременность Карлы Бруни. Имя уже выбрали?

АСЯ (*улыбается*). Полина.

ПАВЕЛ провожает АСЮ и ЕЛЕНУ взглядом. ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ останавливает ОФИЦИАНТА, разносящего напитки, берет два виски, один стакан протягивает ПАВЛУ. Тот берет.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Там важный разговор, сынок. Осуществляется передача паролей и явок всех торговых представительств на улице Георга Пятого.

ПАВЕЛ смеется.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. (*Послу, по-французски*). Супруга посла такое же начальство для супруги помощника посла, как посол для помощника. Она учит ее тому, что лучше всего умеет сама — тратить деньги мужа.

ПОСОЛ хохочет. ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ и ПАВЕЛ подхватывают веселье.

ПОСОЛ (*Павлу, по-французски*). Она не капризничает? Когда моя жена была беременна, меня знали все торговцы фруктами в округе. В любое время дня и ночи ей хотелось есть маракуйю.

ПАВЕЛ (*с усмешкой, по-французски*). Ее маракуйя продается в ювелирном магазине.

Опять смеются.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*по-французски*). Вы избаловали своих жен, месье. Когда моя первая жена ждала ребенка, единственное, о чем она могла мечтать, были цветные мелки из «Союзпечати»...

ПАВЕЛ и ПОСОЛ удивленно на него смотрят.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*после выдержанной паузы*). И это было единственное, что я мог ей принести, не рискуя семейным бюджетом.

ПОСОЛ. Зачем?

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Она их ела.

Все снова дружно хохочут.

1.3. КВАРТИРА ПАВЛА И АСИ. СПАЛЬНЯ. НОЧЬ.

АСЯ, ПАВЕЛ

Комната погружена в полумрак. ПАВЕЛ спит. АСЯ резким движением садится в кровати. Наклоняется вперед. Тяжело дышит. Одной рукой держится за живот, другой трогает ПАВЛА.

АСЯ. Паша... Мне плохо... Паша...

ПАВЕЛ (*привстает, щурится, трет глаза*). Что такое?

АСЯ. Мне... Очень... Больно...

ПАВЕЛ тянется к стоящей на тумбочке лампе, включает свет. АСЯ жутко бледная, лицо покрыто испариной, волосы прилипли к щекам. ПАВЕЛ несколько секунд смотрит на нее, потом стаскивает с нее одеяло. Под АСЕЙ на простыне расплывается большое кровавое пятно.

1.4. КЛИНИКА. ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ. НОЧЬ.

ПАВЕЛ, ВРАЧ, УБОРЩИЦА

Пустой приемный покой, освещенный безжизненным белым светом энергосберегающих ламп. Стойка регистратуры, за которой никого нет. Над стойкой работает с сильными помехами телевизор. УБОРЩИЦА (таджичка или узбечка) с равномерными шлепками моет линолеумный пол. ПАВЕЛ сидит на стуле, бессмысленно глядя в одну точку. Через некоторое время появляется ВРАЧ в зеленом операционном костюме. Подходит к ПАВЛУ, трогает его за плечо. Тот дергается, как будто выходя из транса, смотрит на ВРАЧА.

ВРАЧ. У вашей жены произошли преждевременные роды. К сожалению, мы не смогли ничего сделать...

ПАВЕЛ. Она в порядке? Как она?

ВРАЧ. Все хорошо, ей ничего не угрожает.

ПАВЕЛ. А... ребенок?

ВРАЧ. Девочка очень слабая...

ПАВЕЛ. Она жива?

ВРАЧ. Да. Мы поместили ее в кювет.

ПАВЕЛ *(после паузы)*. С ней... все будет хорошо? Когда их выпишут?

ВРАЧ *(после паузы)*. Я не могу ответить на этот вопрос.

ПАВЕЛ удивленно смотрит на ВРАЧА.

ВРАЧ. Извините.

Уходит.

ДРУГОЙ ДЕНЬ

1.5. У КЛИНИКИ. РАННЕЕ УТРО.

ПАВЕЛ

ПАВЕЛ стоит в совершенно пустом сквере, смотрит на здание клиники. Редкие окна освещены, остальные темные. Где-то брешет собака.

1.6. КВАРТИРА ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА. КАБИНЕТ. УТРО.

ПАВЕЛ, ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ, ЕЛЕНА

У ног ПАВЛА экзальтированно скачут две чихуахуа. ПАВЕЛ в совершенно разобранном состоянии, с красными от недосыпа глазами стоит посреди кабинета. Напротив него с выражением глубочайшего сочувствия на лице стоит ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ в спортивном костюме и тапочках. ЕЛЕНА стоит в дверном проеме.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Преждевременные роды... Господи... Бедная девочка... Бедная девочка!

ЕЛЕНА. А что врачи говорят?..

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ *(раздраженно)*. Лена, что они могут сказать?! Они никогда ничего не говорят!

ЕЛЕНА. Главное, чтобы с ребенком все было в порядке.

ПАВЕЛ. Ребенок... Лежит в кювете.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ и ЕЛЕНА переглядываются. ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ подходит к ПАВЛУ, хлопывает его по плечу, приобнимает, подталкивает к креслу.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Садись, сынок. Садись. *(Поворачивается к жене.)* Лена, принеси ему выпить! *(Павлу, севшему в кресло)* Сейчас. Немножко надо.

ЕЛЕНА. А что принести? Виски, коньяк?

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ *(повышает голос)*. Я не знаю! Что там есть, то и принеси!

ЕЛЕНА выходит из комнаты, за ней с топотом устремляются чихуахуа.

1.7. КЛИНИКА. КОРИДОР. УТРО.

АСЯ, МЕДСЕСТРА, ВРАЧ, ЖЕНЩИНЫ (МАССОВКА)

АСЯ с огромными синяками под глазами, с грязными, непричесанными волосами, в каком-то больничном халате, ковыляет по коридору, держась за стену. По коридору ходят ЖЕНЩИНЫ на разных сроках беременности. Из палаты выходит МЕДСЕСТРА, замечает АСЮ, бросается к ней.

МЕДСЕСТРА. Вам кто разрешил вставать?!

АСЯ. Пожалуйста... Можно мне к ребенку?..

МЕДСЕСТРА *(хватает ее за руку)*. Немедленно в палату! Вам нельзя!

АСЯ (*вцепляется в нее, упирается*). Я умоляю вас... Я хочу посмотреть...

МЕДСЕСТРА. Вы сейчас и себе и ребенку хуже делаете! Я вас отведу в палату!

Пытается развернуть ее в сторону палаты, АСЯ вдруг начинает жутко, как животное, кричать. Все в ужасе к ней поворачиваются. Появляется ВРАЧ. МЕДСЕСТРА беспомощно смотрит на него.

1.8. КЛИНИКА. ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. УТРО. ПОЗЖЕ.

АСЯ, МЛАДЕНЦЫ

АСЯ стоит перед стеклянным ящиком, в котором лежит, завернутый в одеяльце, крошечный ребенок. Лица не видно из-за кислородной маски, которая выглядит гигантской по сравнению с головой ребенка. В родничок воткнута капельница. По щекам АСИ катятся слезы. В помещении еще несколько таких ящиков с младенцами.

1.9. КВАРТИРА ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА. КАБИНЕТ. УТРО. ПОЗЖЕ.

ПАВЕЛ, ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ

ПАВЕЛ по-прежнему сидит в кресле, в руке у него стакан. ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ ходит по кабинету, на столе стоит бутылка коньяка, рядом блюдо с порезанным лимоном.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. ...ничего, ничего. Все нормально будет. Девки они... (*Сжимает кулак.*) Они — живучие очень! Если бы парень был, тогда... Действительно, хреново. А девка выкарабкается! Не переживай.

ПАВЕЛ. Вы думаете?

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Чего тут думать?! Естественно!

ПАВЕЛ смотрит на ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА, в глазах у него появляются слезы. Он опускает голову, ладонью вытирает глаза. ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ подходит к нему сзади, кладет руки на плечи, слегка, таким мужским, бодрящим движением сжимает.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Все. Все...

Становится напротив ПАВЛА.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Ты собраться-то успел?

ПАВЕЛ (*пораженно*). Я?..

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*на лице появляется выражение такой государственной непробиваемости*). Завтра самолет.

ПАВЕЛ. Но... А как...

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*перебивает*). Самолет — как? Не знаю. Но как-то летает.

ПАВЕЛ (*смотрит на ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА, но не находит ни малейшего понимания*). Я... Можно... хотя бы на несколько дней... Перенести.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Нельзя.

ПАВЕЛ. Вы же знаете... Ася... Ребенок.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Подлечатся и приедут к тебе. Ребенка в таком состоянии все равно везти нельзя.

ПАВЕЛ. Я просто даже не знаю, как ей сказать...

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Сынок, это государственная служба. Тебя должно беспокоить не то, как сказать жене. А то, что будет, если ты по ее вине не вылетишь.

ПАВЕЛ. Она ни в чем не виновата. Она же... Вы так говорите, как будто она нарочно это сделала...

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ молчит, смотрит на ПАВЛА. Тот несколько секунд сидит, потом встает и выходит из комнаты. Слышно, как хлопает входная дверь. ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ смотрит на бутылку коньяка, потом берет, наливает себе, выпивает залпом.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*громко*). Лена!

1.10. КЛИНИКА. ПАЛАТА. ПОЗЖЕ.

АСЯ, ЕЛЕНА

АСЯ лежит на кровати, в дверь коротко стучат, потом она открывается, заходит, широко улыбаясь, ЕЛЕНА. По сравнению с АСЕЙ выглядит она великолепно — накрашена, уложена, на каблуках. В руках у нее красивый бумажный пакет с гостинцами. Разговаривает с такой интонацией, с какой обычно посторонние, мало заинтересованные люди говорят с капризными детьми.

ЕЛЕНА. Приветик! Можно к вам?..

АСЯ (*выдавливает замученную улыбку*). Привет...

ЕЛЕНА. А ты одна тут? Я думала, ты с ребеночком.

АСЯ. Она в специальном отделении, под капельницей. Врачи боялись, она не сможет сама дышать и ее придется интубировать, но она дышит, они говорят — это хороший знак...

ЕЛЕНА пораженно смотрит на АСЮ без улыбки, потом, спохватившись, снова улыбается.

ЕЛЕНА. Асенька... Павлу ведь уезжать надо. (*Поспешно, не давая Асе ответить.*) Это всегда так тяжело, просто ужасно. Мы никак не могли сдать квартиру... Была такая приличная семейная пара, и они хотели нашу квартиру, и мы их хотели, но у них сорвалось, и я просто не знала, что делать. Леониду Степановичу надо было уже ехать в Париж, я сказала: Леня, езжай! — а сама осталась в этой ужасной, пустой квартире, где не было моих вещей, я просто лежала на тигриной шкуре, даже кровати уже не было! И плакала целыми днями...

АСЯ (*после паузы*). И... что?

ЕЛЕНА (*присаживается к ней на кровать*). А потом все стало хорошо! Я сдала квартиру и поехала к Леониду Степановичу.

АСЯ молчит, без всякого выражения глядя на ЕЛЕНУ.

ЕЛЕНА. Павел у нас был, он в ужасном состоянии, так жалко его... Ася, ты должна понять, что — это его карьера... Его жизнь.

АСЯ. И это его ребенок...

ЕЛЕНА (*с легким раздражением*). О, Боже мой, Ася! Не надо прикладывать столько усилий, чтобы просто быть отцом... Для мужчины работа всегда стоит на первом месте, это нормально! Иначе они бы не были мужчинами... (*Снова улыбается.*) Я принесла тебе тут... (*кивает на пакет*) фрукты и...

АСЯ (*перебивает*). Мне нельзя фрукты.

ЕЛЕНА (*удивленно*). Почему?

АСЯ. Я буду кормить ребенка. Есть можно отварное мясо и гречневую кашу.

ЕЛЕНА (*встает*). Ты ничего не бойся, я тебе всегда помогу. Если что-то нужно, сразу мне звони, я пришлю шофера. Мы вас встретим, когда вас выпишут, я дам тебе контакты лучшего педиатра.

АСЯ. Спасибо.

ЕЛЕНА выходит из палаты. АСЯ несколько секунд смотрит на дверь, потом с некоторым трудом встает, подходит к тумбочке, на которой стоит принесенный Еленой пакет, достает оттуда мандарины, манго, киви, коробку шоколадных конфет, все это с трудом утачивает в помойном ведре.

1.11. КЛИНИКА. ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

ПАВЕЛ, АСЯ, ВРАЧ

АСЯ и ПАВЕЛ идут за ВРАЧОМ к кювету, где лежит их ребенок. Останавливаются. ВРАЧ уходит. ПАВЕЛ обнимает АСЮ, она плачет.

АСЯ. Я... просто... не могу на это смотреть! Если бы я могла, я сама бы сюда легла... Чтобы она не мучилась...

ПАВЕЛ. Все будет хорошо. *(С некоторым ужасом смотрит на ребенка.)*

АСЯ *(сквозь слезы)*. Ко мне приходила эта... Лена. Тебе надо уезжать.

ПАВЕЛ. Ася...

АСЯ *(перебивает)*. Она так все представила, что я такая расплодившаяся самка, которая мешает карьере своего мужа...

ПАВЕЛ. Послушай...

АСЯ *(перебивает)*. Нет, ты послушай! Я подумала, ты все равно ничем не можешь помочь. Какой смысл тебе быть тут? Просто изводить себя, привозить мне еду? Это может сделать шофер Лены. Тебе лучше уехать в Париж и... заняться работой. Это будет правильно.

ПАВЕЛ. А как ты?... *(осекается)* Вы... тут?

АСЯ *(отстраняется от него, кулаками вытирает слезы, шмыгает носом)*. Ну, как-нибудь справимся. Лена вон смогла одна сдать квартиру! Что же я не смогу выходить шестимесячного ребенка?!!

ПАВЕЛ. Детка, что ты говоришь?... *(Пытается снова ее обнять.)*

АСЯ *(отталкивает его)*. Тебе надо собираться! Завтра — самолет! Я очень переживаю, что не смогу собрать твои вещи и ты что-нибудь обязательно забудешь! Но это не беда! Купишь там!

ПАВЕЛ смотрит на АСЮ, потом выходит. АСЯ поворачивается к кювету и просовывает палец в дырочку, касается ручки ребенка.

1.12. УЛИЦА. ВЕЧЕР.

ПАВЕЛ, МАССОВКА

ПАВЕЛ идет по улице, находит в кармане телефон. Наконец достает его, останавливается, ищет номер, звонит.

ПАВЕЛ. Але... Леонид Степанович... Извиняюсь за поздний звонок... Хотел сказать — я не лечу. Да... Окончательное решение... Спокойной ночи.

Убирает телефон, выходит на проезжую часть. Ловит машину.

ДРУГОЙ ДЕНЬ

1.13. БОБСЛЕЙ

САМОЛЕТ. У ВХОДА.

СТЮАРДЕССЫ (1, 2), ПАССАЖИРЫ (МАССОВКА)

СТЮАРДЕССЫ в форме «Эр Франс» с улыбками приветствуют по-французски ПАССАЖИРОВ, входящих в самолет. Проверяют посадочные талоны, показывают, куда идти.

САМОЛЕТ. САЛОН.
СТЮАРДЕССА, ПАССАЖИРЫ

ПАССАЖИРЫ расселись, СТУАРДЕССА идет по салону, захлопывая дверки ящиков для ручной клади над сидениями.

КВАРТИРА ПАВЛА И АСИ. СПАЛЬНЯ. УТРО.
ПАВЕЛ

ПАВЕЛ спит в одежде на застеленной кровати. Рядом на тумбочке почти пустая бутылка, забитая пепельница, телевизор без звука демонстрирует порнографию.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА.

Самолет отрывается от земли.

КВАРТИРА ПАВЛА И АСИ. СПАЛЬНЯ.
ПАВЕЛ

Звонит телефон. ПАВЕЛ ворочается, с трудом открывает глаза, садится. Телефон замолкает. ПАВЕЛ смотрит в телевизор, вытаскивает из-под себя пульт, выключает порнуху. Берет лежащий на тумбочке телефон. Дисплей показывает 32 неотвеченных вызова от абонента АСЯ.

1.14. КЛИНИКА. ПАЛАТА.
АСЯ, ПАВЕЛ, ВРАЧ

Посреди палаты собранная сумка с вещами АСИ. ПАВЕЛ сидит на кровати, опустив голову. АСЯ, спиной к нему, стоит у окна и смотрит вниз. Входит ВРАЧ, в руках у него больничная справка, утыканная синими штампами. ВРАЧ бросает взгляд на АСЮ, потом подходит к ПАВЛУ, протягивает ему бумажку.

ВРАЧ. Мои соболезнования.
ПАВЕЛ (*берет бумажку, тупо в нее смотрит, переводит взгляд на врача*).
Спасибо...
АСЯ (*не оборачиваясь*). Я хочу забрать ее.

ВРАЧ и ПАВЕЛ поворачиваются в ее сторону. АСЯ медленно поворачивается к ним, смотрит на ВРАЧА.

ВРАЧ (*после паузы*). Конечно.

Неловко стоит еще несколько секунд, потом выходит из палаты.

ЧЕРЕЗ НЕКОЛЬКО ДНЕЙ
1.15. НАТ. КЛАДБИЩЕ.
АСЯ, ПАВЕЛ, МОГИЛЬЩИКИ 1, 2

АСЯ и ПАВЕЛ стоят у разрытой маленькой могилы. МОГИЛЬЩИКИ опускают в нее маленький гроб, закончив, стоят, тактично опершись на лопаты. АСЯ с непроницаемым лицом смотрит в могилу, потом кивает, не глядя на МОГИЛЬЩИКОВ. Они понимают знак, начинают забрасывать гроб землей. ПАВЛА сотрясают рыдания, он хватается АСЮ за руку. АСЯ не плачет.

1.16. КЛАДБИЩЕ.
АСЯ, ПАВЕЛ

Могила зарыта. ПАВЕЛ курит в нескольких шагах от нее, руки у него трясутся. АСЯ смотрит на могилу, садится перед ней на колени, достает из сумки маленького мягкого зайчика с длинными поникшими ушами, кладет на землю. Поднимается с колен, уходит. ПАВЕЛ бросает сигарету, идет за ней. Крупным планом деревянная временная табличка на могиле: «ЩЕРБАКОВА ПОЛИНА. 2015».

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
1.17. КАБИНЕТ ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА.
ПАВЕЛ, ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ сидит за столом, ПАВЕЛ, вида крайне измотанного, сидит в кресле перед столом.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. ... я просто не знаю, что сказать. Если бы я мог тебе помочь... Поверь, я бы это сделал... Но... Это действительно самое страшное, что может произойти в жизни...

ПАВЕЛ. Мне нужна работа.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ постукивает пальцами по столу.

ПАВЕЛ. Неужели никак нельзя... объяснить... эту ситуацию?.. Я, правда, не мог вылететь, когда...

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*махнув рукой*). Я все понимаю... Все все понимают, Паша... Но это система... В печь надо забрасывать уголь, потому, что печь должна гореть. Независимо от того, что умирают дети... И кто будет забрасывать в нее уголь... в конечном счете, не так уж важно.

ПАВЕЛ (*помолчав*). Кто-то уже забрасывает?..

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Естественно.

ПАВЕЛ. И кто?

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*поморщившись*). Это не имеет для тебя никакого значения... Всегда есть варианты... По-другому не получится.

ПАВЕЛ. Леонид Степанович, я очень прошу...

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Это просто невозможно. В Париж вылетел другой человек, он вступил в должность, для тебя эта тема закрыта.

ПАВЕЛ. Хотя бы что-то... Я... Понимаете, это что-то кошмарное... Мы сидим вдвоем в квартире, она... Она встает утром, одевается... Потом садится на кухне и смотрит в стену... Весь день... А потом раздевается и ложится в кровать...

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Паша, подожди. Не надо сейчас... горячиться. Посиди годик... Займись отношениями с женой...

ПАВЕЛ (*орет*). Мне нужна работа! Я не могу быть здесь!

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (*тоже повышает голос*). А где ты сможешь быть?! Там, куда я могу тебя отправить, ты спятишь! Понимаешь?!

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ хватает лежащую на столе папку, швыряет ПАВЛУ. Тот открывает, читает, смотрит на ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА.

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ. Это единственное, что я могу предложить.

1.18. КВАРТИРА АСИ И ПАВЛА. КОМНАТА.
АСЯ, ПАВЕЛ

АСЯ сидит на полу в комнате, которая по всем признакам собиралась стать детской. Потолок, расписанный звездным небом, обои в зайчиках и пр. Мебели нет.

Входит ПАВЕЛ, несколько секунд смотрит на АСЮ, потом опускается на пол рядом с ней.

ПАВЕЛ (*после длинной паузы*). Ты любишь меня?..

АСЯ поворачивается к нему, как будто впервые видит. Ничего не отвечает.

ПАВЕЛ. Потому что... если ты... любишь меня, я готов... переживать... это все... Страдать вместе с тобой... Надеяться, что потом... когда-нибудь... Когда ты захочешь... у нас будут другие дети...

АСЯ молчит.

ПАВЕЛ. Если нет... тогда это все не имеет смысла... Я говорю тебе честно, потому, что я тебя люблю. Я не хочу, чтобы ты думала, что я... что я мучаюсь так же, как ты. Нет. Я не рожал... ребенка, я, конечно, хотел его, да... но довольно абстрактно, понимаешь? Если бы он был... Я бы его полюбил, но его нет... И поэтому... я чувствую сейчас только, как моя жизнь... летит... в какую-то черную дыру... И единственное, чего я хочу, — сбежать. От всего этого... Мне предложили должность советника... Это... Центральная Африка. Ты поедешь со мной?

АСЯ молчит.

ПАВЕЛ. Если ты поедешь... и будешь жить со мной... в Центральной Африке... Я хочу только одного... Мы забываем о том, что произошло. Мы не будем об этом больше говорить, мы начинаем разговаривать о других вещах. О счастливых вещах... И чем больше мы будем о них говорить, тем счастливее мы станем.

Встает с пола и выходит из комнаты. АСЯ смотрит в стену перед собой.

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

1.19. ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА.

АСЯ, ПАВЕЛ, НЕГРЫ (7-8), ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ПАССАЖИРЫ,
СЛУЖИТЕЛИ АЭРОПОРТА (МАССОВКА)

У самолета стоят автобусы с ПАССАЖИРАМИ, по трапу ПОЛИЦЕЙСКИЕ ведут НЕГРОВ в наручниках. АСЯ и ПАВЕЛ стоят рядом с автобусом, отпивают из спрятанной у АСИ в сумке бутылки, смотрят на НЕГРОВ, АСЯ хохочет, сгибаясь пополам. Сильный ветер.

ПАВЕЛ (*перекрикивая ветер*). Их депортируют! Депорти-ру-ют!

АСЯ в ответ издает новый залп хохота, ПАВЕЛ прижимает ее к себе, целует в волосы.

1.20. САМОЛЕТ. БИЗНЕС-КЛАСС.

АСЯ, ПАВЕЛ, НЕГР, СТЮАРДЕССА, МУЖЧИНЫ 1 и 2

АСЯ и ПАВЕЛ сидят слева, сзади них размещаются МУЖЧИНЫ 1 и 2, справа, через проход, сидит, вытянув ноги, огромный баклажанного цвета НЕГР (в хорошем костюме, в золотых украшениях). АСЯ все время с пьяной неопределенной претензией смотрит на НЕГРА, он делает вид, что не обращает на нее внимания. По проходу ходит туда-сюда СТЮАРДЕССА.

АСЯ (*наваливается на Павла*). Дорогой, а можно, когда мы долетим, я куплю себе обезьянку?

ПАВЕЛ (*косится на негра, хихикает*). В аэропорту?

АСЯ (*хихикает*). Ну чего ты?.. Когда мы там поселимся... Я не знаю, разложим вещи... Не сразу прямо... Через парочку дней... (*Поворачивается к негру.*) Я пойду в магазин и выберу себе маааленькую, добрую... веселую обезьянку... Там ведь до хера обезьянок, да, дорогой?..

ПАВЕЛ. Дефицита не наблюдается.

АСЯ истерически хохочет.

АСЯ (*сквозь смех*). А... А может... не надо даже покупать, а?.. Может, прикормить просто?.. И если сдохнет, не жалко будет. Да, милый?

НЕГР отворачивается к иллюминатору.

1.21. АЭРОПОРТ В АФРИКЕ.

АСЯ, ПАВЕЛ, САША (ШОФЕР), НЕГРЫ (МАССОВКА)

Аэропорт представляет собой барак из сайдинга, до отказа набитый НЕГРАМИ. По стенам стоят НЕГРЫ в военной форме с автоматами, толпа вновь пребывших, бешено ругаясь и галдя, пытается проникнуть через рамку металлоискателя, рядом с которой сидит НЕГР и курит. Царит крайне враждебная атмосфера, на АСЮ и ПАВЛА смотрят с невнятным неодобрением, кроме них, белых нет. Помятая АСЯ вцепилась в руку не менее помятого ПАВЛА.

АСЯ. Давай подождем! Пусть они пройдут!

КАСЕ и ПАВЛУ пробивается САША (30-35 лет, такой типичный медведеобразный русский мужик).

САША (*с широкой улыбкой протягивает руку*). Павел Владимирович?

ПАВЕЛ (*пожимает*). Здравствуйте. Это Ася, моя жена.

САША (*радостно*). Саша! Да тут, блин, своих не перепутаешь! (*Хохочет.*) Пошли...

Идет напролом к рамке металлоискателя, АСЯ и ПАВЕЛ идут за ним. САША безо всяких церемоний обходит рамку, сидящий рядом с ней НЕГР начинает раздраженно кричать по-французски.

САША (*показывает ему заламинированное удостоверение*). ДипломатИк! Твою мать...

АСЯ и ПАВЕЛ идут за ним.

1.25. МАШИНА.

АСЯ, ПАВЕЛ, САША

САША ведет машину, ПАВЕЛ сидит рядом, АСЯ сзади, смотрит в окно. Там совершенно сюрреалистический пейзаж — пыль, пальмы, разлапистые кактусы с огромными мясистыми цветами, белые каменные ограды, поверху утыканые розами из зеленых стеклянных бутылок. Указатели на дороге, названия магазинов и улиц — все по-французски.

САША. ...вы хорошо приехали, муссоны прошли. Тут нереальный вообще ад начинается, когда муссон дует. Пыль стоит, как стена, блин... никакие ставни ихние ни хрена не спасают. Вечером с работы приходишь — твою мать, дома весь пол в песке, как на пляже, блин... Куда ты едешь-то, урод?..

ПАВЕЛ (*после паузы*). А вообще как? Спокойно?

САША (*нехотя*). Ну как... спокойно... Выступают периодически негритосы... Тут же как... Люди совсем дикие живут... ну, культы у них, всю жизнь один халат носят, спят прям на нем... Че они выступают — это вообще никто не знает и знать не хочет... Понимаете... Сегодня они убивают владельцев белых цыплят, а завтра — всех в очках... Дикари.

ПАВЕЛ. Французский знают?

САША. Да больше ни черта и не знают. Как колонией были, так и учат до сих пор... Сука, а... Как он встал! (*Раздражаясь*.) Да вы сами через неделю уже все поймете. Я вот реально вам говорю, я до этого в Марокко три года при посольстве оттарабанил... Там, сами понимаете, мусульмане, бабы в тряпках, думал — чокнусь, а сюда приехал, я понял, что Марокко — это, мать его, цивилизованная страна... Я тут год. Слушайте, я вообще за собой не замечал как-то, а тут реально вот расистом стал. Да и вы станете, это к бабке не ходи... Понимаете, это просто... ну мусор человеческий... Они место занимают! Вот че они делают, знаете? Детьми торгуют, у каждого третьего СПИД... Вот вы... (*Поворачивается к Павлу*.) Гитлера вообще читали? Знакомы?

ПАВЕЛ (*изумленно*). Гитлера?..

САША. Ну, в общих чертах знаете ведь, да?

ПАВЕЛ. Ну... Конечно.

САША. Я прав был, понимаете? Прав. Есть расово неполноценные люди, с дерьмовой такой кровью. Они тут в одном автобусе проедутся — и все, блин. У всех — СПИД... (*Ударяют по клаксону*.) Ты посмотри, какой муذاк... (*Вдруг поворачивается к Асе*.) Извините.

АСЯ (*помолчав*). Ничего страшного.

1.26. ПОСОЛЬСКИЕ ВИЛЛЫ. ВНУТРЕННИЙ ДВОРИК.

АСЯ, ПАВЕЛ, САША, ЮЛЯ, ОХРАННИК, НЕГРИТЯНКИ 1 и 2

Забор около двух метров по всему периметру, у ворот пост с вооруженным белым ОХРАННИКОМ. Двухэтажные в колониальном стиле виллы повернуты фасадом к заасфальтированному внутреннему дворику, где стоит зеленая железная помойка, разбиты клумбы. Две НЕГРИТЯНКИ в цветастых платках на головах, переговариваясь по-французски, развешивают на веревках постельное белье, сложенное в огромное корыто. ПАВЕЛ и САША вытаскивают чемоданы из машины и заносят в открытые двери одной из вилл. АСЯ стоит, осматриваясь. НЕГРИТЯНКИ кивают ей.

НЕГРИТЯНКА 1. Бонжур, мадам!

НЕГРИТЯНКА 2 кланяется. АСЯ им вымученно улыбается. Поднимает голову вверх и видит ЮЛЮ (худая, высокая блондинка, лет 30-35). ЮЛЯ стоит на балконе второго этажа соседней виллы и смотрит на АСЮ. Когда АСЯ поднимает голову, она тут же убегает с балкона. АСЯ — оценка.

ДРУГОЙ ДЕНЬ

1.27. ПОСОЛЬСТВО. КАБИНЕТ ПОСЛА.

ПАВЕЛ, РОДИН (ПОСОЛ), МАРИНА (СЕКРЕТАРЬ)

ПАВЕЛ заходит в кабинет, из-за стола ему навстречу поднимается РОДИН (лет 40-45, загорелый, вполне подтянутый). Пожимают друг другу руки.

РОДИН. Садись... Привет.

ПАВЕЛ. Здравствуйте, Юрий Васильевич. (*Садится*.)

РОДИН. Ты, значит, прибыл на Степанова место... (*Перекладывает на столе какие-то папки, заглядывает в них*.) Экономика...

ПАВЕЛ (*смушенно улыбаётся*). Советник по экономическим вопросам. Если быть точным, Юрий Васильевич.

РОДИН. Поселились, все нормально?.. Чеки на валюту выдали?..

ПАВЕЛ. В процессе.

РОДИН. Хорошо... (*задумчиво смотрит на Павла*) Что сказать?.. Ситуация напряженная... Это правда... Страна нищая, скажем прямо... Семьдесят процентов населения за чертой бедности, голодают, если засуха — все голодают... В экономическом сотрудничестве... Самое, конечно, важное соблюсти баланс чисто патерналистский...

ПАВЕЛ (*кивает*). Разумеется.

РОДИН. При посольстве уже... Сколько уже?.. Ну, долго уже... действует РКЦ — русский культурный центр... Такое место встреч... Экономического обмена для посольских работников и местного населения... Для воспитания... в духе национальных традиций детей от смешанных браков... Отмечаем наши... православные праздники... Устраиваем музыкальные вечера... Чтения... Сотрудничаем с местным бизнесом... Это трудно. Все это в твоей компетенции теперь...

ПАВЕЛ (*кивает*). Замечательно.

РОДИН (*откидывается в кресле*). Понятно, что бизнеса как такового здесь нет, экспорта с нашей страной тоже нет, но... надо же как-то налаживать связи...

ПАВЕЛ. Совершенно с вами согласен, Юрий Васильевич.

В дверь легонько скребутся, потом она открывается и входит МАРИНА. Это такая грудастая, жопастая бабенка украинского типа, с синими тенями на веках и красными губами. Лицо при этом крайне озабоченное, как будто на ее плечах лежит ответственность за всю внешнюю политику России.

МАРИНА (*с прidyханием*). Простите, Юрий Васильевич, один вопрос.

РОДИН. Да.

МАРИНА (*по-прежнему серьезно и с тревогой*). В валютный водку не завезли, что ставить? Есть джин и виски, но виски местный.

РОДИН (*качает головой, цокает языком*). А джин?

МАРИНА. Джин американский.

РОДИН (*после задумчивой паузы*). Ну, ставьте джин, что делать-то?..

МАРИНА. Хорошо. Извините, Юрий Васильевич.

Покачивая бедрами, выходит. РОДИН смотрит на ПАВЛА, разводит руками.

РОДИН. Предлагаю теперь познакомиться с сотрудниками нашего посольства.

ПАВЕЛ. С удовольствием.

1.28. ВИЛЛА АСИ И ПАВЛА.

АСЯ, ЮЛЯ

АСЯ в резиновых перчатках моет пол шваброй. Раздается низкий, вагнеровский звонок в дверь. Она вздрагивает. Стаскивает перчатки, подходит к двери, несколько секунд прислушивается, потом открывает. На пороге стоит ЮЛЯ (из сц. 1.25), в руке у нее большая сумка. Теперь она накрашена, волосы завиты, одета в какое-то яркое, летящее платье, на каблуках.

ЮЛЯ (*широко улыбаясь*). Привет! Ты — новенькая?

АСЯ. Ну... видимо так. Привет.

ЮЛЯ (*протягивает свободную руку*). Алиса! Соседка.

АСЯ (*пожимает руку*). Ася. Мы же виделись, мельком.

ЮЛЯ (*наморщив лоб*). Когда это? Я что-то не припоминаю.

АСЯ (*растерянно*). Когда мы только приехали... Я стояла во дворе, а ты — на балконе...

ЮЛЯ. Да?.. (*Несколько секунд пристально изучает АСЮ, потом на лице появляется*

такая хулиганская ухмылка.) Слушай, не может такого быть! Тут новый человек — дикая редкость, я бы тебя точно запомнила... *(Дергает рукой, в сумке раздаётся бряканье.)* Я тебе принесла... Маленький презент.

АСЯ *(улыбается)*. Ой, прости. Заходи!

1.29. ВИЛЛА АСИ И ПАВЛА. ГОСТИНАЯ.

АСЯ, ЮЛЯ

Сидят рядом на диване, с ногами, на столике стоят бутылка вина и блюдо с фруктами. ЮЛЯ курит одну за одной.

ЮЛЯ. ...у посла жена Полинка, это нереальная просто сука, ты увидишь. Она тебя пригласит знакомиться. Она — алкоголичка вообще. И ребенка еще своего дефективного на шею послу повесила! Все тут знают, что ребенок не от него. Он даже в школу не ходит, к ним домой учителя приезжают. Ни в одном спектакле не участвовал, дебил просто...

АСЯ *(отпивает вино)*. Прямо дебил?..

ЮЛЯ. Не, ну внешне он как бы ничего, но ни с кем не разговаривает. Ему говоришь: привет! — а он как будто не слышит. В прошлом году на Рождество прием был у посла, и батюшку пригласили, он со своими детьми приперся. И этот Полинкин дебил, ты можешь себе представить, вдруг подходит к старшему сыну батюшки и берет его за руку! И уводит в другую комнату! Полинка напилась уже, стоит такая, улыбается: ой, как здорово, мой дебил пошел на контакт с другим ребенком!

АСЯ. И что?

ЮЛЯ. И что! Избил он этого батюшкиного придурка, когда туда Полинка вбежала, там уже на полу кровища была, батюшкин сын мордой в пол лежал, а этот на нем сидел и долбил его башкой об мрамор...

АСЯ. Какой кошмар...

ЮЛЯ хихикает.

1.30. АППАРАТНАЯ

Мониторы передают изображения со многих камер. Мы видим внутренний двор посольских вилл, дорогу перед воротами, по которой медленно проезжает раздолбанный военный джип с неграми, держащими на коленях автоматы. Человек, которого мы не видим, настраивает изображение на мониторе. Там появляется гостиная на вилле Аси. Ася и Юля сидят на диване, звука нет. Юля откидывается назад и хохочет.

1.31. ВИЛЛА АСИ И ПАВЛА. ГОСТИНАЯ.

АСЯ, ЮЛЯ

ЮЛЯ. А у вас нет детей, да?

АСЯ *(помолчав)*. Нет.

ЮЛЯ. Ты не можешь или чего? Да я никому не скажу!

АСЯ. Я... не могу.

ЮЛЯ. Аборты делала?

АСЯ. Нет... Просто... Просто не получается. Я не знаю.

ЮЛЯ *(хватает бутылку, наливает себе и Асе)*. Ой, слушай! У Наташки Каргиной, это жена атташе по культуре, у нее че-то тоже все не получалось. А хер тут получится? На всех, блин, один доктор Карим, что он — гинеколог, что ли? В местную же больницу не пойдешь, там же от бесплодия как-то не лечат, скорее, еще чем-то заразят... Ну, и вот, значит, Наташка вдруг залетела, такая радостная ходит. А атташе, когда она на шестом месяце была, вдруг сказал, что он больше так не может, потому что он — гомосексуалист.

АСЯ (*изумленно*). Как это?..

ЮЛЯ. Да так! Он влюбился в мужика из французского посольства. Ну, и ушел к нему. Как бы официально он не мог во французском представительстве прямо жить, он не афишировал, но все, естественно, знали, что он там живет с этим французом. А француз этот...

АСЯ (*перебивает*). Подожди! А что с этой Наташкой?

ЮЛЯ. Она жуткий скандал устроила. Выкинула из окна его компьютер и орала на весь квартал, что напишет письмо в МИД. (*Истерически хохочет.*) Дууура! В МИД она напишет! Кому она, на хер, нужна в этом МИДе гребаном?! Очень им интересно, кто в этой черной жопе с кем трахается... (*Хохочет.*) Ответ ей официальный направят — хоть все там друг друга отпорите, только не напоминайте о себе...

Откидывается на диван и ржет, закрыв лицо руками. АСЯ смотрит на ЮЛЮ с нарастающим ужасом.

ЮЛЯ (*убирает руки от лица, в глазах слезы*). Отсюда же никогда уже не вырваться! Никогда! Это — конечная! Мы тут все сдохнем... Ой, Господи... Твою же мать... (*хватается за бок*) У тебя от печени нет ничего? Ты лекарства из Союза привезла?!

АСЯ. Что?.. А... Сейчас...

Медленно встает с дивана и, как сомнамбула, выходит из гостиной. Покачиваясь, заходит в ванную, открывает шкафчик, достает оттуда аптечку. Открывает, тупо смотрит на аккуратно сложенные пачки с лекарствами.

1.32. ПОСОЛЬСТВО. ЗАЛ ДЛЯ ПРИЕМОВ.

РОДИН, ПАВЕЛ, МАРИНА, ВАСИЛИСА, КАРГИН, КРАСИМИР, АНГЕЛ, ПОПОВ, ВАНЯ, СОТРУДНИКИ, БУХГАЛТЕРШИ (МАССОВКА)

Все, совершенно пьяные, включая женщин, толпятся у длинного стола, заставленного бутылками с джином, вином и пакетами сока. На пластиковых тарелках — закуски.

РОДИН (*красный, со стаканом и расстегнутым воротом рубашки*). ...и они меня предупреждают о терактах! Да мать твою! В связи с действиями Израиля в районе Сектора Газа...

ВАНЯ (лет 30-35, бритый почти под ноль, в лопающейся на огромных руках белой рубашке) понимающе хохочет. ПАВЕЛ тактично улыбается.

РОДИН. ...где, твою мать, Израиль и где эта дыра? Я говорю: а я тут при чем? Под погонами есть, чтобы теракты бдеть... Да пусть они тут, к такой-то матери, все подорвутся, воздух чище станет! Нашли беду — как бы сто пятьдесят ниггеров на куски не разлетелись! Развалили Союз, а теперь они терактов боятся...

МАРИНА, ВАСИЛИСА и БУХГАЛТЕРШИ одобрительно кивают. МАРИНА тактично забирает у РОДИНА пустой стакан и подает ему полный.

ПОПОВ (*45-50 лет, лысый, в огромных квадратных очках, маленького роста и с пузиком, на которое высоко натянуты коричневые советские штаны*). Так потому и развалили Союз, что идет борьба за ресурсы!.. ...нефти осталось на двадцать лет максимум, пресной воды не хватает уже, а планета перенаселена! А что ты думаешь, не существует сионистского заговора? Вы — дикие люди, вы очевидных вещей не понимаете! Выжить должен золотой миллиард, а все остальные сдохнут, туда и дорога! С терактами, СПИДом, с войнами... Зачем, ты думаешь, Америка бомбит Сирию?..

РОДИН (*устало*). Миш, иди в жопу...

К ПАВЛУ подходит ВАСИЛИСА (25-28 лет, полненькая, симпатичная девушка).

ВАСИЛИСА (*понижив голос, доверительно*). Он — очень образованный человек, Попов! Пишет все время книги про сионистов...

ПАВЕЛ. Хм... Любопытно...

ВАСИЛИСА (*хихикает*). Там у него прямо от рождества Христова все начинается и до нашего времени, я читала. Тут же нечего больше читать. Как евреи вредят православным, там интересные такие вообще факты. Я вот не знала, что еврейские банкиры давали деньги нацистам... Он у батюшки благословения просил, чтобы опубликовать...

ПАВЕЛ. Да? И что батюшка?

ВАСИЛИСА. Батюшка сказал, что, конечно, это гордыня большая — ну, писать вообще, но книга очень нужная для общества.

ПАВЕЛ (*недоверчиво*). И... опубликовали?..

ВАСИЛИСА (*совершенно серьезно*). Да, конечно. Посольство грант выделило, тысячу экземпляров напечатали, в РКЦ за два дня раскупили... Ой, а мы не познакомились с вами! Я же секретарь отдела по экономическому сотрудничеству. Василиса. А вы — Павел Владимирович!

ПАВЕЛ. Да.

ВАСИЛИСА (*чокается с ним*). За знакомство!

В этот момент под общий гвалт и гогот открывается дверь и в зал входят АНГЕЛ и КРАСИМИР (обоим лет по 40, такие типичные двухметровые болгары).

ВАСИЛИСА (*радостно*). О! Болгары пришли!

ПАВЕЛ. Болгары?..

АНГЕЛ и КРАСИМИР обнимаются поочередно с ВАНЕЙ, РОДИНЫМ и прочими.

РОДИН (*громогласно*). Тааак! Налейте нашим болгарским друзьям! Вы же вообще — не русские?..

1.33. ВИЛЛА АСИ И ПАВЛА. ГОСТИНАЯ.

АСЯ, ЮЛЯ, НИКОЛАЙ, ПАВЕЛ

На столике у дивана стоят разоренная аптечка и пустая винная бутылка. Распотрошенные пачки таблеток и блистеры валяются рядом. На всю комнату орет Алла Пугачёва (старый репертуар, типа «Паромщика» или «Устроены так люди»). АСЯ сидит на диване с застывшей обреченной улыбкой, ЮЛЯ отплясывает со стаканом в руке. В дверь сначала звонят, потом начинают колотить. ЮЛЯ орет: «Открыто!», «Открыто, твою мать!» и хохочет. АСЯ поднимается с дивана, обходит ЮЛЮ, открывает дверь. Входит НИКОЛАЙ (35-40, довольно бесцветной внешности, в серых кагэбэшных штанах и белой рубашке, мокрой в подмышках от пота).

НИКОЛАЙ. Здравствуйте... Николай. (*Протягивает руку, Ася пожимает.*)

АСЯ. Ася.

НИКОЛАЙ (*смотрит на Юлю, которая продолжает бурно танцевать*). Как устроились?

АСЯ. Еще в процессе... Спасибо.

ЮЛЯ (*не прерывая танца*). Коля, обеда нет! Зря ты приехал, в посольстве сегодня рассольник!

НИКОЛАЙ (*улыбается Асе*). Это моя жена...

АСЯ (*растерянно*). Может... Хотите чего-нибудь выпить?..

НИКОЛАЙ присаживается на диван, взглядом цепко осматривает таблетки. АСЯ подает ему стакан воды. Он пьет.

НИКОЛАЙ. Вы кондиционеры проверяли? Все работает?

АСЯ *(с нарастающим изумлением)*. Да... Вроде бы да...

НИКОЛАЙ. Ну, это самое главное... А дальше освоитесь, осмотритесь... А скоро марула пойдет, сезон начнется... Вообще красота! *(После короткой паузы.)* Вы марулу пробовали?

АСЯ. Нет.

НИКОЛАЙ *(счастливо рассмеявшись)*. Это — прелесть! Маленькие, зелененькие, как наши яблочки белый налив. Только внутри — мякоть, а аромат, вы не представляете... Юлечка вон даже кекс с марулой печет... Приспособилась. *(Кивает на Юлю.)*

АСЯ. А... Да?..

НИКОЛАЙ. Да вы не бойтесь! Юлечка вам рецепт даст, тоже испечете.

АСЯ *(смотрит на кружащуюся по комнате Юлю)*. Она сказала, что ее зовут Алиса.

НИКОЛАЙ *(молчит, неприятно смотрит на Асю)*. Она... пошутила просто. *(Встает с дивана.)* Пойдем. Пора нам.

Подходит к ЮЛЕ, берет ее за локоть, она сразу как-то обмякает и позволяет себя вести.

НИКОЛАЙ *(Асе)*. Засиделись мы в гостях.

Выводит ЮЛЮ с виллы, дверь оставляет открытой. Выходящие ЮЛЯ и НИКОЛАЙ сталкиваются с ПАВЛОМ, который в состоянии, близком к сомнамбулическому, медленно подходит к двери. НИКОЛАЙ угодливо ПАВЛУ кивает. АСЯ смотрит на него. Он как будто ее не видит.

АСЯ. Паша... Что с тобой?

1.34. ПОДВАЛ. ЮЛЯ, НИКОЛАЙ

Помещение освещено мертвенным светом энергосберегающих ламп, на стенах и на полу — белый кафель. ЮЛЯ сидит в старом гинекологическом кресле, руки и ноги закреплены ремнями. Входит НИКОЛАЙ. ЮЛЯ начинает плакать.

ЮЛЯ. Не надо! Пожалуйста! Я больше не буду! Клянусь, я не буду!..

1.35. АППАРАТНАЯ

Человек, которого мы не видим, снова сидит перед мониторами. Камера передает изображение из подвала. Юля беззвучно кричит. Николай подходит к ней, придвигает к гинекологическому креслу стул, садится и закрывает ее. Мы видим его спину и ее расставленные ноги по бокам. Он поднимает ее рубашку и засовывает в нее руку. ЮЛЯ продолжает кричать и плакать, но он не останавливается, пропихивая в нее руку все глубже и глубже, локоть его двигается все быстрее и быстрее. ЮЛЯ перестает орать, ее голова свешивает на плечо, глаза закрыты.

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

1.36. ПОСОЛЬСТВО. КАБИНЕТ ПАВЛА. ПАВЕЛ, УБОРЩИЦА, ВАСИЛИСА

ПАВЕЛ входит в кабинет. УБОРЩИЦА-негритянка вытряхивает ведро для бумаг в огромный черный пакет, прикрепленный к тележке с моющими средствами.

УБОРЩИЦА (*по-французски*). Доброе утро, мсье, я уже закончила.

ПАВЕЛ кивает, садится за стол. УБОРЩИЦА, толкая тележку, выходит, закрывает дверь. ПАВЕЛ шуруется от палящего солнца, подходит к окну, закрывает ставни. Вытирает пот со лба, находит на столе пульт, включает кондиционер. В дверь стучат, входит ВАСИЛИСА с подносом, на котором стоит кувшин, в кувшине плавают листья, половинки лимонов и лед.

ВАСИЛИСА (*радостно*). Здрасьте, Павел Владимирович!

ПАВЕЛ (*сухо*). Здрасьте.

ВАСИЛИСА. Я вам попить принесла...

Подходит к столу, ставит кувшин, расставляет стаканы. Потом на ее лице появляется такое выражение, как будто она по недосмотру заразила чумой детский сад.

ВАСИЛИСА. Ой!

ПАВЕЛ (*вздрагивает*). Что?

ВАСИЛИСА. Наверное, кофе сначала, да?! Вы меня простите, ради Бога! Я... Ой, какая же я идиотка!.. (*Хватает стаканы, снова ставит их на поднос.*)

ПАВЕЛ отнимает у нее стакан.

ПАВЕЛ. Не надо кофе. Все хорошо. Не беспокойтесь.

ВАСИЛИСА по-прежнему стоит у стола. ПАВЕЛ вопросительно на нее смотрит.

ВАСИЛИСА. Вы попробуйте. Вдруг... недостаточно?..

ПАВЕЛ наливает из кувшина в стакан, отпивает, на лице появляется несколько обескураженное выражение.

ПАВЕЛ. Это... Это что, с водкой?..

ВАСИЛИСА (*удивленно*). Конечно. А что... (*Снова в панике.*) не надо было?!

ПАВЕЛ. Нет, все хорошо. Спасибо.

ВАСИЛИСА. Вам достаточно водки?

ПАВЕЛ. Да. Да. Просто прекрасно.

ВАСИЛИСА счастливо улыбается, выходит. ПАВЕЛ придвигает к себе огромную стопку отчетов, тупо в них смотрит. Часто отпивает из стакана. Потом поднимает трубку стационарного, советского такого телефона, звонит.

ПАВЕЛ. А... Это Марина? Доброе утро. Щербаков. Соедините, пожалуйста, с послем... (*После паузы.*) А когда будет?.. Я понял.

Вешает трубку. Подносит ко рту стакан, понимает, что он пуст. Тянется снова к кувшину, но вместо этого снова поднимает трубку. Набирает номер, трясет трубкой, потом раздраженно кидает ее на рычаг, встает, подходит к двери, открывает.

ПАВЕЛ. Василиса... Зайдите ко мне.

1.37. ПОСОЛЬСТВО. КАБИНЕТ ПАВЛА.

ПАВЕЛ, ВАСИЛИСА

ПАВЕЛ за столом, ВАСИЛИСА в кресле перед столом, пьют. Кувшин пустой на две трети.

ПАВЕЛ. Что случилось с предыдущим советником по экономическим вопросам? Почему он оставил должность?

ВАСИЛИСА (*удивленно*). Вы разве не знаете?..

ПАВЕЛ качает головой.

ВАСИЛИСА. Он умер.

ПАВЕЛ. Здесь?..

ВАСИЛИСА. Да. Скоропостижная смерть.

ПАВЕЛ. Но... почему? Сколько ему было?

ВАСИЛИСА. Сорок два.

ПАВЕЛ. Сердце?.. Или что?

ВАСИЛИСА. Я не знаю подробностей. Да и какое это теперь имеет значение?..

(*Берет кувшин.*) Я принесу еще льда... (*Идет к двери.*)

ПАВЕЛ. А где его похоронили?

ВАСИЛИСА (*останавливается*). Здесь. При церкви есть кладбище.

ПАВЕЛ. А почему здесь? Почему не в России?

ВАСИЛИСА. Некому было везти его в Россию... Аня... Анна Алексеевна осталась здесь.

ПАВЕЛ (*изумленно*). Его жена? Здесь? После смерти мужа?..

ВАСИЛИСА. Да. А что вас удивляет?

ПАВЕЛ (*еще больше поражаясь*). Это... Странно. Чтобы белая женщина, одна, добровольно жила... в Африке... В черной стране. Вы так не считаете?

ВАСИЛИСА (*пожав плечами*). Здесь прекрасный климат.

Выходит. ПАВЕЛ — оценка.

1.38. ВИЛЛА АСИ И ПАВЛА. ХОЛЛ.

АСЯ, БЛАНШ

АСЯ с несколько напряженным лицом стоит перед БЛАНШ (это негритянка, лет 18-20, очень улыбчивая и говорливая, на голове цветастый тюрбан, руки до локтей в пластмассовых разноцветных браслетах). По обе стороны от БЛАНШ стоят пакеты из «Монопри» с чистящими средствами, салфетками и туалетной бумагой.

БЛАНШ (*по-французски*). Я есть Бланш! Я убирать у вас тут! Я убирать у прошлых хозяев этот вилла! Мсье Володя и мадам Анна! Я ходить в Монопри за вас! Вы говорите по-французски?..

АСЯ (*по-французски*). Да, я говорю по-французски...

БЛАНШ (*помогая себе жестами*). Вы давать мне деньги и бумажка! Писать продукты! Я — покупать! Я — Бланш! Бланш!

АСЯ (*по-французски*). Я поняла.

БЛАНШ. А как зовут мадам?

АСЯ. Ася. (*Бланш тупо на нее смотрит*) Анастасия.

БЛАНШ (*радостно*). Мадам Анастаси! Давать мне бумажка, я ходить в Монопри...

АСЯ (*по-французски*). Я скажу тебе. Хлеб. Сыр. Ветчина... (*Бланш кивает на каждое слово.*) Овощи... Огурцы, помидоры, зелень...

БЛАНШ. Но, мадам! Мадам Анна говорить, огурцы — дерьмо.

АСЯ (*по-французски*). Хорошо... Не покупай огурцы. (*Берет сумку, достает кошелек, протягивает БЛАНШ деньги.*)

БЛАНШ (*широко улыбаясь*). Мадам такая красивая! Мадам счастливая!

АСЯ (*пораженно, по-французски*). Что? Почему ты так говоришь?

БЛАНШ. У мадам сережки и красивые кольца. Бланш не имеет этого. Бланш будет очень хорошо убирать в вилле мадам, и мадам подарит ей что-нибудь из своих вещей. Тогда Бланш тоже будет счастливая.

АСЯ молчит.

БЛАНШ. Мадам разрешает уходить в Монопри?

АСЯ. Да.

БЛАНШ вдруг приседает, хватая АСИНУ руку и быстро ее целует. Потом как ни в чем не бывало выпрямляется, ослепительно АСЕ улыбается и выходит. АСЯ — оценка.

1.39. ВИЛЛА АСИ И ПАВЛА. ГОСТИНАЯ. ПОЗЖЕ.

АСЯ, ПАВЕЛ

АСЯ накрывает на стол. Входит не вполне трезвый ПАВЕЛ. Садится, хватая бутылку воды, пьет. АСЯ замирает с миской салата в руках.

ПАВЕЛ. Какая кошмарная жара...

АСЯ. Ты, что, пьяный?..

ПАВЕЛ. Нет.

АСЯ (*ставит салат на стол*). Ясно.

ПАВЕЛ. Что тебе ясно?

АСЯ. Что ты вступил в должность советника посла по экономическим вопросам и налаживаешь отношения в коллективе. Ты будешь есть? Я сделала салат, но овощи просто омерзительные. Засохшие... А помидоры... Я даже не знаю, помидоры ли это... Они были волосатые.

ПАВЕЛ (*после паузы*). Не надо... переживать из-за волосатых помидоров... Это твой первый салат... Скоро ты найдешь хорошие помидоры... Освоишься.

АСЯ. Я не хочу осваиваться... Я не хочу тут жить... Что это такое вообще?.. Здесь все — больные... Куда ты меня привез?..

ПАВЕЛ. Ты привыкнешь... Ну, не надо. Это просто... поначалу...

АСЯ. ...какие-то фашисты. Сумасшедшие. Алкаши!.. Я даже на улицу выйти не могу... В магазин не могу.

ПАВЕЛ. Это опасно...

АСЯ. ...мне что, пять лет сидеть дома?

ПАВЕЛ. Ты найдешь себе компанию... Не бойся... Все наладится...

АСЯ. Компанию... Будем обсуждать, как прав был Гитлер. А Бланш будет целовать нам руки. А потом, может, и ноги. Господи... Господи, почему это все происходит с нами?! Почему?..

Звонит телефон. АСЯ с ПАВЛОМ удивленно переглядываются.

ПАВЕЛ. Кто это?..

АСЯ. Ты меня спрашиваешь?

ПАВЕЛ подходит, снимает трубку.

ПАВЕЛ. Алло. Здравствуйте, Юрий Васильевич... Да... Да... С удовольствием. Спасибо, Юрий Васильевич. (*Опускает трубку на рычаг, смотрит на Асю.*) Посол.

АСЯ. Уволил тебя? За пьянство?

ПАВЕЛ. Нет. Приглашает в воскресенье в резиденцию. На обед.

ДРУГОЙ ДЕНЬ

1.40. РЕЗИДЕНЦИЯ ПОСЛА. ПЕРЕД ВИЛЛОЙ.

РОДИН, ПАВЕЛ, НЕГРЫ 1, 2 (СЛУГИ)

НЕГРЫ 1 и 2, переговариваясь по-французски, накрывают на стол. ПАВЕЛ с РОДИНЫМ стоят у передвижного мангала, РОДИН задумчиво смотрит на жарящееся мясо.

РОДИН (*оборачивается к неграм, по-французски*). Марсель, принеси нам выпить.

НЕГР 1 кивает, ставит на поднос бутылку водки, две рюмки, идет к мангалу. РОДИН разливает водку, они с ПАВЛОМ чокаются и выпивают. Возвращают рюмки на поднос, РОДИН жестом отсылает НЕГРА.

РОДИН. Тебя в школе дразнили?

ПАВЕЛ. Нет.

РОДИН. А меня да... Знаешь, что они говорили?

ПАВЕЛ. Что?

РОДИН. Родина мать зовет...

Смеются. НЕГР на ходу допивает остатки водки сначала из одной, потом из другой рюмки.

1.41. РЕЗИДЕНЦИЯ ПОСЛА. ГОСТИНАЯ.

АСЯ, ПОЛИНА

АСЯ, явно не зная, куда себя деть, слоняется по комнате. Там все в таком сдержанно роскошном колониальном стиле — дубовая резная мебель, фарфор, мраморный пол. Останавливается около огромного портрета. На нем изображен мальчик четырех-пяти лет в синем костюмчике. Лицо у мальчика грустное. В комнату входит ПОЛИНА (38-40 лет, в том состоянии, когда женская красота уже отчетливо тронута тлением, но это дает ей некую почти болезненную привлекательность; блондинка, с отличной фигурой), АСЯ поворачивается к ней. ПОЛИНА несколько секунд без всякого выражения смотрит на нее, потом улыбается.

АСЯ. Здравствуйте... Спасибо за приглашение, я очень рада с вами познакомиться...

ПОЛИНА подходит к ней, на французский манер целует в обе щеки.

ПОЛИНА. Это взаимно, Асенька.

Замолкает, снова смотрит на АСЮ. Та краснеет.

АСЯ (*кивает на портрет*). Это ваш сын?

ПОЛИНА. Да.

АСЯ. Очень красивый... мальчик.

ПОЛИНА (*улыбается*). Спасибо.

АСЯ. Можно с ним познакомиться?

ПОЛИНА. Не сегодня. Сегодня... у него плохой день.

АСЯ кивает, отводит глаза.

ПОЛИНА. У вас есть дети?

АСЯ. Нет. К сожалению.

ПОЛИНА. Почему же к сожалению? Не иметь детей — это счастье.

АСЯ смотрит на нее, не зная, что сказать. ПОЛИНА снова улыбается, жестом приглашает АСЮ сесть. Садятся рядом на диван.

ПОЛИНА. Вы уже с кем-нибудь познакомились?

АСЯ. Только с Алисой... И... это была странная история.

ПОЛИНА. Вы хотели сказать, с Юлей.

АСЯ. О том, что она Юля, я узнала потом. От ее мужа.

ПОЛИНА. У нее диссоциация личности. Иногда на первый план вырывается Юля, она очень скучна и запугана. Иногда появляется Алиса, с ней повеселее, вы, наверное, заметили. Самое интересное, что Юля и Алиса друг о друге не подозревают, Юля никогда не помнит, что делала Алиса, а Алиса не знает, что делала Юля.

АСЯ. Бедная женщина...

ПОЛИНА. Почему же? Ее жизнь гораздо интереснее, чем у многих.

АСЯ. Она же больна.

ПОЛИНА. А кто здоров?

АСЯ. Наверное, никто... но есть же какие-то пределы... Когда мелкие странности переходят в диагноз... Мне вообще это все кажется странным.

ПОЛИНА. Что именно?

АСЯ. Что женщину... с раздвоением личности... пропускают в дипломатическую миссию.

ПОЛИНА (*с улыбкой*). Тут нет ничего удивительного. Дипломатическая миссия — это как раз то место, где психопаты и дегенераты, вроде моего мужа, могут дать волю всем своим наклонностям вдали от общества, которое якобы представляют.

АСЯ — оценка.

1.42. РЕЗИДЕНЦИЯ ПОСЛА. ПЕРЕД ВИЛЛОЙ.

АСЯ, ПОЛИНА, РОДИН, ПАВЕЛ, НЕГРЫ 1 и 2

Все сидят за накрытым на свежем воздухе столом, доброжелательно друг другу улыбаясь. НЕГР 1 раскладывает по тарелкам мясо, НЕГР 2 наливает вино.

ПОЛИНА (*поднимает бокал*). За приятное знакомство. Которое, я уверена, перерастет в настоящую дружбу.

Все чокаются, выпивают.

ПОЛИНА (*с улыбкой*). Когда живешь в таком месте, как это, начинаешь особенно ценить людей. Понимаешь, как мало среди них тех, с кем можно общаться без притворства и бесконечной мелкой лжи. Называть вещи своими именами... Володя Степанов был таким человеком. Жаль, что он покончил с собой.

РОДИН невозмутимо ест. ПАВЕЛ смотрит на ПОЛИНУ. Она ему улыбается.

Андрей Коровин

История лица

* * *

я не знаю чем всё это кончится
летний вечер поздний звездопад
подметает фантики уборщица
в них лежали звёзды говорят

может жизнь лишь только начинается
за чертой Садового кольца
но лицо и сердце не меняются
в сердце вся история лица

оппадают звёздные регалии
но для жизни сердца не жалею
уходи в разношенных сандалиях
под зонтом любвей и тополей

* * *

кто нам выдал холодное лето
соловьиное соло залил
я по дому брожу не одетым
как впадающий в морок Дали

только трогаю книжные стены
только встречное имя шепчу
мартин иден и анна каренин
направление к зубному врачу

в доме всюду разбросаны вещи
стопки книг и учебников спят
и в прихожей не светят зловеще
пара лампочек в ватт шестьдесят

Коровин Андрей Юрьевич — поэт, критик, издатель, руководитель культурных программ. Родился в 1971 году. Автор восьми поэтических книг. Руководитель Международного культурного проекта «Волошинский сентябрь», литературного салона в Музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва) и других программ. Живет в Москве.

* * *

писатели живут с писателями
по клубам и по вечерам
писатели они страдатели
старатели любовных драм

вечерних очерков сожители
ночных эссе богатыри
клинические небожители
чужих любовей упыри

за типа чудное мгновение
они порвут чужую жизнь
стихи свидетели падения
а ты держись
а ты держись

* * *

смотри Муса такое лето
день клейколотой крепко сшит
лениво вялится планета
мурашка по делам спешит

рабы Москвы в цветастых робах
в траншее курят ввосьмером
метро везёт в своих утробах
китайский джин индийский ром

и вся полиция столицы
горчит как капля молока
и в небе исчезают лица
но остаются облака

* * *

это память шафрана лаванды горчицы и льна
что живёт пряной нотой в животной утробе вина
что летит над равниной над лугом над степью над сном
это память в которой мы все никогда не уснём

эта память бликует свингует твистует блестит
это солнечный таймс полужирный инжирный петит
это сонная речь над предутренней томной водой
это память что помнит о каждом изнанкой слюдой

это память форсирует время шлёт на абордаж
это быстрый дельфин прорезающий утром пейзаж
это тени растут словно руки платанов сквозь тьму
эта память незрима как вечное лето в Крыму

* * *

сожжена земная оболочка
нет причин не верить в пустоту
что осталось только я и дочка
верящая в мира красоту

только верой жизнь земная движется
каждый верит кто во что горазд
каждый верит что за веру спишутся
все грехи терзающие нас

отойдём подальше дочь от пропасти
пусть цветёт твоя земная жизнь
дай мне руку
в радости и в горести
ты покрепче за меня держись

* * *

слишком долго слишком сложно слишком высоко
закипает летний дождик словно молоко
по сиреневым бульварам рядовой Москвы
едут разные романы разных духовых

утлый ослик лопухий как троллейбамбас
пересказывает слухи в образах гримас
вот и Пушкина убрали кто теперь поэт
на Тверском стоял бульваре
а теперь уж нет

всё закончится однажды Пушкин и Москва
все закончатся однажды важные слова
пусть скорее закипает дерзкий летний дождь
каплет каплет заливает молодую дрожь

* * *

не стремитесь в Москву мы живём под прицельным дождём
мы то отпуска ждём то пришествия ждём то спасения ждём
это мокрая жизнь протекают дома и слова
под унылым дождём бродят сущности и существа

это лето которого нет и не будет уже
мы его переждём на каком-нибудь там этаже
это травы гниют или души гниют или дни
мы одни на земле мы одни на земле мы одни

можно крышу сменить можно душу сменить можно дом
но что будет потом да ты знаешь что будет потом
только дождь без конца только ветер и только вода
всё проходит но только л... молчи! никогда никогда

Игорь Корниенко

Рассказы

Под кожей (Последний цвет)

Трещины

Чудовище, с куском кровавого мяса вместо лица, появилось неожиданно из полумрака коридора, едва не сбив его с ног.

Он успел разуться, снимал куртку, тут оно и набросилось. Худощавый, длинноволосый одиннадцатиклассник пригнулся, накрывшись промокшей от дождя болоньей.

Чудовище засмеялось и вдруг сказала голосом матери:

— Чего это ты трус у меня такой, Юлька?..

Юноша выглянул из-под ворота куртки:

— А ты чего?..

Женщина убрала с лица два тонко отрезанных ломтя свежей говядины:

— Это разглаживатель. Морщин чтоб у твоей Мэрилин не было. Мой косметолог с Вьетнама вернулась, ей тайный рецепт молодости нащептали.

Юлиан выпрямился, сердце еще колотилось под кадыком:

— Мясо на лицо? Мама?! Это же мясо!.. Кровь вон еще течет...

Пятидесятилетняя высокая дама в пляжной шапочке протянула сыну куски:

— Хочешь, чтобы я раньше времени на чернослив стала похожа? Что за интонация?! Что за претензии необоснованные?! И сколько раз можно повторять — не мамкай!

Сын забрал косметическое средство матери — осторожно, двумя пальцами, на расстояние вытянутой руки пронес розовые полоски на кухню.

— Семнадцать лет почти, он все мам да мам, — доносилось, — можно ведь как-нибудь обходить это обращение? Каждый раз не напоминать мне о возрасте и что жизнь так безжалостна, к женщине особенно. К красоте, — мать была готова расплакаться.

Не стал спрашивать, как поступить с «разглаживателем морщин», выбросил в ведро, сполоснул руки.

Мать уже слезно всхлипывала:

— Правильно, все к этому шло. Я загадала, если ты сегодня не напомнишь мне о моих летах, не соглашусь на пластику... Все разрешилось, сам видишь. Думаешь, по

Игорь Корниенко — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат премии В.П.Астафьева (2006), премии «Золотое перо Руси» (2005), специального приза жюри международного драматургического конкурса «Премьера 2010», лауреат литературного конкурса им.Игнатия Рождественского (2016). Живет в Ангарске Иркутской области. Предыдущая публикация в «ДН» — 2017, № 2.

душе мне мазать себя яйцами и имбирь поглощать килограммами? А что такое микротоксовая стимуляция кожи, ты знаешь?!

Сын вернулся, женщина стояла перед зеркалом и говорила своему отражению. Голос изменился, повеселел, никаких плаксивых ноток, настроение улучшилось из-за принятого решения:

— Значит, договорились, Юлька, — она взяла его за руку, не отрывая глаз от отражения, — ложусь на подтяжку.

Пожал плечами Юлиан.

— Что за пассивность, не пойму?! Весь в папашу, от того тоже никакого действия не дождешься. Слова клещами вытягивать приходилось.

— Дорого, — выдохнул сын.

— Дорого?! — она отбросила его руку. — Тебя поднимать на ноги дорого! А подтяжка лица всего двадцать тысяч. Дорого ему...

На красоте не экономят. Слышал, как классик сказал — красота спасет мир!

Она впиалась в его глаза фиалковыми линзами (это цвет — душевного богатства и глубинного единения с Космосом, король всех цветов). Она могла долго не моргать, с детства выигрывала «кто кого переглядит». Мать ждала реакции. Юлиан знал, от его кивка ничего не зависит, но не согласись он сейчас, результатом будут — слезы, обвинения, хлопанье дверей.

Сын кивнул.

Женщина снова схватила его ладонь:

— Повторять не буду — помнишь. Если что, ты мой племянник. Незачем афишировать, что у твоей Мэрилин такой большой сын. Знаешь ведь, как я не переносу все эти возрастные вопросы... И вообще, по минимуму меня навещай.

— Ты уже точно решила, когда?

— Ой, меня не знаешь, я записалась еще два месяца назад, — ущипнула мальчика за щеку, — к Липшицу очередь, он лучший.

— Ну да, — поддакивает, Юлиан, — так когда?

— Послезавтра, — освобождает руку сына, смотрит на несвежий маникюр, — нарисуешь мне цветочки на ногтях?

— И сколько?

Мать закатила глаза:

— Опять время?! Неужели невозможно без него? — сняла шапочку, под ней оказался целлофановый пакет, «чтобы реакция была, и краска равномерно легла», перепачканный белой хной.

— Дня три, операция несложная — тут подтянут, там уберут. Фиалки нарисуешь, ок?

Он не успел ответить — женщина взвизгнула и бросилась бегом на кухню:

— Юлькаааа, — ныла, — так и знала, что ты мои куски в мусор отправишь.

Подошел к матери с низко опущенной головой:

— Я еще хотел спросить куда их, — сожалел он пискляво, — но подумал, что с ними ничего уже не сделаешь. Суп не приготовишь, с картошкой не пожаришь...

— С тобой, вот, точно каши не сварить, — заглянула в мусорное ведро и топнула ногой, хлопнула крышкой, — ладно, фейслифтинг все исправит, и ты мне на ногах фиалки нарисуешь.

Виктория Вершинина не стала брать фамилию мужа:

— Борзенко, — это как кличка собачья.

Имя сыну выбрала сама — Юлианом назвала в честь гламурного певца 90-х.

— Он же на голубого похож, — пытался возразить муж, — и по ощущениям, что больше чем просто похож.

— Ощущения? — переспрашивала язвительно Виктория, — это ты про свое часовое просиживание в туалете с журналом «Спорт»?.. Ощущения у него.

Иван игнорировал все нападки жены, списывая их на ее тонкую натуру, продолжал:

— Его на эстраде за мужика не считают. Глаза накрашены. Манерный...

— Глаза не красят, а подводят, информация тебе к размышлению. И кстати, ты бы лучше косяк дверной со стороны подъезда покрасил, там и штукатурка отлетела, знаток российской эстрады выискался...

Муж все поправил, даже больше, перекрасил в любимый цвет жены свою «Тойоту Короллу». Но Виктория была неподкупна, «непоколебимая я» — как в то время любила говорить она, и первенца назвали Юлиан.

— Все к этому шло, — говорил потом отец сыну, когда тот пошел в первый класс, а мужчина собирал вещи, чтобы перебраться на съемную квартиру, — твоей маме нужен воздух. Свободное пространство... Мы не разводимся, это вроде свободных отношений, подрастешь, поймешь, о чем я. Ты когда захочешь, можешь меня навещать, и я буду заходить.

Юлиан вырос, но так и не понял, про какой воздух говорил отец и что так необходимо было матери. Она и сейчас могла метаться по трехкомнатной квартире, несколько раз на дню передвигать мебель в поисках стиля и новых ощущений.

— Вибрации — вот составляющая часть домашнего уюта, — объясняла, меняя местами в своей спальне ночной столик с пуфиком, — они исходят от правильно расставленных вещей, излучают энергию. Как цвета. Цвет правит миром.

Виктория обожествляла фиолетовый и терпеть не могла черный.

— Сон перед ревизией, — отмахивалась от всего черного женщина, — при моей жизни никакого намека на этот траур.

И Юлиан одевался в радужные цвета и не предполагал, что у матери волосы цвета вороного крыла.

Певца-тезку нашел в интернете. Тот давно уже не выступал, и о существовании такого исполнителя, «слава Богу» — считал он, поколение Юлиана Вершинина не знало.

— На гея похож этот твой любимчик, — скажет он как-то матери, — чем ты думала?

— Ты что-то против меньшинств имеешь? Отцовские гены, никак, взыграли?.. Сын не отвечал.

— И он уже не любимчик давно, — добавляла женщина, — мне сейчас совсем другое нравится. А это уже пройденный этап. О котором ни вспоминать, ни думать не надо. Табу. Я хотела, чтобы ты певцом стал, но видишь, тебя слух подвел. Но ты зато прекрасно рисуешь.

И в сотый раз просила нарисовать на отманикюренных ногтях фиалки.

Книга без обложки

Коридоры больницы — клетки-лабиринты стекла и бетона. Запах медикаментов, хлорки, старости... Юлиан заблудился. А сотовый матери был недоступен. Сердце стучало, пристроившись, в такт его торопливых шагов. Он не на шутку разволновался, когда во второй раз вышел в застекленный переход между двумя корпусами больницы на третьем этаже.

Юлиан повторял:

— Третий этаж, левое крыло, палата 136, Вершинина.

Осмелился и зашел в деревянную дверь с табличкой «Посторонним вход запрещен». Попал в длинный белый коридор, под яркий свет флуоресцентных ламп, быстро прошел по нему, свернул направо. Здесь было не так ярко, лампа горела лишь посередине, пахло заваренной китайской лапшой и туалетом. Шумела вода, двери в палаты по обеим сторонам коридора открыты. Сощурившись, Юлиан опустил голову и целеустремленно ринулся вперед к еще одной двери. Тут его и окликнули:

— Юлий?

От неожиданности поскользнулся, пакет с фруктами прижал к груди, чтобы не выронить.

— Это же ты, Юлий? Я услышала твое сердце своим.

Обернулся на голос. Женщина-мумия. Голова — белый шар из бинтов, с шелками для губ и носа. В черном, с жуткими ярко желтыми цветами, байковом халате. Она сидела на кровати и смотрела на него.

«Почему нет отверстия для глаз?» — подумал Юлиан и ответил:

— Да, это я.

Шар пришел в движение. Женщина зашаркала резиновыми тапками черного цвета в попытке подняться, но не смогла и протянула к нему руки:

— Сыночек мой.

Руки тоже перебинтованы, пальцы торчком со свежими коростами и подстриженными под мясо ногтями.

«Это не мама!»

— Сын. Мой. Я молилась, вот ты и пришел. Подойди, слышу, как бьется твое сердце. Не бойся. Ничего не бойся. Главное, ты пришел, и все у нас будет хорошо. Правильно ведь я мыслю?

Он подошел. В палате еще одна кровать, на голой панцирной сетке книга без обложки.

— Мама? — не столько женщину, сколько себя спросил, — ты же терпеть не можешь черное...

— Черное? — шар опасно наклонился к Юлиану, — у меня все теперь черное. Мир изменился. Поменялись цвета. Обесцветились, знаешь... Да и что тут такого, в черном свете жить легче. Не видеть — это благодать.

«Что-то произошло, за два дня, как мама легла на операцию. Необъяснимое. Замена. Подмена личности. Мини-конец света».

— Ты наверняка совсем забыл про еду, Юлий? Чего молчишь?

Всматриваясь в несвежие бинты, он ответил:

— В холодильнике полно еды. Перед тем как к тебе пойти, съел два яйца вареных.

Мумифицированная голова затряслась от смеха:

— Яйца? Ты же терпеть их не мог. Видишь, и ты изменился. Скоро все изменится основательно и безвозвратно.

«Ты тоже переменялась» — захотелось сказать, но из шара донеслось:

— Сколько я уже здесь сынок? Совсем счет времени потеряла. А раньше, вспомни, каждую минуту, секунду считала. А сейчас не знаю, неделя прошла или месяц. Какое число, день?..

Не задумываясь, Юлиан протараторил:

— Среда, седьмое октября.

— Черт, не люблю я эти среды, — женщина кашлянула, — среда — ни туда и ни сюда. Вроде и середина недели, а подумать — не середина вовсе. Время так непостоянно, в точности как ты. Вчера терпеть меня не мог, так же как яйца, сейчас...

В палату незаметно, бесшумно вошла медсестра и терпеливо ждала за спиной посетителя.

— ... не верится, что это ты. У меня в голове все перемешалось — прошлое, будущее. Счастливые часов не наблюдают. Хе-хе, получается, я самая счастливая на планете. А? Как тебе, сынок, такое счастье? Я перестала слышать твое сердце. Ты здесь, сын?

Юлиан открыл рот, но уронил пакет, когда кто-то тронул его за плечо, и вскрикнул.

— Ох, прости, простите, — засуетилась девушка, собирая с пола рассыпанные мандарины и киви, — мне не надо было. Надо было дать о себе знать. Но... К ней никто ведь не приходит, вот я и решила... Не надо было...

Мумия шарилась вокруг себя руками, по кровати и воздуху:

— Что?.. Что происходит? Юлий?!

— Василиса Николаевна, это я, успокойтесь, — стоя на коленях, медсестра подлезла под свободную кровать и вытащила укатившийся киви, — сына вашего напугала, он вам фрукты принес.

— Но я не... — пытался вставить Юлиан.

— А я не таким его представляла, — поднималась, оттряхивая колени, — ни таким стильным, что ли.

— Полина, как хорошо, что ты подошла. Вот познакомьтесь.

Он замахал руками с мандаринами, медсестра, прижав палец к своим губам, беззвучно сказала «тихо», а потом:

— Юлиан. Я сразу как вошла, догадалась. Все-таки пришел, видите. Я же говорила, — девушка еще раз показала пальцем «молчок».

Выкладывая гостинцы для матери на больничной тумбочке, никак не мог избавиться от мысли: «что если это на самом деле его мама? Операция на лице изменила не только внешность, изменила ее всю целиком?..»

— Я заберу фрукты, перекручу, а на будущее, Юлий, вашей маме лучше пока все в виде смесей, пюре приносите.

Юлиан кивнул, сказал:

— Хорошо, правда, мне уже пора.

Шар всколыхнулся, женщина вновь сделала попытку подняться:

— Как, так скоро?.. А алоэ, Юлий? Ты про алоэ не забываешь? — она тянулась к нему обеими руками, и ему пришлось взять их. Сухие, горячие, костяшки вцепились, он почувствовал пульсацию сердца. Только не мог понять, чье это сердце?..

Медсестра одобрила, похлопала по спине:

— Не вставайте, Василиса Николаевна, Юлий пообещает нам, что завтра придет и расскажет, как там ваши растения, — успокаивала Полина, — будет теперь кому книжку вам, без обложки которая, читать.

Было нисколько не противно и не неприятно держать эти незнакомые, ненаманикюренные пальцы — подметил, и то, что сказал потом, вышло как само собой разумеющееся:

— Обязательно приду. И почитаю. Честно слово. Мама.

После этого мама отпустила руки сына.

Мера света

И в десятый раз сказал: «До завтра, мама», — пока, наконец, медсестра не закрыла за ним дверь палаты.

— Фуф, — выдохнул он.

— Я все объясню, — взяла под локоть и повела по коридору Полина. В меру симпатичная, в меру разговорчивая, она и делала все в меру — как наставлял ее отец. Он любил это слово — «мера», сам же не в меру пил все что пьянит, не в меру был жесток и умер раньше отмеренного ему Богом срока, отравившись паленым спиртом.

Юлиан слушал, боязливо поглядывая на яркие плакаты, глазающие на него со стен. Он ни за что не станет читать, что в них написано, они кажутся ему источниками самих болезней. Так, по крайней мере, предполагала мама, и он в этом с ней был согласен.

— Мы притягиваем к себе все. Все, что видим, к чему прикасаемся, что читаем и слушаем... Это проникает в нас. И либо защищает, либо разрушает...

Медсестра говорила:

— Больше чем полмесяца, и никого. Соседка, та, что вызвала скорую, сказала, это сыночек ее мог такое сотворить. Представляет, каково ей?..

— А что с ней?

— Целый букет. Черепно-мозговая у нее, ожоги третьей степени головы, шеи, рук, груди. Зрение, — она перевела дыхание, — правый глаз сильно поврежден, требуется реабилитация, большая вероятность, что будет инвалидность. Ей первое время наркотические анальгетики давали, она не говорила, только кричала. Сына все звала.

— А он? — рассматривая свои испачканные в грязи кроссовки, спросил тихо себя Юлиан и сам ответил, — и не думал появляться.

— Наркоман, Юлий этот. Конченный. Соседка все рассказала — и как он

измывался над матерью, терроризировал — еще не то слово, все вещи из дому, да что, сами знаете, как они все тащат. Это, сто процентов, сыночек с ней такое сотворил.

Он почувствовал ее пристальный взгляд и посмотрел в ответ в голубые глаза девушки:

— Что сотворил?

Полина цокнула, вздохнула и тихо сказала:

— Там чайник пустой валялся, и вода разлита по всему полу. Врачи из «скорой» говорили. Она выползла в коридор, они определили по мокрому следу, и соседка услышала крик. Когда «наши» приехали, в квартире была только одна мать, без сознания. Понимаете?

Юлиан не понимал.

— Он вылил чайник ей на голову. Кипяток.

Лампа над ними ярко загорелась, загудела, они как по команде подняли головы, и вместе ахнули, когда свет погас, и весь коридор стал сплошной темнотой.

— Долбаный президент, — пронесся мужской выкрик эхом, захлопали двери, зазвонили сотовые...

В темноте зарождается жизнь, оживает...

— Устроить темную, — слышали такое выражение?

Юлиан давно заметил, что ему легче разговаривать с людьми, знакомиться, общаться не при ярком свете. Желательно в полутьме, когда не так ясны очертания, все размыто, стерто, местами совсем невидимо, утрировано, местами раздуто...

— Мне ближе — темнота друг молодежи, — ответила медсестра, — обычно это ненадолго, — продолжила тихо: — а как вас-то зовут?

— Юлиан.

— Шутите?

— Поэтому я отозвался, когда она позвала.

— Это не случайность даже, это предначертание, знамение какое-то. Такое редкое имя...

— Только я Юлиан, и в паспорте так, а он, как я понял, Юлий.

Вспыхнул экран телефона, это Полина посмотрела время:

— Разве это не одно и то же?..

Юлиан не знал ответа и поэтому спросил:

— Думаете, сын способен на такое?

Глаза привыкали к отсутствию света, вот он уже видит скуластое лицо медсестры, и как блестят зрачки, она чешет нос, говорит:

— Дети жестоки, подростки особенно. И сыновья разные, сами знаете, вы, уверена, на такое не способны, а вот этот пэтэушник чертов...

— Он учится в ПТУ?

— Явно не учится, колется если. Кстати, помните, школьник-наркоман у магазина продуктового молотком насмерть забил одноклассника? Это из той же категории.

«Категории?»

— Вы про то, что их много?

— Про то, что меры не знают ни в чем. Без меры живут. А во всем нужна умеренность, это истина, даже в нашей беседе. Это хорошо, что вы подыграли, Юлий.

«Юлиан», — хотел поправить, но «разве это не одно и то же?..»

— Ей это необходимо, поддержка. Она сыном только и живет. Без перерыва о нем спрашивает, говорит, рассказывает. Его так в честь Юлия Цезаря отец назвал.

— Долбаный мэр, — гроыхнуло из темноты, — долбаная заводителением Киселева!

Хмыкнула Полина:

— Отец его пропал без вести.

— Цезаря?

— Юлия.

— Долбаный свет!

— Надеюсь, вы сделаете вид, что она ваша ... — недоговорила, в кармане собеседника зазвонил мобильный.

Звонила мама. Юлиан извинился, принял вызов.

— В темноте заблудился, я так поняла, — вырвалось из трубки, — племянничек.

Мальчик смог лишь промычать в ответ.

— Ладно, не напрягайся, я и не горела желанием, а после шести уже на кефире твоя тетушка, — хихикнула, потом заохала, — смеяться шибко не желательно, так что давай, племяш, выбирайся на свет, потом штрафной — нарисуешь мне что-нибудь эдакое, а то надоели эти цветочки.

— Звезды? — предположил сын.

— Фиолетовые. Точно. Звезды для Мэрилин.

Она пробормотала едва разборчиво — «чмоки-оки» и отключилась.

— Какая веселая у вас тетя.

Юлиан, убирая сотовый во внутренний карман куртки, наткнулся на что-то горячее. «Черт, оно жжет!»

Пальцы сжимали не телефон, нет — ручку чайника. Он понял это в тот миг, когда вытащил его из-за пазухи. Вода кипела, брызгала из горлышка чайника. Пар — белый, светящийся в темноте, ошпарил лицо — это Юлиан поднял крышку. Еще мгновение, и он опрокидывает содержимое на голову медсестре.

«Стоп! Это не скуластая девушка, с голубыми глазами в белом халате!»

— Я промою тебе мозги! Мамуля!

Вода вспыхивает яркой, блестящей вспышкой. Она ослепляет, он жмурится и открывает глаза, когда слышит голос:

— Да будет свет! — весело говорит медсестра, — я же говорила, полчаса не больше.

Сотовый возвращается в карман, Юлиан только кивает.

— Значит, договорились, завтра к четырем? Вы — сын, а мать вашу знаете, как зовут?

Он кивает:

— Знаю.

— Долбаный Буратино!

Изнанки

Человек с собачьим лицом держит в руках зеркало. Голый Юлиан пытается прикрыться, но рук нет. Его руки у песьей морды. Чудовище скалится, мальчик заглядывает в зеркало и видит — два тонко отрезанных куска говядины:

— Мама? — слезы сделали голос писклявым, — вернись, мама. Я не узнаю тебя. Что случилось с тобой?! Что с твоим лицом?!

Из мяса сочится кровь, из алой, тягучей субстанции появляются руки. Одна, вторая. На длинных ногтях маникюр с фиолетовыми цветочками.

— Это не мои руки, мама!

— Твои, твои, твои, — гавкает нечто.

У Юлиана теперь руки матери.

— Ты, ты, ты, — продолжается лай.

И мальчик с материнскими руками вонзает острые ногти-когти в собачью пасть:

— Мама, выбирайся оттуда. Живо.

Он рвет на части, на клочки, он кричит и захлебывается своим криком. Обливается кровью, тонет в ней. Потом красное становится фиолетовым. Кровь — цветами. От благоухания — невозможного, тошнотворного, его рвет, он блюет ногтями в фиолетовых фиалках.

Проснулся. Горло саднит, словно и впрямь всю ночь выпускал из себя что-то жесткое.

До звонка будильника еще час.

Лежа на спине, смотрел в потолок и приказывал себе: ни о чем не думать! Не думать о том, что надо не думать!

Правая ладонь, с ней что-то было не так, «будто стекловату потрогал».

— Ожог?! — не верил глазам Юлиан. — Быть этого не может!..

«Во сне, видимо, натер об ковер», — успокаивал себя, натягивая спортивное трико, — «или расчесал?», — делая кофе, собираясь в школу.

С последних уроков физкультуры сбежал. По дороге к больнице набрал мать. Абонент вновь был отключен или не в зоне действия сети.

— Блин, мама, — все, что смог сказать сын.

Василиса Николаевна была на месте. Его встретили чистые бинты и «шар» сегодня казался меньше, опрятнее...

— Сын пришел, — протянула руки женщина, — сон видела сегодня про тебя, давно уже ничего такого не снилось...

Поздоровался, прикоснулся губами к пальцам на каждой руке, в ответ услышал тихие всхлипывания.

— Ни о чем не жалею, сынок. Все, что было, давай оставим в прошлом. Зачеркнем! Забудем!

Он отпустил ее руки, сел рядом на кровать, приобнял:

— Я не могу ничего вспомнить из того дня, — прошептал, — это как потеря памяти, амнезия, лоботомия.

Она нащупала его колено, погладила:

— Все верно, так правильно, я не помню ничего, что было до вчерашнего дня. Это как затмение, и вот оно прошло. Мы изменились, Юлий. Во сне я купила тебе рубашку, помнишь, тебе понравилась? У зарубежного актера?.. Вот точно такую. Ты пытался примерить ее, а она никак не налазила, и мы смеялись как потерпевшие. Вспомнила, как ты однажды пошел в школу, надев рубашку на левую сторону. Помнишь?

Юлиан выдохнул:

— Помню, конечно.

В третьем классе он действительно пошел в школу в рубашке наизнанку. «Вот так совпадение», — ухмыльнулся.

— Мы искали, выбирали подходящую рубашку из кучи вещей, тряпья, как в каком-то секонд-хэнде, — вспоминала сон Василиса Николаевна, — но тебе ни одна не подходила. Ты разнервничался, как обычно, с психа схватил первое что попало под руку, убежал. А я кричала вслед: — Юлий! Сынок, это же мое свадебное платье! Ты не можешь его надеть!

Юлиан убрал с колена руку женщины, встал, сердце заняло место кадыка и застучало до звона в ушах. Подошел к окну, встал на цыпочки, чтобы ощутить свежий воздух с улицы в открытой форточке.

— Сынок? Что такое?

Платье мама хранила в чемодане вместе со свадебными фотографиями и туфлями:

— Это памятник моей слабости и глупости. Пожизненное напоминание.

Она и уговорила Юлиана надеть платье. Примерила фату:

— Слушай, тебе идет, — серьезно говорила, — не зря я девочку хотела.

Юлиан смеялся, а потом мать увидела, что платье надето неправильно.

— Я же мерил свадебное платье, мама? — спросил, глотая холодный воздух с привкусом дождя.

— Если только без меня, — затрясся от смеха шар, — отец бы это явно не одобрил. Ты и в платье. Ох, рассмешил... Цезарь с фатой...

Женщина смеялась и заразила мальчика.

— Бюстгальтер, надеюсь, мой не примерял?!

Юлиан сквозь слезы отвечал — нет.

Он помнил, как мама застегнула за спиной бретельки, как они сдавили его грудь, потом она запихала в чашечки свои носки и, отступив от него на пару шагов, сказала:

— Юлька, ну вылитая я.

— Ну, нет, — не согласился сын.

— Дети — это изнанка родителей. Не спорь с матерью. Накрась тебя, вылитая яшкельница будешь...

Василиса Николаевна попросила отвести ее до туалета:

— Досмеялись, — хихикала, — а знаешь, как мне в таком положении неудобно на горшок ходить.

Теперь их смех слышали и на втором, и на первом этажах левого крыла.

Ожидая у туалетной комнаты, еще раз набрал номер матери. Ответил недовольный голос:

— Как всегда вовремя. Мы тут заняты с доктором. Понимаете?.. Давайте вечером вы мне перезвоните.

И как всегда, не дожидаясь ответа и не прощаясь, за маму договорили гудки.

Яростно заревела вода, и, все еще смеясь, Василиса Николаевна, слепо шаря впереди себя, открыла дверь:

— Погляди, Юлий, я в плавки юбку не заправила? А то такое ощущение...

В палате он достал купленный в молочном киоске у больницы йогурт с семью злаками:

— Покормлю, если хочешь, — предложил.

Она кивнула большой перебинтованной головой, заплакала.

Клеопатра меняет кожу

— Сынок, ты про алоэ мои не забываешь? — проглотила последнюю ложку йогурта женщина. — Знаешь, как мне они дороги. Алоэ, он ведь от всех болезней. Помнишь бабушкин самый старый, в таком здоровенном горшке, ему, не соврать, уже лет шестьдесят, он самый лечебный...

Мальчик промычал.

— Они непривередливые, но раз в неделю полить надо.

Поискал мусорное ведро. Не нашел, смял пластиковый стакан, забросил на подоконник:

— Да, да, мама, я помню, знаю, конечно, — вытер ладонью розовые кляксы с бинтов на подбородке.

— Не так мazi от ожогов помогут, как алоэ. Если с медом его пить, так здоровым как отец, будешь. Цезаря здоровей! Клеопатра, кстати, благодаря соку алоэ, сохраняла свою молодость, так говорят легенды.

— Клеопатра, — повторил «зачарованно», как отметила бы мать, и достал сотовый. Повертел.

Единственной кнопкой быстрого вызова 1 — была «мама», по ее же просьбе переименованная в «Мэрилин».

— Сам, поди, одними пельменями с китайской лапшой питаешься?.. Если уже яйца полюбил. Не дело. Попрошу, чтоб через пару дней выписали.

Юлиан убрал телефон:

— В наше время и Клеопатра без пластики и липосакции не смогла бы. На одном алоэ красоту не сохранить.

— Ничто не вечно сынок...

— Поэтому всегда наготове должны быть змеи.

Вздрагнула всем телом женщина, поднялась:

— Что такое ты говоришь, Юлий?! Что за мысли дурные! Ты это брось!

От такого неожиданного поворота он растерялся и не сразу нашел, что ответить:

— Да я так, к слову. Вспомнил, как она себя с помощью змей убила...

Обняла мальчика женщина, прижала к себе:

— Пообещай мне, родной, поклянись! Здесь и сейчас дай слово, что ты никогда не оставишь меня! Не уйдешь, как отец не исчезнешь! Клянись! — она тряхнула его за плечи. И еще раз встряхнула: — клянись! — и еще.

Юлиан сказал:

— Клянусь. Я обещаю, мама!

Плоть бинтов царапнула по щеке:

— Ты моя жизнь! Мой алоэ!

— Сегодня же полью все растения, — и поцеловал в кончик носа.

— Ты мой хороший...

— Только, мам, у меня с ключом беда, заедает, по часу домой не мог...

— Ой, в сумке в шкафу возьми мои ключи, и там на телефоне зарядка села, тоже подзаряди. Хотя, кто мне звонить будет, ты, слава Богу, рядом, больше никто не нужен!..

В сумке куча квитанций об оплате за электроэнергию, с водоканала... Конверты из банка о срочном погашении кредита. Адрес.

Семья Калина, мать и сын, проживали в противоположной семье Вершининых части города. Старой.

Успел сказать: — «завтра буду», как затрезвонил телефон непривычно громко, требовательно. Вызывала Мэрилин.

Перепрыгивая через две ступени, Юлиан выбежал на улицу:

— Да мам, — выкрикнул, не успевая отдышаться, — я рядом. Скоро буду.

— Нет! И тсс, — зашипело в трубке, — мамкаешь мне, зачем приходить, когда все хорошо?! Я выждала момент, чтобы никого не было, у меня грандиозная новость — Липшиц пригласил меня в «Ночной Баку».

— Это где все в евро?

— Да, да, виайпи, все на уровне. И твоя Мэрилин согласилась, — взвизгнула она, — а тут одной курице кожу с ягодич пересадили на щеки и подбородок, представляешь, мне смешно сделалось, как представляю, кто целовать ее будет... Ты представь, представь...

Виктория смеялась, пока не закашляла:

— Ух, как бы швы не разошлись, второй день как вспомню...

А ты чего хмурый? На погоду? Хочешь, в школу завтра не ходи?

Юлиан молчал.

— Кожа как новая, ни трещинки, ни пупырышка. Все гладко и блестит. Я обновленная. Он мне и на шее складки подтянул, без дополнительной оплаты, — зашептала и снова засмеялась мать.

— Так к тебе не подниматься, что ли? Купил йогурт...

— Съешь сам, тебе полезней. И чего тебе тут делать, пообщались же... На такую красоту не терпится взглянуть?! Понимаю...

— Клеопатра пользовалась соком алоэ и никакой пластики, — выпалил сын, — если верить легендам.

— Клеопатра? — растерянный голос из сотового, — любовница Цезаря, которая, что ли?.. Так она и в молоке купалась, и жила, припеваючи, царицей. Ты бы на нее посмотрел, живи она в наше время, в нашем городе — бичихой была бы, если б под нож не легла. Сейчас красота после сорока, без мешков под глазами и с упругой попой, исключительно заслуга хирурга. Скальпель творит молодость и привлекательность, а алоэ бабулям оставь на подоконнике, чтоб поливали.

Тишина повисшая испугала, и Юлиан заговорил:

— Да уж, у всех своя правда, только как и правда, молодость и алоэ, ничто не вечно...

— Опять ты?! — от вскрика матери он едва не выронил телефон. — Ты специально мне портишь настроение, да?! Я правильно понимаю?! Твое занудство и пессимизм! Самому хреново, и мне должно, значит, быть так же!.. Ну, уж, нет. Давай, топай до дома и ешь свой йогурт, может, повеселеешь! Нытик!

Юлиан стиснул кулаки и зубы:

— Да пошла ты.

— Чтооо?! — завибрировало в ухе, — чтоооо?! Куда мне пойти?! Давай, смельчак, озвучь направление!..

— К Липшицу!

Когти алоэ

До старой части города добрался на трамвае номер семь. Это окраина с двухэтажными домиками, садоводствами и железнодорожной станцией в окружении автомобильных сервисов, гаражей, мастерских.

Всю дорогу смотрел, на дождь, пытаюсь вспомнить сегодняшний сон. Запомнилось ощущение тревоги. Лестницы, словно из теплого воска, изгибались под ним, таяли, исчезали. Снилось — у него волосы по пояс. Он пытается спрятать их, чтобы его не засмеяли, но волосы оживают, змеями выбираются из-под шапки, лезут в глаза, нос, в поры и под кожу... Пробрались и притаились в нем, внутри, ждут подходящего момента чтобы выбраться, покарать, убить...

«Все из-за матери» — вертелась мысль.

К дому шел уверенно, словно жил в нем все шестнадцать лет. Вошел в мрачный сырой подъезд, пахло кошками. Поднялся на второй этаж, без промедления открыл дверь одиннадцатой квартиры, сделал шаг в темноту коридора и сшиб с ног чудовище.

— Твою ж жопу мать, — заворчал хрипло оно, ворочаясь на полу, — есть че?

Чудовище — худой, парень в одних плавках, белое тело исполосовано свежими и покрытыми коростами ссадинами. Самопальные татуировки бросаются в глаза открытыми ранами. Вены на руках — штрихпунктир из фиолетово-черных болячек. Воняет мочой, тухлятиной, медикаментами.

— Ты не Катик-чмо?! — цепляется за джинсы Юлиана наркоман, поднимается, — есть че? Дунуть?

— Не курю.

— Да я про шурнуться, — показывает на истерзанные руки в гематомах, — че приперся тогда, если нет ничего?!

— Пиво? — предложил незванный гость.

— Мож на водяру наскребешь? В четвертой хате баба Галя катает, по полтиннику, — почесывая бритую голову в шрамах, промямлил Юлий, — ханки бы...

— Водки? — Юлиан заглянул в зал — пустые книжные полки. Матрац и ведро в центре, больше ничего. Штор с гардинами нет, на подоконнике одинокий горшок с желтым алоэ, — закусывать есть чем?

— Ты че как не мужик?! Хочешь, семечек возьми... Деньги в пустое... Катик-чмо, все равно подгонит че-нить, за ним должок, — и, отрыгнув, сплюнул на пол, — цветками матушкиными закусим, епта.

Только прикрыв за собой дверь, Юлиан понял, что замок сломан.

Магазин нашел через дорогу, взял 0,7 водки, двести грамм чесночной колбасы и полоску нарезного батона.

В одиннадцатой квартире Юлий ждал его за столом на кухне:

— Стаканы помыл, — сказал он, — мать куда-то съехала, понять ниче не могу. Приходится как-то самому вертеться.

На кухне уцелел шкаф с посудой, на вешалках замусоленные полотенца. Раковина забита грязными тарелками, там же сковорода с наростами подгоревшей картошки и пара солдатских ботинок.

— Разливай давай, — скомандовал, трясаясь всем телом, хозяин и плюнул под стол, — жажда!..

Юлиан подчинился.

— А, это?.. Число какое сегодня? — схватил рюмку, быстро опрокинул в себя, жадно вгрызся в колбасу, другой рукой кроша батон, — я, бля, совсем счет времени потерял, — чавкал и наливал себе водку Юлий, — знаешь, как после бугра...

Юлиан кивал, Юлий напротив подливал, выпивал, говорил:

— Вмазаться бы. Катик-чмо унес чайник, такой электрический, знаешь? Должен отравы пригнать. Жду его, бычару, скока уже...

Гость делал вид, что пьет, подносил стакан к губам, вертел в ладонях, интересовался:

— А с учебой что?

Наркоман смеялся беззубым ртом:

— Выгнали, тока мамке не спали.

— А где она?

Юлий выпил, закинул в рот остатки колбасы:

— Спросил тоже, я бы знал... Испарилась. Проснулся я давеча, меня таращит, а ее нигде нет, и че делать?.. Я цветы и покидал с балкона ей назло...

— Так может, ты что-то с ней сделал?

Парень напротив поперхнулся, выплюнул розовую мякоть на стол, вскочил с выпученными глазами, уставился на Юлиана:

— Ты! Ты че?! Совсем сдурел, да? — задыхался и брызгал слюной с крошками сын, — она ради меня почку отдала, квартиру-трешку разменяла! Понял, да?! Сделал?.. Что я сделал? Я только горшки с кактусами побросал... А Катик-чмо, чайник унес и микроволновку, а, сука, отдачи никакой. Ты, может, что загонишь, кислый?

Замелькали по кухне синими кляксами наколки, Юлий раскрыл все шкафы, вытащил из раковины берцы:

— Может, их загнать? — спросил, — почти новые, мамка брала на зиму.

Теперь он чесался весь, стараясь содрать с себя кожу, не прекращая метаться по квартире:

— Катик-чмо принесет баш, бля буду, — допил из горла водку, собрал и съел крошки со стола, — я, вот, гляди уже и баян приготовил, — показал шприц, — мне с децл надо, я потом откатаюсь.

Вернулся в зал, кричал, таскал из угла в угол матрац, пинал пустое ведро, через минут десять затих.

Юлиан заглянул, голый тетка лежал на матраце лицом вниз, плавки валялись рядом. Тихо перешагнул через него, подошел к погибающему цветку алоэ. Провел пальцем по шипам, больше похожим на когти хищной птицы. Проткнул подушечку указательного пальца до крови, слизал кровь. Сплюнул под ноги спящему. Нагнулся, поднял шприц:

— Цезарь, твое время пришло.

Игла вошла в мякоть умирающего растения, сок, мутно-желтый, наполнил шприц до отметки четыре миллилитра.

На окно села синичка, человек и птица встретились взглядом;

— Это Катик-чмо принес, — прошептал человек.

Желтая грудка исчезла в дожде, шприц Юлиан оставил рядом с плавками на полу. Юлий застонал, перевернулся набок, яростно карябая плечи.

Запах времени (Мама)

Сотовый телефон Василисы Николаевны зарядился, и он включил его далеко за полночь. Куча непринятых звонков из банка и неизвестных номеров. Десяток сообщений — срочно связаться с коллекторским агентством, масса рассылок со скидками из магазинов. Одно сообщение от «сыночка». Его он не мог не прочитать.

«Мпм4с.м2ф;.ю» — так написал сын своей матери три недели назад.

Юлиан отключил аппарат.

Мать решила на выходные остаться в клинике под присмотром доктора Липшица в отместку за грубость сына. Сын навестил маму Юлия:

— Алоэ цветут и пахнут, — обрадовал.

— Цветут? — женщина стояла спиной к окну и в сумраке комнаты была похожа на киношного пришельца, — это такая редкость, бабушкин алоэ, еще, когда ты махонький был, цвел, и больше нет, с тех пор не видела. Вот так новость — это знак.

Мальчик пробубнил:

— Угу.

Шар в свежих бинтах закружился, Василиса Николаевна взвизгнула, остановилась, протянула руки:

— Это знак, сыночка. Знак свыше. Это начало нашей новой жизни. Теперь все будет по-другому. Уже все по-другому! Твой голос, твои мысли, твои вкусы, сердце стучит твое весело, как раньше, до всех этих, — она осеклась, — и зубы тебе вставим, вылечим, и я возьму кредит, купим, как ты давно хотел, мини-мопед, как его там — скутер?..

— Скутер, — прижался, сердце стучалось о сердце, — только, мам, Катик-чмо микроволновку с чайником увел, — тихо в бинты сказал Юлий.

— Пусть. Бог с ним. Ты, главное, пообещай, что он в нашей жизни больше не появится, и может хоть все из дома выносить. Мы начинаем новую жизнь. С чистого листа. Да же?

— С чистого, — сжимая худую женщину крепче, говорил он, — новую!..

— Время будет работать на нас. За нас! Мы справимся со всем! Главное, вместе и чтобы ты оставался таким, как сейчас. Я так давно не слышала в твоём голосе смех. Не слышала, как ты улыбаешься.

— Мы вылечим твои глаза.

— Да черт с ними, я и так все прекрасно вижу. Сын.

— Ма.

Они стояли, обнявшись, молчали, сердца стучали как одно. Минута, десять. Полчаса... Потом погас свет, и в темноте коридора знакомый голос по привычке оповестил:

— Долбанный президент.

А мать засмеялась и спросила:

— Какого цвета цветок?

Мальчик ответил не задумываясь:

— Белого.

— Цвет света. Цвет жизни...

— Никакого черного, — сказал, забираясь под одеяло, Юлиан и погасил свет.

В голове он уже не раз прокручивал историю своего будущего — вон он покупает в цветочном магазине алоэ с белоснежным цветком на длинной стрелке.

А это он уже в подъезде у двери с номером 11, и соседка (та, что вызвала «скорую») улыбается ему:

— Юлий, ты ли это? — спрашивает она, поправляя очки с толстыми стеклами.

— Я, — смеется он и толкает незапертую дверь.

— Ты так изменился, посвежел и лицо чистое, и зубы на месте... — не верит глазам старушка, — ну другой человек прям.

Ему нечего сказать, он смеется, и белый цветок смеется, болтаясь на тонком стебле, вместе с ним.

— Маме подарок купил? — говорит соседка, — она любит алоэ.

— До свиданья, — прощается торопливо Юлий, ведь его ждет работа. Большая уборка. В квартире тихо. Ни звука. Он проходит на кухню, ставит в центр грязного стола горшок в ярко красной подарочной обертке и открывает настежь окно.

Проходит в зал, где одинокий матрас и ведро на полу, и там открывает окна.

На подоконнике мертвый сухой алоэ с капелькой засохшей крови на шипе-коготке.

— Во всем необходима мера, — истина, на которой строит свою жизнь медсестра Полина, он слышит ее звонкий, голос, — даже у алоэ. Время цвести и время увядать...

Она смеется, смех звенит. Звенит громче. Нстойчивей. Пробуждает.

Глашатай времени отметил начало нового дня. Мальчик поднялся, отключил будильник, в одних плавках прошел на кухню. Включил чайник. Тут и ударил в нос запах тухлятины.

Он оказался в одиннадцатой квартире, в зловонном зале, где на полу земля и битые осколки глиняных горшков, растерзанные цветы герани, алоэ и лилий... И шипение змеиное под шорох червей:

— Катик-чмоооо...

Шум нарастал, заполнял голову, вытесняя мысли, вытесняя разум, шум наполнял страхом, тревогой, опустошал...

Щелчок — это чайник закипел и отключился. Мальчик вернулся на кухню. Вонь вернулась с ним.

— Мама! — вспомнил он чудовище с кусками кровавого мяса вместо лица.

Под раковиной в мусорном кухонном ведре два тонко отрезанных ломтика говядины зацвели белыми цветами.

Мальчик Утро

В крике сына — отцовское эхо?

И. К.

Откровенность — это сила. Честность перед самим собой. Правда, какая страшная она бы не была. Признай ее и освободись! Сделай то, что должен сделать! Только не навреди! Оставь солнце утру и новому дню! Спаси мальчика Утро!

Так написал пятидесятилетний мужчина в своем дневнике, в блокноте, потрепанном, со вставленными новыми листами. На мужчине байковый яркий банный халат, расписанный под хохлому. Волосы седые, аккуратно уложены гелем, так он делал всегда после принятия ванны. Он сидел в кресле с дневником на коленях. Читал. Изредка отхлебывая из широкого бокала темно-золотистый, терпкий коньяк.

— Мальчик Утро, — повторил как приговор, перелистал дневник в самое начало, где неуклюжий детский подчерк и куча грамматических ошибок, клякс и рожиц. А еще там были крохотные солнышки, они смотрели на него с каждого свободного места и подмигивали, и улыбались. Разноцветные. Только не черные. Черные солнца, мужчина это знал, появятся позже, дальше, на других страницах. Глаза невольно заблестели. Мужчина шмыгнул носом. Он плакал. Он читал, что написал почти сорок лет назад.

Я увидел его в десять лет. Утром, летом. В комнате прохладно. Солнце еще не взошло. Меня разбудил чей-то звонкий смех. Как звон колокольчиков, тех, что папа держит со стальными рыболовными крючками у себя в мастерской, в шкафу. Эти колокольчики мы подвешивали на удочки, когда ходили рыбачить. На самые кончики удочек. И как только рыба начинала клевать, по берегу разносилась трель. А если звенели сразу два колокольчика, то казалось, что это рыбы смеются над нами, и хотелось смеяться вместе с ними. Смеяться громче них. А говорят, рыбы молчат. Рыбы очень даже звонко смеются. Я старался отпускать плененных рыб. Не всегда, но у меня получалось. И клянусь, я слышал их благодарственный смех из воды. Рыбье «спасибо».

Так вот, тем прохладным утром каникул меня разбудил такой же смех. Я сначала подумал — приснилось, наверное, что мы на рыбалке и что где-то клюет. Открыл глаза. Пока разглядывал потолок, смех повторился. Громче. Яснее. Подскочил как ошпаренный к окну. Распахнул занавески. Всмотрелся.

Окно детской выходило прямо на главную дорогу, тянущуюся от парка, за которым школа, к нашему микрорайону, дому, в котором жили мы, — мама, папа и я.

Солнце вставало из-за деревьев. Лучи пронзали темные стволы, и в свете их я увидел мальчика. Он скакал вприпрыжку прямо по центру дороги и смеялся. Я не поверил глазам. Мальчик светился, солнце сделало его белую футболку и шорты прозрачными. Золотистые кудряшки волос превратились в сияние как на иконах со святыми. У бабули было много таких икон.

Будто мальчик вел следом за собой солнце. Открывал утро. Он подпрыгивал все выше и выше, и солнце выскакивало за ним из парка. Они будто прыгали вместе.

— Мальчик Утро, — прошептал я, но захотелось открыть окно и прокричать это всем в районе.

— Мальчик Утро! Мальчик Утро!

Солнце ослепило, я зажмурился, а когда открыл глаза, мальчика не было. Он привел нам солнце и исчез — догадался я и побежал в зал, где спали родители.

Мужчина перестал читать. Вдохнул. Сделал аккуратный глоток коньяка. Промокнул губы салфеткой.

— Дааа, — выдохнул в тишину комнаты. В комнате с любовью и со вкусом расставлены книги, статуэтки, картины...

Дневник он стал вести год спустя после первой встречи с чудо-мальчиком. Мальчиком Утро. Он это не забыл, как день за днем просыпался под его смех и спешил к окну. Однажды он даже окликнул его...

Мужчина перелистал страницы. Нашел нужную.

Первый день сентября. Начало школы. Сильно волновался, что не увижу его. Ворочался. Снились какие-то животные. Снилось, я от кого-то убегал. Нечто пыталось схватить меня, но мне всегда удавалось от него убежать. Спрятаться. Проснуться. Оно — это что-то темное, дурное, неживое.

И я просыпался, всматривался в зашторенное окно. Все еще ночь — с сожалением вздыхал и снова засыпал, и снова снилось что-то страшное, плохое.

Разбудил меня мальчик Утро. И от дурного сна ни капельки, ни следа. Из постели прямоком в одной пижаме к наблюдательному посту. Вот он прыгает по разноцветным листьям, налетевшим за ночь, и следом за ним солнце. Большое, красное. Открываю щеколды, верхняя, как всегда, заедает, распахиваю окно, впуская смех мальчика, впуская пригоршни опавших листьев с порывом ветра, впуская солнце.

— Мальчик Утро! — кричу и машу ему что есть мочи, двумя руками, с коленками запрыгнув на подоконник, — Привет, мальчик Утро! Привет! Солнце!

И мальчик помахал мне в ответ. Я не поверил глазам. Яркий восход и слезы, я моргнул всего раз, один разочек, но мальчик уже исчез.

Куда он исчезает? Откуда приходит?

Я считал себя самым счастливым человеком на планете. Я прыгал. Я обнимал маму:

— Мальчик! Мальчик Утро помахал мне!

Мама гладила по голове, соглашалась, но всегда добавляла:

— Почему вот только мы его не видели за столько времени ни разу? А ведь с отцом караулили?..

И я всегда повторял одно и то же:

— Так вы же взрослые.

— Ну да, ну да, — вздыхала мама, — он у тебя как Питер Пэн или как его там звали?..

— Не, — отвечал, — это другой мальчик. Русский. Он солнце приводит для всех нас, в каждую улицу, в каждый дом, каждому доброму и хорошему человеку. Это мальчик Утро. А Питер Пэн это так — пустяк.

И мы смеялись. Всегда смеялись. Почти так же, как и мальчик с солнцем.

Словно вспомнив что-то, мужчина встал. Положил дневник, прошелся по комнате. Прикоснулся к старой фотографии — на снимке большая семья, коснулся хрустальной статуэтки — черепашки, наконец, взял с полки футляр с очками, вернулся к креслу. Надел очки. Раскрыл дневник.

Часть листов вырвано «с мясом», лишь пара железных скобок торчит оскалившимися клыками:

— Как напоминание, чтобы не забывал, что это было, — сказал мужчина.

А до вырванных листов было два листа с черными солнцами.

Перед тем как начать их читать, он сделал большой глоток.

Папа сказал, что я тоже могу стать мальчиком Утро. Только это большой секрет, сказал, и что все должно происходить поздней ночью. И я об этом должен молчать. Никому ни слова. Ни в школе. Ни тем более маме.

Он пришел ночью, я давно спал. Проснулся, только когда щелкнул два раза дверной

замок. Дверь в мою комнату ни в жизнь не закрывали. Я поднялся в кровати. Папа сказал: «Тсс». Он сел рядом, положил свою большую руку мне на голову. От него пахло спиртным и мятной зубной пастой.

— Чтобы превратиться в мальчика Утро, необходимо пройти ритуал. Посвящение. Понимаешь, о чем я?

Я думал, что все понимаю. Я обнял его за шею, поцеловал в небритую щеку. Он повторил, что это наша тайна до смерти и после смерти, попросил меня повторить эту клятву. Я шепотом поклялся.

Папа сказал, чтобы я не пискнул даже, что бы ни происходило. Я пообещал, но все же спросил, не страшно ли это? «Нет», — он ответил. Добавил: «И ты же будущий мальчик солнце. Мальчик Утро», — поправил я. Он не ответил. Лишь хмыкнул и сказал, чтобы я разделся и лег под одеяло. Я все так и сделал. Потом папа лег ко мне и обнял меня. Я захотел спросить: уже началось или нет, но он зажал рот ладонью. И у меня вдруг все загорелось внутри, где-то внизу живота. Поплыл перед глазами ковер с рыбками, стало душно, потно, и наступила темень тьмущая. Я снова вернулся в страшный сон с животными и тем нечто, догоняющим меня, бегущим за мною след в след. И я бежал, задыхаясь и всхлипывая. Оно воняло. Оно хрипело мне в ухо. Оно навалилось на меня и повалило. Прижало. Затянуло. Я понял — это конец. На этот раз оно меня догнало.

Утром меня разбудила мама, она потрогала мой лоб и спросила, не заболел ли я. Я попытался встать и подойти к окну, но ноги не слушались.

— Мальчик Утро, почему он не разбудил меня?! Я заплакал. За окном пылало солнце и громко щебетали птички.

После этой ночи я больше не видел мальчика Утро. Рисовал черное солнце и каждую ночь слышал, как щелкает в моей двери два раза замок.

И снова поднялся с кресла. Теперь с полки мужчина взял пачку сигарет. Тут же прикурил, потом подошел к окну и открыл форточку. За окном ночь. Огни окон домов, мерцание фар проносящихся машин, огоньки звезд. Ему всегда нравилось смотреть на такую ночь. Словно смотришь одновременно на что-то далекое, инопланетное, и в то же время это что-то родное, знакомое, личное.

— Смотришь в себя, — со словами он выдохнул в теплую ночь сигаретный дым, — так невозможно порой зажечь в себе свет. Еще трудней его удержать.

Он и эти строки сегодня записал в дневнике чуть раньше, когда на город ложились сумерки.

Смотреть на сигаретный дым — как он рождается из тебя, как хватается за жизнь, закручиваясь и вертясь, он полюбил во взрослой жизни. Часами, бывало, курил и любовался. Несколько десятков раз пробовал бросать курить, но дым вновь и вновь заманивал в свою голубо-серую туманность.

Мужчина докурил. Огонек сигареты крохотной кометой отправился к остальным огонькам за окном. Он закрыл форточку. Долго смотрел в ночь. Обернулся и еще столько же смотрел на старый блокнот.

— Боль и надежда, — сказал, в два шага оказался у кресла, стоя раскрыв дневник наугад. И попал в самую точку.

Он приходил каждую ночь на протяжении недели. Папа. Каждый раз обещая, что я стану мальчиком Утро. Каждый раз от него пахло спиртным и зубной мятной пастой. Он повторял ночь за ночью, что это наша тайна, смертельный уговор. Что так надо. Я терпел. Верил. Ждал. Мне снились животные с двумя головами, стрекозы с клыками, львы с крыльями и змеи, много змей, горы. Папа давал мне что-то под язык, и сон побеждал. А я так боялся спать. Но сон всегда сильнее. Иногда мне все же удавалось просыпаться затемно. Подбирался к окну и вглядывался в дорогу. Горели фонари. Дорога была безлюдной. Я, не моргая, ни разу не моргнул, ждал восхода. Утро. Вставало из-за парка солнце, появлялись дворники и одинокие прохожие. Смеющегося, как звенит колокольчик, мальчика — не было. Наступила следующая неделя, папа не пришел. Не пришел он и на следующей неделе. И через месяц не пришел. Он не пришел больше уже никогда.

Мама отвечала мне, что папа поступил плохо, и его увезли далеко на Север. Я спрашивал: «На Север это в тюрьму?» Мама говорила: «Еще дальше». Я так и не узнал, что бывает там дальше. Думалось, представлялось, что папу забрал мальчик Утро. Забрал на солнце. Спрашивал опять у мамы: «Может его все-таки мальчик Утро с собой забрал?» Мама срывалась, кричала: «Ну, какой мальчик Утро?! Нет никакого мальчика Утро! Хватит уже! Повзрослей!»

А еще через неделю мама спрятала все фотографии с отцом.

— А я снова, как ни в чем не бывало, каждое утро, день за днем, до совершеннолетия, ждал у окна мальчика Утро, так и не осознав, что давно уже повзрослел и поэтому больше никогда его не увижу, — на одном дыхании произнес мужчина и осторожно отпустился в кресло. Налил с четверть коньяка и выпил залпом. Приложил к губам салфетку. Сказал задумчиво:

— Сколько в жизни повторений. Сплошные бесконечные повторы...

Повертел пустой бокал, отставил.

— Я нашел мальчика Утро. Нашел спустя столько лет. Пару дней назад нашел. А до этого была боль. Была надежда. Были по-вто-ре-ни-я.

Раскрыл дневник.

Зачем я пошел той улицей, даже не знаю. Ведомый неведомой силой повернул почему-то на Чайковского, там, сразу за аркой, зоомагазин. Взгляд привлекла вспышка, меня словно кто-то сфотографировал. Пригляделся и увидел его. Сердца как не бывало. Оступился. Попятился. Я не мог ошибиться. Душа не могла. Она потянулась к нему. Она вспомнила. Эти волосы. Эту улыбку. Эти глаза... Я снова услышал этот дивный смех. Колокольчик зазвенел в душе, в моей голове, во всем теле.

Сердце вернулось и забилося так, что, казалось, стеклянная витрина задрожала от его безумных ударов.

Душа потянула к мальчику Утро. Ноги не могли не послушаться. Зашел в магазин, над дверью ласково пролепетали китайские колокольчики. Мальчик Утро стоял на стуле перед пустым аквариумом с полной горстью ракушек.

Я не мог оторвать от него взгляд. Мне снова было десять. Я ждал, что вот сейчас он спрыгнет со стула и, смеясь, вприпрыжку, направится ко мне.

Конечно же, он не спрыгнул. Он кивнул мне и спросил: «Вы что-то будете смотреть?» У меня не нашлось лучшего ответа, чем «да». Мальчик снова кивнул: «Продавца не будет, недолго, но если что, я могу обо всем здесь рассказать». Теперь пришла моя очередь кивать. Как часто мы не находим в нужное время нужных слов. Он бережно высыпал ракушки в аквариум и спрыгнул ко мне. Я вздрогнул. Боже, как же мне захотелось услышать его смех. Слушал его голос — каждую букву, каждый звук, вздох, вибрацию — и слышал колокольчик детства.

— Мне бы что-нибудь долговечное, — смог сказать я.

Он удивленно поднял брови и прикусил нижнюю губу:

— Мне нравятся черепахи, — ответил и улыбнулся. Он все время улыбался и смотрел, не отводя глаз.

— С животными так хлопотно, о них заботиться надо...

— Обо всех заботиться надо, — ответил мальчик, — и о людях, о водорослях, и о ракушках, вон, — кивнул он в сторону пустого аквариума.

— Неживое что-нибудь, может? Сувенир? — мямлил я, пытаясь смотреть куда-нибудь, но только не на чудо из детства.

— Вас понял, — поднял указательный палец мальчик Утро и исчез за витриной с мелькающими разноцветными рыбками гуппи.

Как это ни глупо и не по-мужски звучит, но хотелось, чтобы все это продолжалась и продолжалось... Чтобы мы замерли вдвоем посреди аквариумов и ничего бы больше не существовало. Никого, кто смог бы нарушить наше мгновение, равное вечности.

Он появился сияющий:

— Уверен, вы оцените мой выбор, — и протянул мне сжатую ладонь.

Я замер в ожидании.

— Вот, — на ладони оказалась стеклянная черепашка, переливающаяся всеми цветами радуги.

У меня, как всегда, не нашлось слов. А мальчик Утро сказал:

— Солнце на ладони даже?..

«Это он».

Я переспросил. Он сказал:

— На солнце похоже. Будто солнце держишь в руках. Возьмите.

И я взял его за руку...

Мужчина резко отбросил блокнот. Налил коньяк, почти полный бокал, выпил с некоторой паузой, поднялся. Прикурил у открытой форточки.

Он не написал в дневнике, что случилось потом. Не нашел в себе силы пережить это второй раз.

— Дурак. Старый идиот...

Не успокаивали ни огни за окном в ночи, ни сигаретный дым...

Мысли. Ох уж эти ночные мысли... Они возвращают тебя туда, да именно туда, откуда ты бежишь...

Мальчик Утро испуганно отдернул руку. Черепашка вдребезги разлетелась по полу осколками радуги.

«Нет больше солнца!»

— Что вы? — задыхался мальчик и пятился от мужчины, — я, я просто показал вам сувенир, я... Вы не так... Вы не можете... Я всего лишь... Я...

Мужчина видел, как он теребит пальцами полы зеленой куртки-спецовки, видел страх в глазах, видел, как дрожат его губы. Он больше не услышит смех мальчика Утро. Только не он. Мужчина хотел исправить ситуацию, сделал к мальчику шаг, хрустнули стекляшки под ногой. Мальчик закричал.

— Нет, прогнать это не удастся, — говорил он, докуривая, — надо покончить с этим, и все тут.

Выбросил бычок в синеву рассвета. Огни за окном один за другим гасли.

Только не навреди! Оставь солнце утру и новому дню! Спаси мальчика Утро!

Это была последняя запись в дневнике.

— Не навреди, — загнанным зверем он метался по комнате, где с любовью и со вкусом расставлены книги, статуэтки, картины.

— Не навреди, — банный халат, расписанный под хохлому, давно распахнулся, обнажив белое, незагорелое тело мужчины.

— Не навреди!

За окном менялись краски. Синева плавилась серостью нового рассвета.

— Последний штрих, и никаких больше повторений. Никакого будущего!

Долго искал ручку. Сидел над чистым листом блокнота. Написал:

«Для кого-то рассвет — это закат».

Потом зачеркнул. И снова написал:

«Будущее — это повторение». Этой фразой он закончил дневник. И поставил черную жирную кляксу, так походившую на солнце.

Допил бутылку коньяка. Из горла.

С собой в свой последний рассвет он взял только стеклянную черепашку, точно такую, что разбилась два дня назад в магазине с мальчиком Утро.

Закрыв дверь квартиры, ключ он решил выбросить в море. В море он выбросит и дневник. И все свое прошлое. И себя настоящего.

В море, откуда встает солнце, которое ведет за собой мальчик Утро.

Ковчег (Вода стирает камни)

Воды не было. Ни холодной, ни горячей. Маша не видела привычного объявления на подъездной двери, потому что не было никакого объявления. Воду отключили без предупреждения.

Утро, пасмурное, холодное, началось с непрозвеневшего будильника. Секундная стрелка нервно подергивалась за стеклом на циферблате, в точности как левый глаз мужа Гены, это у него нервное, с детства, как он говорит. Утром же, в половине девятого вместо семи, то и дело, ударяясь головой о пластмассовый плафон люстры, высокий и тощий Геннадий метался по кухне, собираясь на работу:

— Блина мать, первый раз не завел на сотовом будилку — и на тебе, — налил не успевшей закипеть воды в кружку с двумя ложками растворимого кофе, — а сегодня еще день такой.

Маша не стала спрашивать — «какой?» Наспех наложила в банку вчерашней жареной картошки, мужу на обед.

Муж отхлебнул кофе, выплюнул:

— Да что это за утро сегодня?!

— Батарейка села, — сказала Маша, — и воды нет.

— Какая к черту вода...

Кружка увенчала гору посуды в раковине, Гена схватил приготовленный женой пакет, впрыгнул в кроссовки и уже через минуту бежал, наступая на шнурки, к автобусной остановке.

У Маши сегодня с утра окно, и в школу ей ко второму уроку. Черчение у 7«А» класса. Любимый класс Марии Игоревны, она с этими ребятами с первого класса, с первых уроков рисования. Дети, за редким исключением, любят Марию Игоревну. «Она добрая и красивая», — говорят девочки. Мальчики соглашаются: «И не кричит никогда, если что сотворишь».

В начале десятого воды все еще не было.

До школы Маше идти ровно две минуты неторопливым шагом, наслаждаясь пестрыми, золотыми красками сентября. Сегодня младшеклассники будут рисовать собранный по дороге на работу осенний букет из листьев и одной еловой веточки с шишкой.

По вечерам пятницы Мария Игоревна на добровольных началах ведет изостудию — единственный факультатив в поселковой школе №21. Вот и сегодня Маша спешила домой в седьмом часу, Гена обычно по пятницам пил пиво с коллегами компьютерщиками, и у нее было время приготовить ужин.

Вбежала на второй этаж, перепрыгивая через ступеньку, достала ключ и, поворачивая его в замке, Маша поняла: воду дали. Она встретила ее, чавкающим звуком пролившись через порог на парусиновые туфли.

Муж появился в дверях пьяный и довольный, когда за окном было темно, Маша не посмотрела на часы, она вылила в унитаз пятидесятое ведро мутной воды:

— Не считая двадцати тазиков, — сдерживая слезы, пищала, — на руки посмотри, — показала сморщенные гусиной кожей распухшие ладони, — даже в зал вода затекла: из-под книжного шкафа два ведра вычерпала...

Гена пыхтел, слепо осматриваясь, разводил руками.

— Мы точно затопили нижнюю квартиру, — испуганно прикусила уголок полотенца, им она вытирала вспотевшее лицо и волосы.

Муж все, что смог сказать, это икнуть.

Маша шлепнула его полотенцем по плечу:

— И ты еще, какого лешего, напился.

Гена снова икнул.

Жена чихнула:

— Ой, нельзя мне заболеть, начало года, — и в очередной раз проверила краны с водой на кухне, а потом в ванной.

В полночь открыла банку тушенки и под храп мужа из зала съела всю. Подходила к двери каждые полчаса, прислушивалась. Ждала неизвестно чего. Хотя известно — за все надо платить. И если судить по вздувшемуся на кухне линолеуму, воды к соседям снизу набежало немало.

Легла в спальне, долго ворочалась, морозило, поэтому укрылась с головой и попыталась представить успокаивающий осенний лес — желтый с рябиновыми вспышками и елочными иголочками...

Лес шумел морем деревьев, Маша повторяла и повторяла это словосочетание, пока над лесом не поднялась, закрыв солнце, волна.

Это самое страшное, чего она боится после религиозных фанатиков, — цунами.

Его она видела лишь по телевизору, и оно всегда будило в ней первобытный испуг. Мощь воды поражала, Маша невольно, инстинктивно, отстранялась от телевизора, закрывала глаза. Во снах это волна появлялась нечасто, ее запомнила Маша со школы, в первый раз она приснилась в день, когда Маша узнала о разводе родителей, потом перед выпускным экзаменом...

Волна появлялась и в отсутствие моря. Она могла возникнуть перед школьной доской, на которой Маша рисовала задание на сегодняшний урок, или в спальне забурлить и восстать вместо зеркального трюмо. И всегда перед важным событием в жизни, переломным, решающим...

Маша успевала заметить водоросли и рыб, прежде чем побежать от волны. Но сегодня в грязной серой воде ее привлекло что-то белое, чистое, знакомое...

Лес притаился, затих в ожидании конца. Маша впервые не убегала, она шагнула к воде.

«Кукла», — подумала, когда нечто вновь показалось в волне, промелькнуло, Маша увидела пупса, в точности как у нее был в детстве. Она боялась игрушки из-за ее натуралистичности, всячески избегала не то что прикасаться к пупсу, смотреть в голубые пластиковые глаза не могла, не вздрогнув.

Кукла в волне закричала. Это был не крик — вой воздушной тревоги, и Маша проснулась мокрая от пота и с температурой.

По субботам в школе доделывали, что не успели за последний месяц лета, а именно красили мастерские, в которых занимались мальчики на уроках труда.

Мария Игоревна помогала, а в последние недели ей просто очень нравился запах краски.

— И я не могу подвести Виктора Константиновича, Гена, — Маша выпила таблетку парацетамола, — спать толком не спала еще из-за потопы. Смотри, может, сегодня снизу кто пожалуется...

У Гены болела голова, он молчал и даже не кивал по обыкновению.

Маша говорила:

— Ты, если, кто придет, не хами, как ты любишь, это наша вина...

Муж молчит, соглашается.

— Явно же до обеда проваляешься, есть ничего не будешь, а приду, приготовлю супчик...

Проверила краны, наказала и мужу смотреть:

— Мало ли что... — чмокнула его в небритую щеку, — я тебя закрою, отдыхай.

На прощание еще раз взглянула на вздутый линолеум на кухне, вздохнула.

В подъезде тихо спустилась на первый этаж, квартира 6, за железной дверью тихо, Маша прислушалась. Слышно, как стучит сердце в больной голове. Как хрипит в груди, урчит желудок...

Подъездная дверь хлопнула, Маша отпрыгнула. Соседка тетя Лена выгуливала своего Звоночка.

— Ой, как вы кстати, — Маша уступила дорогу грузной пожилой женщине в рыжем парике и кудрявому пуделю, охрипшему от беспричинного лая, — я хотела спросить, не знаете, в шестой квартире живут? Мы тут сколько лет, и я ни разу...

— Машуня! — замахала, перебивая тетя Лена. — Живем через стенку, а видимся

раз в сто лет. Я же стихи писать стала, представляешь?.. Ни с того ни с сего проснулась как-то по весне, а из меня строчки так и полились, будто ручеек весенний, журчащий.

Отпустила поводок тетя Лена, встала в позу, приложив ладонь ко лбу, запрокинула голову и громко начала:

— Король погиб, и шут теперь на троне,
Моя мечта забыта на балконе,
Промеж бумаг и банок с огурцами,
Я так любил! Но вы меня предали.

Маша успела в паузу вставить:

— Очень хорошо.

Новоиспеченная поэтесса вошла в раж, закатила глаза и еще громче, нараспев, продолжила:

— Но в одночасье смерти не отвечу,
Закрыв ладонями глаза,
Я не пишу об этой гнусной жизни,
Я не живу, а плачут облака.

Наверху завыл жалобно Звонок.

— У вас очень эмоциональные стихи, — похвалила соседка, — а кто живет здесь, под нами, не знаете?..

Словно очнувшись, тетя Лена посмотрела на женщину перед ней, потом на дверь с номером шесть:

— Ах, тут же подруга вашей бабушки, тоже уже покойница, жила, — поправила парик, — баба Тоня, внук у нее попом в храме служит. Батюшка или кто, не знаю, врать не буду. Кстати, у меня про религию тоже стих есть. Про этот опиум...

Маша грустно сдвинула брови:

— Мне правда бежать надо, я бы с радостью послушала, тетя Лен...

— Лаванда Вишневская, — протянула руку поэтесса, — я псевдоним взяла, и если тебе не трудно, зови меня Лавандой. Я верю в то, что имя с фамилией формируют всю твою жизнь и успех. Ну что мне за пятьдесят с хвостиком лет моя фамилия дала?.. Да ничего. Облысела вон с такой фамилией — Лысенко Елена Дмитриевна. Мне почти шестьдесят, хочу пожить Лавандой. Никогда не видела этот цветок, но песня у Софии Ротару есть прекрасная. А вот вишню видела в цвету и пробовала. Так что решилась. Отныне я Лаванда Вишневская. Парик вон посмотри, идет мне, только честно?..

Маша соврала:

— Очень идет, тетя... Лаванда, и Лаванда — такое поэтичное имя, — пятилась к выходу Маша, — я тоже считаю, что наше ФИО сильно на нас влияют. Кардинально...

— Я и про наш Кирпичный поселок написала стихотворение...

Пронзительный, агонизирующий скулеж Звонка, хозяйка взмахнула руками, запричитала:

— Ох, божечки, колокольчик мой, — загромычала по деревянным ступеням, — ты заходи вечерком, я тебе все почитаю, — махнула Маше поводком, — думаю поэму про наш поселок написать. Ни кирпичика от «Кирпичного» не оставлю.

Ответив неразборчиво, Маша вышла, закрыла тихо дверь за собой. Она терпеть не может, когда хлопают. По ее мнению, так поступают слабые и неуверенные в себе и в своей жизни люди. Они издают очень, очень много шума, пустого, как крик, топот и хлопанье дверей.

Только на улице на холодном ветру прочувствовала, что туфли все еще мокрые. В учительской, под ее столом, сменная обувь, за ней она и побежала.

Муж редко звонил на работу, а сейчас, выбравшись из провонявших ацетоном и краской мастерских, Маша с удивлением обнаружила три пропущенных вызова от Гены.

От волнения забыла выпить перед обедом таблетку, и что стошнило, когда заканчивала красить, забыла.

— Соседи снизу приходили? — выпалила, на ходу переодеваясь.

— Какие соседи? — промямлил Гена, — возьми банку пива.

Каждое утро Маша будет просыпаться под крик ожившей куклы-младенца, бежать в ванную и выблевывать частичку сна, частичку волны.

Будет подходить к железной двери квартиры 6 и слушать тишину.

Линолеум на кухне больше не пузырился. Гена не мог вспомнить вечер пятницы:

— Все как на засвеченных фотоснимках.

Волна нависала над Машей, Маша ждала. А на десятый день после потопа, 27 сентября, в день воспитателя и всех дошкольных работников, согласно отрывному календарю, и Воздвижения животворящего креста Господня, Маша узнала, что беременна, обе полоски в тесте обжигали красным, а Гена познакомился с хозяином квартиры номер шесть.

— Не с ним конкретно, — прикрывал муж левый, больше не дергающийся, глаз, пока Маша обрабатывала синяк под правым бодягой, — поп этот не удосужил нас своим визитом. Гоблина послал какого-то, в прикидке типа людей в черном и с кулаком больше моей головы.

— И он что, без разговора тебе в глаз? — злилась жена, злилась на мужа, что не дал сдачи, на священника с гоблином, на красные полоски беременности, злилась на себя.

Пили чай с подругой-воспитательницей в честь ее праздника, поэтому пришла позже мужа. Гена встретил жену в дверях с объявлением:

— Один миллион рублей компенсации просит, вернее, требует поп за ущерб.

— Да брось, быть такого не может, — сказала, стоя в дверях, Маша.

Тут муж и показал синяк в пол-лица:

— Это к словам батюшки, — сказал, скривив от боли улыбку, — подпись вместо тысячи слов.

— Но миллион за ремонт?.. — Маша не верила в происходящее. Не верила с момента, как поняла, что беременная. Мир раздвоился, она вышла из дома, а на улице сентябрь стал весной: цветом, запахом, настроением... Шум жизни и щебетанье птиц смешалось с шелестом листвы, Маша шла через парк, с каждым шагом удаляясь от реальности в измерение с другими ощущениями.

— Мама, — сказала она тихо, — я мама.

Слово «жизнь» обрело целостность, четкую форму, Маша увидела, как рисует его на белом полотне. Робкими несмелыми штришками...

Жизнь несет в себе множество жизней.

Бодяга пахла реальностью, настоящим сегодня, и цветом была таким же — жизненным серым.

— Он же служитель Бога, — выдохнула, — это, должно быть, ошибка. Недопонимание.

— Фингал под глазом, какое тут может быть недопонимание, проснись, ау. Лимон на стол к Покрову, если я ничего не попутал с такого сотрясения.

— Покрову? Это церковный праздник, когда он там? — Маша убрала тюбик с мазью от синяков в холодильник, сняла календарь, полистала.

Гена капитулировал на диван.

— 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы, — громко, с раздражением, — я все понимаю, мы их затопили, мы и не отказываемся, но руки распускать зачем? И сумму он что наугад, из воздуха?.. Миллион. Там что у него картины в подлиннике висят что ли?..

— Иконы, — донеслось из зала, — эти святоши никогда не лопнут от обжорства. Бедных старушек объедают, и Бог их не наказывает.

— Бог-то тут причем, Гена! — Маша растеряно прошла до входной двери, вернулась на кухню, нервно щелкая пальцами, — это человеческий фактор, а не Бог и не церковь. Люди, все от них. Бог не придет и не станет требовать у тебя деньги и стучать по лицу...

— Правильно, поэтому он посылает своих поверенных посланников, — выкрикнул и страшно захохотал Гена, — мне, если че, кредит не дадут. Да и тебе тоже.

Маша свернула в зал, все еще терзая пальцы рук:

— Да я думать о таком даже боюсь. Какой кредит? Нет. Это страшный сон какой-то.

Гена привстал:

— Гоблин так не думает, — ткнул пальцем на измазанную болотной бодягой сторону лица, — на работу приду расписанным под хохлому.

— Я же тебе кусок торта принесла, — вспомнила Маша, — он в сумке, черт.

Маша бросилась искать сумку, Гена снова лег, отвернулся к стене:

— Ешь сама, — обида в голосе и надежда, — пострадавший я тут пока что, могла бы покрепче торта что-нибудь захватить... Пивас, там, чтоб боль утихомирить.

Квартира в поселке была бабушки, и Маша с детства ее обожала. Все радостные моменты юности и взросления происходили в этих стенах, где в окно спальни видно, как время преобразает, убивает и воскрешает непобедимое болотце.

Поэтому после смерти бабушки Маша больше года не решалась к переезду. «Жизнь заставит», — любила повторять бабушка, и внучка сдалась перед жизнью, собрали вещи молодожены, со съемной квартиры перебрались в квартиру на окраине города.

Первый год приживались, Маша сразу устроилась в школу, Гену не устраивало одно: автобус по расписанию, Гена работал в городе, в агентстве по компьютерному обслуживанию.

Жизнь застывает, время корректирует. Семь лет прошло, а вроде бы только вчера заехали...

Часто занимаясь сексом без презерватива и таблеток, шутили: «на авось».

— Он и случился, этот авось, в самый подходящий в кавычках момент, — жаловалась Маша подруге-воспитательнице из поселкового детского сада, — этот Гризли, уполномоченный священника, явно не шутил, у Гены синяк во все лицо.

Подруга что-то быстро и громко говорила, Маша отводила телефон от уха, успевая вставлять:

— Ну, ага, вот и я про тож...

Подруга советовала обратиться в полицию.

— Гена говорит, дохлый номер. Под церковью все, он уверен: и полиция, и остальные власти...

Подруга настаивала, говорила написать заявление в ЖЭК, найти грамотного юриста, пожаловаться самому главному Патриарху Всея Руси...

Учительница же давно для себя решила: пойдет и поговорит со священником. Посмотрит в его глаза, и если он повторит слова своего посыльного, и язык у него повернется назвать сумму в миллион рублей, то Маша скажет все, что думает о нем и о его вере.

Скажет:

— А как же всепрощение? Возлюби ближнего? Помоги нуждающемуся?.. Где милосердие и сочувствие?

Священник растеряется, покраснеет, начнет заикаться, прятать глаза, а она будет продолжать сыпать христианскими истинами:

— Блаженнее давать, нежели принимать. Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый в царство божье, не можете служить Богу и Мамоне...

Пристыженный, он махнет рукой и забудет про миллион или хотя бы согласится на ремонт по тарифу...

После таких мыслей Маша засыпала легко, просто уверенная, что все так и произойдет.

Волна ждала ее на той стороне бытия.

Не сразу Маша поняла, что она строит. Сначала думала забор, но какой он должен быть вышины, чтобы укрыться и устоять от волны до небес...

На третью ночь появились рисованные помощники из детства, шарообразные и многорукие существа из альбомов по рисованию, разукрашенные фломастерами и карандашами, пришли на подмогу. Ловко подкатывали бревна, сбивали из досок лестницы...

Кто-то из помощников и произнес это слово — «ковчег».

Все утро Маша провела с карандашом. В школе на уроке в 7«А» осмелилась, развернула лист.

Мария Игоревна никогда не понимала сюрреалистов, да, Дали — бесспорно талантливый художник, но далека она от абстракции и метафизики, ей нравится Куинджи, нравятся Айвазовский, Шишкин. То, что нарисовала она, было за гранью ее понимания и реальности. Это как обрывок сна — волна, у ее подножья ящик, похожий на гроб, ковчег? Из досок, с самого центра, тянется и исчезает в толще воды пуповина. Если приглядеться, можно разглядеть, что пуповина заканчивается пупсом. Пластмассовый младенец распят на досках, сложенных иксом.

Учительница убрала лист.

У нее неделя на обдумывание. Жизнь или...

Подруга заверяет:

— Аборт — это как чихнуть. Только с другой стороны. У меня на счету уже три таких апчих.

— Ты у нас современная, продвинутая, — Маша не сопротивляется уговорам, Маша считает часы до намеченной встречи.

— Это называется жизнь, детка, сейчас без абортов не проживешь, — наставляет подруга, — хочешь жить, умей вертеться. У моей тетки восемнадцать абортов и три сына — и ничего. Так что не теряйся, решай вопрос с миллионом, а родить успеешь.

В храм на другой, противоположной, стороне города решила съездить в четверг, сразу после обеда у нее двойное окно.

Священник отец Леонид и владелец квартиры номер шесть служит настоятелем при храме:

— Или как это по-ихнему называется? — Лаванда разбавляла чтения своей поэзии краткой информацией о соседи снизу, — все вот эти непонятные простому человеку названия и словечки только отдаляют религию от народа. Ну что это за протоирей, епархии, экзархаты?.. А нельзя по-людски?.. Простота всегда побеждает. Божественность в простоте. Так и в стихах все должно быть легко, без всяких епитимий.

Подчеркивая каждое слово шелканем крупной бижутерией на костлявых пальцах, поэтесса любовалась своей рукой и говорила будто с ней, не замечая Машу за кухонным столом.

Маша такому диалогу была рада, главное, она узнала все, за чем пришла на эту кухню поздним вечером.

Я скажу ему: «Вы знаете, святой отец, ваша бабушка, баба Тоня была лучшей подругой моей бабушки, бабы Вали. Они друг друга сестрами звали. Как, вы думаете, отреагировала бы ваша бабуля на этот миллион?!»

Лежа на спине, с закрытыми глазами, рисовала успокаивающие картинки Маша. Рядом похрапывал муж, который не подозревал, что в постели их сейчас трое.

Обнимая живот, еще нисколько не заметный, Маша говорит отцу Леониду:

— Побойтесь Бога.

Он пристыжено опускает взгляд, он сознает свою ошибку.

Он говорит:

— Бес попутал. Я прошу прощения у вас и вашего мужа. И готов возместить вам за причиненные неудобства...

Голос его убаюкивает, течет, журчит... Шумит надвигающейся волной...

Надо успеть достроить ковчег — с этой мыслью Маша просачивается сквозь пленку реальности туда, где ее ждут рисованные помощники строители.

Октябрь разговорчивый — листва падает, шуршит под ногами, мечется в надежде задержаться, продлиться... Все дни до шестого Маша зачеркнула. Шестое, «День страховщика», обвела красным.

Гена не заглядывал в календарь, но про шестое число, четверг, спросил:

— Если ты надумала одна с этим святошей разговаривать, не вздумай, пойдем вместе.

Жена не ответила. Муж решительно настроен дождаться назначенной даты и посмотреть, что будет:

— Заснять все на камеру, потом они нам должны будут, не мы.

Спорить с мужем бесполезно: он и камеру установил уже на дверном косяке, и в телефоне у него микрофон для записи. Подготовился словом, а след от синяка еще отливает фиолетовым...

Да и о ребенке зачем говорить, если после шестого числа его может не быть. Маша привыкла принимать решения сама, без подсказок и секундентов. Надеяться на себя. Гене нужна поддержка, поэтому они и поженились, чтобы ему легче шагалось по жизни.

Вот такое проявление любви.

Хотя они обошлись без упоминания этого слова. Оно не прозвучало ни разу.

Зачем говорить, когда и так все понятно, — считал Гена.

Маше хватило, что Гена нарисовал, хотя не умел этого делать со школы, ее профиль мелом на асфальте перед ее окном. И подписал: «*Маша* <3».

Перевернутое сердце у ног: так будущий муж объяснил компьютерный символ. И конечно же, он единственный, кто додумался подарить ей на день рождения на половину использованный набор старых школьных красок.

— Еще узнают, как с компьютерщиками связываться, нам в глаз, а мы в мозг, — ворчал, готовясь к встрече, Гена. Маша не мешала, кивала, спрашивала: «Может, чем помочь?..»

До 13:00 четверга оставалось семнадцать часов.

— Это же шантаж, угрозы, преступление, можно смело писать заявление в полицию, — продолжал муж, распаляясь. Жена угукала в ответ, она знала, где-то в параллельном мире катятся обструганные бревна, грохочут молотки и кувалды... Строится спасительный ковчег.

Странное дело, за тебя будто говорит твоя первая учительница тем далеким голосом, с той же интонацией затертое до дыр:

— Звонок звенит для учителя, — Мария Игоревна улыбается, впервые за сегодняшнее утро. Улыбка делает тебя сильнее. На часах 12:40.

Через двадцать минут автобус до города.

Тошнота подгоняет: в двух словах рассказала о домашнем задании, за минуту успела сбежать в учительскую унести чертежи, пять минут простояла над раковиной в туалете, голова кружилась, капающий кран раздражал с каждой каплей все сильнее.

Закрутила, сколько было силы, вентиль, не помогло, капли набухали и взрывались об фаянс раковины.

— К черту, — открыла воду Мария Игоревна, шум заполнил голову бурлящими пузырьками, тошнота отступила.

Вода вынесла учительницу волной к остановке и приятно успокаивала музыкой прибое, всю дорогу, с пересадкой на автостанции, до храма.

Моя стихия вода, — считала Маша, — вода мой спутник и утешитель. Достаточно прикоснуться к холодной струе, чтобы ощутить себя живой, целой...

Маша обожает находиться в воде, мыть посуду: так она приводит нервы и мысли в порядок. Только вот моря ни разу в жизни не видела, лишь во сне морская бесконечность открывала свои горизонты.

Стук собственных каблуков доносился издалека, с другого берега, Маша хоть и была здесь впервые, плыла как по течению под плеск волн и крики чаек.

Кричали потревоженные вороны. Маша шла вдоль бетонного забора с плешами ржавой арматуры, а впереди перед узким входом в ограду храма следом за птицами запричитали вороны близнецы в черных лохмотьях, протягивая к молодой учительнице когтистые костлявые лапы:

— Поддай Христа ради... Спаси и сохрани... Во имя Господа нашего, — крихтело и кудахтало отовсюду.

Маша, не глядя, распахивала по ладоням железные рубли. Их она разменяла заранее, так поступала бабушка всегда, перед тем как пойти помолиться в церковь. Бабушка и слова подбирала к каждому нищему, Маша бубнила что-то неразборчиво, прорываясь к крыльцу храма, где ее поджидал крупный мужчина в черном костюме и очках.

Гоблин, он же Гризли, он же Годзила, он же Гиббон, — теперь Маша убедилась в точности определений мужа, телохранитель отца Леонида соответствовал всем этим

эпитетам. Она бы еще добавила «горилла», потому что никогда, как и моря, не видела гиббонов даже по телевизору.

Неуклюже мужчина перекрыл ей дорогу к дверям:

— Голову платком так-то женщины повязывать обязаны, — прохрипел, — да и закончилось служение, вечернее только в семнадцать часов.

— А вам бы руки свои поменьше распускать, — учительским тоном сказала, подняла глаза, посмотрела в упор в черные стекла очков Мария Игоревна, — или думаете управы на вас не найдется? Ошибаетесь. Найдется.

Не давая ответить, она говорила:

— Все под Богом ходим. И вы, и ваш отец Леонид...

— Опа, малышка на миллион, — донеслось глухо, как говорить в пустой стакан, — деньги принесла?

Контроль злости сорвало, как кран под напором воды, Маша наступила каблуком на кроссовок мужчины, встав всем своим весом:

— Два миллиона не хочешь?!

— Больно ж! — отпихнул верзила хрупкую женщину, — совсем, что ли, ошалела?! Дура!

— Я поговорить с отцом Леонидом хочу, чтобы он сам озвучил сумму. Мы согласны сделать ремонт сами...

— Нету его, я за него, — задрал ногу, тер кроссовок телохранитель священника, — и я все твоему мужу объяснил, всю картину.

— Я буду говорить только с хозяином квартиры.

— Ну я хозяин! Че теперь?.. Со мной говори, — неприятно, противно выдавил он и загородил проход в храм, — чего непонятно?! Можете частями отдавать или как хотите, но батюшку не беспокоить. Финансово-денежные вопросы я решаю, ясно теперь?!

Протянул здоровенную пятерню к лицу гостьи и сжал в кулак перед носом:

— Я не шучу. Пусть муженек почку продаст. Или ты продай.

Хрюкнул довольный.

— Я беременна, — сказала и тут же пожалела.

— Ребенка продай, — заржал громко, взхлеб, страшно, что притихли вороны и попрошайки, — на органы само-то!..

Закипела внутри у Маши душа, кровь закипела. Она метилась каблуком в ту же подраненную ногу мужчины, промахнулась, стукнула по деревянному полу, от бессилия скрипнула зубами:

— Мерзавцы.

— Ага, — зажевал он.

— Бог вас накажет, — сдержалась, не плюнула в лицо телохранителю Маша, сглотнула, — молитесь, так и передай своему покровителю, мо-ли-тесь!

— Вы тоже, — смачно плюнул через деревянные перила крыльца, — не расслабляйтесь, до Покрова недолго осталось.

Не вздумай пустить слезу — Маша спустилась на ступеньку. Еще один плевок обогнал ее, шлепнулся на бетонную дорожку.

Последнее слово будет за ней, ступила на землю Мария Игоревна, сказала:

— Побереги слюни, здоровяк, в аду они тебе пригодятся, — с иронией и издевкой в ясном голосе, — хотя и не помогут.

Поперхнулся за спиной громила, закашлял.

Нищие не тянули к ней руки, вороны не каркали, одна старуха поклонилась низко, до земли, сказала:

— Благословенна ты в женах и плод чрева твоего...

В животе кольнуло, Маша прижала сумку, слабое ощущение безопасности, короткими, быстрыми шажками посемила по жухлой листве к остановке.

Небо над ней наливалось мутной водой.

На аборт записала подруга. Расхваливала, какой хороший доктор и симпатичный в меру, в меру лысоват и волосат:

— И руки теплые, мягкие, в тебя проникают — ласкают, нежный, как молочная пенка, спрашивает каждый раз: «Не больно вам? комфортно?»

— Воскресенье, в больнице только ты и он, расслабься, не паникуй, — дает указания подруга, — за деньги не думай, я разберусь сама. Делай, что решила.

Не вздумай слушать, что говорят, будто это убийство или грех. Убийство — это Чикатило и Афган с Чечней, а грех — то, что священник миллион с тебя трясет. Усекла?..

— Усекла, — шепотом, чтобы самой не слышать, отвечала Маша, в календаре зачеркнула 9 октября, «Всемирный день почты», черным фломастером.

— Посылка до адресата не дойдет, — вполголоса, — вскрыют посылку, растащат содержимое.

У Гены каждый день новые идеи и планы.

В среду он собирал информацию о шантаже.

— Статья 163 УК РФ. Вымогательство — преступное деяние, под которым понимается незаконное истребование у лица денег. — Зачитывал интересные выдержки из закона вслух: — шантаж — это один из способов навязывания другим лицам своей воли. Самый тяжкий состав, прописанный в части третьей статьи, карает вымогателя сроком от семи до пятнадцати лет и миллионным штрафом, — подсвистывал муж.

В четверг решил, лучше заплатить Васьки Рыло, поселковому мелкому бандиту, чтобы тот со своими дружками помяли бока Годзилле и поугали святошу:

— Бьют лицо за бабло, отбивают почки за дАллары, — весело уточнил муж, — и совсем немного за все про все берут, полторы тысячи.

В пятницу отмечали на работе день рождения коллеги, Гена пришел пьяный, клялся, что он разобрался уже со всеми и что ни одна тварь двуногая не помешает им больше быть счастливыми.

— Ты мой герой, — уложила мужа Маша и еще долго слушала подробности в мельчайших деталях битвы вселенского масштаба. Уснула давно за полночь.

Снилось, она ловит рыбу в ванне. В свадебном платье, в фате, закатав прозрачные рукава, Маша стоит на коленях перед заполненной до краев ванной, а по дну мечется золотисто-рыжая рыба с черными навыкат глазами.

Машу ранит этот взгляд, стыдит, заставляет чувствовать себя полным ничтожеством.

— Глаза твоего отца, — голос в голове, голос матери, колючий, насмехающийся, — у тебя тоже отцовские глаза, и у сына твоего они же, на деда внук похож, главное, только, чтоб по его пятам не пошел!.. Смотри, как брыкается, как батя твой, когда выпивший...

Маша плюхается всей грудью в ванну и хватается рыбу за скользкое тело:

— Правильно! — визжит голос, — выколи! Выколи ему глаза! Сердце вытащи с молокой и зажарь целиком всего на сковородке! В духовке изжарь!..

Рыба в руках невесты лопается, ванна наполняется кровью и миллионами розовых икринок:

— Это девочка, — слышит Маша свой голос, чувствует горячие слезы на щеках, — девочка, дочка...

— Маша, девочка, проснись, — трясет за плечи муж, — ты плачешь, во сне. Приснилось что?.. Все хорошо. Ну, не плачь...

На грани сна и бодрствования Маша вырывается, вытирает руки, все еще ощущая на них влагу и слизь:

— Девочка, девочка, — вперемешку с иканьем и всхлипами, — это девочка.

Обнял жену Гена, сказал:

— Может, пора нам завести ребенка.

Жена в голос зарыдала.

Теперь, после встречи под сводами храма Успения Пресвятой Богородицы, Маша не смотрит на дверь квартиры шесть, закрывает глаза и проходит эти два-три шага в темноте, держась за перила. В эти мгновения воронка заглатывает и утаскивает квартиру в небытие черной дыры.

— На самое, самое дно, — спускается Маша к подъездной двери и открывает глаза, а за спиной больше нет злосчастной квартиры: одна сплошная стена из морской воды с тиной и медузами.

У 3«Б» первый урок рисования. Рисовали фрукты. Прозвенел звонок, Мария Игоревна попросила сложить альбомы у нее на столе.

— А Данилов обзывает меня и мое яблоко нехорошими словами, — пропищала Катя Латышева.

Учительница взяла альбом, яблоко, кроваво-красное, ожило, сильно разбавленная водой акварель закрутилась спиралью — и вот на месте фрукта зародыш в позе эмбриона смотрит на нее большим, черным, отцовским глазом.

— Что это?.. — тонко, испуганно спросила Мария Игоревна, а краска уже стекает с альбомного листа ей на подол белой юбки, в тонкую, черную полосу.

— Мария Игоревна, — так и застыла с открытым ртом и широко распахнутыми глазами Катя.

Между ног распустился букет алых роз. Кляксы просочились сквозь ткань, прикосновение — мокрое, неожиданное, Мария Игоревна вскрикнула, поднялась, красные стрелы расчертили юбку косыми линиями.

— Господи!

— Катка родила! — кричит весело третьеклассник Костя Данилов.

Катя Латышева не сводит глаз с окровавленного пятна на юбке учительнице.

— Черт! — Мария Игоревна прикрылась альбомом, — всем на перемену. Данилов за родителями хочешь сходить, как я погляжу, — голос недостаточно громкий, но с учительскими нотками, — Катя, у тебя очень реалистичное яблоко. На пятерку. С водой в следующий раз не перебарщивай...

— Как на кровь похоже, — прошептала Катя.

Иногда знаки настолько очевидны, что страшно. Пугающе откровенны совпадения, намеки прямолинейны, все конкретно и ясно. В лоб.

Кровавое пятно между ног. Вода окрашивается в розовый, Мария Игоревна снова и снова смывает акварель холодной водой из-под крана.

Красный цвет, цвет правды.

— Боже, помоги, — слышат кафельные плиты женского туалета, — помоги поступить правильно.

Говорит тихо, яростно вытирая ладонью темный мокрый след на юбке.

А перед глазами ожившее яблоко подмигивает единственным глазом:

— Продай бабкину квартиру, рассчитайся с попиком, — скрипит голос, как по плитке ногтями, — не будет житья, не даст спокойно жить, пока своего не получит церковник.

Голоса матери и отца слились в противный давящий скрежет.

— Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно, — вслух, громче шума воды и голосов, начала Мария Игоревна, — желтый свет — предупреждение: жди сигнала для движения.

Хлопок двери стал сигналом.

Мария Игоревна закрыла воду.

— Маша, — математичка Софья протянула альбом, она подняла его с пола, — какие страсти в третьем классе рисуют, а что будет дальше.

— Это яблоко, — выдохнула Мария, — а ты что подумала?..

Осмотревшись для верности, точно ли одни они в дамской комнате, математичка, нагнувшись к коллеге, полушепотом сказала:

— Как будто младенец в утробе.

Ветер шуршит остатками листвы, а Маше то и дело кажется, за ней кто-то идет. Не оборачивается. Ускоряет шаг. Она знает, кто это.

Гоблин нагоняет ее, в костюме и черных очках, огромный, обезьяноподобный. Он пытается схватить ее прямо здесь, на узкой тропинке в парке, и шум листвы становится шумом надвигающейся воды. Волна вырастает из-под земли, накрывает деревья, сбивает с ног преследователя, он кричит, барахтается, все тщетно, поток уносит его в морскую круговорот. Очки сверкают стеклами на солнце, это все, что оставила вода от телохранителя. По щекам Маши скатилась пара капель за воротник. Обернулась. Пустая, усыпанная пестрой листвой дорожка посреди реденьких деревьев,

и невыносимо острый, солоновато-горький запах моря. Она вдохнула его, воздух освежил горло, заполнил легкие непривычной кристальной чистотой. Небо спустилось, Маша нырнула в его синеву.

В небо, как в море. С головой в облака:

— Помоги, Господи.

Что-то мягкое нежно коснулась лба, скользнуло по носу к губам.

Маша поймала *это* в ладонь, приоткрыла глаза, в щелочку между пальцев разглядела что-то белоснежное, на ощупь словно паутинка, пух. Раскрыла ладонь, перышко тут же подхватил ветер.

Небо услышало.

14 — еще не засохшей красной краской на двери, единица больше походит на неровный с длинным подтеком крест — †. И соседка, новоокрещенная Лаванда Вишневская, с пудельком на руках:

— Хулиганы какие. В нашем поселке скоро порядочных людей не останется, — в новом парике и халате под хохлому, — то-то Звоночек после обеда такой нервный...

— Разберемся, — все, что сказала Маша.

— А я стих как раз сегодня по утру написала. О безумии мира. Безумии каждого дня. Оно начинается так, — закатила глаза поэтесса, пес твякнул, — что приготовил день? Лишь вечер это знает. И нечего на утро напирать...

Дверь с красной меткой бесшумно закрылась.

Сразу прошла в ванную, включила воду, села на край ванны. Вода журчала в сливном отверстии раковины, убаюкивала. Бабушка рассказывала плохой сон воде. Бывает, проснется еще дотемна и сразу в ночнушке к раковине, откроет холодную воду, нагнется к струе, забубнит, закрыв глаза. Маша подглядывает за бабушкой, потом спросит обязательно:

— А про что сон был?

Молчит бабушка. Нельзя значит даже вспоминать о ночном кошмаре.

— А глаза почему закрываешь? — не унимается Маша.

— Так легче вспоминать, что приснилось, — тепло и мягко говорит бабушка, — ты тоже, если что, плохое водичке Расскажи, она все выслушает, запомнит и унесет прочь от тебя. Всю беду, всю злобу...

Маша так и не воспользовалась советом, по детству сны забывались, стоило открыть глаза, в юности не верила, рациональность побеждала, сейчас Мария Игоревна слегка согнулась, облокотившись на стиральную машинку, щекой касаясь водяной струи, зашептала.

Вода попадала в рот, брызгала на лицо и под ворот. Вода впитывала, вода вытягивала слово за словом из Маши и растворяла в себе. Вода очищала...

Муж успел дважды постучать поинтересоваться, все ли у нее хорошо?

Голос у Гены показательно спокойный, но Маша слышит дребезжание глубоко скрытой паники. И она не будет паниковать, как бы ни хотелось дико заорать, разбить что-нибудь, потом ходить по квартире и канючить и ныть, что жизнь — дерьмо...

В третий раз Гена постучал:

— Я смел это с двери, — весело сказал, хохотнув, — пусть теперь весь дом нюхает, чем поповские шутки пахнут, — рассмеялся что закашлял, — ядреный растворитель.

Закрутила кран, поймала себя на мысли, что любит этого долговязого мужчину за его ребяческое простодушие и непохожесть.

— Уверен, все разрешится, ты даже не волнуйся, — доносится из-за двери, — если так, найду я этот, чертов, миллион, нарисую.

— Вместе будем рисовать, — выглянула улыбка с двумя прищуренными глазами, — нам вдвоем никакие бандиты не страшны. Мы ведь похлеще этих Бонниклайдов.

Муж и жена обнялись, впервые за все дни после потопа.

Она видит огромную стену одной стороны ковчега. Стена исчезает в облаках, за ней она слышит гул бушующего моря.

— Там же ребенок! — Маша бросается на доски. Стучит, царапая кулаки, кричит: — Там за стеной остался младенец!

Доски кровоточат, из щелей вытекает густая жидкость, пачкает руки. У Маши руки по локоть в крови.

— Какой же это ковчег, если за стеной остался ребенок?!

Грудь Маши, живот покрылись алой горячей кровью. Маша кричит, захлебывается от крика и просыпается, оттого что кто-то дернул ее за ладонь и сказал:

— Тут я, мама.

В спальне светло, в горле застрял крик, и страх дрожит на кончиках пальцев рук. И дата в календаре, превратившаяся с помощью фломастера в черный квадрат, огромной стеной над Машей как продолжение сна...

Затошнило. Зажав ладонью рот, стараясь не разбудить мужа, в ванную.

Вода как всегда привела в чувство. Пока умывалась, повторяла в себе:

— Все, что ни делается, делается!.. Решилась, значит, делай!..

Собралась за десять минут, не хотела встречаться с Геной глазами. Боялась, что взгляд выдаст. Ранит. Убьет. Не поцеловала его впервые, ушла, тихо закрыв дверь на два оборота.

Из-за двери поэтессы доносилась музыка, знакомая с детства, но сегодня любимые ноты резали на живую, без наркоза.

— Миллион, миллион, миллион, — зачитывала приговор женщина, которая поет. Соседка ей подпевала, — миллион, миллион, миллион...

Маша побежала.

Из подъезда выскочила под дождь. Под козырьком крыши набрала подругу:

— Я готова.

Подруга так же коротко ответила:

— Еду.

Пока подруга ставила машину, Маша нашла киоск у больницы, купила пачку сигарет. Она курила однажды в старших классах, разочек затянулась, зашлась кашлем до слез, больше к сигаретам не прикасалась.

— Теперь вот захотелось, — сказала продавщице.

Продавец грустно ответила:

— Не советую. Кукольное все это. Искусственное, — и вытряхнула из окошка пепельницу, полную ржавых окурков, под ноги покупательнице, — вот так и здоровье, и детей потом выбросишь.

Маша взяла пачку Винстон, распечатала, достала сигарету:

— Черт, — ругнулась, — огонь.

Покупать в киоске она точно не будет ни спички, ни зажигалку, осмотрелась — никого.

— Все, что ни делается, — сказала и выбросила пачку в дождь.

— Деньги не экономим, — подросла подруга, — ай-я-ай...

— Это порывы.

— Хоть не позывы, — хмыкнула, взяла под руку, — не роды же...

— Сны такие, знаешь, снятся странные. Не человеческие.

Подруга ждала продолжения. Медленно шли по крытой аллее к серому пятиэтажному зданию городской больницы.

— Ковчег я строю.

— Ну.

— Каждую ночь почти строю.

— От потопа который, что ли?..

Маша не успела ответить.

— Так во сне чего ни приснится, — успокоила подруга, — мне раз, помню, приснилось, что у меня между ног хер вырос. Типа мужиком я стала. Проснулась, и не поверишь, сразу полезла, проверила, все ли на месте.

— И как? — Маша сдерживала улыбку, — вещий сон?

— Ага, до колена вещий, — пробасила, — все можно объяснить, поверь, и мой член, и твой ковчег. Ты явно от попа-шантажиста защиту возделываешь. Стену строит твое подсознание...

Кивнула Маша:

— А с членом твоим что?..

Вместе рассмеялись в ответ.

Из всего, что происходило в кабинете, Маша запомнила не многое.

Сначала ощущение, что с каждым шагом до кресла-кровати в нее впитался весь свет. Она высосала даже бледное солнце за окном. Потемнело вокруг.

Как же так, мучила мысль, теперь свет, что во мне, выскребет этот в меру лысоватый, в меру волосатый врач?!

Опоры для ног обожгли беззащитную кожу, свет погас, Маша закрыла глаза. Голос врача превратился в знакомый шум. Маша почувствовала прикосновение к бедрам, чтобы не закричать, она растворилась в темноте, в воде.

Маша увидела, как дверь с номером 6 выбивает волна — это взорвались трубы и батареи в квартире. В спальне и в зале. Выбило краны в ванной и на кухне. Вода горячая и холодная встретилась в коридоре прихожей, смешалась в единый могучий поток...

— Этого не может быть, — голос врача, испуганный, и Маша открыла глаза.

В меру лысоватый врач смотрит на свою руку в перчатках, а на кончиках резиновых пальцев балансирует белое перышко.

Волна подхватывает Марию, выносит из палаты легко, как перышко, как пушинку, пронесет мимо подруги и дальше по мрачному, душному коридору больницы, где ей трудно дышать, выносит на свежий воздух, на свет.

— Машка?! — подруга попыталась схватить Марию за руку, увидела врача, — что, уже все?!

Врач махнул головой:

— Она девственница.

Подруга сказала:

— Нет. Она же беременная.

Врач повел плечами:

— Да, беременная. Девственница.

— Ковчег, — прошептала подруга и побежала.

Растерянный, ничего не понимающий, словно только родившийся врач повторил про себя, а потом вслух:

— Ковчег.

И перекрестился.

— У подъезда потоп, — сказала подруга, заезжая на газон возле дома.

Маша не слышала, Маша спала на заднем сидении без сновидений.

А до поселка уже дошла весть о чуде.

Кто-то говорил — Второе пришествие.

Кто-то — брехня.

Синдром Девы Марии — планирует назвать статью журналист городского еженедельника.

Лаванда Вишневская начала писать стихотворение о соседке, но пока застряла на первой строке — Ты утренней звездой зажглась на небосводе...

Гена увидел машину подруги, подбежал, не сдержал слез.

— Это правда?!

Подруга выбралась из салона, обняла мужчину:

— Правда.

— Я папа?

— Папа, — похлопала по спине, — а мама пусть поспит. Натерпелась. У вас-то что? Поповскую квартиру снова затопил?

Гена шмыгнул носом, посмотрел на небо, лбом поймав первую снежинку грядущего снегопада:

— Оно само, — сказал и лукаво улыбнулся кому-то там наверху.

#белкавкедах

Арт-группа #белкавкедах (Анна Маркина, Олег Бабинов и Евгения Джен Баранова) зарыжела в литературном (сумрачном) лесу в апреле 2017 года. Тогда случилось первое проявление — презентация трех поэтических сборников на Винзаводе.

Белка — это шустрый и запасливый зверек, который, разгрызает золотые орешки слов, привет Александру Сергеевичу, колесит с гастрольями, платит стихами и проводит то похороны года, то видеомост с Нью-Йорком. Кеды — это подвижность, город, энергия.

#белкавкедах — это вполне серьезные тексты и темы, выброшенные со сцены в зал иронично, без всякого филологического высокомерия, на фоне баннера с витрувианским персонажем и пляшущего у кулис аниматора в костюме Сократа. И хотя поэтики Барановой, Маркиной и Бабинова во многом различны, их объединяет общее ощущение себя в мире как жонглеров, которые вот-вот слетят с катушек. Подробнее о текстуальных и поведенческих особенностях #белкивкедах — в статьях, выходивших в «Ното legens», «Независимой Газете» и «Литературной России».

Анна Маркина

Родилась в 1989 году. Окончила Литинститут им.А.М.Горького (2014). Победитель многих литературных конкурсов, в том числе призер Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии (2014 и 2015). Автор книги стихов «Кисточка из пони» (М., 2016). Живет в Люберцах.

* * *

Как пьяница, взорванный водкой,
Что начал крушить ресторан,
Скандалит буран на Чукотке,
Винты выгибает буран.

Башмак не находит Акакий.
В дому застывает Любовь.
Летают, летают собаки,
Замерзшие, между столбов.

Здесь кадр до снега засвечен.
Здесь Бог нажимает пробел.

Нелётная стайка буфетчиц
Чирикает про Коктебель.

Там видится день им хороший,
Пришпиленный мачтами яхт,
И там принимает Волошин
Прошенья на теплых камнях.

Сбежать бы, сорваться. Но надо
На школу, на обувь... Но как?
Собаки летают. Анадырь.
На крыше гнездится башмак.

* * *

Пальто купили мальчику. Оно
великовато было, тяжело.
А цветом что напомнить бы могло?
А то, как выглядит усталая вода
из ржавых труб.

Пальто скакало в школу поутру
на слабеньких и узеньких плечах.
И мальчику подумалось: «Умру...
возьму и ведь когда-нибудь умру», —
вот так ему подумалось тогда,
конечно, сгоряча.

Пальто великовато, но зато
темнее было, чем цветенье лип.
Техничка в гардеробе... без петли
не приняла пальто.

И где у этой басенки конец?
Пальто без вешалки... и цветом — слабый йод.
Как будто не нашли получше тем...
Зачем нам это? В общем ни за чем.
Удостовериться, что петельку пришьет
заботливый отец.

* * *

Д.К.

Ничего, это жар. Кто обидел, обжег?
Как тонки твои стены, простудно-легки.
Взять и чмокнуть в плечо, как целует снежок,
Все отдать, будто просто съешь пирожок.
Только будь, не покинь меня, ты не покинь,
Ну, подумаешь, ходят у стен дураки,
Причиняют неправду, меняют коней.
Просто прямо сейчас кто-то крутит колки,
Чтоб настроить тебя на полтона точней.

горбы

Л.В.

В пустыне к оазису шли за водой
ворчливый тушкан и верблюд молодой.

Тушканчик ворчал: «Не пойму, стыдоба!
Зачем ты таскаешь два этих горба?»

Эстетики чуждым я быть не могу,
Горбы твои, честно, я видел в гробу».

Верблюд улыбался: «Ты злишься напрасно,
Я воду несу в них и пищи запасы.

И если сейчас от тебя убегу
Не я окажусь в злополучном гробу».

Тушканчик воскликнул: «Ну, надо же, скотство,
Извлечь столько силы, как ты, из уродства!»

Олег Бабинов

Родился в 1967 г. в Екатеринбурге. Окончил философский факультет МГУ. Автор поэтического сборника «Никто» (2016). Победитель литературного конкурса «4-й Чемпионат Балтии по русской поэзии». Живет в Москве. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Внутренний чукча

Петре Калугиной

В каждом из нас кочует внутренний чукча.
Одни его и не чувствуют. Другие — чуть
к письмам, что вечный хозяин им сыплет с неба
то этим, то тем из десятка изводов снега.

Когда в океане глыба таранит глыбу,
внутренний чукча тянет за рыбой рыбу.
Титаник неумолимо летит на льдину —
чукча строгаёт мёрзлую оленину.

Внутренний чукча внешне неразличаем,
но заблудившийся путник им выручаем:
в снежной пустыне — внутренней или внешней —
будет согрет счастливцем чукчанкой нежной.

Что мне поделаться с северною бедою?
Близко я дружен с огненною водою.
Мягкий и трепетный шмат тюленьего жира —
нищ, как душа у врат подземного мира.

Северный бог съедобен и даже лаком.
Я стану свободен, доверив рулить собакам.
Лишь глупый охотник следует за собой,
а мне хорошо здесь — с вороном и совой.

Гиперборея

Стихнет буря, и медленно выпадет снег
на суглинки, подзолы.
И наступит опять восемнадцатый век —
шлейфы, фижмы, камзолы.

О, мадам! Где-то здесь обитает эрмит —
пожилой венецьянец,
обожатель харит, отставной фаворит,
записной вольтерьянец.

После кофию будут — потешный поход
на шотландских лошадаках,
разговоры, глентвейн, Рождество, Новый Год,
фейерверки на святках,

и падение ниц кружевного платка,
и поклонник в поклоне,
и кормление птиц, и колючесть снежка
в беззащитной ладони.

Будет Deus, женевец, месье часовщик,
свято верящий в Разум,
на вечерний парад торжествующих книг
зреть сияющим глазом.

Как легко флиртовать под присмотром небес,
разделив эту веру
в вечный мир и спасение через прогресс,
по аббату Сен-Пьеру!

Не сердитесь, мадам! — Я порхаю к трудам,
чтоб к уходу остались
размышленья — как руки, воздетые к Вам —
De natura totalis.

Посмотрите светло на седые холмы!
Наша Гиперборея —
лишь любовь, лишь дыхание долгой зимы,
лишь Амур да Психея.

Евгения Джэн Баранова

Родилась в 1987 году в г. Херсон. Окончила СевНТУ по специальности «Информационные управляющие системы и технологии» (2011). Автор книги стихов «Рыбное место» (СПб., 2017). Живет в Москве. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Росток

А дома не было, была
под сердцем крошечная мгла,
и в ней горошина жила —
пыльцой на пальце.

Когда же корни подросли,
то не хватило им земли.
Не бойся, тело, не боли.
Чего бояться?

Смотри, смотри-ка, корешок
на небо лазалку нашёл.
Лишь обращаться хорошо —
твоя забота.

Так и живём, так и живёт.
Как платье, носит тела свод.
А то, что горлом кровь идёт, —
всего делов-то.

* * *

Малина сейчас хорошая,
говорит.
Ты не стесняйся, детонька,
ешь,
чего там.
Скоро Воронеж?
Пальцы кривит артрит.
Жёлтый платок сгоняет мушинки пота.
Мне-то хватает.
Смалец, горох , мука.
Сахар на той неделе дала невестка.
Крупные ягоды.
Крупно дрожит рука.
Солнечный кролик пляшет на занавеске.
Помню, Серёжка — тот наедался всласть,
Как до малины — в дом его не загонишь.
Главное — не болейте.
И поднялась.
И заблудилась.
И не нашла Воронеж.

Петроград

Здесь можно жить неторопливо.
Вдыхая топливо залива,
смотреть булыжнику в глаза,
как Шереметьев на пейзаж.

Здесь можно спрятать дорогое,
черстветь и чистить алкоголем
незакрепленные края.
Разлука — азбука моя.

Найти бы новое начало,
уткнуться в Невку одичало —

в гранитный пух дворцовых вод —
и не заботить никого.

И не заботиться, не сниться,
не проходить во сне границу,
забыть философа портрет,
что был да сплыл в пятнадцать лет.

В хрустальной обуви озимой
идти туда, где жарок Зимний,
туда, где тонки облака,
где призрак пел с броневика.

* * *

Потому что вы не вечны.
Вечен лишь тулуп овечий.
Да маслѐнка, да миткаль.
Гужевые облака.

Вечен шкаф, уют, тарелка.
Чашка. Чай. На чашке — белка.
Сплетен стоптанный каблук.
Шёпот.
Шорох.
Стук да стук.

Вечен запах из подвала.
Вечен взгляд водицы талой.
Хруст капусты. Хрип коня.
Нечего и объяснять.

Можно только слушать тихо,
как в стакане спит гвоздика,
как часы бьют одного.
Не за чем. Не для кого.

Сати Овакимян

Концерт для верёвки

*Рассказы
С армянского*

Последний ремонт

Раньше

Мои дед с бабушкой часто повторяли, что раньше снег был белее, а снежинки — крупнее, что в притулившихся на том холме скворечниках жили лишь истинные ереванцы, что крошечный, размером с ладошку, садик на задворках с парой-тройкой фруктовых деревьев, виноградных лоз и цветов — точная копия рая. А стоило мне подойти к саду, бабушка тотчас появлялась на деревянном балконе, водрузив тяжелеющий день ото дня мешок тревог и горечи на понурые плечи, вздыхала протяжно и говорила:

— Ты снова за смоковницей шла? Дуреха моя, утром я там во-о-от такую змею увидела. Ну и змеюка была, надо было видеть!

Завершив свою речь, бабушка хрипло кашляла в пригоршню и запирала кашель в иссохшей ладони, с блеклых губ выпадал сероватый контур агонизирующей сигареты. Увидев, что я в страхе иду обратно, снова вздыхала и погружала в медовую заливку краснощекую пахлаву.

Маму с папой я помнила смутно. Когда мне было три, они уехали в дальние дали в поисках своей нити на переплетенных дорогах чужбины. Но дед гладил меня по голове и говорил:

— Краешек этой нити зарыт здесь, детка, куда бы они ни поехали, как бы ни запутались, все равно вернуться.

Включался синеголовый, живущий на стене гостиной аппарат, и строгий женский голос передавал мне тревожные вести с неведомого континента. Я втайне от бабушки остерегаясь воображаемой змеи, в мгновение ока оказывалась в саду, тоненькими, как

Сати Овакимян родилась в 1988 г. в Ереване. Закончила факультет театроведения Ереванского государственного института театра и кино (2010). Работала журналистом и сценаристом в телекомпаниях. Автор сборника рассказов «Полу-Остров» (2017). Печаталась во многих армянских СМИ. Живет в Ереване.

Анна Варданян родилась в 1974 г. в Ереване. Была автором и ведущей передач на радио и телевидении, была креативным директором на «Радио Джаз Ереван». Пишет небольшие рассказы и переводит на русский язык армянских авторов.

Анаит Татевосян родилась в 1979 г. в Ереване. Старший преподаватель кафедры мировой литературы и культуры РАУ. Окончила факультет журналистики МГУ (2005). Стихи публикует с 1987 года в журнале «Литературная Армения» и в других изданиях стран СНГ. Автор четырех сборников стихотворений: «Циццан» (1998), «Полет навстречу солнцу» (2001), «Петербург: признание в любви» (2003), «Игра в города» (2009). Член СП Армении. Переводит на русский язык современную армянскую поэзию.

пальцы, веточками рыла землю в надежде найти краешек той нити. Не знала — что за краешек? Где его искать? Но помнила, что в бабушкиных сказках сокровища всегда прятали в земле, значит, я на верном пути!

Долгие часы потом проводила на холодном балконе. Слезы, голод, даже желание пописать в расчет не шли.

Часто в такие моменты я слышала громкий, но бессильный голос деда:

— Женщина, ты что — фашист?! Разве можно так девочку наказывать?

Простудится, умрет!

— Вся в своих дураков-родителей. Разве я виновата?

— Ее дурак-отец — твой сын! Эх... отойди в сторону!

Сейчас

«Сейчас» умеет быстро испаряться, сейчас дни тают в одночасье, снег больше не укладывается крупными хлопьями на деревянном полу балкона осиротевшего дома, сейчас он моросит так, как сахарная пудра осыпалась сквозь бабушкино сито на пирожки с творогом и изюмом. Сейчас — без семи дней новый год, но это не мешает всеядным железным глоткам экскаваторов один за другим разрушать каменные дома соседей, а стоящим рядом людям при галстуках — отвечать на проклятия старух ухмылкой и заученным текстом, мол, пора уже заменить хибарки современными новостройками...

Раньше

Каждый год, за семь дней до Нового года, дед покрывал стены новыми обоями. Он делал это совсем не так, как полагается: не мочил теплой водой старые обои, не отрывал их, и поверхность стен в этом случае, естественно, не нуждалась в мытье и выравнивании потрескавшейся штукатурки.

В гостиной раздвинувшая крепкие железные ноги стремянка едва умещала на себе облаченные в землистые тапки дедовы ступни 44-го размера... Началом к очередному украшению дома было деловитое молчание деда под сенью мистически загадочного ритуала бабушки. Как истинный мистагог, бабушка то сокрушалась, что ее неразумное дитя и его хитрая жена, то есть мои родители, далеко от отчего дома, то благодарила, что хоть за неделю до Нового года они вспоминают обо мне — дурехе (бабушка называла меня «дурехой», а я, не понимая смысла слова, наполнялась теплом и радостью) и посылают старикам-родителям разноцветную жвачку, витамины разных форм и размеров, чаще всего — ненужные и незнакомые, источающую неприятный запах одежду, конфеты... не забывая, конечно, главный итоговый подарок года — броские разноцветные обои...

Сейчас

Сказали, чтоб семнадцатого января я освободила дедов дом, в котором родилась и выросла. Его снесут и якобы дадут квартиру в другом районе. Арпик, Маро, Ашоту, Вартану — всем нашим соседям обещали то же самое, но вместо ключей от квартиры у них в руках оказались бесполезные транспаранты, что развевались перед зданием Правительства и в телевизоре моего принопамятного деда.

Алекс снова оказался занят, снова обещал, что завтра придет и восполнит мое одиночество. Сказал, чтоб я была спокойна, чтоб поменьше смотрела репортажи о демонстрациях по телевизору, что терпение — отворяющий двери ключ, которым я не умею пользоваться.

Раньше

Без семи дней Новый год, ранним утром я просыпалась и сбегала в подвал, пряталась под лестницей, за креслом, иногда даже в исполинском сундуке — любимом приданом бабушки. Ничего не помогало. Щекочущий ноздри змеистый дым от бабушкиной сигареты везде находил меня и с легкостью пресекал попытку побега. После чего я быстренько оказывалась «на месте событий». Костлявые женские руки,

хватая меня за узенькие плечи, словно тиски, сжимали их так сильно, что я скулила как щенок, защемивший лапу дверью.

— Эх, дуреха моя, плачь... но тихо, плачь душой, как я... Дед заметит — расстроится.

— Но я не...

— Не надо бояться чувств, милая, бойся бесчувствия. Бедный твой дед в последний раз приклеит эти чертовы обои, и мы останемся одни-оденешеньки.

По всей гостиной растекался залиvistый смех деда.

— Софа, то что я мало говорю, еще не значит, что ничего не слышу, а тем более, что я — умираю... Каждый год ты говоришь одно и то же, женщина! И оставь, наконец, ребенка в покое, — а потом, оборачиваясь ко мне: — Детка, садись за уроки или украшай елку.

Я, перепуганная хрупкая девочка семи лет от роду, все еще храня на плечах жар от боли и чувствуя огромную благодарность деду за его великодушие, убежала из одной комнаты в другую, не понимая толком что важнее — уроки или украшение елки, пока голос бабушки, словно компас, не указывал мне — потерявшей ориентир девочке — верное направление.

— Дурехонька, к елке не подходи. Либо мои чешские игрушки разобьешь, либо елку опрокинешь. Жалко...

Я тихонько уходила в спальню, где мы спали — я, дедушка, бабушка, — открывала скрипящую дверь шкафа, устраивалась под вешалками, сжималась в комочек, брала в руки теплый свитер дедушки, жалела, что в этом году дед действительно в последний раз клеит обои (и как же хорошо, что он не желает смириться с этим ужасающим фактом!), грустила о том, что в следующем году мы с бабушкой останемся одни, что если деда не будет, бабушка сразу же бросит в ненасытную глотку печи прекрасный бумажный подарок папы, более того — вмиг оторвет с каждым годом уменьшающиеся дом приклеенные друг на друга рисунчатые слои, высвободив, наконец, пожухлые стены. Я плакала о заблудившихся вдали родителях, о своей никчемной жизни, уместив всю эту боль внутри темно-синего в белую крапинку свитера дедушки, а потом, захлебываясь слезами и вконец истомившись, проваливалась в сон...

Сейчас

Иду из гостиной в спальню, из спальни — на кухню, в коридор, туда-сюда, туда... Алекс прислал сообщение... Не может приехать и помочь мне, просит отложить поклейку обоев, просит не сердиться и быть снисходительной...

Я снисходительна, я все понимаю, я сержусь, потому что дед никогда ничего не откладывал, мужчина не имеет права опаздывать и откладывать... что бы ни случилось!

Известил, что незамедлительно едет к ботанику, чтоб показать ему тот единственный судьбоносный росток.

Мы познакомились на вернисаже. Он продавал деревья, выполненные из натуральных камней и металла. Протянул мне дерево с гранатовым камнем и сказал, что глаза мои печальны, а этот камень принесет любовь и теплоту. Мы быстро сблизились, и однажды Алекс рассказал душераздирающую историю, которая, признаться, не особо меня тронула. Я даже подумала, что он чрезмерно романтичен, несмотря на полноценные четыре десятка. Улыбнулась и забыла. Оказалось — напрасно.

— Мама, прежде чем отдать Богу душу, дала мне два росточка и сказала, что они имеют непосредственное отношение к моей судьбе. Из них должны были вырасти плодовые деревья, но моя невеста вернула кольцо. Через неделю росток увял, в ту же ночь ушла мама. Первый росток я положил с ней.

— А второй? — поинтересовалась я.

— Это зависит от тебя. Мне кажется, эти ростки — моя любовь. Одна меня покинула, потом я встретил тебя... Если твоя любовь искренна, она превратится в дерево, а мама увидит это с небес и благословит ту, что осчастливила ее единственного сына, понимаешь?

Начиная с этого дня, раз в неделю росток получал удобрения и слушал утренние молитвы и монологи Алекса — об одиночестве и отчаянии...

Раньше

Бабушка и дед часто спорили, но раз в год, с момента появления свертка в доме и до минуты, когда стены обретали второе дыхание, все обострялось еще больше.

Бабушка говорила, что мой отец специально присылает эти «циничные и ненужные» подарки, чтоб вывести из себя престарелых родителей. Дед иронично интересовался: какими именно узорами на сей раз украсим дом? Потом добавлял, что отца ведь тоже можно понять.

Папа работал в магазине обоев. Каждый год директор магазина, в качестве рождественского подарка, дарил сотрудникам рулон уцененных обоев. И отец, чтоб порадовать родителей, да и в глазах директора предстать в выгодном свете, покупал по скидке еще несколько рулонов для всего дома и посылал их в Ереван.

Бабушка грозила все оторвать, а потом, в который раз, спрашивала — почему дед клеит их друг на друга?

— Отдай их мне, я не сожгу, не выкину, обещаю! Стены надвигаются на меня, противно, не могу больше... не хочу Нового года! Господи, когда ты призовешь меня?!

— Наверно, ты хотела сказать: «Господи, когда ты призовешь моего мужа», да? Пока я жив, все останется, как было... так дом теплее и...

— И с каждым годом все меньше и меньше.

— Для трех человек вполне достаточно. Когда твой сын вернется, если, конечно, вернется, пусть поищет их и не найдет.

— Эх... совсем сдурел. И как я с тобой всю жизнь прожила?

Кутаясь в шерстяную шаль, бабушка уходила на кухню, чтоб лишить жизни еще одну сигарету и усугубить свой кашель, дед приносил клей и стремянку, а я, утопая в диванных подушках, пряталась за книжку и плакала душой, как учила бабушка: глубоко дыша, слегка отводя голову назад, забрасывала слезы глубоко вовнутрь.

Я привыкла к ссорам, к тому, что я дуреха, к необъяснимому упрямству деда и к тому, что наш просторный красивый дом постепенно превращается в бумажный домик. Последний ремонт уже не мог причинить боль — когда дед вступил в восьмой год, я поняла, что он уже перешагнул порог бессмертия и бояться смерти теперь не следует. Не знаю, догадывалась ли об этом бабушка, или это была некая негласная семейная традиция, но я быстро научилась и часто вынужденно соглашалась и с дедом, и с бабушкой, убеждая себя, что у каждого из них своя правда и она — непреложна.

Сейчас

Дом Арпик воеет от боли, камни, обьятые ужасом, рассыпаются по двору. Соседний дом тоже исчез, его больше нет, следующим в глотку железного бекаса попадет наш дом. Я смотрю на купленные сегодня, безмятежно лежащие в углу белые обои и готова, не нарушая семейных традиций, приклеить их на стены, покрыв ими старые брешы.

Кончиками онемевших пальцев кое-как открываю сундук, достаю бабушкину любимую маленькую коробочку с толстенькими сигаретами. Дом наполняется ароматом бабушки. Погибают в духовке маленькие рождественские печенья-человечки. Дым обуюл также наш холмик, где когда-то был рай, где снег покрывал деревянные балконы и невозмутимые крыши наших домов крупными белыми хлопьями ...

Раньше

После очередного предпраздничного обновления, когда бабушка в который раз предсказывала деду последний ремонт и вытирала фартуком слезящиеся от сигаретного дыма глаза, она, как и всегда в этот день года, окропила медовой водой солнечно-золотистую пахлаву, выдохнула и неожиданно ушла из жизни, оставив нас — меня, дедушку, обклеенные обоями стены, ароматную пахлаву — потрясенными и осиротелыми...

Несколько месяцев спустя, полночь, сидящий под смоковницей призрак бабушки призвал к себе деда, и они вновь обрели друг друга...

Сейчас

Одну за другой зажигаю и вбираю в себя серые души оставшихся девятнадцати сигарет, отключаю духовку, выбрасываю в окно сгоревшие галеты.

Пишу Алексу, что мои обои уйдут завтра туда, где ночуют мои замерзшие и бездомные соседи... пишу, чтоб больше не искал карту жизни в цветке, чтоб понял, что порой похороненные в бетоне металлические корни гораздо живее, чем уповающие на стеклянное солнце ростки.

Бросаю в жерло печи купленные бумажные полоски в надежде, что бабушка сквозь дым улыбается и благословляет первое в жизни и, возможно, последнее верное решение своей дурехи.

Однажды вот так в морской пучине сгинул самолет, который вез на родину моих депортированных родителей, вот так разрушаются собранные руками наших дедов по кирпичику каменные дома...

Распылитель плюет в направлении стены, прямо в лицо старым обоям... тьфууу-тьфууу...

И вдруг, из-под цветастой шкуры последнего слоя бумаги проглядывает, словно лелеющая забытую мечту, полузакрытая, как веко — дверь...

С армянского. Перевод Анны ВАРДАНЯН

Концерт для верёвки

Круглый, на деревянных тяжелых усталых ногах, вековой стол вновь просыпается, ему на голову каждый день, вот так, ровно в семь, словно с потолка сваливается, падает еще спящая, с местами помятым лицом, молочная скатерть, на площадку стола встает самовар с раздувшимся от кипятка пузом, свои места занимают только что сорванные с дерева краснощекие осиротевшие яблочки, сваренные всмятку яйца, гремят давно утратившие белизну, все в царапинах-морщинах, тарелки с голубой каемкой — довоенное, от матери доставшееся приданое госпожи Беллы...

— Ра-ри-тет, — не упускает она случая, каждый раз предупреждая членов семьи, чтобы обращались с тарелками внимательно и деликатно. Членов семьи у госпожи Беллы немного: муж, отец семейства, Карлен — огромный, с сахарно-ватными волосами, торчащими зубами слоновой кости, суровым лицом, втягивающими весь кислород в доме ноздрями; он, назло находящейся в броуновском движении жене, не отрывая своих клетчатых мягких тапочек от пола, шаркая, перемещается из одного конца дома в другой. Ах, иногда кажется, он повернет голову на сто восемьдесят градусов, метнет глазами молнии, закричит на дающую бесконечные указания жену, но нет, за пятьдесят лет совместной жизни он сумел научиться только бросать этот взгляд, ворчать под нос в ответ на указания и окрики да впускать в дом с черно-белого экрана усатого весельчака, который неизвестно откуда вот уже двадцать лет подряд раздает подарки не менее жизнерадостным и верящим в чудеса гостям. Тогда Карлен прищепывает плоскогубым ртом, из которого по этому поводу раз в неделю вырывается: «Эээ... ишаки!» — и тишина, длящаяся до следующей пятницы...

В левом секторе стола устроилась Нюта — сорокатрехлетняя, низкорослая, с удивленными и немного напуганными несправедливостью мира глазенками-сливами, в желтой, местами протершейся блузке, рекордсенке по заштопанности, в напоминающей мост и полностью закрывающей ноги широкополой юбке; она, втайне от отца и матери, от мира, успевает иногда закрыться в своей спальне в тринадцать квадратных метров, достать из-под кровати свой черный-черный, большой-большой молчаливый чемодан, вытащить постоянно проживающие там, пахнущие не посетившим

Нюту счастьем лифчики «Елена», давным-давно посапывающие в недрах чемодана и так и не превратившиеся в «ласточек» панталоны, ночные рубашки и еще многие, давно уже соскользнувшие со стези времени вещи, модность-немодность которых, между нами говоря, мало волнует Нюту, Нюту с глазами-сливами.

Ах, если бы она решилась, если бы так не любила родителей, если бы не думала об их обоюдных перепадах давления, о тысячецветных таблетках, наверняка бы хоть сейчас нашла какой-нибудь повод, обняла запыленный от усталости и безделья, не видевший солнца черный-черный, большой-большой чемодан, сбежала бы с ним, понеслась сквозь еловые моря, босая танцевала бы на еще не высохшей после дождя земле, побежала бы к своему жениху, настройщику пианино, тощему, как струна, вышла бы ему навстречу, помчалась бы с ним, рассекая туманный горизонт, впитывала бы капли дождя и любила, любила...

— Нет никакого жениха-настройщика пианино, моя красавица, — укоряла мать.

— Ты идешь встречаться с этим оборванцем? Он нищий алкоголик. О, ты не представляешь, какую грозу я могу внезапно собрать над твоей головой, лишу дома, нас лишу, лиц матери с отцом больше не увидишь. Плачь, кровушка моя, роднушка моя, тебе нужен врач, интеллигентный, красивый, джентльмен. Потерпи, кому в юности не удавалось замуж выскочить? Нетерпеливые, как вальпургиевы ведьмы, выбирают парней и тащат на шабаш. Тебе это надо? Решения, принятые в зрелом возрасте, — правильные, семьи — крепкие. Ладно, оставим меня, а твой несчастный отец, сердце у него слабое, ноги — и того больше, ты о нас подумала? Проводишь нас на тот свет, иди куда хочешь, Нюточка, мало осталось, что такое год-другой?

Нюта испуганно закрывает болтливый рот чемодана, запихивает туда тощий призрак своего настройщика пианино, облако, каплю, мокрую землю и смешливое небо.

Кыш, плохие мысли, кыш, закрывайтесь, забывайтесь, исчезайте, из соседней комнаты кричит усатый человек, ну, крути, крути колесо, ну, хоть раз в жизни обрадуйся, что решился добратся из дальней дали, выиграть положенный тебе приз; усатому противится распространивший по всему креслу белоснежные сахарно-ватные волосы отец: «Эээ... ишаки...» — «Фрт... фрт...» — от глотка обжигающего чая теплеет мамочкино горло: «Ух!» — полная луна и этой ночью зайдет за пазуху выставившим конусовидные груди елям и спрячется под вой ищущих вдали зеркало полной луны волков. Время раздавать родителям таблетки, поцелуями распрямлять ниточки их морщин и в одиночестве обнимать подушку, Нюта.

Потом снова закричит новорожденное солнце, Белла повторит ежедневный ритуальный завтрак, за круглым столом будет сердитым голосом наставлять расположившихся справа и слева членов семьи.

— Нюта, масло не режут так толсто, жуй хлеб медленно, чтобы переварить, Карлен, сколько раз тебе говорить, это раритет, хотя откуда тебе с твоим воспитанием, деревенщина, знать, что это такое, — «фрт, фрт, ух», — вновь глоток обжигающего чая согревает семидесятичетырехлетнее горло Беллы, ух!

Госпожа Белла — дочь врача; правда, отец ушел на войну, когда девочке было три года, и она практически его не помнила, а мать днями и ночами лила слезы, не работала, откладывала свои драгоценные украшения и посуду, награждала девочку оплеухами — раритет.

— Тронешь, я тебе пальцы клещами повыдергаю по одному.

Девочка росла, представляя выдергивание клещами, под симфонии материнских истерик. Как только ей исполнилось восемнадцать — устроилась на работу в главную прозекторскую города, санитаркой.

— Карлен, воспитанные люди не опираются локтями на стол, Нюточка, не горбись, ты большая девочка, и пододвинь стул.

Большая, сорокатрехлетняя девочка слушает мать... Мать, Мама.... Самое сладкое в мире слово Нюта произносит по сто раз на дню, чтобы дать понять, что точно никто и никогда не сможет ее забрать у пожилой, немного придирчивой, немного строгой, немного вспыльчивой, но незаменимой Матери, которая бесконечно жалуется

на перепады давления, сдавливания сердца, преследующие, словно хищник беспомощную жертву, головные боли.

Скатерть складывается, засыпает в ящике, убранные со стола продукты быстро прячут в шкаф, самовар вновь будет в главной роли поздно вечером. Пришло время работать, пахать землю, поливать цветы, отряхивать заботы старых деревьев, складывать в корзины давно созревшие яблоки, в магазине рекомендовать колбасу «Докторская», продавать горячий хлеб и выпечку, быстро выпроваживать из магазина проказливых сорванцов двадцатикопеечной жвачкой.

Отдельно от маленькой двухэтажной крепости, перед домом, стоит ларек-магазинчик. Госпожа Белла знает, как достойно настоящей продавщице носить синеватый, окаймленный белыми оборками фартук, как подсчитывать прибыль, перед кем раскрывать чрево чернокожей тетради.

— Мать, мама, я тоже уже могу помогать тебе, целый день только вяжу да вяжу.

— Нюта, кровь с молоком, роднушка ты моя, это не твоего ума дела, ты иди, свяжи своей матери теплую шаль, впереди зима, холод. У твоей матери нет теплой одежды, а что если я замерзну, а если лягу, а если...

Нет! Ладони внезапно закрывают глаза, нет. «Нет», словно Колобок, убегает, катится, укатывается за семь гор. Нет! Гремит небо и собирает хмурые тучи. Нет! Льет дождь, мочит лицо, одежду, землю и синеватый, с белыми оборками, фартук Матери. Нет! В поту вскакивает Нюта — это был кошмар. Что случилось, что это был за крик, кто рассердил Мать? Лепешки грудей распластались на животе Нюты, Нюта бежит, добирается до кухни.

— Мать, Мама, что случилось?

— Ненавижу, ненавижу! Кошки....

— Кошки? Что тебе сделали эти серые «божьи платки»?

— Нету бога. Есть материя, есть мать-природа, жжженного рода, природа, мать вашу... — ветка, лежавшая у печи, несется вниз.

Разбегайтесь, кошки, любви нет. Мррр, любовь прервана, нет любовной игры, Мать не разрешит, Мать запрещает, кыш, кошки, кыш! Не плачь, Нюта, не плачь, сливоглазая зрелая девочка. Расстилай свою мокрую одежду, расстилай свои не ставшие ласточками панталоны, расстилай свои мечты, пока их не съела моль...

Чай осушается, усатый человек подкручивает ус, отец с сахарно-ватными волосами шлепает плоскогубым ртом, хозяйки прячут сухофрукты в шкафах, краснеют последние в году ягоды малины, солнце... Солнца нет, тучи дежурят на небе, раз, два, раз, два — по широкополой улице, унавоживая ее, проходят полусонные коровы... Му-у, му-у...

— Нюта, Нюточка, кровь с молоком, стоп. Ты дождалась, пока не стемнеет, неблагодарная девчонка? Бросаешь, да? Старого отца, старую мать бросаешь? Оставим меня, а твой отец, ты подумала? Даже года-другого не выдержала. Я видела, ты и раньше ходила, ты часто ходишь, я молчала, думала, ты поймешь, что эти хамки не могут быть тебе подругами. Неблагодарная...

Нет, она благодарная, она уходит всего на 10-15 минут... Нет! Грохочут и трескаются стены дома. Нет! Тычут указательными и разочарованно упрекают Нюту расположившиеся в рамках бабка и дед.

— Плачь, плачь, кровушка, плачь, дурнушка, плачь, как поплакала над моей головой мать и за то, что я мало приносила денег в дом, вышвырнула в дом твоего отца, плачь, как поплакала надо мной сестра и сбежала с чернокожим есть бананы, плачь, плачь, небо, плачь надо мной выглядывающая из альбомов юная Белла. Полька, кадрили, я выбирала, с кем танцевать, я выбирала, когда уходить с танцплощадки, я выбирала, кого оставить рядом. Танцуйте, видевшие довоенную юность мои ноги: вперед, назад, вправо, влево — танцуйте!..

— Мать, я виновата, виновата, Мать! Из-за меня у тебя подскочило давление, поймаю, не позволю, Мать, сейчас поставлю твои ноги в теплую воду, сейчас все будет хорошо.

Хрр-пс, хрр-пс, скрип-скрип, скрип...

Ах, пришел новый день, Мать, благодарю тебя, заботливая Мать!

— Сияешь? Что случилось, Нюта, меня ждут в магазине, собери со стола, машина с хлебом приехала, девчонка, отлипни, что ты обняла, ну....

— Мама, то новое платье в шкафу, зеленое, в мелких серых цветочках...

— Да, и что? Зачем ты открывала мой шкаф?

— Случайно, совсем случайно, твоя стирка высохла, я погладила, раскладывала, думала разложить в ящике. Молодец! Ты его мне на день рожденья купила? Я надела, безупречно сидит. Прямо сегодня надену.

— Наденешь? Подарок? Мы не так богаты, чтобы позволить себе покупать новые платья, Нюта! Распусти старый отцовский свитер, сделай старое новым.

— А в шкафу?...

— Это мое похоронное платье, должна я хоть раз в жизни надеть новое платье. Знаешь, я терпеть не могу черный, иди, иди, твоему отцу пора принимать лекарство.

Нюта, сливоглазая и испуганная девочка, надень зеленое платье, тайно, вот так, полюбуйся собой перед зеркалом, время потеряло посох, чтобы вернуться назад, от страха бежит вперед, надень и не оглядывайся, надень, пока Мать в своем магазине устроила выставку лакомых колбас, сладостей и фруктов. Пока она дает указания, пересчитывая в ладони деньги покупателей.

— Кофе или конфеты? И то, и другое не дам, моя долговая тетрадь тебя уже не выдерживает, девочка, иди работай уборщицей, выкинь к черту этот диплом, не будь лучше меня... А теперь ни кофе не дам, ни конфет. Макарон полкило, возьми свари, и завтра не приходи просительницей, думая, что тебе приготовить детям на обед. Ссс!..

С-с-с, Белла делает расчет, с-с-с, она одна свой доход знает, с-с-с, запирает двери магазина, дома, шкафа, запирает болтливые рты соседей, запирает...

Осень пережила головокружение, в порядке профилактики выпадения волос облысели деревья, ели расхохотались, и луна подмигнула, фрукты стали сухофруктами, соткались шали паутин, на столе появились соленые огурцы и картофель.

Буэ, буль, буэ, буль, буэ, буль... Нюта, ты что, беременна? Нюта, приди в себя, убью, вышвырну, прокляну, Нюта!...

— Отпусти, Мать, отпусти мои волосы...

Беги, беги, Нюта! Открой дверь, осторожно... Ах, глупые, длинноязыкие ступеньки, ловите, держите, не уносите, не уносите, уносите, уносите...

Кошки, кыш, кыш, самовар, твой рот закрыт, поперек горла встанет, не согреет уже ни чьего горла твой обжигающий; ели, стыдно, стыдно, прикройте свою зелень белым саваном снега. Молчание: огонь — погасни, вода — застынь, снег — крепко обними ели. Зелень — ее, их, этих двоих, ах, выносят, выносят из дому, Нюта — ногами вперед, в материнском похоронном платье, зеленом, под платьем — еще одна незазеленевшая жизнь, идут горизонтальным шагом.

Сорок три года назад это было, пуповину перерезали, обработали спиртом, водки, принесите водки, на какой же тугой веревке опускают.

Отец с сахарно-ватными волосами, твои волосы впервые встали дыбом, Мать, отойди, женщинам нельзя, нельзя, нельзя...

Снег теплый, снег укроет, приголубит, не замерзнут, а весной цветы прорастут, красные-красные, с зелеными тычинками...

А теперь — умолкни, молчание...

С армянского. Перевод Анаит ТАТЕВОСЯН

Любовь

Все началось со сна: мышь бежала, ржавая мышеловка, скрежеща отвратительными зубами, гонялась за ней, потом показался Помпей и в ту же секунду наполнился кроваво-красным соусом вулкана. Открыла глаза и не поняла: кто кого ловил, что исчезало? Было ясно одно: потолок тревожно громыхал.

С этого дня веки мои растеряли сны, время мое встревожилось, а спальня превратилась в магнит. В какой части дома я бы ни находилась, в эту секунду непременно оказывалась в моей фантастической спальне.

Зырк-зырк... буква «з» скрежетала, как слоеное тесто от суматошных движений скалки, падала в объятия задыхающегося «ы», чтобы все, наконец, завершилось мажорным рыком «р-к» и снова началась — зырк-зырк, — ловкая, бунтующая, ритмичная мелодия...

Рай расположился на восьмом этаже восьмого подъезда. Там двое, и им с легкостью удастся успокоить безмятежность спокойного дня. Пол их спальни и потолок моей — в неистовом диалоге, а я только сейчас это замечаю.

— Ну? Чего опять лицо опухшее? Снова соседи не дали...

— Да, Нушик, да! Они сумасшедшие, ненормальные! В 8 утра, в полдень, днем, вечером и ночью — несколько раз!

— Ты считала? Вернее, ты уверена, что... — багровое от стыда и любопытства лицо подруги окрасило розовым экран моего телефона.

— Слышишь, да? Ну ладно, извини... мне пора, позже поговорим.

Видеозвонок прерывается, я быстро достаю из чемодана белый, купленный по поводу второго замужества да так и не использованный по назначению кривошей халат, заворачиваюсь в теплую ткань, устраиваюсь на нулевом меридиане своей постели...

Сначала я не понимала, что происходит, потом восхищалась неумной энергией соседей, а потом, между нами говоря, переполнилась ревностью и, как сказали бы мои соотечественники, — доброй завистью. Теперь я нервная. Теперь, зачастую, из продуктового магазина я мгновенно перехожу в аптеку.

— А от нервов что предложите? Нет... валериану, Новопассит, Персен — не хочу, не помогли. Есть что-нибудь посильнее?

Я не могу написать рассказ для новой книги, даже на самую простую тему, не могу подолгу гулять с ребенком, моя б воля, я даже обед готовила бы в спальне, а телевизор — со встроенным набором мультфильмов — выбросила бы к чертовой матери, чтоб ненароком не помешал лучшей симфонии нашего времени. Я начала внимательно изучать всех наших соседей — тех, кто доброжелательно со мной здоровается и тех, кто слишком счастлив, чтоб кого-то замечать. Во мне, наконец, проснулся настоящий сыщик!

Недавно мой брат вскользь заметил, что у нас хорошие соседи. Жаль только, что мы погибнем под рухнувшим от тяжести чужой любви потолком. Я сделала вид, что не слышу, но мне еще больше захотелось понять — кто же эти люди, переварившие несколько пачек баунти, сникерсов и виагры.

Сын сказал: мам, что за звуки? У меня уши разболелись! А мама воскресным утром удивленно спросила: «Так постоянно бывает? Интересно, что же происходит наверху?»

А я, как почетный секретарь Любви своих соседей, улыбнулась и сказала: «Да ничего, обычный ремонт, наверно, скоро закончат».

В понедельник блондинка в красном пальто вошла со мной в подъезд, кивнула, мол, здравствуйте, и даже не подождала, чтоб мы вместе зашли в лифт. Наверно, она слишком счастлива, чтобы дожидаться меня. Но чуть позже я с балкона увидела, как она села в свою машину и умчалась. Ошиблась я. Пришлось стереть ее из списка подозреваемых.

Во вторник я шла домой с десятилитровыми канистрами воды. На секунду поставила их на землю, чтобы перевести дух и продолжить путь. Рослый русский богатырь, примерно тридцати пяти лет от роду, неожиданно подхватил баллоны. Сказал, что я хрупкая и нежная, а красивые женщины не имеют права носить тяжести. Представился соседом.

— Вы наш сосед?

— Да. Не волнуйтесь, я не унесу вашу воду к себе домой.

— Да, конечно, — особо не вникая, промолвила я, а потом добавила: — Простите, а на каком этаже вы живете?

— На восьмом. Но, к сожалению, я — женат...

Значит, на восьмом. Наконец-то жертва сама, своим ходом подошла и попала в мою ловушку!

Вот безумец! Целый день при делах, а еще — «к сожалению, женат». А может, его жена — садистка? Или он устал от однообразной сексуальной жизни? Бедняга... Дошли до подъезда. Он поставил канистры на землю.

— Ну, красавица, кажется, дошли. Всего доброго.

— Как? — оторопело воззрилась я. — А вы?

— Я живу в соседнем подъезде, но, по большому счету, мы — соседи. Берегите себя и помните, что хрупким девушкам вредно носить тяжести.

А в прошлое воскресенье я села в лифт со старушкой с заячьими глазами.

— Вам на какой?

Победный «восьмой» резко зазвенел в ушах. Неужели я смогла поймать вечность за хвост? Я чуть не расхохоталась от удивления. Воистину неплохо живут пенсионеры в России, в отличие от одиноких эмигрантов вроде меня, ибо я вынужденно превратилась в дирижера, питающегося от эвфонии соседей.

Я четко знаю, когда начинается одно- или двухминутная увертюра, когда переходят к основной части, порой я сержусь, если антракты затягиваются, а потом, сопровождаемый аккомпанементом речитатив создает резкую какофонию. Начинается устремленный в вечность хаос! Поднимаю руки вверх, а потом медленно опускаю, пытаюсь движением рук обуздать страсти, однако они совершенно не слышат и не чувствуют меня — затерянную в оркестровой яме. Громко хлопаю дверью напоминающей чулан спальни и выхожу.

После недолгой паузы они начинают заново.

Итак: «Кармен», увертюра, сцена всецело ваша, но я уже прикрыла дверь в спальню, открыла рот для успокаивающей нервы таблетки и распространила по кухне иную музыку: Шопен, Ноктюрн оп. 9 №1.

«Да. Чуть не забыла». Говорю женщине с заячьими глазами, что я живу на седьмом этаже, прямо в их направлении. Многозначительно улыбаюсь, желаю всего хорошего и выхожу на своем этаже. Домой не захожу. Чтоб окончательно убедиться в собственной правоте, держась за перила, осторожно поднимаюсь на две ступеньки. Прозрачная рука женщины достает ключи из маленькой сумочки и открывает другую — соседнюю дверь...

Уже неделя, как я игнорирую пассажи соседского гульбища, более того — они стали так привычны (или мои антидепрессанты хорошего качества), что более не могут расстроить мой сон или помешать общению с сыном.

Ирония «верхов» меня больше не волнует. Я уже потеряла должность дирижера, нюх сыщика и агрессивную немочь одинокой женщины. Уложив сына, приготовив обед, выношу ведро с мусором, чтоб вернуться и докончить, наконец, открытую несколько недель назад да так и не прочитанную «Улыбку вечности». Поднимаюсь на несколько ступенек, пытаюсь засунуть в расположенную между седьмым и восьмым этажами синегубую пасть мусоропровода оставшийся от вчерашнего торта картонный поддон, который никак не хочет влезать. Наконец металлическая глотка с грохотом закрывается, и в ту же секунду чрезвычайно бледная женщина бальзаковского возраста открывает благословенную дверь.

— Простите, можно вас на минутку?

Смотрю по сторонам и понимаю, что она обращается ко мне. Просит на минуту зайти в дом. Я в квартире, боюсь сделать шаг вперед, но я уже вошла...

В обшарпанной, частично меблированной однушке пахнет лекарствами. Вот открывается дверь в спальню. Я боюсь поднять взгляд, но — вынуждена. В маленькой деревянной колыбельке горит от жара младенец. Молодая женщина — его мать, которая должна в одиночку вырастить этого розовощекого новорожденного ангела. Отец даже в роддом не явился, женщина не захотела оставить ребенка в доме малютки и уже несколько недель живет с малышом в съемной квартире. Она просит меня покачать дитя, пока сходит в аптеку за жаропонижающим. Спускаюсь домой, запираю дверь (сын проспит еще часок) и быстро возвращаюсь в спальню на восьмом этаже. Я качаю ребенка, утихомиривая его плач армянской колыбельной. Качаю... Пол спальни на восьмом этаже и потолок моей спальни снова вступают в диалог.

Эмигрантка

Здесь все на удивление практично-деловые. Я — практично-праздничная. «Женщина, тем более низкорослая женщина, без каблуков — не женщина», — мысленно обнадеживая себя, иду вперед в бесконечных поисках работы.

— Можно ваш паспорт?

— Простите, но мы принимаем только при наличии российского паспорта.

— Вы не гражданка? Почему же не предупредили? Извините...

Дождь, смешанный со снегом, умеет колоть, как игла. Небо, расцветенное молочно-белой краской, успело перекрыть желтое пятно. Вчера я отослала в Ереван один из своих рассказов.

— Нет, чего-то не хватает! Ритм изменился.

— Не понимаю... — я уже приготовилась оправдаться.

— Нет солнца, ты потеряла свое солнце... Здесь ты была полна тепла, а поехала туда и замерзла. То, что ты прислала, — лед, холодный ветер, ты наполнила строки морозом.

Слова от холода прилипли друг к другу, солнечная батарейка садится: храню ее для особого случая, литература как-нибудь обойдется без теплоты. Люди охотнее воспринимают грязь. Всегда есть возможность подчистить и посочувствовать. Читают и собственной слюной на своем же лице рисуют следы человеколюбивых слез.

— Возвращайся домой.

— Ты тоже эмигрировала?

— Жаль, что ты забыла Родину.

Быстро удаляю сообщения из Фейсбука и продолжаю путь. Таджики, подметающие наш двор, доброжелательно здороваются и продолжают чистить мусорные баки и подъезды аборигенов. Радостно и безропотно. Колокола Казанского собора очищают скопившийся во мне за день мусор. Хожу среди людей, мимо благодарностей и извинений, равнодушия и занятости, прохожу...

— Мам, ты в детстве о чем мечтала?

— Мечтала вырасти.

— А сейчас?

— Мечтаю снова стать маленькой. Как ты.

— Мам, наверно ты думала стать блондинкой, правда? Мам, ты самый счастливый человек на свете! Ты — маленькая блондинка!

Кто я? Обычный эмигрант, начинающий писатель, посылающий свои рассказы бесчисленным издательствам и ожидающий спасательного круга от эфемерного издателя. Конечно, можно стереть слово «эмигрант» и вернуться в собственную хибарку. Путь из Москвы в Ереван несложный. Напоминающие ватных овечек облака можно рассеять за 2 часа 20 минут. За это время кто-то крепко ухватится за сиденье (как будто в случае катастрофы сиденье превратится в ковер-самолет), кто-то торопливо начнет жевать и ходить в туалет, шагать взад-вперед по узкому воздушному коридору. Я в постоянной турбулентности, под грузом необходимости сохранить равновесие. Я выжгла внутри это беспокойное слово и не желаю избавиться от него. *Emigrantis* — синоним боли, чужбины, чаяний, предельности и бесконечного путешествия. Пришло сообщение от брата. Догадываясь о содержании, боюсь открыть.

В стремительности метро моя душа кочует по вагонам, подсматривает за парнем с бурьяном на голове, изучает старушку в форме каравая, не мигая, смотрит в напоминающие окошко в пункте обмена валют глаза азиата. «Не дайте мне уехать, слышите? Спасите! Не дайте, дайте...»

Слова доходят до кончика языка и стремглав падают внутрь. Их отголосок слышен мне и только мне.

Сама Москва подобна купчихе Кустодиева: полная жизни, крупная, сидящая перед самоваром и следящая за тобой с пристальным, взрывоопасным спокойствием. Потом — посылающая к черту это спокойствие, обращающая шаль в плеть, а чай —

в шампанское. Вдруг перевоплощающаяся в бегущую на алом фоне города, распутившую длинные светлые волосы до бедер молодую, искупавшуюся в страсти хитрую щеголиху — манящую и с той же страстью — отвергающую.

Нельзя Москву немного любить или немного ненавидеть, или жить, просто сохраняя нейтралитет. Ее или ненавидишь, или, как обезумевшая девственница, влюбляешься в нее и отдаешься без остатка. Я, влюбленная в этот город, вышла на станции «Театральная», прошла к бесконечной красной стене, туда, где покоится самый живой из покойников и самый мертвый из живых.

Подумала, как в известной сказке принц поцеловал спящую красавицу, она ожила, все были довольны, они — счастливы. А что если подойду вот к вставшему на путь вечного летаргического сна и поцелую его, и он оживет и не даст мне уехать? Я побежала, как безумная, еле переводя дух, стремительно, будто каждая секунда была фатально невозвратима. Не пустили, попросили посмотреть на время. Было десять минут второго. Десять минут решили мою судьбу, навсегда разлучив меня с субтильным большевиком, лишив чуда сказочного поцелуя. Мне почти взгрустнулось, я почти расстроилась, но вдруг увидела, что прямо перед Мавзолеем понуро и задумчиво ходит сам Владимир Ильич. Сделала шаг навстречу, вижу — второй подошел, потом к ним присоединились Сталин, Горбачев и, как будто этого было мало, — Иван Грозный и Екатерина. Делать революцию никто не хотел. «О времена, о нравы!» Пошла вперед. Сталин фотографировался с китайскими туристами, проявляя крайнюю степень гуманизма и толерантности. Из-за дерева показался один из царей, как будто вышедший из копировальной машины, немного разомлевший после акта мочеиспускания, застегнул ширинку, отряхнул камзол и пробурчал вполголоса: «Мать вашу, китайскую, видишь ли, с товарищами фоткаться пришли», — и возмущенно удалился.

Я тоже ушла. За одной станцией метро последовала другая. Здесь, устроившись на гигантских качелях, начала движение: вперед-назад, небо-земля, Москва-Ереван, Москва-... Оп... Вместе с эскимо глотаю ноябрьский мороз, чтобы нейтрализовать внутреннюю боль. Слизываю тающее мороженое, оно стекает в ладонь ленивой, равнодушной рекой...

Река... Широка и спокойна Москва-река. Серебристая поверхность так блестит, что превращается в гигантское зеркало, в котором видишь себя — в облике пышных кустов и длинноруких деревьев, в клочках облаков, даже в длинношеих новостройках. Дерево, прохожий, тень от здания, невозмутимо играющая с голубкой рыжая дворовая кошка, набегающие к летящим в воду хлебным крошкам утки с изумрудной выей, мыльной водой оmyвающие подъезды от завтрашней грязи таджики, сгорающие от ужаса войны украинцы, запекающие ежедневную боль в пирожках узбеки, пахнущие желтым азербайджанские торговцы дыней, скрывающие тайны города в металле ключей, прошивающие подклад разноцветными нитями слез и тоски армяне, улыбки и щедрая душа русских... — все, абсолютно все стекает в реку. Река покрывает все вокруг, но оставляет сушу на другой стороне. Река покрывает Нагатинский Затон. Мой полуостров. Мои руки в воде. Через воду мне передаются следы города, я тоже часть Москвы, которая умеет утекать...

Спрыгнула с качелей прямо в Коломенское — к реке. Открыла эсэмэс от брата, представила радость сына, спрятанную под маской решимости тревогу родителей.

Открыла: «Билеты куплены, где ты? Возвращайся домой».

Выкинула телефон в безмолвную пасть реки. Кап-кап-кап...

Колокола Казанского собора снова завели свою грандиозную беседу...

С армянского. Перевод Анны ВАРДАНЯН

Ричард Семашков

Рассказы

Карта черныбыльца

На самом деле плевать мне на птиц.

Городские птицы постоянно в расфокусе, фон, который всегда не к месту. Об их существовании помнят разве что пенсионеры, и, быть может, бомжи.

Только появилось солнце, и они, терпеливо дождавшиеся его выхода, начали друг с другом о чем-то увлеченно разговаривать, давно смирившись с тем, что их здесь никто не слышит.

Город медленно просыпался.

Одиноким таксистам заканчивали ночную смену, неторопливо разъезжаясь по свежeweымытому асфальту. Каждый искал своего загулявшего пассажира, у которого еще был шанс добраться домой.

Мне и Вовану домой не хотелось, и если кто-то, поравнявшись с нами, останавливал машину, то по резкому жесту моего друга тут же понимал — ловить нечего, и ехал дальше.

Мы стояли у новенького банкомата в самом центре нашего городка. Он имел свою персональную крышу на случай, если пойдет дождь, и представлял собой маленький денежный домик, из которого мы планировали вытащить четыреста рублей.

В нашем городе мало круглосуточных банкоматов. Местные банкишний раз не рискуют оставлять свои железные кошельки без присмотра, поскольку всегда найдутся люди, которые оперативно вскроют их и уйдут с добычей в ночь.

Наш выбор пал на тот, что был ближе всего к магазину, круглосуточно продававшему алкоголь без оглядки на закон и возраст покупателя. Все эти круглосуточные радости внушали нам веру в то, что через полчаса можно будет опуститься на высохшую круглосуточную лавку в парке и напиться.

Дело в том, что этой ночью, в виду некоторых обстоятельств, мы не спали, то есть для нас новое утро было продолжением прежнего дня. Тяжелого дня, в завершении которого необходимо выпить.

Перекидывая сигарету «Кент» между пальцами, Вован напряженно следил за тем, как я рыщу по внутренним карманам куртки в поисках карты.

У него начиналась паническая атака, и сейчас это было совсем не в кассу. В такие моменты к моему другу в голову забирался маленький человек с кувалдой и начинал

Семашков Ричард Владимирович родился в 1991 году в Калининграде. По окончании гимназии поступил в московский институт на факультет экономики, а затем в тульский университет на психол. фак-т. Оба факультета бросил. Работал разнорабочим, продавцом, грузчиком, сторожем. После службы в армии поступил на заочное отделение журфака, которое окончил в 2016 году. Под псевдонимом «РИЧ» записал несколько музыкальных альбомов, в том числе «Десятка», «Метан», «Патологии» (совместно с Захаром Прилепиным) и «Литий». В настоящее время работает колумнистом в разных изданиях.

там громить все. Подсознание предательски подчинялось громиле. Все, что Вован так тщательно раскладывал по полочкам в своем не самом дурном колпаке, оказывалось во власти этого злого головного берсерка. В такие минуты Вовану начинало казаться, что всё вокруг нереально, он переставал концентрироваться на окружающих его вещах, не мог следить за мыслительным процессом, не обращал внимания на то, что ему говорят, и тихо смирялся с тем, что сходит с ума.

Зеленая банковская карта проскользнула через дырку внутреннего кармана и улеглась в недрах курточной подкладки, терпеливо ожидая, когда ее найдут.

Отлично помню день, когда получил ее.

В восьмом классе к нам на урок пришла классная дама с радостной новостью. Суть ее состояла в том, что мы получили статус чернобыльцев. Класснуха с замогильной ответственностью зачитала нам перечень положенных льгот в связи с законом, целью которого было обеспечение компенсаций и социальной поддержки тех граждан, которые вследствие проживания либо в ходе устранения последствий катастрофы подверглись влиянию вредных факторов.

В тот день мы не поняли всех нюансов нашей привилегированности, однако усвоили главное — теперь каждому из нас ежемесячно будет поступать на счет четыреста рублей до тех пор, пока мы не решим покинуть наш денежный чернобыльский городок.

Девушки спокойно отнеслись к этой новости, нас же она сильно взбудоражила.

«Мы теперь дети чернобля», — под всеобщий гогот заключил Кирюха с последней парты, делая ударение на последний слог.

На последних страницах школьных тетрадей мы начали считать, сколько денег накопится за год, некоторые вели расчет чернобыльской халявы на несколько лет. Например, мой сосед по парте говорил о подержанном мотоцикле, который купит уже через каких-то семь годков.

Мои планы были скромнее. Веры в то, что я смогу так долго не брать деньги со счета, у меня не было.

И правда, с тех пор прошло много лет, но я ни разу не пропустил месяц, не сняв с карты свои законные четыре сотки.

Именно они должны были прийти сейчас на карту. Эти заветные рублики, предназначенные для поддержания здоровья в неблагополучной зоне, мы хотели пропить. Образованные люди говорят, что алкоголь убивает токсины. Я тоже так думаю.

Беспользные птицы искали семечки рядом с банкоматом. Мы были примерно в такой же ситуации.

Мимо нас торопливым шагом прошла женщина с сумочкой, осуждающе посмотрев на меня, рыскающего в карманах. Вовчик одарил ее своей фирменной улыбкой. Он имел привычку некрасиво улыбаться, когда ему что-то не нравилось: уголки его губ раздвигались, но рот не открывался, зато появлялся пренебрежительный прищур, и так собиралась его мерзкая лыба. Мне она очень нравилась. Завидев его гримасу, я всегда сам непроизвольно начинал улыбаться, только по-доброму.

— Люди на работу пошли, — зачем-то сказал я вслух.

— Ага, — поддержал Вован.

Ему сейчас было не до этого. Одиночество становилось физически ощутимым, причиняя боль. Он, конечно, помнил, что мы стоим у банкомата, чтобы снять деньги, которые должны были прийти мне на водку, в смысле, нам на водку, в смысле, нам на лечение, но сейчас его занимало совсем другое.

Связь с реальностью медленно угасала, и Вовчик усердно цеплялся за каждое воспоминание, которое помогло бы ему выбраться из этого ужаса. Он напоминал себе, какой сегодня день недели, вспоминал марку проезжающей машины, мое имя, цвет банкомата, все, что помогло бы ему вернуться в нормальное состояние.

Я наконец нашупал карту и судорожно набирал код.

Три часа назад мы вошли в дом, где жил отец Вовчика.

Никотиновая кухня дыхла на нас аммиако-водочным духом. Повсюду стояли пустые бутылки, некоторые из них переквалифицировались в пепельницы.

Рюмок не было. Его отец почти ничего не ел и пил исключительно из кружек, поэтому на столе стоял минимум необходимой посуды.

Сам батя лежал в проходе, который разделял кухню с залом. К нему вела кровавая дорожка, тянувшаяся от кухонного угла, где он обычно сидел.

— Опять звизданулся, — оценив ситуацию, заявил Вован.

В другом конце дома раздавался стук каблучков о паркет.

Переступив лежащего человека, мы вошли в зал, где ярко накрашенная брюнетка суетливо запихивала ноутбук в сумку.

— Тебя оплатили? — спросил он.

— Нет, — соврала она.

Мы знали, что любую девушку по вызову в нашем городе оплачивают по приезду, а сомнений в том, что она проститутка, не было.

— Забирай ноут и вали, — зло сказал Вовчик, оглядывая комнату на предмет недостающих вещей.

— А вы кто? — обиженно спросила женщина в красной мини-юбке из кожзама.

— Те, кто вытащит тебя за волосы, если ты сейчас же не съе..., — начал повышать голос Вован. — И кстати, что с ним? — добавил он, показав пальцем на лежащего отца.

— Не дошел до кровати... спит, — сказала проститутка, быстро надевая куртку.

Когда, хлопнув дверью, женщина вышла из дома, Вовчик, не доставая всей пачки из куртки, вытащил из кармана сигарету и закурил.

— Вроде дышит, — предположил я, пытаюсь перевернуть грузного батю Вована на спину.

— Да фули с ним будет. Давай, тащим его в машину.

Вовчик пошел в спальню, чтобы найти паспорт отца, я же, сняв куртку с вешалки, принялся натягивать ее на лежащего, который медленно начал просыпаться.

— Ты че? — пробурблил он, поглядывая на меня одним глазом.

— Ниче, пап! Сейчас в дурку поедем, — услышав бессмысленный вопрос, выкрикнул появившийся с паспортом Вовчик.

— Я никуда... не поеду, — окончательно проснувшись, попытался сказать папа.

— Еще как поедешь. Я тебя предупреждал. День настал.

— Какой еще день? — пытаюсь сесть, продолжил батя.

— Рыбный день — хвосты рубим, — похлопав паспортом по голове отца, смеясь сказал Вовчик.

Менять мокрые штаны желания не было, обувь же натянуть было необходимо.

Обувью в данном случае назывались разрезанные в верхней части тапочки — единственный обувной формат, который подходил его давно опухшим ногам.

Водрузив тело на себя, мы медленными шажками двинулись к «жигулям», которые я припарковал на заднем дворе. Если батек начинал сопротивляться, Вован прописывал ему предупредительный удар по корпусу, и мы шли дальше. Спотыкаясь каждые три метра, я ругал себя, что так далеко поставил машину.

Когда мы приехали к реабилитационному центру и заспанный сторож спросил, что нам надо, батя резко дернул плечом, отцепившись от меня, и попытался скрыться, но, сделав четыре или пять коротких шагов, упал на землю, аккуратно в огромную лужу на дороге, которая вела от трассы до «Алёнушки».

«Алёнушкой» у нас в городе называли самый дешевый центр скорой помощи для алко- и наркозависимых граждан.

— А ну валите, нахер, отсюда! — сквозь смех проорал сторож.

— Не, сдавать будем, сейчас поднимется, — уверенно ответил Вова, направляясь к луже.

После того как грязного батю обыскали, раздели и связали на койке рядом с остальными пассажирами, Вовчик отдал деньги и подписал какие-то бумаги, где значилось, что никаких претензий в случае смертельного исхода родственник иметь не будет.

Под двойным узлом руки папы сразу же начали белеть, и он потихоньку стал включаться в общий вой и зуд заключенных, которые, несмотря на поздний час, бодрствовали.

— Нельзя ли ослабить узел? — как можно мягче сказал Вовчик недовольной медсестре.

— Можно сейчас же забрать его отсюда. Мне с этим говном в ночь возиться не уперлось, — огрызнулась она.

Мы вышли к машине. Наступало утро.

— Ну и сервис, — попытался удивиться я, прекрасно зная, что Вован в курсе, как тут обращаются с нерадивыми пациентами.

— Выпить бы, — с надеждой посмотрел на меня он, — хреново мне что-то.

Демон в голове Вовчика начинал просыпаться, как будто его пробуждение напрямую зависело от появления дневного света.

Мой друг устремил свой взгляд на лужу, из которой недавно вытащил папу, и так около минуты стоял не моргая. Мне показалось, что он раздумывает, высушить ли ее взглядом или попытаться утопиться в ней.

— Мне сегодня должно немного упасть на карту, — вспомнил я, толкнув его плечом.

Помню, как в армии, в свой последний день, я считал в голове накопленные за мое отсутствие черномыльские деньги. Скрупулезно составляя список необходимых покупок, я представлял, как сниму в банкомате заветную сумму и положу их, сложив, во внутренний карман.

Какого же было мое удивление, когда карта оказалось пустой. Оказалось, что услугу отключили на время отбывания священного долга.

Большого всего в жизни мне хотелось, чтобы сейчас с этой услугой ничего не случилось. Мои деньги должны быть на этой проклятой карте, сейчас они мне нужны даже больше, чем в тот дембель.

«Пусть мне навсегда отключат услугу черномыльских выплат, пусть у меня никогда не будет машины и горячей воды, пусть меня уволят с работы, но эти четыреста рублей должны оказаться сейчас на карте», — пытался я договориться с кем-то внутри себя.

Я, закурив, ускорился в сторону банкомата. Вовчик плелся сзади, что-то бормоча себе под нос.

Птицы-роботы не обращали на нас никакого внимания.

Нам тоже было плевать на них.

Подушка

Драться на взлетке, перед всем танковым батальоном было не лучшей нашей идеей.

Откровенно говоря, «это» и идеей нельзя назвать было. Абсурд, мрак, залет, глюк, бред, провал — можно смело выбрать любой из терминов и не порочить возвышенный смысл слова «идея».

Сто двадцать человек ждут приказа отбыть на плац, где они должны совершить знакомые до рвоты упражнения, пробежать обязательные пять километров и по дороге незаметно выкурить по сигарете перед тем как вернуться в кубрик, одеться по форме номер четыре, а затем с чувством исполненного долга, под ротную песню и в ногу, двигаться в сторону столовой...

А тут такое...

Совсем ненадолго мой сержант задержал работу сержантского своего мозга, чтобы тот успел обработать, казалось бы, рядовое послание, в котором значилось, куда ему следует пойти. В то место, казалось моему сослуживцу, его может отправить всего несколько человек, все старше по званию, исключением могли стать только такие же сержанты, как и он, ну и, может быть, его отец, который тут вообще ни при чем.

А тут я...

Лучше бы мы на пару провели высадку на Луну. Вышли бы из лунного модуля в костюмах человека-паука и сообщили на станцию: «Неплохо для девчонок!» Вынули бы из твердой лунной почвы старый, истрепанный флаг и поместили в дырку лунного грунта знамя нашей дивизии, которое украли перед вылетом.

Лучше бы мы вбежали в Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского и вывесили на сцене органного зала плакат: «Не могу больше жить ложью — я голубой», а перед тем как хлопнуть дверью запасного выхода, написали бы на ней стихи: «Бах — лох».

Не факт, но почему-то уверен, что достойной альтернативой нашему поступку могло быть совместное появление в главном кабинете Кремля с целью одолжиться у президента. А если бы он спросил, на что нам требуются деньги, ответили бы, что не его собачье дело.

Чтобы понять, куда я тем утром послал своего сержанта, не обязательно хорошо учиться в школе и регулярно выполнять домашние задания; более того, для определения геолокации того места можно было бы смело прогулять все уроки географии. К чему это я? Сержант с легкостью понял направление, которое я ему указал, несмотря на все пробелы в образовании.

Вы можете мне не верить, к примеру, так же, как не верю я вам, но драться в берцах — примерно то же самое, что ходить в валенках не в баню, а по банным полкам, или спать с родной женой в двойном презервативе. Нет более неблагодарного времяпрепровождения, чем меряться силой со старшим по званию перед всем батальоном. После того как ты с трудом вырвал четыре часа, чтобы поспать.

Если бы моему сержанту природой было дано хоть на капельку больше ума, он вряд ли полез бы тогда со мной в драку.

Все было в его руках, но птичка по кличке «самообладание» вырвалась и улетела.

Он мог обойти землю тринадцать раз и сказать, что путешествие не стоило потраченного времени и занесения в книгу рекордов. Мог, заскочив на ужин к своей бабушке, крикнуть: «Veni, vidi, vici», — а потом объявить, что сам придумал эту фразу. Мог родиться девочкой и погибнуть в израильской армии. Лучше бы он сообщил всем собравшимся танкистам, что игра не стоит свеч и, сняв с себя лычки, подарил бы их душаре-дневальному. В любом случае, не стоило так близко к сердцу принимать мое пожелание.

Сам Господь Бог, похерив землетрясение в Японии и лесные пожары в Канаде, отвлекся на нас, с нескрываемым любопытством наблюдая, как оно пойдет дальше, чтобы потом записать результаты в свой белый блокнот уникальных редкостей. Кто знает, может быть потом именно из-за этого случая мы протолкнемся в райские врата без очереди, как те самые ребята, развеселившие самого Бога.

Мы бились так, что в оружейке заплакали ружейным маслом предохранители автоматов. Только что проснувшиеся, но навеки уставшие, солдаты смотрели так, будто нас нанял комбат, чтобы мы по утрам показывали копперфильдовские фокусы личному составу. Для профилактики самоходов и воспитания солдатской смекалки.

Все эти тошнотворные байки про армию от дембелей-суперменов просто блекнут на фоне той драки. Все напыщенные неправдоподобные боевики с голливудскими или там гонконгскими танцорами просто смех по сравнению с тем, что происходило на взлетке второго танкового батальона.

«Взлетка» — сколько волшебства в этом армейском слове, неудивительно, что мы творили на ней чудеса. Очевидно, невозможно прожить жизнь, никого не обидев, тем более если ты служил в армии, но клянусь своим дембельским альбомом, я вовсе не планировал обижать этого славного сержанта.

Не так важно, что было после того, как нас, злых и окровавленных идиотов, растащил командир роты. Могу ошибаться, но мне по-прежнему кажется: удивление с его лица не исчезло даже когда он, не докричавшись до нас матом, пустил в ход рукоять своего «Макарова». Не важно, сколько суток потом мы стояли в наряде, не

имеет значения, почему мы потом несколько дней не могли выйти на построение, нет смысла говорить, с каким аппетитом жевал свои лычки сержант, смешно вспоминать, с какой легкостью автомат Калашникова перезаряжается от удара в грудь. Все это детали, которые не принято описывать в большой литературе или рассказывать на первом свидании. Вряд ли обитатели московских кофеен когда-то вникали в тонкости и разнообразие армейских наказаний, сомневаюсь, что подобное было бы любопытно выслушать маме или припугнуть им напарника по шахматам.

Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Неправда. Кто в армии служил, тот перестал ходить в цирк.

Читатель возмущенно хмурит лоб, почесывая залысины, — ну где же драка? Где сама драка-то!? Уставшему от прелюдии читателю объясню: ни один из наблюдавших тогда эту битву на взлетке не сможет достойно описать ее, поэтому довольствуйтесь тем, что даю.

Помню, как после хорошо исполненного удара с колена сержанта кинуло к первой шеренге любопытствующих солдат. Досадно было упасть прямо к ногам рядового из-за колена другого рядового. Худший день в жизни начинается именно так.

Рядовой по прозвищу Никола (немудрено с фамилией Николаев) наблюдал за нашей битвой, будто на экране кинотеатра показывали никогда не виденный им фильм «Рокки», поэтому падавшего к его ногам сержанта принял как судьбу.

Николу подстригли, одели и привезли в нашу дивизию напрямую из села. Прямо скажем, кроме своего хозяйства, двухсот односельчан, двадцати коров, трех тракторов и двух мотоциклов, в жизни он не видел ничего. Николу стали кормить три раза в день, научили отжиматься, подтягиваться, мыть полы, стойко принимать удары, а затем посадили в танк и сказали, что теперь он механик-водитель. Никогда рядовой Никола не видел столько необычных людей вместе, и если бы кто-нибудь сказал Николе, что он будет бегать по пятнадцать километров в день и регулярно чистить дуло танка, Никола бы рассмеялся своим редкозубым ртом тому человеку прямо в наглый жбан. Полученных впечатлений ему и без того хватало если не на инфаркт, то на всю оставшуюся жизнь точно, а тут еще это...

Двое самоубийц, забыв про уставы и инстинкт самосохранения, решили проявить свои бойцовские качества перед сотней с хвостиком солдат, четырьмя командирами рот и двенадцатью командирами взводов, и единственной общей радостью было только отсутствие командира батальона в звании полковника, который досыпал свое в домах офицерского состава...

Когда-нибудь поезд дотащит дембеля Николаева до родного села, и он с пришитыми на правую сторону кителя аксельбантами и в начищенных до зеркального кружения берцах ступит на родную землю, где заплаканная мать и хмурый с похмелья отец встретят его как героя. Николе наконец-то отдастся первая и единственная красавица села, соседка Нина, и напившись, он однажды расскажет ей, как выстегнул наглого сержанта перед всем строем. Та не поверит, нежно спросив Николу, часто ли обижали его *там*.

Пройдет много времени, я стану большим писателем, объяснив всем этим недоумкам, кто пришел на их территорию и привел типажи, с которыми они не встречались в своих скучных, прилизанных литературских жизнях. Моя жена родит мне тройню, я построю ей большой дом с девятью комнатами, чтобы она могла прятаться от веселых детских игр и украдкой досматривать свой любимый фильм.

И — совершенно точно — я никогда не забуду, как забил на наш договор с пацанами о том, чтобы всем вместе встретиться на гражданке и приехать в город к этому злобучему сержанту, чтобы на месте переломать ему ноги. Не забуду, как быстро и неожиданно для себя я воплотил в жизнь эту алмазную мечту каждого второго бойца нашей роты, как я сократил дистанцию между теми, кто проходил учебку, и теми, кто до конца службы оставался в рядовых. До сих пор я слышу во снах мерзкий голос младшего сержанта, который крикнул мне тем утром: «Куда пошел, военнопленный, вернулся, натянул кантики и поправил свою ибАную подушку!»

Илья Фаликов

Борис Слуцкий: Майор и муза

Главы из книги

Одним движеньем

Об одном женатом приятеле, запутавшемся в бурном романе, Слуцкий сказал: — Не придавайте этой истории значения. Для лирического поэта такой роман — это все равно что прозаику съездить в творческую командировку.

К собственному роману с Татьяной Дашковской он отнесся совершенно противоположным образом.

Известно несколько версий знакомства Слуцкого с Таней. Выберем нейтральную. Но не безоблачную. Слуцкий увел эту женщину у своего приятеля, хозяина веселой квартиры, где собиралась молодая художественная интеллигенция.

Самойлов:

Подрабатывали мы более или менее регулярно на радио. Слуцкий создавал политические композиции типа «Народы мира славят вождя». Это ему не в упрек, я, например, начинал переводческую карьеру албанской поэмой «Сталин с нами» Алекса Чачи.

На радио Слуцкий познакомился с Ю.Тимофеевым, заведовавшим тогда детским отделом, и стал бывать в его доме на Сытинском, где толклось всегда множество народу и куда можно было забрести в любой час до глубокой ночи. Как-то притащил с собой и меня. Тимофеев умел нравиться. Понравились и его гости: молодые литераторы, актеры, актрисы.

О тимофеевской компании скажу здесь только несколько слов. Кстати, впервые будущую жену Слуцкого я увидел у Тоома¹, куда Тимофеев привел ее в качестве своей невесты.

После женитьбы отношения Слуцкого с Тимофеевым прекратились. (Одна из причин.)

В то время он был подтянут, весел, таинствен, и в радиокomiteе его принимали за разведчика, который скоро отправится в зарубежную командировку, а на радио заходит из праздного интереса или для прикрытия. Там он, между прочим, и песни сочинял, одна из них, положенная на музыку Григорием Фридом, называлась «Матросы возвращаются домой». Все это продолжалось четыре года. Он ушел с радио где-то в конце 1952 года накануне поимки «врачей-убийц»: тогда был установлен жесткий фильтр на определенные фамилии.

Собственно, портрет Слуцкого размашисто и точно, не без иронии Самойлов дал в печально-разухабистой поэме «Юлий Кломпус»:

Продолжение. Начало см. «ДН», 2018, № 5.

¹ Леон Тоом — поэт и переводчик, участник войны. В 1969 году покончил с собой. Слуцкий написал предисловие к его посмертному сборнику (1976).

Был в той ватаге свой кумир —
Поэт Игнатий Твердохлебов.
Взахлёб твердила наша братия
Стихи сурового Игнатия.
(Я до сегодня их люблю.)
<...>Все трепетали перед ним.
А между тем он был раним.
Блистательное острословие
Служило для него бронёй.
И он старался быть суровее
Перед друзьями и собой.
С годами не желал меняться
И закоснел в добре, признаться,
Оставшись у своих межей.
А мы, пожалуй, все хуже.

Самойлов вписывает Игнатия в картину пиршественного мира, нам интересную:

Как проходили вечера?
Там не было заядлых пьяниц:
На всю команду «поллитранец»
Да две бутылки «сухача»,
Почти без всякого харча.
(Один Стожаров, куш сграбастав,
Порой закладывал за галстук.)
И вот вставал великий ор
В полуподвальном помещенье.
И тот, кто был не так остёр,
Всеобщей делался мишенью
И предавался поношенью.
Внезапно зачинался спор
О книге или о спектакле.
Потом кричали: «Перебор!» —
И дело подходило к пеню.

Что пели мы в ту пору, бывшие
Фронтовики, не позабывшие
Свой фронтовой репертуар?
Мы пели из солдатской лирики
И величанье лейб-гусар —
Что требует особой мимики,
«Тирлим-бом-бом», потом «по маленькой»,
Тогда опустошались шкалики;
Мы пели из блатных баллад
(Где про шапчонку и халат)
И завершали тем, домашним,
Что было в собственной компании
Полушутя сочинено.
Тогда мы много пели. Но,
Былым защитникам державы,
Нам не хватало Окуджавы.

Шла молодая, безалаберная, безоглядная жизнь людей послевоенной поры, и
Слуцкий был ее частью, хотя и автономной.

Самойлов:

Слуцкий нравился женскому полу. Его неженатое положение внушало надежды. Опять-таки в шутку мы составили список 24-х его официальных невест. При всей внешней лихости с женщинами он был робок и преховодником так и не стал. Несмотря на все свои преимущества и на огромное количество послевоенных непристроенных девиц. Непосыгаемость Слуцкого вызывало толки, нелестные для его мужества, исходившие, главным образом, от разочарованных невест. Объясняется оно, на мой взгляд, чрезвычайной щепетильностью Слуцкого и старомодным уже понятием о нравственности, а отчасти тщеславной заботой о репутации лихого во всех делах майора, которая, вероятно, была бы поколеблена, если бы перед какой-либо особой женского пола вдруг открылась его юношеская робость, чистота и отсутствие мужского опыта.

Женщины, его волнующие, оставались на дистанции любования ими. Более тесные отношения изредка отмечались в стихах, но дальше дело не шло.

Зацитированное стихотворение «Ключ» — о том, как он, хозяин жилья, предоставляет товарищам возможность уединиться с дамой сердца на его площади, — в известной степени можно отнести к своеобразной эротике, по нынешним меркам целомудренно экзотической. «Меня всегда потрясала, сбивала с толку, дезориентировала легкость, позорная легкость любовных отношений» («Девушки Европы»).

Этот поэт смотрит на женщину со стороны, на расстоянии. Снизу вверх. Пройдя

грязь войны, он остался шестнадцатилетним школьником. Он сколько угодно может иронизировать над собой, она — недостижима. Несчастлива и недостижима.

<...> И точно так же, как прежде,
И ровно столько, как раньше,
Нет места мне в этой надежде,
Хоть стал я толще и краше,
Ноль целых и ноль десятых
Ко мне в глазах интереса,
Хоть я — такая досада! —
Надел костюм из отреза,
Обул модельные туфли,
Надраил их до рассвета...

Увидев меня, потухли
Глаза океанского цвета

(«Тридцатилетняя женщина...»)

Эдакая вариация блоковской Прекрасной Дамы. По-слуцки.

В послесловие (послевойну) входило немало поэтов, в том числе — Ксения Некрасова. Она у Слуцкого прошла по жанру воспоминания. Если учесть, что о женщинах этот лирик в интимном духе почти не писал и за долгие годы в его мужской памяти возникает лишь одно женское имя, и то — Жаннет, солдатская любовь на ходу, стихи о Ксюше покоряют непритворной нежностью и участием в женщине, которую угораздило стать поэтом.

У Малого театра, прозрачна, как тара,
Себя подставляя под струи Москвы,
Ксюша меня увидела и стала:
— Боря! Здравствуйте! Это вы?
А я-то думала, тебя убили.
А ты живой. А ты майор.
Какие вы все хорошие были.
А я вас помню всех до сих пор.

Я только вернулся после выигранной,
После великой второй мировой
И к жизни, как листик, из книги выданный,
Липнул.

И был — майор.

И — живой.

Я был майор и пачку тридцаток
Истратил ради встречи готов,
Ради прожитых рядом тридцатых
Тоших студенческих наших годов.

— Но я обедала, — сказала Ксения. —
Не помню что, но я сыта.
Купи мне лучше цветы
синие,
Люблю смотреть на эти цвета.

Тучный Островский, поджав штiblеты,
Очистил место, где сидеть
Её цветам синего цвета,
Её волосам, начинавшим сесть.
И вот,
моложе дубовой рощицы,
И вот,
стариннее
дубовой сохи,
Ксюша голосом
сельской пророчицы
Запричитала свои стихи.

(«Ксения Некрасова»)

О цветах Слуцкий написал в первом стихотворении, посвященном Тане. Сюжет практически тот же:

Воспитан в духе жадной простоты
с её необходимостью железной,
я трачу на съедобное, полезное,
а Таня любит покупать цветы.

(«Воспитан в духе жадной простоты...»)

Эти две женщины невольно сливаются. Их срачивает поэзия или повод к ней:

...цветок, цветок, цветок пришел ко мне —
на малое великое подвигнет.

Слуцкий был склонен объединять женщин. В превосходном стихотворении «Мариэтта и Маргарита...» он подверстывает к Шагинян с Алигер еще и Берггольц, и эти три великолепные фурии дают прикурить — режут правду-матку — самому высокому начальству.

Поэзия и правда. Слова женского рода.

Это этюды женских типов, хотя Ксюша — полномасштабный, развернутый портрет.

Совершенно индивидуален и эпически могуч портрет бабки — «Как убивали мою бабу». Или — старуха из «Старухи в окне», немка из «Немки». Умение писать отдельную женщину было присуще ему, но долгое время он изображал женщин если не массово, то коллективно. Отдельная женщина либо тонула в каком-то общем действе: «Ревет на пианоле полька» («Как залпы оббивают небо...»), либо заявляла о себе лишь одним поющим голосом («Воспоминание»; опять воспоминание...). Редко у нее было имя и лицо, как у вдовы Ковалевой Марии Петровны («Память»), чаще женщины Слуцкого группировались в нечто общее («Три сестры»). Чуть ли не единственный раз, когда он привлек в свои союзники Блока, нещадно пародируя и его, и в известной степени пафос мировой революции:

И мировой пожар раздуем,
чтобы на горе всем буржуйам
согрелась у огня жена.

(«Как залпы оббивают небо...»)

Он смотрел на Блока несколько странно. Вот его характеристики предшественников:

Да, я трудился и старался
на том же поприще, на том же
ристалище, что Фет и Блок,
но Тютчев делал то же тоньше,
а Блок серьезней делать мог.

(«Я был проверен и допущен...»)

Это кажется оговоркой: по идее, «тоньше» и «серьезней» должны поменяться местами ввиду тютчевской метафизики и блоковского лиризма. Но Слуцкий мыслит не так, как мы.

«Мгновенная, военная любовь» не стала его какой-то важной темой, но приглушенно проходит сквозь его войну, отчетливей всего — в конце войны. Послевоенное чувство ненужности («Когда мы вернулись с войны, / Я понял, что мы не нужны») скрашивали женщины («Я вдруг ощущал на себе / То черный, то синий, то серый / Смотревший с надеждой и верой / Взор»). Страсть, ревность, любовный восторг, брошенность женщиной — ничего такого у Слуцкого нет. Упомянув в своей лирике Лилю Юрьевну Брик, он как бы подчеркнул отсутствие подобного сверхперсонажа в собственном творчестве.

Был другой адресат, вечный:

Самый старый долг плачу:
с ложки мать кормлю в больнице.
Что сегодня ей приснится?
Что со стула я лечу?

Я лечу, лечу со стула.

Я лечу,

лечу,

лечу...

— Ты бы, мамочка, соснула. —

Отвечает: — Не хочу...

Что там ныне ни приснись,
вся исписана страница
этой жизни.
Сверху — вниз.
С ложки
мать кормлю в больнице.

Но какой ни выйдет сон,
снится маме утомлённой:
это он,
это он,
с ложки
некогда
кормлённый.

(«Самый старый долг»)

Но в больнице, навещая больную мать, он оглядывает всех там находящихся женщин, пытаясь их подбодрить шуткой:

Я сию и подаю репризы.
Боли, и печали, и капризы,
что печали? —
даже грусть-тоску
с женским смехом я перетолку.

(«Женская палата в хирургии»)

Маму он лечил в Москве. Она умерла 2 ноября 1974 года. Похоронили ее в Харькове.

А ведь они с мамой переписывались. В отличие от сына-поэта Александра Абрамовна к переписке относилась трепетно: пока из времени не выпала, педантично проставляла даты и на любую весточку отвечала незамедлительно. Главная ее мысль была, конечно же, мысль семейная. Она любила повторять: «Мама есть мама». В последние годы, потеряв мужа, даже гостя у детей, со всеми ними вела подробную переписку. Знала, что старшего сына ее письма редко застают дома. Если роптала, то глухо.

Письма ее — по-своему счастливой матери, вырастившей и сохранившей троих детей в нелегкие времена, — тем не менее драматичны от первой дошедшей до наших дней открытки до последнего клочка выцветшей бумаги, вкривь и вкось исцарапанного карандашом.

Это ее тридцатое из сохранившихся писем. Важно то, что это — *попытка* написать письмо. Может, она и не догадывается, что оно бессвязно.

Дорогой сыночек!

Получила твою новую книжку стихов. Читаю и перечитываю — мне очень нравится — спасибо тебе дорогой сыночек не забываешь маму

Сейчас читаю твою книгу — мне очень все в ней нравится — с большим удовольствием читаю и перечитываю.

Вот только ты бы дорогая Танюша выздоравливала — не волнуйся дорогой сыночек все будет хорошо ...

Слуцкий познакомился с Лилей Юрьевной Брик в предвоенной Москве. Ее последний муж В.А.Катанян по долгу дружбы с Маяковским занимался его наследием. Он чутко реагировал на интересы и знакомства жены.

У ЛЮ было удивительное чутье на все новое, талантливое, на людей незаурядных. Когорта предвоенных молодых поэтов: Борис Слуцкий, Михаил Львовский, Павел Коган, Михаил Кульчицкий... Она их выделила, и они инстинктивно тянулись к ней — к музе поэта, которого боготворили. Неизвестные, молодые, беспечные студенты бывали у нее в доме, читали ей стихи, разговаривали о поэзии, она их всегда вкусно угощала... ЛЮ очень ценила стихи Бориса Слуцкого, любила его самого и его разговоры, переписывалась с ним в годы войны.

На войне, в самом ее конце, Слуцкий получил письмо от Лили Юрьевны о том, что от паралича сердца умер Осип Брик.

Отношения развивались долго и тесно. 16 июля 1956 года она пишет:

Дорогой Слуцкий, только что прочла в «Знамени» Ваши новые стихи. Вы сами, конечно, знаете то, что я скажу Вам, но все равно сказать хочется. Я не плакса, но читать Ваши стихи вслух не могу без слез, горло сжимается и сердце. Не потому, что они тяжелые, а потому что настоящие, потому что Вы большой поэт. Нелогично, но настоящее искусство такая редкость, и Вы пишете так ни на кого не похоже, стихи сделаны так тщательно, то, о чем Вы говорите, такое неподдельное и целеустремленное.

Осип Максимович, утешая меня, говорил, чтоб я не унывала, что искусство наше не умерло, что его пульс слабо, почти неслышно, но бьется. Как всегда, он оказался прав.

Очень хочется повидать Вас.

Как Ваше ухо?

Будем в городе в среду или четверг. Позвоним Вам и, если у Вас будет время и желание, поедем вместе на дачу.

Спасибо за стихи. Сердечный привет.

Лиля Брик.

Лиля Юрьевна вела достаточно привилегированную жизнь и в жестких условиях советского режима получала немало даров свободы, в том числе — регулярные выезды за границу, в Париж, где ее сестра Эльза Триоле с мужем Луи Арагоном, коммунистом, наравне с писанием собственных сочинений изрядную часть времени посвящали пропаганде советской литературы, много переводили — стихов и прозы.

19 ноября 1956 года Лиля Юрьевна пишет Слуцкому:

Дорогой Борис, сегодня мы на даче. Цветут розы. Читали Арагонам Ваши прекрасные стихи. Жду весточки от Вас. Книжный базар не состоялся!! Бродили по Парижу. Ходили в кино. Были на выставке Матисса. Смотрели Марселя Марсо — он не хуже Чаплина. Часто говорим о Вас. Смешно, что в статье Друзина¹ Вас не оказалось! Не забывайте нас. *Лиля.*

Эльзе и Арагону очень сильно понравились Ваши стихи. Они даже повздорили из-за того, кто будет их переводить.

10 июня 1963 года она сообщает Слуцкому из Парижа: «"Лошади в океане" перевели Гиевик и Робель так преотлично, что будут напечатаны оба перевода».

Лиля Юрьевна помогала Слуцкому с выездом Тани в Париж на лечение. Таня выезжала во Францию два раза — летом 1960-го и летом 1976-го. Помогало, но ненадолго.

Некий телефон Слуцкого — возможно, гостиничный — мы можем узнать из «Записной книжки» Анны Ахматовой: ВО-12-90. Рядом — номера Маруси Петровых, Маргариты Алигер и проч. Вот круг, куда он был вписан Ахматовой. Найдем у нее и черновик надписи на ее книге (неизвестно, на какой):

Борису Слуцкому

тень от тени

Ахматова

20 дек<абр> 1958, Москва

Туманновато. Надо долго думать, чтобы с советским офицером наводить тень на плетень.

Есть у нее и фамилия Слуцкий со знаком +. С такими же плюсами — Оксман, Винокуров, Шервинский. Без пометок обозначены Заболоцкий, Тарковский, Антокольский. Некоторые фамилии помечены минусом. Маршак, Максимов, Адмони, Чуковская и проч. Что бы это значило? Скорей всего, это связано с дарением своей книги. Над этим списком — такая запись:

24 мая

Это были черные тюльпаны,

Это были страшные цветы.

В трехтомнике Л.К. Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» Слуцкий впервые упоминается 1 июня 1956 года, и это — замечательный сюжет:

¹ В.П. Друзин — критик, тогда главред журнала «Звезда»; его статья «Ненаписанная история» была полемикой со статьей Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого»; в перечне поэтов военного поколения пропустил имя Слуцкого. Действительно смешно.

Итак, жила я с выключенным телефоном. Писала. Лил дождь. Внезапный стук в дверь. Это Наталия Ильина, командированная за мною Анной Андреевной. Я отправилась. На столике и на постели разбросаны тетради, блокноты, листки. Чемоданчик открыт. К празднику сорокалетия советской власти Слуцкий и Винокуров берут у Ахматовой стихи для какой-то антологии: 400 строк. Чемоданчик в действии — Анна Андреевна перебирает, обдумывает, выбирает, возбужденная и веселая. Когда я вошла, она бросила тетради и листки обратно в чемодан, хлопнула крышкой и, усадив меня за столик, начала диктовать.

— С вами удобно, — пояснила она. — Можно по первым строчкам. Или по последним.

— Можете даже по седьмым, — сказала я, возгордившись.

Мы составили список приблизительно из сорока стихотворений. Не спорили или, если спорили, то только о «проходимости». Впрочем, вообразить невообразимое все равно нельзя, оно «непостижимо для ума» — даже для ума и воображения Анны Ахматовой. Отбор совершался под лозунгом: граница охраняема, но неизвестна.

Анне Андреевне очень хотелось дать «Стансы». Мне, разумеется, тоже... Сначала голос хоть и трагический, но величавый и спокойный, а потом вдруг, при переходе во второе четверостишие, удар неистовой силы. Вру; не «при переходе», а безо всякого перехода, как удар хлыстом: «В Кремле не надо жить»...

А в последних двух строках — полный и точный портрет Сталина:

Бориса дикий страх и всех Иванов злобы
И Самозванца спесь — взамен народных прав.

— Как вы думаете, все догадаться, что это его портрет, или вы одна догадались? — спросила Анна Андреевна.

— Думаю, все.

— Тогда не дадим, — решила Анна Андреевна. — Охаивать Сталина позволительно только Хрущёву.

Любопытно пройти по «Запискам...» Чуковской с тем, чтобы рассмотреть эволюцию отношения Ахматовой к Слуцкому.

15 октября 57

Третьего дня вечером была у Анны Андреевны. Неизвестно, то ли микро, то ли не микро, но во всяком случае велено лежать, и она лежит. Гости: Наталия Иосифовна Ильина и Татьяна Семёновна Айзенман. В столовой Нина Антоновна и Пастухова пьют водку с «примкнувшей к ним» Ильиной, а возле Анны Андреевны по очереди — я и Татьяна Семёновна.

Анна Андреевна о стихах Слуцкого:

— Поэзия его лишена тайны. Она вся тут сверху, вся как на ладони. Если же заглянуть вглубь, то позади многих стихов чувствуется быт совершенно мешанский: вязаная скатерть, на стене картина — не то «Переезд на новую квартиру», не то «Опять двойка». В сущности, это плоско. Полуправда, выдающая себя за правду.

7 января 58

Была раз у Анны Андреевны. Ардовы ушли на именины, и я сидела у нее очень долго, до двух часов ночи, пока не вернулись хозяева. Ей лучше. Она принимает какое-то лекарство, сосудорасширяющее, которое ей привез из Италии Слуцкий. Дай ему Бог здоровья.

5 апреля 58

Вчера провела вечер у Анны Андреевны. Вначале у нее Мария Сергеевна Петровых и Юлия Моисеевна Нейман, потом приехала еще и Эмма Григорьевна.

Когда я пришла, Анна Андреевна вместе с Марией Сергеевной поздравлялись Галкину, чтобы поздравить его с еврейской Пасхой.

— Галкин — единственный человек, который в прошлом году догадался поздравить меня с Пасхой, — сказала она.

Потом потребовала, чтобы ей добыли телефон Слуцкого, который снова обруган в «Литературной газете» (лжеписьмо Н.Верицкого. — *И. Ф.*).

— Я хочу знать, как он поживает. Он был так добр ко мне, привез из Италии лекарство, подарил свою книгу. Внимательный, заботливый человек.

Позвонила Слуцкому. Вернулась довольная: «Он сказал — у меня все в порядке».

Протянула мне его книгу. Надпись: «От ученика».

Прошло полгода.

19 ноября 62

Монолог Анны Андреевны по телефону:

— Нездоровится; нет, ничего особенного, гастрит; вот лежу и болтаю с друзьями. Я решила уехать в Ленинград от вечера Литмузея. Пусть делают без меня. Если я в Питере, то вот и естественно, что меня нет. Я их боюсь, они все путают. Маринин вечер устроили бездарно. Приехал Эренбург, привез Слуцкого и Тагера — Слуцкого еще слушали кое-как, а Тагер бубнил, бубнил, бубнил, и зал постепенно начал жить собственной жизнью. Знаете, как это бывает? Каждый занимается собственным делом. Одни кашляют, другие играют в пинг-понг. (Я приснула.) И это — возвращение Марины в Москву, в *ее* Москву!.. Нет, благодарю покорно.

9 декабря 62

— Вы заметили, что случилось со стихами Слуцкого о Сталине? Пока они ходили по рукам, казалось, что это стихи. Но вот они напечатаны, и все увидели, что это неумелые, беспомощные самоделки. Я боялась, с моим «Реквиемом» будет то же.

В этот день — 9 декабря 1962 года — литературовед Ю.Г.Оксман, после общения с Ахматовой, записывает в дневнике:

Но самое странное — это желание А.А. напечатать «Реквием» полностью в новом сборнике ее стихотворений. С большим трудом я убедил А.А., что стихи эти не могут быть еще напечатаны... Их пафос перехлестывает проблематику борьбы с культом, протест поднимается до таких высот, которые никто и никогда не позволит захватить именно ей. Я убедил ее даже не показывать редакторам, которые могут погубить всю книгу, если представят рапорт о «Реквиеме» высшему начальству. Она защищалась долго, утверждая, что повесть Солженицына и стихи Бориса Слуцкого о Сталине гораздо сильнее разят сталинскую Россию, чем ее «Реквием».

Неуследим путь поэтического размышления — в один и тот же день столь разноречивые вердикты!

Слуцкому она при встрече сказала о его «Боге»:

— Я не знаю дома, где бы его не было.

Ахматова ревновала к славе.

И слава лебедью плыла
Сквозь золотистый дым...

Лев Озеров, нередко бывавший у Ахматовой, привеченный ею, вспоминает:

Когда 23 июня 1959 года в «Литературной газете» появилась моя статья об Ахматовой, преданной анафеме, еще опальной и ошельмованной, Слуцкий приехал ко мне и, переступив порог, крепко пожал мне руку.

— Это событие. Только что мы говорили об этом с Межировым, Самойловым, Петровых, Мартыновым. Все так считают. Спасибо. — Крепкое резкое пожатие руки.

В этом свете странноватым, но в какой-то мере небеспочвенным выглядит сообщение Н.Королёвой:

Для нас, ленинградцев, пожалуй, более досадным было неприятие Слуцким Анны Ахматовой. В Комарове, например, Слуцкий мог сказать: «К старухе не пойду. Не хочу носить шлейф». И написал стихотворение, в котором отдавал Ахматовой должное за гордую ее позицию, но — не любил: <...>

Я с той старухой хладноужлив был,
Знал недостатки, уважал достоинства,
Особенно спокойное достоинство,
Морозный ледовитый пыл.

.....

Республиканец с молодых зубов,
Не принимал я это королевствование:
Осанку, ореол и шествование, —
Весь мир господ и, стало быть, рабов.

Впрочем, однажды, в поздние годы, он все же взял эпиграфом к стихотворению «В раннем средневековье...» слова Ахматовой «Не будем терять отчаяния», видимо, эту формулировку Н.Н.Пунина она произнесла в каком-нибудь разговоре с ним или при нем... П.З.Горелик, друг Слуцкого с детских лет, сказал мне, что у Бориса Абрамовича была записная книжка с распределением мест поэтов по «гамбургскому счету» и что первым там поставлен поэт Рудерман, автор «Тачанки». Интересно, по какому принципу Слуцкий составлял этот «гамбургский» список? И на каком месте там Ахматова? А Твардовский? Есенин? Впрочем, известно, что Твардовского Слуцкий ценил высоко и это была, что называется, любовь без взаимности... Твардовский стихов Слуцкого не ценил и, кажется, не печатал. Во всяком случае нам была известна шутливая фраза Слуцкого, что в «Новом мире» его печатает Софья Григорьевна Караганова (заведующая редакцией поэзии. — *И.Ф.*) только тогда, когда Твардовский в отпуске или в запое...

Кинорежиссер Григорий Козинцев, двоюродный племянник Эренбурга и родной брат его жены, познакомился со Слуцким в Москве в доме Эренбургов и, находясь в том доме, записал в своем дневнике:

30.7. <1958>

Приходил Слуцкий. Он, как и Эренбург, не только не любит, но и попросту не понимает «Поэму без героя». «У Ахматовой, — говорит он, — вероятно, был ключ, а я, человек достаточно искушенный в поэзии, не смог его отыскать».

Племянница Слуцкого Ольга Ефимовна говорит в интервью («Еврейская панорама»: Независимая ежемесячная газета. — 2016. Январь, 30):

...мой отец работал на секретном предприятии. Всю жизнь связанный с производством оружия, он в этой области был известен не менее, чем Борис в поэзии. <...>

Когда я родилась, <Б.Слуцкий> прислал родителям письмо: «Если вы назовете ее Матильдой или Клотильдой, она обязательно станет маникюршей. Не вздумайте сделать из нее памятник умершим: назовете Дорой, она будет в точности Дорой Ефимовной (так звали мамину маму). Предлагаю на выбор имена из русской классической литературы: Ольга, Татьяна, Елена». Выбрали Ольгу. Так я не стала Клотильдой-маникуршей.

Поэт часто навещал дом брата вдали от столицы, в уединенном одиночестве военного городка под Коломной.

На полигоне дядя Боря уходил в лес и в одиночестве (так он думал) проговаривал стихи, рифмы. За ним в это время следили бдительные местные мальчишки. Они подходили к чужаку и спрашивали: «Сколько времени?» Хотели убедиться, не с иностранным ли акцентом он говорит. Оставили его в покое, только когда узнали, что он приехал к Слуцким. Ему было хорошо у нас, но надолго он не оставался — не мог спать, когда испытывали оружие. После черепно-мозгового ранения дядю мучили головные боли, бессонница.

Когда в жизни Бориса появилась Таня — его будущая жена, приезды его к нам стали редкими.

— *Итак, в жизни Бориса Слуцкого появилась Татьяна Дашковская. Как это произошло?*

— До 40 лет Слуцкий был холостяком. Как он сам говорил, ему нравились красивые, хорошо одетые женщины, от которых пахло дорогими духами. Но содержать такую женщину он не мог: не было ни денег, ни жилья. Потом жизнь более или менее наладилась: его стали печатать, пришла известность, появилась своя комната. Однажды (еще одна версия знакомства Слуцкого с Таней. — *И.Ф.*), стоя во дворе дома, Борис Абрамович разговаривал с начинающим поэтом, который просил дать ему рекомендацию в Союз писателей. Мимо прошла Таня и поздоровалась с собеседником дяди. Со Слуцким они, не будучи знакомы, давно приглядывались друг к другу. Таня успела побывать замужем, развелась. Она нравилась Борису: стройная, красивая, с косой, уложенной вокруг головы. Тяжелые волосы оттягивали голову назад, отчего женщина эта казалась чуть надменной и недоступной. «Познакомь нас, — мгновенно нашелся Слуцкий, — и я дам тебе рекомендацию». Знакомство состоялось, и больше они не расставались. Борис и Таня прожили вместе 20 лет, 11 из которых она страдала неизлечимым заболеванием крови — лимфогранулематозом. Слуцкий все годы ее болезни работал, как каторжный, занимался переводами — за них хорошо платили. Тане был необходим свежий воздух — стали жить за городом. Такая же болезнь была у Помпиду. Борис Абрамович сумел отправить Таню во Францию к врачу, который лечил президента.

Таня была моложе на целую жизнь. Одиннадцать лет разницы. Считалось, много. Ему-то шло к сорока. Страннейшее сближение: Леонид Мартынов считал число одиннадцать своим счастливым числом, а у Слуцкого было нечто смешанно-печальное — одиннадцать лет послевоенного бездомья, одиннадцать лет разницы с женой, одиннадцать лет болезни жены...

Она была крупной, статной, белокожей, с продолговатым лицом и удлинённым разрезом глаз. До болезни переплывала Москву-реку туда и обратно. Инженер-химик, без творческих амбиций, просто красивая и остроумная молодая женщина. А просто ли? Вряд ли. Слуцкий пропал, то есть полюбил. Весь, без остатка. Сказать, что жизнь его перевернулась, — ничего не сказать.

Стихов его первоначальной страсти нет. В течение двадцати лет о Тане — именно о ней — Слуцкий не написал ни строчки. Ею было что-то внушено, ее свет падал на какие-то стихи, но прямого обращения к ней или к ее образу не было.

Комнату в коммунальной квартире на Ломоносовском проспекте, дом 15, он добыл предварительно, соседи Баклановы занимали две комнаты, Слуцкий одну, и впервые он пошел покупать мебель — шесть стульев. Кров пришел к нему через Союз писателей, разумеется. Его авторитет в этой организации пока что равнялся объему жилья, ему выделенного. Позже, уже входя в партком и выполняя многочисленные общественные функции, он не сильно напрягался в сторону улучшения жилищных условий. Произошел многоходовой квартирообмен с участием семейства Баклановых. Прогресс был скромнен — отдельная квартира на окраине столицы в поселке Сокол, в 3-м Балтийском переулке, дом 6, корп. 1, кв. 15, рядом с Рижской железной дорогой. Да, он обрел квартиру — маленькую, двухкомнатную, с крохотной прихожей, с очень скромной обстановкой — вот только несколько хороших картин без рам, приличное собрание, кое-что из А.Зверева, В.Лемпорта, Н.Силиса, много Ю.Васильева, да книги, многие из которых были библиографической редкостью, — в бараке, на отшибе, с телефоном через коммутатор: 155-00-00, доб. 2-48. К той поре коммутатор был уже реликтом. В центр города и обратно Слуцкий часто ходил пешком, 22 километра в одну сторону.

В рот ему она не глядела. Прилюдных — и, вероятно, домашних — восторгов мужем-гением не было. Зато было несчитанное количество отпечатанных ею на машинке его стихов, которые он раздавал направо и налево. Она садилась за пишмашинку тотчас по окончании им новой вещи, чаще всего утром. Ознакомившись, высказывалась. Обилие им созданного — очевидное свидетельство ее вдохновляющего взгляда на его дело. Хотя ей не все нравилось, и она могла посмеяться над чем-то. Выйдя за Слуцкого, она работала по специальности лишь первое время. Уходу ее на домашнее хозяйство он не слишком радовался. Она упорно учила English, читала английские книги и даже порой делала подстрочники для Слуцкого, в частности из Уитмена.

К новому году 1964 года Слуцкие получили письмо от четы Эренбургов:

31 декабря 1963.

Дорогой Борис Абрамович и гордая Таня, ваши друзья вас обнимают, желают года получше и ждут в Новоиерусалиме (имеется в виду поселок Ново-Иерусалим, где находилась дача Эренбурга. — *И.Ф.*). Обнимаем. *Эренбурги.*

Гордая Таня.

Сосед Бакланов заметил: «С характером».

Когда похвалила Таню соседка, Слуцкий сказал, усмехнувшись в усы:

— Долго выбирал.

Театры, концерты, художественные выставки, вечера поэзии — Слуцкие везде были вместе. Когда на людях кого-то из них не доставало, знакомые спрашивали: а где она (он)? Существует свидетельство о том, что Слуцкий дал почитать Лиле Юрьевне

Брик тогдашнюю новинку — ЖЗЛ-овского «Мопассана»¹, которым она в свою очередь оделила Вознесенского. Кроме того, чета Вознесенских встретила чету Слуцких на Московском кинофестивале. Жена Вознесенского Зоя Борисовна пишет Лиле Юрьевне в больницу: «Видели: фильм Антониони “Забриски Пойнт” и Вайды “Березняк”, Слуцких, Таривердиева и еще пол-Москвы»². Все это происходило летом 1971-го.

Вдвоем выезжали и в Дома творчества. Коктебель (в середине семидесятых — три года подряд), Малеевка, Переделкино, Дубулты.

Был ли он легок в быту? По крайней мере, бытовой вздорности за ним не наблюдалось, и то, что происходило дома, наверняка отвечало его общей жизненной установке. Жить надо просто — как все. По возможности чистоплотно. В том числе — физически. Из своих небольших заработков в пору холостячества он достаточно весомую сумму тратил на баню, на высший десятирублевый разряд Сандунов или Центральной бани, где гладили костюм и стирали белье во всем его разнообразии. Именно в таком костюме, на вид дорогом, он как-то на улице привлек внимание девушки Наташи Петровой и надолго поселился в ее сердце. На закате жизни она призналась: «Во всяком повороте моей и общей судьбы я пытаюсь представить себе, как бы я ему все рассказала, сидя на каком-нибудь пеньке или проходя по бульварам, улицам, — это было бы головокружительно хорошо... для меня...»

Театровед Константин Рудницкий свидетельствует:

Мы с ним часто вместе оказывались в Коктебеле. Однажды в столовой Дома творчества мне нагрубила официантка. Я вспылil, вышел из-за стола и на эспланаде гневно говорил, что завтра же дам телеграмму в Литфонд и пусть эту грубиянку немедленно уволят. Борис внимательно выслушал мой запальчивый монолог и сухо сказал: «Конечно, уволят. Но, знаешь, я лично никогда не вступаю в конфликты с теми, кто зарабатывает меньше ста двадцати рублей в месяц».

Смеясь, Таня однажды рассказала, как Борис с его вечной готовностью помочь каждому пытался ссудить деньгами Светлану Аллилуеву, пришедшую к ним в гости.

К Слуцкому тянулись и люди из верхних, как говорится, эшелонов. Делились с ним новостями, выслушивали его. Он был внимательным, вдумчивым, серьезным собеседником.

Каким-то ветром занесло в квартиру Слуцкого и дочь генералиссимуса, охваченную в те дни искупительным пылом. Она помогала Тане убирать со стола и мыть посуду. Охотно отвечала на вопросы об отце. Тогда Борис отважился:

— Вам, наверно, сейчас туговато в материальном отношении. Возьмите у нас в долг. Когда появится возможность, вернете.

Светлана Иосифовна отказалась от денег и заверила: она, ее дети вполне обеспечены.

— Иногда кажется, — сказала мне Таня, — что Борис хорошо, наверно, ориентируется в политике, но кое-какие житейские детали упускает из виду. Правда?

Зима, точнее — январь 1964 года. Наконец я получаю свой угол. Борис с Таней пришли на новоселье. Мы сидим на газетах (мебели нет) на только что отциклеванном полу, пьем «гурджаани». Закуски нет.

Темнеет. Мы с женой идем провожать Слуцких. В переулке, по пути на Балтийский, какие-то парни останавливают нас. Их шестеро, нас двое.

На Бориса надели четверо. Я едва отбиваюсь от двух. Как он дерется! Приговаривая: «Трое на одного!» Я кричу: «Четверо!» Но он упорно повторяет: «Трое!» Благородство и тут не подводит Слуцкого. Он делит поровну противников, спасая мою гордость.

Слышу крик: «Очкарик Кольку убил!» Оказывается, поскользнулся визави и без моей помощи ушиб голову о край ледяного тротуара. И лежит.

Свист. Все разбегаются.

Потери: огромный фингал у Бориса. Распоротый на спине (просторный на счастье) гуральский кожушок, купленный в Закопане, спас меня — финка задела мышцу у позвоночника.

Дома у Бориса. Слуцкий с интересом смотрит в зеркало: «Самое пикантное — я завтра выступаю по телевидению».

¹ Арман Лану. Мопассан. — М.: Молодая гвардия, 1971. — (Жизнь замечательных людей: серия биограф.).

² Игорь Виравов. Андрей Вознесенский. — М.: Молодая гвардия, 2015. — (Жизнь замечательных людей: серия биограф.).

На такие пары ветренная Москва смотрит с изумлением, завистью и недоверием. Но Слуцкий был так образцов и целокупен, что никто не удивлялся. У него иначе и не могло быть. Все так думали. Но не все одобряли. Чета Огневых с самого начала не приняла Таню, посчитав светской дамой, не для него. Тот же Самойлов, если всмотреться в его позднейшие высказывания о Слуцком, жену друга по-тихому не слишком жалует. Впрочем, и матримониальные дела Самойлова Слуцкому не внушали симпатии, и по этому поводу произошла размолвка на несколько лет.

Иногда Слуцкий отпускал Таню в поездки одну. В начале марта 1963-го она отправилась в Польшу в составе писательской группы, старостой группы был поэт Александр Ревич, мужу Таня написала из Бреста, не миновав границу, он получил простую почтовую карточку с расплывшимися в двух местах синими блеклыми чернилами. Она и потом почтовой бумагой не пользовалась, конверты и марки особо не выбирала.

Дорогой Боря, мы уже целый час стоим в Бресте. <...> Хлещет дождь, это нас наполняет оптимизмом. Я чувствую себя хорошо, со мной все братаются и очень предупредительно держатся. Только старуха (лицо неустановленное. — *И.Ф.*) мне сильно не нравится — она действительно сумасшедшая. Я постараюсь не попадать с ней вместе. По поводу нашей поездки толки самые неопределенные. <...> Сначала мы проведем несколько дней в Варшаве, но гостиница пока неизвестна — намечена какая-то на окраине, а наши будут хлопотать о центральных... <...> Я тебя целую и желаю всего хорошего. Мне так было жалко тебя оставлять на вокзале одного.

Таня.

В Варшаве стояла настоящая весна, солнце, с погодой повезло, Таня ходит без шапки, отношения в группе вполне приличные, приехали в Краков. Видовые открытки регулярно идут в Москву. «Скучаю без тебя, но до возвращения осталось уже совсем мало дней. Целую тебя. *Т.*» На последней, черно-белой открытке — вид на долину Циха и Западные Татры: невысокие заснеженные горы, никаких признаков цивилизации, горный пустынный ландшафт.

Добрый день, милый Боря, наконец мы добрались до Закопане. Погода стоит роскошная, печет солнце, надеюсь, что удастся загореть хоть немного. Все вокруг ходят на лыжах, а мы только смотрим с тоской, хотя наверное кроме меня желающих нет — средний возраст нашей группы 50 лет. Очень мне здесь нравится. Целую тебя. *Таня.*

Думаю, что эту открытку мы будем читать вместе.

Во второй половине мая 1964-го к нему в Коктебель, в Дом творчества, приходит пара писем в простом голубом конверте, написаны на листах обычной бумаги для машинписи синими чернилами, авторучкой, разборчивым ровным почерком, без зачеркиваний. Милые бытовые подробности перемешаны с дельной информацией:

Сегодня с утра возилась дома, потом перевела рассказ, а сейчас поставила варить суп — смесь чешского, венгерского (вчера в высотном доме я отхватила 10 пачек и кило воблы) и пельменей. Так как в моем распоряжении 15 минут — начинаю «подробное» письмо. Добралась я хорошо и как-то незаметно. На аэродром приехала рано, успела поужинать и купить букет тюльпанов. Летела вместе с Балтером¹. Вид у него был озабоченный и несколько помятый. Я к нему не подошла — ему явно не хотелось возиться со мной и моими чемоданами, хотя может быть он просто не узнал меня.

Звонков мало. <...> Все дела по-прежнему стоят. Симонова в Москве нет. <...>

Дома все без изменений. <...> ребенок надо мной целый день топают, соседский парень целый день вопит, девчонки перед окном играют в мяч, а пенсионерки сплетничают, клопы сидят в щелях и не показываются, а я борюсь с пылью и английским.

¹ Борис Балтер — писатель.

Я тебе ужасно завидую — ты валяешься на солнышке, купаешься и нюхаешь цветочки, а в Москве жара и обещают повышение температуры.

Вчера говорила с Л.Ю. <Брик> Она сообщила только одну важную вещь — умер <Михаил> Ларионов (художник). Была, как всегда, любезна, звала обедать. <...>

Писем нет — только приглашения из Союза писателей.

Сегодня устроила большой пробег по магазинам. Себе купила итальянские туфли, очень красивые, но к сожалению красные. Тебе летнюю польскую рубашку с завитками и цветочками.

Самое главное событие — в ГУМе я встретила Гавношку, которая шныряла в поисках раритетов в сопровождении подружки и Поленьки¹. Мы очень мило беседовали, в основном, о Крыме и обуви.

С радостью отмечаю, что выглядела она довольно паршиво. Этот факт меня так приободрил, что расставшись с ней я отправилась в кафе-мороженое на ул. Горького, где я не была уже лет 10, и съела двойную порцию шоколадного пломбира с орехами «Космос». Это и был мой обед. Вот и все мои события. Сейчас буду ложиться спать. Пила будит меня по-прежнему ровно в 8.

Целую тебя. *Таня*

В апреле 1965-го он получит три письма на плотной бумаге, нарезанной в виде карточек чуть большего формата, чем, допустим, каталожные. В одном из них — четко, по-военному:

Предпочитаю общаться, а не переписываться (тем более, в единственном числе). Однако, хотя бы, мой милый, мой хороший, так.

Примерные темы ближайших писем:

1. О вечной любви.
2. О телефонных звонках.
3. Несколько «телепатических» эпизодов (из нашей жизни)
4. О чем молила судьбу.
5. О цыганке и прочих темных силах.
6. О степени обладания в словах «мой» и «моя»
(о Татьяне Яковлевой, Лауре и Беатриче²)
7. ... т.п.

Впрочем, обо всем этом вовсе не обязательно писать письма — можно рассказать лично. Очень хотелось бы узнать, что письмо получил. Позвони, пожалуйста. Всегда твоя.

Из Крыма (письмо без даты):

Дорогой Боря

<...> Чувствую себя хорошо. Живем тоже хорошо и дружно, хотя и тесновато. Галя³, пытаюсь оправдать твои надежды, хлопочет о более пристойной комнате, но пока безрезультатно.

Все тебе кланяются.

Я тебя целую.

Почему ты избегаешь упоминания о своем здоровье?

Уж не заболел ли ты?

Сейчас собираемся идти в Мертвую бухту купаться. Целую.

Твой З.

Это «З», надо понимать, означает «Заяц» или «Зайчик». Слуцкий интимно ее называет «Маленький храбрый Зайчик».

Однако, повторим, Слуцкого уже не представляли без нее. Речь о литературной среде, в общем-то замкнутой. На определенном этаже писательского сообщества существует система отношений, при которой образуется возможность взаимоузнавания поверх сугубо литературной иерархии. Слуцкий не чурался подобного эгалите.

¹ Лица неустановленные.

² Героини любовной лирики Маяковского, Петрарки и Данте (*прим. редакции*).

³ Галина Евтушенко.

Татьяна Кузовлева рассказывает:

Лето 1972 года выдалось необыкновенно знойным и засушливым.

В Москве температура поднималась под сорок. В Шатуре, как всегда в жару, горели торфяники — Москву по утрам заволакивал сизый удушливый дым.

Надо было бежать из города, пока не спадет жара. Я позвонила Слуцким, которых эта жара тоже мучила, особенно уже тогда болевшую Таню, и предложила поискать что-то под Москвой. Они моментально согласились.

Наша литературная приятельница, жившая в Ивантеевке и тайно влюбленная в неприступного Бориса Абрамовича, предложила договориться с дирекцией пустовавшей ведомственной гостиницы при заброшенном полигоне дорожных машин. Нам разрешили снять там два номера.

Шестиэтажное строение возвышалось над окружающим его с трех сторон лесом. С четвертой раскинулся пустовавший полигон. Рядом бежала неширокая быстрая речка Уча.

В номерах были душ и туалет, на первом этаже — кухня с посудой и газовой плитой, готовили еду мы сами, поочередно. За окнами высокий сосновый бор, в гуще которого красноголовые дятлы громко долбили засохшие стволы.

Обычно через день мы сообщали ловили такси в Ивантеевку за продуктами. В продмаге выбор был небольшой, но плавленые сырки «Дружба», хлеб, кое-какие овощи, макароны и слипшуюся карамель купить было можно. Тушенка была только свиная в стеклянных пол-литровых банках: две трети жидкого от жары свиного жира и одна треть волокнистых комлей мяса. К счастью, мы все были непритворны, и если находилось во что взять квас, то обед получался роскошным: ели окрошку и макароны с тушенкой. После обеда Слуцкие обычно уходили к себе отдыхать... <...>

Как-то мне потребовалось что-то уточнить у Слуцкого. Забыв о том, что у них в это время отдых, постучала в дверь.

— Кто? — не очень приветливо спросил Б.А.

Отступить было поздно. Я смущенно отозвалась.

— Входите, Таня, — послышалось из-за двери.

Я вошла. Слуцкий сидел у изголовья Таниной кровати с книгой в руках, что-то, очевидно, читал ей. Таня лежала на спине в полудреме, раздумываясь (солнце било в распахнутое окно сквозь занавеску), натянув к подбородку простыню, и была необыкновенно красива.

Вот и проросла судьба чужая
сквозь асфальт моей судьбы,
истребляя и уничтожая
себялюбие моё...¹

Я знала, что Борис Абрамович тщательно следил за Таниной температурой, за скачками ртутного столбика, зависящими от степени обострения в пораженных опухолью лимфоузлах. Температура могла быть почти нормальной, могла внезапно подскочить, чему предшествовал озноб, до 37,5, а то и выше 38,0 — и это было уже тревожно.

Когда жара немного спадала, мы гуляли по лесным дорожкам под говор ожесточившейся за лето гремучей листвы, обсуждая перспективу жизни на Истре, в писательском дачном кооперативе «Красновидово», который представлялся нам земным раем, но строился этот рай уже лет шесть и все никак не мог достроиться. Обе наши семьи были в списках будущих жильцов.

— И все же, — допытывался у Володи² Борис Абрамович, — когда, по-вашему, мы сможем наконец там поселиться?

— Бог его знает, но, наверное, лет через пять уж точно въедем, — неуверенно отвечал муж.

— Это уже без меня... — тихо произнесла Таня, — пять лет я не проживу.

Дальше шли молча.

Она прожила после этого ровно пять лет.

Дачный кооператив на Истре достроился еще через десять лет.

И были вечерние купания. Слуцкий плавал, отфыркиваясь, как морж, и на берегу тщательно растирался махровым полотенцем. Две глубокие воронки ввинтила в его тело война (река, конечно, не послевоенная баня «в периферийном городке», где «ордена сдают вахтерам, Зато приносят в мыльный зал Рубцы и шрамы — те, которым Я лично больше б доверял», писал он в стихотворении «Баня», но те две его воронки были уж точно значительней иных наград).

¹ Начало стихотворения Слуцкого «Вот и проросла судьба чужая...»

² Владимир Савельев — поэт, муж Т.Кузовлевой.

Война оставила Слуцкому не только шрамы на теле, но и в результате сильной контузии — стойкую, изнурительную бессонницу.

И — то ли война разбудила в нем одно удивительное свойство, то ли оно было врожденным, но он мог обходиться без часов. Они словно жили у него внутри — он в любой момент с точностью до минуты определял время.

Таня легко и бесстрашно ныряла с шатких мостков в темную ночную реку и плыла, погружая лицо в воду и разрубая ее энергичным кролем. Плавала она страстно и долго, не уставая, как будто река передавала ей свои глубинные силы.

А потом, снова оказавшись на мостках, она, словно прощаясь, всякий раз замирала, повернувшись лицом к реке, — с мокрой челкой, с освещенными луной плечами и с мокрым листком или подводным стеблем, прилипшими чуть выше локтя.

Три парижских месяца 1976 года Таня провела в разлуке с ним. От нее пришло к нему восемнадцать писем: первое от 14 апреля, последнее — от 18 июня.

Все письма написаны на обыкновенной белой бумаге для пишущей машинки шариковой ручкой с черной пастой. В почерке — ничего характерного. Пишет человек по необходимости, без каких бы то ни было ухищрений. Пишет Таня на своем, домашнем языке, хорошо усвоенном ими обоими. Поражают ровность тона и самоирония смертельно больного человека, приехавшего в Париж не за фиалками с Монмартра.

Первое письмо¹:

Дорогой Боря!

Вот уже третий день я в Париже. Добралась благополучно и без всяких приключений. Встречали меня Мишель, Егор и Рая — Лена в Ницце, должна приехать сегодня. Без нее я не приступала к делам, тем более, что Ирины тоже нет. Просто беспредметно гуляла по городу. Первых два дня стояла великолепная погода и отдельные представительницы третьего мира выступали в летних платьях без рукавов. Сегодня с утра шел дождь, а сейчас проясняется и даже выглядывает солнце. Поэтому написав тебе письмо, отправляюсь на прогулку.

Чувствую себя прилично. Термометр забыла, поэтому вопрос о температуре <...>

Вчера ужинала у Робелей², они настроены дружелюбно и предлагают всяческую помощь. Зовут на Пасху в деревню, но я, наверное, не поеду. Мне и здесь не надоело. В Париже прекрасно, много цветов на клумбах и в магазинах, вот-вот расцветут каштаны.

Стараюсь не особенно уставать и хотя бы немножко лежать днем.

Шварценберг³ теперь очень известен, он выступает по телевидению с рассказами о своих подвигах. Боюсь, как бы слава его не испортила.

Ну пока, целую тебя, пойду погуляю, а письмо допишу позже, может поднакопятся факты.

Сегодня сделала попытку самостоятельного питания. Обедала в самообслуживании за 16 франков. 12 — бифштекс с жареной картошкой, 2 — салат из тертой моркови и 2 — бутылка апельсинового сока. Оказалось всего очень много, но раз деньги заплачены — то я доела. Думаю, что этого достаточно на целый день, а утром и вечером что-нибудь дома.

Если бы можно было готовить, то еще дешевле: большой цыпленок (на 2 раза) стоит 10 франков. Но я пока робею и по магазинам не хожу, а есть много похожих на кулинарию, где все готовое. <...>

Что касается культуры — пока полный застой, но думаю, что наверстаю.

Как ты себя чувствуешь, как простуда? Не болей, пожалуйста, и за меня не беспокойся: все образуется. Напишу в ближайшие дни, надеюсь что-нибудь прояснится.

Я тебя целую, Л. И.⁴ и всем прочим — приветы.

Твоя Таня

*14 апреля
Париж*

¹ Некоторые люди, о которых она сообщает Слуцкому, не установлены — это в основном друзья и подруги Тани, Слуцкому, разумеется, отлично известные.

² Леон Робель — французский славист, литературовед, лингвист, переводчик, поэт, его жена Светлана и дочь Мария. По его вызову Таня приехала в Париж.

³ Леон Шварценберг — врач-онколог.

⁴ Лидия Ивановна — домработница.

Она начала лечение, пришла к доктору Шварценбергу, он принял ее очень любезно, одобрил качество ее рентгеновских снимков и лимфографии и сказал, что переделывать их не будет. «Таким образом я экономяю время и деньги. Он взял у меня из узла на шее пункцию и анализ крови и назначил с завтрашнего дня (20 апреля) <процедуру>, мне начнут проводить химию (3 дня). Завтра — адрибластин, А потом, когда будут готовы анализы, он будет решать, какие новые лекарства следует дать. Говорит, что появилось много новых лекарств. Мы с Леной отвезли ему пасхальные дары, и он очень был доволен».

Погода стояла прекрасная. Таня посетила Булонский лес, который показался ей красивее Коктебеля (мера красоты!). «В воскресенье ходили с Ириной в Art Modern, посмотрели много хороших картин, потом сидели в кафе на площади Трокадеро под цветущими каштанами и ели пищу».

Март-апрель пробежал быстро, 24 апреля она пишет:

Чувствую себя прилично, температура немного поднимается к вечеру, но не слишком мне мешает. Обычно я выхожу из дома на несколько часов, один раз в день, а остальное время провожу за вязанием или чтением. На днях Светлана возила меня на вернисаж выставки дадаистов, которая была устроена в честь романа Арагона «Paysan de Paris»¹ в пассажах Вердо (ты, наверное, знаешь о них). Был сам Арагон и дармовое шампанское. После этого несколько подруг Светланы собрались в загородном доме одной из них <...>. Какие-то они не слишком счастливые, мужья им начали изменять, сами они начали стареть и вообще неизвестно, будет ли им на что покупать молоко детям — как бы с работы не выгнали.

Сегодня завтракала у Лилиных друзей, а потом с ней посмотрели очень хороший фильм, название которого трудно перевести, что-то вроде «Полет над гнездом кукушки», американский, который получил 5 Оскаров. Говорят, что это лучший фильм, идущий сейчас в Париже. <...>

Сейчас в Париже собралось на удивление много знакомых. Например, приехала из Польши Сонька Ордашниковна. Русские живут очень тесно, и молодые, и старые друг про друга все знают. Сильно шибает Аэропортовской².

В Париже похолодало и пошел дождь. После почти летних дней как-то странно. Наверное потому, что я купила себе летнюю юбку и блузку. Вчера и сегодня ходила в Лениной меховой куртке и было как раз.

А ты как поживаешь, милый Рыж? Не болеешь ли? Как тебе Малеевка, может быть поживешь там еще? Как язва? Я пришлю тебе на пробу ротор, вдруг поможет. Не обносился ли, не оборвался? Ходит ли Лидия Ивановна? Напомни, если она еще не сделала, сдать пальто в холодильник (ломбард. — И.Ф.).

Наверное, скоро получу от тебя письмо, давно мы с тобой не разговаривали. Хотелось бы мне, чтобы поездка моя не была бессмысленной.

Происходит светская жизнь в русском кругу, был и большой бал человек на тридцать — французы и русские: «Дамы преимущественно в вечерних туалетах. Некоторых ты знаешь. Светлана была златоволосой бестией, Муза работала женщиновамп, Маша (Робель) — инфанту. Лена — широту русской души и гостеприимства... Леон отсутствовал, он занимался продажей марксистской книги». Как бы между прочим: «Да, не помню, писала ли я тебе, что хожу без парика. По теперешней моде волосы могли бы быть и короче. Только иногда холодно».

Двадцать восьмого апреля доктор Шварценберг начал курс химии. «Вчера чувствовала себя неважно, даже блевала (как он и предупреждал), сегодня другие лекарства, и мне лучше. Всего это будет продолжаться 5 дней, а потом до 11 мая перерыв, дальше, наверное, опять химия. Сказал, что вчера заказали мне лекарств на 1000 франков, поинтересовался, можем ли мы заплатить, мы говорим — нет, а он — ну и не надо. Была у него идея, чтобы я пролежала эти 5 дней в больнице, но мы и ее отклонили».

Она щепетильна в расходовании денег, отчитывается: «...поехала одна на такси, туда и обратно около 50 фр., но хоть никому не в тягость».

¹ «Le Paysan de Paris» — «Парижский крестьянин» (франц.).

² Имеется в виду писательский дом на ул. Аэропортовская.

Мне очень жаль, что я вряд ли смогу поговорить с тобой (по телефону. — *И.Ф.*) 30 апреля, потому что утром поеду к Шварценбергу. Вообще теперь разговаривать будет труднее из-за моей экзотической Муфтарки (все мои знакомые мне завидуют, что я буду жить в таком месте, которое после «Чрева Парижа» вырвалось на первое место по колориту), но можно от Робелей.

Светлана по утрам дома, кроме понедельника и четверга, придется приноравливаться.

Я тебе посылаю эти жалкие предметы в подарок ко дню рождения. Напиши, налезает ли они на тебя? Брюки и рубашку загнала Егору — они ему впору, поэтому я решила, что тебе будут малы. Это был их 54 размер, тебе, я думаю, нужен 56 или 58, а в обычных магазинах они не продаются. Нужны специальные. Но пока сил нет, может что-нибудь раздобуду к Иринуному отъезду. О стоячих брюках и о рубашке в кнопочку и не мечтай, только небольшие размеры.

Как ты себя чувствуешь? Как простуда и язва? Писем от тебя нет, да ты ведь и соврешь.

Я тебя целую и скучаю.

Твоя Таня

28 апреля

Намечалась, но не состоялась поездка на юг, к морю. Ко дню рождения мужа — 7 мая — она посылает ему джинсы, но боится, что они ему великоваты, поскольку покупала их подруга, пока Таня лежала в больнице под капельницей. «В крайнем случае их (джинсы) можно вымочить в воде, может, они сядут, или ты поправишься еще немножко. Ты мне постарайся как можно скорее сообщить, что тебе мало, что велико, а что как раз. Я бы могла прислать с Ириной еще что-нибудь (выезжает 10 мая)».

Первого мая кончился первый этап лечения. Отдых до 14 мая. Она думает о нем: «Очень рада, что ты решил остаться в Малеевке, очень правильно, все-таки ты не такой заброшенный, как в Москве». Вопрос джинсов остается актуальным: «Говорят, что это самые лучшие джинсы, те, которые стоят в углу вместо мебели сами без ничего».

Утром 6 мая она присутствует на приеме в редакции газеты «Юманите» с закусками и выпивками. Вечером встретилась с подругами Ириной и Раей.

Чувствую себя неплохо. Даже сегодняшний жаркий день (около 26 градусов) не был для меня тяжелым. Наверное, это преимущество жизни без селезенки.

Обедали мы в ресторане на Муфтарке. Очень колоритно, но не так уж вкусно. Вообще, там сплошная экзотика. Все туристы считают своим долгом побывать на Муфтарке. Через дом от меня жил Верлен, не уверена, что это очень хорошая характеристика улицы.

До сих пор не пойму, на каком я этаже — на 3-м или 4-м, потому что надо проходить еще и через террасу. На террасе, которая на втором или 3-м этаже, растут даже фруктовые деревья. И все увито диким виноградом.

Вообще, весь Париж в цветах, особенно буйствуют каштаны.

Очень много фруктов и овощей. Парижане ахают, что дорого. А мне кажется, что не так уж. Есть все, начиная от клубники до дынь и винограда.

Как ты, милый Рыж, поживаешь? Как себя чувствуешь? Скучаешь ли? <...>

Я тебя целую, желаю хорошего настроения на твой день рождения и на 9 мая.

Всего доброго.

Твоя Таня

6 мая

Париж Что ты решил с Венгрией?

Она переехала на другую квартиру, в компании с Робелями отметили новоселье и 9 мая, закупив на Муфтарке разных вкусностей, а заодно и голубую гладкую рубашку для Слуцкого, про которую Робель сказал, что это подарок лично от него.

Мне — огромный букет розовых цветов на длинных стеблях, которые я поставила в кувшине на полу. Потом Светлана состряпала рыбу, и мы дружелюбно и изысканно позавтракали, начав креветками и закончив козым сыром, в окружении потемневших балок на моем потолке, закопченного очага (или камина) и позеленевших от сырости черепичных крыш. Так мы праздновали День Победы.

Леон — большой энтузиаст этого района, ему у меня очень понравилось. Он немедленно обнаружил, что то, что я принимала за террасу, на самом деле крепостная стена XIV века,

которой был окружен старый Париж (потом я нашла даже остатки бойницы). А мой дом и соседние лепятся к этой стене, как к опоре. После чего я еще больше заужала свою квартиру. Как только будет прохладнее, он (Леон) намерен жарить в очаге мясо, тем более, что все необходимое оборудование для этого есть. Позовем гостей.

Потом мы гуляли в Люксембургском саду, а потом ко мне приехали на чай Ирина с Раей. Они долго нудили, что все хорошо, только нет телефона, на что я возражала: зато стена и винтовая лестница и балки на потолке. На этом мы и расстались. <...>

Робели очень внимательны, Лена тоже, так что ты за меня не беспокойся. Не думай, что я беспризорная, они все, даже Леон, готовы, если нужно, за мной ухаживать.

В Париже жарко (мне везет на жару), я хожу в своем кружевном туалете, и иностранные туристы, которые шатаются здесь толпами с раннего утра и до вечера, лупятся на меня, особенно если я с батоном и бутылкой молока, и думают — таковы аборигены.

Хочется получить от тебя письмо. Вот уже месяц, как я ничего о тебе не знаю. Напиши, что делаешь, с кем видишься, как себя чувствуешь, подошли ли вещи, как настроение. Что нового в Москве?

Двенадцатого мая — ровная дата: «Вот уже месяц, как я кукую в Париже». Ей принесли письмо от него — большая радость. Лечение продолжается, чувствует она себя пристойно, хотя температура не падает. В Париже ходят слухи о приезде Булата Окуджавы. «Что слышно по этому поводу в Москве?» Она постоянно вспоминает о бывшей жене Самойлова Ольге Фогельсон, тоже тяжело больной: «Ляльке, если ее увидишь, большой привет».

Он звонит ей на телефон Робелей, не может дозвониться. С лечением образовался простой почти на месяц. Светская жизнь прервалась. «Никому не звоню. Вняв твоим укорам, сходила вчера на вернисаж выставки Рамзеса в Grand Pale. Сегодня купила справочник по кино и музеям, буду выбирать себе зрелища».

Тем не менее она продолжает одевать его.

Позвони после 22 мая Нине Рахович, пришлю джинсовую куртку с пуговками. Если будет узка, носи расстегнутой. Еще куплены домашние туфли и вельветовые штаны. Постараюсь кому-нибудь всучить, может, Манфреду¹. Если пришлю черную кофточку без рукавов, то передай ее Ляльке Фогельсон, в качестве положительной эмоции. Скажи, что я желаю ей всего хорошего. <...>

Ты мне обязательно пиши, не ленись. Я твое письмо читаю каждый день, как будто и поговорила с тобой.

Напиши, что тебе еще хочется. Я твой список почти весь выполнила, кроме книг по искусству, пластинок и шариковых карандашей.

Будь здоров, не скучай и не ругай меня за тупость и неинтеллигентность.

Огромная радость — 25 мая от него приходят сразу два письма, от 8 мая и 16-го. Она пишет ответ — очень плотно, на обеих сторонах листа, с заходом на поля по вертикали.

Так что у меня двойной праздник. Несколько дней тому назад написала тебе письмо, очень ругательное с упреками в молчании, но, к счастью, не отослала. Пожелала тебя. Я так и думала, что у тебя разбушевлась язва. Ротор пришлю обязательно при первой возможности. Есть еще лекарство от язвы, которое очень хвалят. Может, прислать на пробу? Позвони Нине или Ирине. Там тебя ждет джинсовая рубашка. Если не будет сходиться на пузце — носи расстегнутой. За подарки не ругай — они все были куплены к дню рождения, но не удалось переслать. Есть еще вельветовые штаны — ты уже забыл, что просил все это. И пластинка Брассенса. Еще ты просил книги по живописи. Нужно?

Что касается культуры, то я продвинулась мало. «Амаркорд» (фильм Федерико Феллини. — И. Ф.) еще не посмотрела, но ты так позоришь меня, что схожу в ближайшее время. С фестиваля доходят неутешительные слухи — все подряд ругают.

Было небольшое культмероприятие: Света вывозила меня в Венсенский университет на студенческий праздник. Очень любопытные быт и нравы. <...>

¹ Альберт Захарович Манфред — историк, специалист по истории Франции, Великой французской революции, находившийся в Париже.

Сегодня мне делали вливание (после большого перерыва) с биеомицином, как в Москве. У меня обычно после него спускалась температура.

Надеюсь, что и на этот раз будет также. <...>

24 дня я простаивала. Дело в том, что после химии очень испортился состав крови и нельзя было продолжать леченья. Внешне это выражалось в жуткой слабости, и я еле-еле ползала по Муфтарке и ее окрестностям. А у меня по соседству только эротический театр и театр под названием «Троглодит». Я туда и заходить боюсь. Было не до кино.

Вчера сделали переливание крови, а сегодня начали лечение (впереди еще 2 вливания биеомицина, а потом он (Шварценберг) будет решать). Ты не расстраивайся, сейчас все хорошо. Прекрасно, что у меня еще много времени, почти полтора месяца. Думаю, что до конца буду лечиться, без всяких перерывов.

Лена вокруг меня по-прежнему хлопочет, и главная тяжесть моего пребывания легла, конечно, на ее плечи. Света меня навещает, приносит еду, развлекает беседами. Рая главным образом зовет завтракать и ужинать. Манфред меня удачно миновал, как я ни пыталась его поймать. Будет, наверное, врать, что не мог найти.

В общем, милый Р., не огорчайся по поводу моей темноты и бескультуры и не попрекай меня. Постараюсь исправиться. Себе ничего существенного не купила — руки не доходят, да и не знаю, как будет с лечением. Пальто Лельке пока не отдавай. Л. И., конечно, мои вещи не сдала в холодильник? Я ей оставила много денег, ты ее не заваливай. Как Лялька? Вышла ли из больницы? Раз погода такая ужасная, хорошо бы тебе пожить еще в Малеевке. Не торопись в Александровку¹. Не предавайся гастрономическим изыскам.

Я ничего более удивительного, чем клубнику, бананы, авокадо и дыню — не ем. Робею. Есть все, что только можно измыслить, вплоть до сахарного тростника. Но не решаюсь.

Она опять посылает ему «кое-какое барахлишко», призывая потрясать воображение девушек. «Колготки можешь подносить при расставании малеевскому медперсоналу». Появились планы съездить в Биарриц в обществе двух подруг. Сорвалось. Пришло четвертое письмо от Слуцкого. Ее беспокоит его язва: надо ли ему еще лекарства? Приехала Галя Евтушенко.

С приездом подруги Гали мое существование несколько оживилось. Во всяком случае, она водит меня в кино. С ней я посмотрела наконец-то «Амаркорд», который не произвел на меня столь сильного впечатления, которого ты ожидал. Показалось мне талантливо, но однообразно и скучно. Идут его «Клоуны», но даже идти не хочется. Вчера посмотрела фильм, получивший первую премию на фестивале «Водитель такси». Очень средняя картина. Галя (без меня) смотрела последний фильм Пазолини — ушла с середины. <...>

Погода стоит довольно прохладная, иногда даже жалею, что нет пальто.

Никак не соберусь начать ходить по магазинам, пора уже собираться и покупать подарки. Насчитала 20 человек, которых нужно одарить. <...>

Галя очень внимательна (как она бывала в лучшие времена, без всяких следов истерики), строит всяческие планы нашего с ней отдыха где-нибудь на море. Самое близкое море — в двух часах езды. Рая готова доставить нас туда на машине. Все будет зависеть от Шварценберга, а я бы с удовольствием пожила неделю на воздухе у моря. <...>

Наверное, продлюсь на 2 недели, чтобы выбраться вместе с Галей. Числа 25. Во всяком случае зайду в консульство, узнаю. Жалко только тебя, милого Рыжика, что ты там мыкаешься один. Как твоя язва? Ходит ли Лидия Ивановна?

Никаких у меня культурных достижений, даже похвастаться нечем. <...>

Купила Лелькиному сыну курточку, которую Галя послала с Петькиными вещами².

Если тебе захочется подарить ее, когда ты поедешь в Тулу, свяжись с Женей Евт<ушенко>.

Я купила себе дубленку. Серую можно отдать Ольге. <...>

Сегодня Лена дозвонилась Шварценбергу. Он назначил прийти во вторник в 6.30 вечера. Боюсь, что будет повторять то, что было в начале. Ну, ничего, все вытерплю.

Вчера смотрела старый фильм Бергмана о войне, кажется, «Стыд». Очень странный и совсем не похож на то, что мы привыкли называть Бергманом. Артисты те же, только молодые.

В Париже снова жарко.

¹ Деревня Александровка сельского поселения Ильинское Красногорского района Московской области, где Слуцкий снимал жилье для летнего отдыха.

² «Лелькин сын» — Александр Кауфман, сын Самойлова; «Петька» — приемный сын Евтушенко.

Восемнадцатого июня она пишет ему торжественный отчет:

Спешу тебя обрадовать — вчера я побывала в Лувре. <...>

Она (М<она> Л<иза>) в огромном ящике под двумя стеклами, наверное, пуленепробиваемыми. Ее вообще почти не видно. И думаю я, что если это такое чудо, то хранится оно где-нибудь в сейфах, за семью замками, а все любуются раскрашенной фотографией. <...>

В тот же день сходила на «Профессия — репортер» Антониони, а вечером была у Робелей.

Сегодня посмотрела фильм Полянского (Романа Полански. — *И. Ф.*) «Квартиронаниматель» или «Жилец» (не знаю, как правильно) и погуляла по городу, пользуясь хорошей погодой.

Вот как я исправилась: чувствую себя лучше. <...>

Слуцкий, не склонный к писанию долгих эпистол, довольно пространно ответил ей:

Милая Танюша!

Сегодня получил твое письмо от 21.6 с описанием визита в Лувр. Но вчера приехали Робели, в то мгновение, когда я вводил их в наши апартаменты, позвонила Марьяна. Я даже не смог толком с ней поговорить и условиться о свидании — девочка Маша и ее родители требовали незамедлительного внимания.

По сумме сведений понимаю, как солоно тебе приходится — и от мучения лечения и от мучения жары. Не знаю, что тебе посоветовать. Решай на месте. В Москве и тем более Александровке — прекрасно. Вчера было 22 градуса, и я утром усердно купался — уже в третий раз. Сегодня весь день 14–15 градусов. Идет прекрасный дождь, а я с утра поехал прописывать Робелей и поэтому не купался.

Так что, маленький Зайчик, решай сама. А стол и дом и обилие клубники и черешни тебе гарантируются. Робели приехали встрепанные и перегретые. Леон по дороге с аэродрома все повторял: «Как в раю!..» А сегодня пришлось даже подарить ему головной убор в виде серой кепки полосатого образца, потому что своего головного убора у него не оказалось. Я им накопил всяких фруктов-продуктов, из которых им больше всего понравился килограмм рыночного творога. Они его очень похвалили и только умная девочка Маша сказала, что это все-таки сыр, а сыр она не ест.

Маша славное и чрезвычайно активное дитя. Кроме того она двуязычна. Кое-что из ее французского языка я понимаю, а из русского — ровно ничего.

Робели проживут у нас дней 7 — 8 — 10 — 11 — до Иванова. К их возвращению вернется Маргарита, Рая ведет себя как очень молоденькая <...> т.е. легкомысленно. Меня они мало стесняют, так как, как ты помнишь по предыдущим годам, я, однажды переехав в Александровку, сокращаю визиты в Москву до минимума. А к твоему приезду все будет в первоначальном состоянии.

Все твои советы, переданные с Марьяной, я, конечно, выполнил, что было принято с благодарностью.

Был я в Боткинской у Лили. Она похудела на 12 кг и кокетливо сообщила мне, что ее формы наконец обрели приемлемые для меня очертания. Ест все <нрзб> и приносимое с жадностью. Почему-то посмуглела. Но выкарабкалась и обрела оптимизм.

В Александровке я с 25.6. Сразу же — без адаптации — принялся работать. Ленка с мужем в этом году не сняли здесь жилье. И я полностью один. Соседи все старые. Когда ты вернешься и отдышишься, если захочешь, поедem в какой-нибудь старый русский или эстонский город — и его посмотрим и себя покажем. Начал я разносить стихи, заготовленные в обилии, по редакциям. Берут и еще просят.

Лидия Ивановна симпатична и деловита, как обычно. Сейчас я как раз ожидаю ее приезда с едой. Конечная остановка 549-го теперь у Тушинского метро, до которого можно добираться либо на такси, либо на 105-м до метро «Октябрьское поле» и потом два пролета. Так что все не сложнее, чем раньше.

Очень приятно, что вы с Галей совместно готовите и употребляете обеды. Кланяйся ей и Сервилям и Зубковым и — по желанию — либо наслаждайся жизнью, либо терпи жару. Сейчас, то есть на следующее утро отправляюсь в Ильинское.

Позвоню Робелям и опущу письмо.

Целую тебя милую З.

Борис

Последнее из парижских писем — июньское, число не указано. Синяя шариковая ручка. Та же парижская бумага (для машинописи). Лист исписан с обеих сторон плюс полоска такой же бумаги; почерк как бы спешит.

Милый Боря, он же R

Знаешь ли, я без тебя соскучилась? Этот факт решила ознаменовать большими закупками ротера, а также какого-нибудь нового туалета себе. Вельветовые брюки так и лежат, бедняги, в Париже: никто не берет <...>

Давно тебе не писала, копила факты. Ждала разговора брата Леона с Шварценбергом. Шварценберг сказал, что ему удалось провести грандиозный курс, который должен дать результаты, что он доволен моим состоянием (по-моему, хвастается) и что даст с собой лекарства, как я поняла — таблетки. На вливания я должна идти 6/VII, а потом он скажет, что дальше. Во всяком случае (не помню, писала ли об этом) я продлилась до 25, но не знаю, высижу ли. Больно уж жарко, сегодня 40 градусов. Отъезд из Парижа на Корсику, например, мало реален. Нужно заранее бронировать номера в гостиницах, тем более, что юг — единственно прохладное место во Франции (не считая мою ванную комнату). Я узнала, деньги за билет вернут в Москве. Все выжжено, во многих районах (Бретани, например) нет воды, начался падеж скота, из магазинов исчезли вентиляторы, и заводы не справляются с запросами на них. По утрам попадают клерки, спешащие на работу в пиджаках и при галстуках и с вентиляторами под мышкой. Сейчас это самая вожденная вещь. Телевидение и радио ежевечернее сообщают, сколько было несчастных случаев за день. Состоялась конференция владельцев зонтичных фабрик и магазинов — с апреля не было дождей и зонтики начисто прекратили покупать. Вообще — национальное бедствие. Теперь уж и не ждут похолодания до осени.

Муза с Сашей зовут в Рамбуйе. Там очень мило, большой дом, четыре ванны и сортиров несть числа.

Но смысла там сидеть я не вижу, кислород у меня и в Александровке имеется. Надеюсь, что ты переехал, потому что сочинение стихов по ночам — плохой признак. Где Робели, у тебя или у Нины? Передай им большой привет. Я пока к ним переезжать не собираюсь. Здесь мне все-таки тихо и относительно прохладно, удобный транспорт: 2 линии метро рядом и автобус. До Гали можно идти пешком, немного дальше, чем Аэропорт. И неохота складывать — раскладывать вещи. У Робелей очень жарко, шумно и до метро 20 минут пешком по 40-градусной жаре. Если меня будут гнать с Муфтарки, я лучше перееду к Гале <...>

Вообще первая волна отпускников покидает Париж 1/VII. Говорят, что при этом бывают жуткие заторы на дорогах.

Сегодня вопреки жаре совершила крупные закупки парфюмерно-косметических товаров. По-моему, с подарками подругам и медперсоналу я закончила. <...>

Получил ли ты у Жени Ев<тушенко> курточку для мальчика Пети? Можешь присовокупить к ней фломастеры (у Марьяны).

Напиши, есть ли у тебя какие-нибудь идеи по поводу подарков. Кстати, Симонов с Ларисой приедут в Париж к 14 июля. Может быть, захватит икру?

Не болей, милый R, и спи хорошо.

Я тебя целую и люблю.

Твой друг — З.

Число — не знаю. Но год помню — 1976.

На полях:

Ты прав, отсутствие селезенки, а также несколько повышенная t, меня отчасти спасают от жары. Рая сегодня была вся мокрая, а я — свеженькая, как огурчик.

Слуцкий, как мы помним, писем писать не любил, но из тех мест, где бывал, слал изящные открытки с видами Польши, Югославии, Франции. Открытка из Варшавы от 5 декабря 1961 года: «Здравствуй, Танюша! Пишу тебе из отеля, изображенного на обороте». Единственная «нехудожественная» почтовая карточка отправлена им Тане на московский адрес 28 сентября 1962 года по дороге в Румынию, но и здесь «художество» присутствует: в центре карточки нарисовано бесформенного вида сердце, больше похожее на разрезанное пополам кривоватое яблоко, пронзенное оперенной стрелой. Текст: «Танюша! Помни меня». Сбоку, применительно к «сердцу»: «Это сердце через час будет в Румынии». Из Парижа, 24 ноября 1965: «Милая Танюша! Я в городе, изображенном на обороте. Все хорошо».

Среди ее парижских писем — две видовые открытки с изображением улицы La rue Mouffetard, вблизи которой она жила и которую часто упоминала в письмах, и открытка из Шартра с видом знаменитого собора.

После парижских писем — последнее письмо на развороте тетрадного листа в линейку. Дата — 16/IX, без указания года. Это может быть только сентябрь 1976-го. Письмо было сложено вчетверо. Писано в Коктебеле. Последнее письмо отличает вдруг прорвавшаяся нота лиризма, всего один абзац в письме, начатом вполне буднично и прозаично.

Начало письма:

Дорогой Боря, планы мои несколько изменились, поскольку твой приезд откладывается на неопределенный срок и вообще неизвестно, успеешь ли ты разделаться со своими делами.

От комнаты я отказалась (с большим сожалением) и устроилась на турбазе. Это не бог весть что, но зато можно жить без всяких забот, не мыкаясь по ресторанам <зачеркнуто 2 строки>. Приятнее всего, что дом стоит на берегу моря и можно купаться утром, днем, вечером и ночью. Это я и проделываю с огромным удовольствием, тем более что последние 2 дня довольно жарко.

Лирический абзац:

Время, остающееся после купанья, еды и сна, я посвящаю грусти по поводу твоего отсутствия, а иногда даже совмещаю ее с этими занятиями. Когда становится особенно тоскливо, читаю твою книгу <зачеркнуто 2 слова> автограф или просто адрес, который ты написал на вокзале.

Случилось то, что случилось. Она умерла.

В последнюю ее больницу Таню увозили из малеевского Дома творчества, где ей стало плохо. Инна Лиснянская: «Собирала Таню в больницу, та держалась мужественно. Уже не могла пошевелиться, лицо без кровинки, бледное как простыня, а распоряжалась бодро: “Возьмите то-то... там!”»

Единственное о ней при его жизни опубликованное стихотворение — «Тане» («Юность», 1977, №4).

Ты каждую из этих фраз
перепечатала по многу раз,
перепечатала и перепела
на лёгком портативном языке
машинки, а теперь ты вдалеке.
Всё дальше ты уходишь постепенно.

Перепечатала, переплела
то с одобреньем, то с пренебреженьем.
Перечеркнула их одним движеньем,
одним движеньем со стола смела.

Всё то, что было твёрдого во мне,
стального, — от тебя и от машинки.
Ты исправляла все мои ошибки,
а ныне ты в далекой стороне,
где я тебя не попрошу с утра
ночное сочиненье напечатать.
Ушла. А мне ещё вставать и падать,
и вновь вставать.
Ещё мне не пора.

Ее уже не было.

Стихотворение откроет книгу «Неоконченные споры» — первую после Тани (1978). В «Юности» строфа «Перепечатала, переплела» была опущена за нехваткой места в номере, уже запущенном в производство.

Таню положили в могилу матери на Пятницком кладбище, у Рижского вокзала.

Недавно опубликована редчайшая дневниковая запись Слуцкого («Новая газета», №62, 14 июня 2017 г.)¹:

6.2.1977. 19.00 ровно

Сегодня в 5.40 вечера умерла Таня. В этот миг врач стоял над ее кроватью, кажется, нет, точно, пытался приладить к ее губам шланг от кислородной подушки. Минут за десять до этого кислород в баллоне кончился. А я сидел на стуле в углу, метрах в трех от Тани и смотрел на нее в упор. Она задыхалась, стонала, что-то бессвязно, непонятно — скорее всего, из-за моей глухоты, потому что разум у нее все время оставался светлым, — что-то изредка говорила. Вдруг ее лицо, на котором уже явственно выступала смерть, изменилось. Все оно приобрело ровную смуглую окраску, а за секунду до этого нос был белого, мертвецкого цвета. Ее глаза расширились и сверкнули — гордостью, презрением или еще чем-то необычайным. Такой величественной я ее никогда не видел. В ее красоте было больше ума и доброжелательности, сдержанности, чем величия. В это мгновение, когда она что-то увидела, что-то важное, великое, — страха в глазах не было; я понял, что она встретила смерть. Сразу же после этого черты лица начали искажаться, врач что-то приладил ко рту, а может быть, попробовал пульс и на мой немой вопрос растерянно кивнул.

Последняя фраза ее мне — может быть, за полчаса, — которую я расслышал, была «Все против меня». Это было сказано, потому что врач и сестра, как ни тыкали иглами в ее бедные вены, не нашли их, как это часто бывало с нею в последние дни, да и в последние годы. До этого она сказала мне — может быть, потому что не умела унять ни негромких стонов, ни какой-то дрожи или ворочания: «Видишь, какой твой бедный Заяц», — или еще что-то в этом роде.

Минуты за две до смерти я дал ей две чайных ложечки растаявшего мороженого — молочного за девять копеек. Именно такого, как она просила. Ни вчера, ни позавчера я этой ее просьбы о молочном (еще лучше о фруктовом) мороженом не исполнил. У Каширского метро не было будки с мороженщиком. А сегодня я специально поехал на такси, не нашел ни единой будки на всем Варшавском шоссе и, только свернув в Нагатино, километрах в двух от Варшавки купил эту девятикопеечную пачку. Таня съела несколько ложечек с каким-то слабым, но видимым удовольствием сразу же после того, как я примерно в 15.20 пришел сменить Таню Винокурову. Может быть, это и была последняя радость в ее жизни.

Я не думал, что она умрет так скоро, хотя готовился к этому почти десять лет. В середине февраля Мария Михайловна, выдавая мне лекарства, сказала, что состояние будет ухудшаться медленно, очень медленно. Вот на это я и рассчитывал — на годы, по крайней мере, на месяцы.

Все произошло за неделю с небольшим.

Захарий Ильич, настоятельно советовавший мне немедленно, то есть в 3.20 увезти Таню из Малеевки в больницу, сказал, что дела плохи. Сестра-массажистка, сопровождавшая санитарную машину, — «колдунья» Лидия Семёновна, утверждающая, что она предсказывает смерть, сказала: «Если она выкарабкается», — и я понял, что дела очень плохи.

А Елена Николаевна, лечащий врач и подруга, сразу же, с неожиданной для ее мягкости, воспитанности и любви к Тане определенностью сказала, что надежд нет. Как я не выпыгивал у нее хоть небольшую надежду, она настаивала на своем. А Марья Михайловна, лучший в больнице специалист по ЛГМ и тоже почти подруга, не подошла ко мне, когда я видел ее в больничных коридорах.

Но даже сегодня, в воскресенье, дежурный врач — единственный врач на всю огромную больницу, сказал мне, когда я вышел вслед за ним из палаты (№218), что все необратимо и кончится очень скоро. Но что так скоро — через два часа после этого разговора — этого и он не думал. А Таня куда в большей степени, чем обычно, даже не хотела поставить на обсуждение мысль о скорой смерти. У нее все время были послебольничные планы. И болезнь казалась ей не трагичнее многих ее обострений.

Она попросила меня остаться с ней на ночь — если разрешат. Попросила, сославшись, что все время нуждается, чтобы подали-приняли. А вчера вдруг начала очень горячо и осмысленно просить у меня прощение за то, что мне приходится сидеть у нее и мыть ее и так далее. И это нельзя забыть, как она, возившаяся со мной всю жизнь, просила у меня прощения за то, что я нянчился с ней (в смысле медицинской няни) и делал грязную и полугрязную работу какую-нибудь неделю. Я сидел в коридоре, думал об этой сегодняшней ночи, которой теперь никогда не будет, о том, как Таня будет мучиться, о том, что ничего, кроме мучений, ее не ожидает, и сочинял:

¹ Публикатор и автор предисловия — Андрей Крамаренко.

Медленно движется полночь.
Ход её мерить не смей.
Самая скорая помощь.
Самая скорая смерть.

Не помедли, не помедли,
Мчась, и звеня, и трубя.
Как это люди посмели
Дурно сказать про тебя.

Через четыре часа наступит эта плохо предсказанная полночь, а Таня уже давно отмучилась. Всю жизнь она давала мне уроки мужества и благородства. Напоследок дала еще один — произвольный — умирать, мучась и мучая, как можно скорее.

Я поцеловал ее теплые еще губы и уже холодный лоб.

Когда еще кололи при мне — я старался отворачиваться — ее бедное тело с венами, которые все были тоньше иглы и в которые попадали с десятого или четвертого раза, когда я видел все эти синяки, кровоподтеки, я вспоминал, какой она была еще недавно.

31 января ей исполнилось 47 лет. Я поздравил ее утром и уехал на приемную комиссию — выгаскивать Алексея Королёва¹.

Забыл я уже, как плакать, и надо бы освоить это заново. Потому что легче. Лицо мое плачущее в зеркале — неприятно.

Как позвоню кому-нибудь по телефону, как скажу о Тане, бросаю трубку, чтобы не слышали, как я плачу.

Делать эти записи легче, чем сообщать о Тане.

Она стыдилась того, что стонет, и объясняла мне, что делает это только потому, что стон приносит облегчение. Стыдилась помешать мне спать или читать, или работать.

Скорая смерть. Она не успела стать ни старой, ни некрасивой. Она избежала подавляющего большинства онкологических мук, а те, которые не избежала, вынесла с высокой головой. Когда она увидела смерть, в этот миг она была и молода, и прекрасна. И что-то блеснуло в ее глазах. Но не страх, а гордость или удивление, или еще что-то.

На поминках вдовец выпил два стакана водки. Не опьянев, произнес:

— Соседский мальчик сказал: «Тети Тани больше не будет». Вот и все.

Телеграмма от 6 февраля 1977 года: «Потрясены смертью Татьяны. Со всей силой дружбы сочувствую и люблю тебя. Дезик».

Слуцкому написал Константин Симонов.

9. II. 77.

Дорогой Борис, хочется сказать Вам, что я, как — я убежден в этом — и многие другие, не самые близкие Вам, но любящие и глубоко Вас уважающие люди, переживаю Ваше горе и — не зная чем — все-таки очень хотят помочь Вам перенести его.

Если я окажусь Вам для чего-нибудь нужен, как советчик или как товарищ в каком-то деле, которое Вам покажется важным и душевно нужным, — скажите мне. Мне хотелось бы оказаться хоть в какой-то мере нужным Вам.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Константин Симонов.

По ее уходе он в кратчайший срок — в три месяца, если конкретно, 86 дней — написал множество стихов о ней. Обвал строк. Порой датировал. Написав, замолчал.

Стихла эта огромная нота. Звучанье
превратилось в молчанье.
Не имевший сравнения цвет
потускнел, и поблекнул, и выпал из спектра.
Эта осень осыпалась.
Эта песенка спета.
Это громкое «да!» тихо сходит на «нет».

Я цветов не ношу,
монумент не ваяю,
просто рядом стою,
солидарно зияю
с неоглядной,
межзвёздной почти
пустотой,
сам отпетый, замолкший, поблекший, пустой.

(«Слово на камне»)

¹ Алексей Королёв — поэт; речь о его вступлении в Союз писателей.

В мае 1977-го он уезжает в Дубулты, в Дом творчества, где вскоре по приезде с ним происходит острый приступ депрессии. Даниил Данин и Виталий Семин помогают ему уехать обратно в Москву, где его встречают Юрий Трифонов и другие друзья. Еще через несколько дней он становится пациентом 1-й Градской больницы.

Началось затворничество, лежание и скитание по больницам.

Психосоматическое отделение 1-й Градской находилось в неказистом здании, спрятанном в чахлах зарослей больничного сада. Войдя в общую палату и сев на кровать, Слуцкий сказал в пространство:

— Я ни с кем не буду разговаривать.

Отделение возглавлял доктор Берлин, выделивший Слуцкому глухой — лучшего не было — закут без соседей и позволявший пользоваться после рабочего дня телефоном в своем кабинете. Доктор Берлин любил стихи и разговоры о стихах, а в тридцатые годы лечил Пастернака — от бессонницы, а на самом деле — от того же самого. Когда однажды со Слуцким случился припадок бреда, доктор профессионально отреагировал в некой радости:

— Какой доброкачественный состав бреда.

Из 1-й Градской Слуцкий перебрался в Центральную клиническую больницу, потом — в психиатрическую клинику имени П.П.Кашенко, она же «Кашенко», она же «Канатчикова дача» (название по местности, где в середине XIX века располагались загородные владения купца Канатчикова).

Тринадцатого июля 1977 года (дата по штемпелю отправления) Самойлов пишет Слуцкому:

Дорогой Борис!

Пеца¹ недавно звонил, говорил, что тебе получше. Надеюсь, что ты уже не в больнице.

Знаю, как ты не любишь всякого рода выражения чувств, поэтому опускаю эту часть письма. Могу сказать только, что всегда помню о тебе, люблю тебя. Мы уже так давно не разговаривали толком и так разделили свою душевную жизнь, что трудно писать о чем-нибудь существенном. Не знаешь, с чего и начать.

А может быть, к чему-то и надо вернуться, потому что во мне всегда живо печальное чувство нашей разлуки. Возвращение может быть началом чего-то нового, которое окажется нужным нам обоим.

Мы с тобой внутренне всегда спорили. А теперь спорить поздно. Надо ценить то, что осталось, когда столько уже утрачено.

Я сейчас подумываю и стараюсь описать свою жизнь. Многое нуждается в переоценке.

В сущности, самым важным оказывается твердость в проведении жизненной линии, в познании закона своей жизни.

В этом ты по-своему всегда был силен. И надеюсь, что и в дальнейшем будешь вести свою жизненную линию, которая для многих — пример и нравственная опора.

Хотелось бы, конечно, не сейчас и, может быть, не скоро побыть с тобой вдвоем.

Будь здоров.

Обнимаю тебя.

Твой Дезик.

Скорбная лирика 1977 года — не история любви. Плач по жене. По единственному, последнему другу. Не Лаура и не Беатриче — Таня. Может быть, эти стихи в синей записной книжке — самое человеческое из всего, что написал Слуцкий. Смерть — на войне — научила его писать стихи. Смерть — жены — оборвала его речь, вызвав последний выплеск стиха.

А намерение такое:

чуть немного погода,
никого не беспокоя,
никого не тяготя,
отойти в сторонку смирно,
пот и слёзы оттереть,
лечь хоть на траву и мирно,
очень тихо помереть.

(«Вот какое намерение»)

¹ Пётр Горелик.

Кое-что, очень небольшое из написанного в эти месяцы, Слуцкий успеет отнести в журнально-газетные редакции — публикации их состоятся во второй половине 1977 и в самом начале 1978 годов. Несколько стихотворений успеет включить в подготовленную им тогда же для «Советского писателя» книгу «Неоконченные споры», в которой будут еще стихи с некоторым окном в надежду, с неиссякающей самоиронией:

Жизнь окончена. Сверх программы,
в стороне и не на виду
я отвешу немногие граммы,
сантиметров немного пройду,
напишу немногие строки,
напечатаю несколько книг,
потому что исполнились сроки.
Это всё будет после них.

Целесообразно итоги
подводить, пока жив и здоров,
не тогда, когда тощие ноги
протяну на глазах докторов,
а покуда разумен и зорек,
добродушен, беспечен, усат,
взлезть на дерево, встать на пригорок,
посмотреть напоследок назад.

(«Жизнь окончена. Сверх программы...»)

В мае 1978 года мимо его активного внимания прошла болезнь (перелом шейки бедра), а в августе — самоубийство (смертельная доза снотворного) Лили Юрьевны Брик.

Накануне очередного Нового года он получил письмо-записку от Межирова.

28.XII.78.

Борис, накануне Нового года, мне хочется *н а п и с а т ь* Вам то, о чем много думал и немало говорил. Вы сейчас действительно единственный несомненно крупный поэт. Это не произвол моего вкуса, а убеждение всех, кто любит, чувствует и создает поэзию. Вы-то, конечно, твердо знаете это сами сквозь любые Ваши сомнения, вечно владеющие художником.

Я постоянно буду пользоваться каждым случаем для выражения Вам моего почтения. Любящий Вас

А. Межиров.

Наступала новая ровная дата Слуцкого: шестьдесят лет. Межиров, долго не веривший в его болезнь («он нас разыгрывает»), поздравляет его:

7 мая 1979.

Дорогой Боря,

Всегда буду пользоваться поводом и случаем (сегодня они торжественные и интимные) — высказать Вам слова любви, глубокого уважения и восхищения. Вы и сами знаете, что во дни физиков и лириков единственный и несомненный поэт — Борис Слуцкий. Но каждый, кто любит, чувствует и создает поэзию, убежден в этом — в исключительной подлинности ритмического дыхания Ваших строк, в звуке (звук — сущность поэзии) величавом и пророческом, в Вашей способности возвращать мертвым словам их первоначальный, живой, великий смысл.

Всегда горжусь, что я живу в одно с Вами Время... «все времена одинаково жестоки, надо жить и делать свое дело» — сказал древний мудрец. Так оно и есть.

Преданный Вам А. Межиров.

Последнюю свою книгу «Сроки», составленную без его участия Юрием Болдыревым и редактором издательства «Советский писатель» Виктором Фогельсоном,

молодым его приятелем, свойственником Самойлова, он увидел за два года до своей кончины.

В перерывах между больницами, довольно редких, выезжал на процедуры в литфондовскую поликлинику на Аэропортовской улице. На знакомых смотрел в упор — не видя и не здороваясь.

При одной из последних встреч с Семёном Липкиным сказал трижды:

— Скоро умру.

Дома у него на книжных полках среди книг были втиснуты толстенные папки с неопубликованными стихами.

После своих больниц он жил чаще всего в семье брата Ефима, в Туле. Ума не потерял, память сохранил, ходил с авоськой в магазин за продуктами, выносил в ведре мусор на помойку, мыл посуду, иногда звонил старым знакомым, подолгу разговаривал с ними. К нему изредка приезжали Юрий Трифонов, Юрий Болдырев и некая московская девушка.

О ней мы ничего не знаем. Мы вообще ничего не знаем о Слуцком.

Я был плохой приметой,
я был травой примятой,
я белой был вороной,
я воблой был варёной.
Я был кольцом на пне,
я был лицом в окне
на сотом этаже...
Всем этим был уже.

А чем теперь мне стать бы?
Почтенным генералом,
зовомым на все свадьбы?
Учебным минералом,
положенным в музей

под толстое стекло
на радость ротозею,
ценителю назло?

Подстрочным примечаньем?
Привычкою порочной?
Отчаяньем? Молчаньем?
Нет, просто — строчкой точной,
не знающей покоя,
волнующей строкою,
и словом, оборотом,
исполненным огня,
излюбленным народом,
забывшим про меня...

(«Я был плохой приметой...»)

Умер он неясно как. Одни говорят: упал головой на стол во время завтрака; другие говорят: упал на пороге комнаты, выходя из кухни после мытья посуды, брат подхватил его.

Не преждевременно ли все это рассказано сейчас, когда впереди — чуть не вся книга? Нет. На Слуцкого надо смотреть с высоты его трагедии.

(Окончание в следующем номере)

Дружба на вырост

Влада Ахманова

Волчата

Рассказ

1. Слава и пролитая кровь

Раздается крик —
Из-за нас они теряют рассудок.
И вот чем всё оборачивается:
Мы на арене
И хотим крови.

Мы нарочно открыли окно, чтобы лунный свет просочился в нашу нехитрую обитель. Закрыли дверь на замок и прихватили вишневый компот в огромной трехлитровой банке, железные кружки, старые и затертые, черпак; случайно ложки — за компанию. Полная круглая луна глядела на нас с удивлением и сочувствием. Свет мы выключили — странно, если в гимназии-пансионе для зажиточных детишек посреди ночи свет горит. Конспирация, решили мы, прикрытие, хотя и ненадолго. Собрались для поминок, а получилось, что еле сдерживали смех сквозь слезы. Провожали Томаса Андреевича Становича, незаконно находившегося сейчас в комнате, пили за его деда, умершего от цирроза печени.

Кто он такой, Томас? Сирота при живых родителях, чье детство пришлось на родительские пьянки. Для него нормально это, он сам сказал. Ардис прибавил: «Голова замерзла, не соображает!..» И действительно, Томас видом своим похож на скинхеда в лучшие годы: лысый, в спортивном костюме и в белых носках на элегантные туфли. Простить ему суматоху и горе? *Ты пил так, словно мир на краю гибели (неправда). Лучший друг заявил тебе в глаз (понимай, как хочешь).*

Больше остальных Томаса понимал Александр Степанович Степанов, для нас — Саня. Они были «пришлыми». Дело в том, что мы, восемь человек без вышеупомянутых, дружим с детства. Практически с пеленок. А дальше — гимназия: переезд от родителей, новые правила, радости, горести, школьная жизнь по правилу «Либо ты, либо тебя».

Сейчас, я чувствовала, происходит нечто волшебное, нечто, способное изменить ход истории. *Кому-то нужно уйти, — клянусь, мы не со зла.*

Диана точно плакала. Сентиментальная моя девочка. Остальные держались с попеременным успехом; просто молчали, бросались фразами изредка — то был наш последний день вместе, не хотелось расточать энергию на пустяки. Я смотрела на звездное небо, сидя на полу со стаканом в руке. Заметив Большую Медведицу, подняла правую руку ближе к глазам: там, на сгибе локтя, родинки формировали похожую фигуру.

Хотелось говорить о важном и вечном, но слова не шли, терялись по дороге из пункта А в пункт Б. И все же, десять человек на одном полу — перебор, как ни крути.

Ахманова Влада Юрьевна родилась в 2001 году. С отличием закончила Детскую полицейскую академию, любит литературу (всемирную) и музыку (зарубежную). Любимый исполнитель — Lorde (вы увидите цитаты из ее песен на русском). Любимая книга — «Скажи волкам, что я дома» Кэрол Рифки Брант. Любимые животные — волки. Живет в селе Ишлеи, Чувашия. Это первая публикация автора.

Руки-ноги затекли, необходимо встать. Тут же, будто почувствовав это преступное желание, Варенька положила голову мне на плечо. Волосы у нее густые, слегка рыжеватые, и пахнет она сдобной выпечкой, домашняя и добрая подруга. *Здесь ни у кого не получается сомкнуть глаз.*

— Как мило, девчата, — умильно поглядел на нас Борис Алексеевич Ардис, ухмыльнувшись. Прозвучало издевкой, если честно. Ненавижу его, как он ненавидит имя, данное ему, и отзывается только на «Ардис». — Кажется, ночь грозит быть хреновой, товарищи. Собираетесь и дальше штаны просиживать? Я — нет.

— Что предлагаешь, умник? — поинтересовался Марк Аркадьевич Песчаный, старший брат Дианы. — Нам, знаешь ли, попадет, как ни крути, за ночные бдения. Не говори только о побеге!..

Я встрепенулась всем телом. Побег? А так можно?

— Сбежавшие подростки никого не удивят, так-то. Хочешь храбрость показать? Вон, старушку на соседней улице переведи, раз уж не терпится...

— Не я сбегу, у с п о к о й с я. — Медленно произнес сводный братец Ардис. Сводный, потому что его отец — приемный ребенок моего деда, дяди Лёши. — Только нужно отвести Томаса на вокзал, пока его из опеки не нашли. Дед-то лапки сложил, просрал все. Я моему лучшему другу сохнуть не позволю.

У Тома словно глаза раскрылись; мне показалось, они блестят. Он благодарно схватил Ардиса, стал толкать его, как неваляшку, из стороны в сторону. Анджей Янович Новак, Дмитрий Дмитрич Ларин и Михаил Иванович Шульга вмиг оказались рядом и повалились все несносной барахтающейся массой. *Вы могли бы попытаться убить нас, но мы — гладиаторы. Каждый свиреп, как бык, но в душе мы освободители.*

Стали обниматься все. Мои руки хватали чьи-то волосы, одежду, даже носы. Потрепали изрядно и меня. Когда первый всплеск эмоций прошел, мы-таки начали пить компот.

— Давайте за Волка, а!.. — предложил вездесущий Мишка. — Наш же призрак, наш любимый!.. Покровитель гимназии и ее учеников. Должен помочь! — авторитетно заявил друг. — Не, ну правда, должен. Твой дядя, Рина. Попроси его.

Мой дядя — Натан Натанович Гриневский, младший брат деда. Умер в семнадцать лет. По официальной версии, упал со второго этажа на кафельные ступени при входе в дом. *Я никогда не думаю о смерти. Если ты думаешь о ней — это нормально.*

Спустя тридцать-тридцать пять лет явился призраком несчастным старшеклассникам, бухавшим за гаражами. Пожурил их невежественность. Постепенно, мало-помалу, превратился в местного бога. Просили у Волка хорошие оценки, удачу, счастье — нечто до абсурдного смешное и жизненно необходимое. Как кровный родственник бога, я испытала на себе тяжесть косых взглядов, полных то ли благоговейного ужаса, то ли разочарования. Сколько раз говорили мне о чрезвычайной моей похожести на дядю! Мол, волосы короткие, темные, глаза черные, бесстрастные (утверждали: *демонические*, но я не соглашалась). Намекали на восточные гены (Восток откуда только разглядели?). В общем, роль у меня — и жрец, и жнец, и на дуде игрец.

— Просить помочь нам сбежать?

— Стоп-стоп-стоп!.. — начал, было, Марк нравоучения. Дима перебил:

— Прикроем ребяток. Дело сделаем. Хорош бояться.

Анджей многозначительно закивал головой. Разумеется, мы могли друг друга прикрыть, наши родители очень дружат, потому и мы дружим. Для парней предавать, строить козни за спиной, шушукаться — нет ничего хуже и противнее. Я верила в них слепо, послушно, доверяя всем сердцем. *«Втайне тебе нравится. Ты хочешь вообще на свободу?»*

Время решительных действий.

Я подскочила, опрокинув стакан, — красная лужа разлилась по линолеуму, — взяла лицо Томаса в ладоши и задала ему вопрос, глаза в глаза: «Хочешь, мы спасем тебя?» Ничто меня, очевидно, не смущало. Ребята замолкли на мгновение. *Учитывы во всем, кроме одного (владения мечом). Видит Бог, мы любим древние виды развлечений (по старинке).*

— Риночка!.. — Диана с кошачьей грацией очутилась рядом. — Ты можешь сама на вокзал Томочку сопроводить? Нельзя так! А вдруг — маньяки?..

Рядом захохотал Миша. Правильно сделал: он же сын моей крестной и знает меня лучше, чем кто-либо.

— Она?! Да она... Ха-ха, скорее ее маньяки испугаются!!!

— Почему? Она же не страшненькая. *Случай — единственная игра, в которую я играю. Мы позволяем битвам выбирать нас.*

Не нужно быть провидцем, чтобы предугадать дальнейшие события. Во время всеобщего веселья я успела надеть куртку и нахлобучить шапку на голову. Ботинки уже были на мне. Окно открылось на удивление просто; стоило поблагодарить Бога за первый этаж и теплую безветренную погоду.

— Подождите-ка, детишки! — Ардис от возмущения встал на ноги и теперь возвышался надо мной на добрые 20 сантиметров. — Почему ты? Когда меня успели послать к чертовой матери?

— Хватит, бро, реально. Мы договорились с Риной раньше, и к тому же она здесь родилась, в этом городе...

— А я не родился!..

— Ну не жил же!

Мы подобны мечам, но я думаю, в действительности мы сражаемся сами с собой.

За лунной я следила больше, чем за говорливыми петухами на заднем плане. Отчего на ней пятно в виде девушки с коромыслом? Отчего луне нельзя верить? Вдруг ее свет нас отравил, потому мы стремглав несемся в бездну страстей человеческих?

— Идите втроем, ей-богу. Подеретесь еще, кровавые ошметки за вами потом отмывать, — Саня, как владетельный хозяин комнаты, решил от нас избавиться изысканно и со вкусом.

— Возвращайтесь скорей, — Варя бросилась обнимать нас троих. Томасу доставались девичьи слезы и суровые мужские рукопожатия. Я догадалась: ребята думали, они прощаются с Томасом навсегда. Куда он едет? Зачем? Есть ли смысл бежать от судьбы? *Закаляем наши души, поэтому мы готовы, когда приходится, убивать время.*

Одно я знала: смысл есть в борьбе. Желание жить движет всем сущим, рождает любовь в бесплодной почве пустоты. Разве любовь — не жизнь, не борьба? Теперь или никогда.

Теперь или никогда.

Втроем мы выбрались на свежий воздух, перемахнули в два счета забор (дядя Ваня-охранник по ночам беспробудно спит, а камеры нас не волновали). Лунная дорога вела по гравии вдаль. Многоэтажные дома струдились вокруг атлантами, подпирающими землю. Деревья отбрасывали тени. Фонари успокаивали наличием здорового научного начала. Проезжали машины, быстро, наслаждаясь свободными пространствами асфальта.

Молча мы отправились в путешествие. *Победа заразна.*

2. Белозубые подростки

Мы скорее умрем, чем покажемся здесь днем.

Полагаю, вам повезло, что сейчас темно.

Если мне понравится, мы останемся.

Произведите впечатление на императрицу, выпейте.

Анджей поднялся на ноги и сладко потянулся. С уходом троицы будто воздух стал легче — из-за ветра ли? Нет, просто на душе теперь было покойно. Чувство ошеломляющее и захватывающее: впервые в жизни мальчик ощутил себя способным на великие противозаконные дела. Мысль эта опьяняла, светилась ярко-красными прожекторами с надписью «ОПАСНОСТЬ». Анджей затряс головой, светлый хвост жестких волос взметнулся на макушке — «бррр!..» *Мы сияем нашими улыбками.*

Миша в неясной тоске смотрел в законную даль.

— Сигареты есть у кого? — шепот Марка резко упал на абсолютную тишину.

— Марк!!! — послышались укоризненные вопли сразу с нескольких сторон. Диана тетрадь по математике ударила его раз, второй, критически воззрилась на показавшуюся ей тонкой вещь — и колотила уже не одной, а двумя тетрадками: прибавилась литература. *Провозгласим синяки наградами.*

— Не ожидал, не ожидал...

— Мы завтра все уезжаем, ну и черт с ним!..

В руке Димы оказалась зажигалка, красивая, металлическая; с щелчком откинулась крышка, пламя вырвалось алым всплеском. Сигарета одна на двоих.

Миша и не заметил, как оказался «в малине»: Диана прижимается справа, Варька греет слева, и обе усиленно делают вид, будто им невозможно плохо от дыма. В нос ударили резкие девчачьи запахи: приторная ваниль и нечто наподобие розы. «Рина говорила, ароматы несут много информации. Запах бесподобен. Она никогда ничем не пахла, может, свежим шампунем и шоколадом. Однажды... один раз от нее несло мужским одеколоном. Отшутилась: мол, папина рубашка невыстиранная. А еще от нее несло махоркой». *Все вышло просто прекрасно. Никто не носит мантию так, как я.*

— Пожарная сигнализация? У нас ведь дым, ребят, дым!.. — Варя потянула Мишу за рукав — он сморщился от негодования и чуть не толкнул ее. *Их зубы блестят, как огоньки в тоннеле, в котором мы сидим и ничего не делаем, — мы это любим.*

— Этой ночью отключили свет. Догадалась? Мы давно планировали «Тайную Вечерю», знаешь ли.

— Не богохульствуй!.. — спросонья донесся голос Саши из-под одеяла. Сын священника дрых без задних ног, дым проник в легкие и скомандовал мозгу раскрыть глаза. Саша глаза раскрыл, узрел друзей, занятых греховными делами, и глаза вновь закрыл. Он выдержал безоговорочную веру гимназистов в Волка, выдержал их молитвенные приношения в виде жженой бумаги и конфет, терпел ненависть своих товарищей к маленьким людям, всегда отказывался от денег. Пришел день, когда Саша поймал себя на восхищенном разглядывании костра, в коем бугрился и плавился мусор, найденный на улицах города. Они специально ходили по городу и собирали мусор. Они провозгласили это «ритуалом». Александр тогда понял истинные значения слов «вера» и «власть». Что бы вышло, если бы «ритуалом» назвали не сбор фантиков по запыленному проспекту, а например, питье крови каждую субботу? избиение новичков? жертвоприношения?

Мне нравится ход ваших мыслей, но у нас свои методы.

Алекс внутренне содрогнулся и сел в кровати. Завтра друзья уедут. Останется он один, и ему одному придется стать жрецом Волка.

Холод неверия хлестнул его по спине.

— Эй, ребят... А Томас в курсе, кто высказал его родителям по телефону «претензии»? О тех, из-за кого его из дома выгнали? *Белозубые подростки наготове.*

— Ммм, дай-ка подумать... — Анджей от усердия надул губы и почесал затылок. — Да. Он в курсе. Он им премного благодарен, — мальчик улыбнулся, как Чеширский кот. — Ты ведь о Рине с Ардисом? Почти все сделали они. Всегда и везде были они.

— Почему?..

— Ненавидят пьяных ублюдков.

Если хотите, мы поможем вам избавиться от рубцов. Провозгласим синяки наградами.

Анджей легкомысленно вздохнул, пожал плечами, словно хотел сказать: «Ой, какая беда, ой, как мне жаль!..» На самом деле звучало бы: «И правильно сделали, что послали их, недоносков, в самое пекло».

Пухлая Варя, похожая на идеал русского народа, вздохнула на всю комнату протяжно и тоскливо:

— А женщин вы почему ненавидите?

Сквозь дым она услышала: «Такое время». *Они другие, они и кажутся другими, это у них в крови.*

3. Команда

Мы живем в городах, которые вы никогда не увидите по ящику;
Они не самые прелестные, зато мы умеем всем заправлять.
Мы живем в руинах дворца собственных желаний.
И ты знаешь, мы все друг за друга горой.

Мы бежали от полиции три квартала, скрываясь в кустах, срываясь на долгий, протяжный, задыхающийся смех. Ночью все-таки дрожь берет, и патрульные машины не дремлют; холодный пот стекал по спине и щекотал. В довершение всего парни почти тащили меня за собой, держа за руки. Удивительно, сколько вполне приличных людей ходит во тьме! Кавалеры ведут своих дам под ручку; молодая семейная пара с ребенком; старичок с бультерьером. И ни у кого мы не вызвали ни малейшего испуга: видно, привыкли люди к побегам. *Гончие останутся в цепях.*

Дойдя до перехода через дорогу, мы остановились. Многоэтажный дом спрятал нас. Я вспомнила: элегантная «сталинка» называется. Хорошее начало, ничего не скажешь. *Все стаканы разбиты, осколки у нас под ногами.*

— Вокзал через дорогу в двух шагах отсюда, — на удивление прилично Ардис показал нужную сторону Томасу. Тот сидел на бетоне, прижавши сумку к груди. *Каждый пытается достичь той любви, которая им не светит.*

Большая медведица на пару с Луной сопровождали путников. Кому верить? Той, что вечно меняется, или той, что носит название «Семь разбойников»?

А мне можно верить? Разве порядочно помогать молодому человеку, родителей которого лишили родительских прав, сбегать от родственников? Не аморально?

Разве сидеть сложа руки, видя гибель друга, не аморально? *Мы пока не утратили нашей милости.*

Мир — большая книга со множеством разноцветных страниц, переливающихся во мгле, в тумане вечности. Скажи мне, друг, какой цвет ты видишь? Цветов много, бесконечно; столько же и мнений.

Мир льстит каждому, шепча: «Я люблю тебя». Человеку из миллиона дорог он выбирает лучшую, подсказывает: «Иди, вот твой путь, твоя дороженька, ты достоин превосходнейших даров. Нет причин терпеть боль». Однако пропащий сидит, не шевелясь, и кричит: «Почему, почему мне не досталось ничего *просто так!*.. Бедный я, несчастный, пожалейте!» Для мира нет хуже предательства. С радостью откроет он объятия, коль в дальнейшем покаешься: «Я прощаю». *Посмотри на Твое Величество — и раздастся голос.*

Волк показал мне любовь, именуемую уважением.

— Иди. Вали на все четыре стороны, чтобы я тебя больше не видел, брат, — Боря шандарахнул Томаса по спине кулаком, ослабьась. Желтые клыки показались и тут же исчезли. — Дурацкое имя у тебя все-таки, не по-нашему.

— А твоя фамилия вообще хрен знает откуда взялась.

— А давайте не будем дискутировать! — мне удалось запрыгнуть и обнять их двоих за плечи. Высокие стали лбы, я и не заметила. — Том, уезжай с рассветом, паспорт и ключи от сестринской квартиры у тебя с собой, она ждет. Через месяц исполнится 18, никуда тебя тогда не заберут (если только в армию!). Постарайся вести себя до поры до времени тихо, не буянь, скандалы не устраивай. Всё. Волки преданны друг другу, но не преданы собою. *Зовите всех дам, они сегодня при параде.*

— ...но не преданы собою, — Томас удалялся. Шел вперед. Руки в карманы, собранный и энергичный, знающий о безграничных возможностях. *Теперь впустите кавалеров, на их коже будто лунные кратеры. Мы любим месяц как братца, когда он освещает комнату.* Возле вокзала он проорал на прощание:

— Услышимся, Волки!..

— Ну не скотина! Он нас ментам сдаст!

Пришлось дать деру. *И ты знаешь, мы все друг за друга горой.*

Волку наскучило быть одному, волк был предателем тайным;
решил милый зверь закончить игру, собрав ребятишек случайно:
первый волчонок был внучкой родной — голод ее захватил с головой;
она погибала с тоски (как печально!..), но вскоре увидела чашечку чая;
рыжий волчонок всегда под рукой — помни, что брат следит за тобой;
третий, наверно, объелся любви: он замкнут, он сдержан — и добр внутри;
четвертый волчонок умнее других (надменный, конечно, да стоит троих);
брат и сестра ненамного всех лучше: «я много хочу» и «желаю лишь больше» —
пятый с шестой к жизни готовы; номер седьмой была дамой суровой:
в юные годы спор заключила — «всех переплюну, буду счастливой»;
волчонок восьмой заплутал по дороге: «кто я, откуда, скажите мне, боги»;
девятый очнулся после мучений — теперь спит спокойно, живой и счастливый;
десятый же снова в пути: он в бегах, он в болоте, идет в полынью —
он ищет семью.

4. Рёбра

Мечта не такая уж и сладкая.
Мы кружим по лунным улицам;
Я одинока, как никогда.
Взрослеть так страшно.

В конце августа пошли дожди. Я мысленно благодарила траву на земле, солнце в голубых небесах и мрачных прохожих — им я улыбалась (что у нас квалифицируется как «помешательство»). У меня серьезная причина: капли благодатной воды смывали написанное маркером имя на бандероли. *Хочу вернуть тот образ мыслей.* Когда осталось «...с Андреевич», здравый смысл возобладал над разумом — я раскрыла зонт. *Помыслы, вертевшиеся в наших головах.* Дома с балкона сфотографировала двойную радугу — какая удача!..

В пупырчатой пленке запряталась книжка под названием «Tell the Wolves I'm Home». Из переплета выпал буклет Академии МВД. Больше ничего. *Недостаточно ощущать утрату.*

Иные подсказки были бы излишни. *Хочу обратно.*

С Ардисом удалось связаться довольно скоро. Он опять поссорился с отцом и доживал свой век без карманных денег. Ни я, ни он не способны жить в четырех стенах. *Мы можем болтать без конца.* Мне очень хочется сказать спасибо родителям, понимающим мою душу кочевника и его — захватчика. Да, он захватывает земли и людей. Да, он жуткий собственник. Его имперские наклонности не знают границ. Но я знаю: в самую тяжкую минуту он является из ниоткуда. *Мы можем творить чудеса.*

Мне кажется, я его уважаю.

— МВД?! — вскричал Ардис. Буклет он уже помял до непотребного состояния, поэтому книгу я берегла в руках как зеницу ока. — «Пацан к успеху шел», однозначно!..

На его и на моей одеждах красовались золотые эмблемы. За что мы боремся, если скоро уедем? Выигравшие лотерею еще до рождения не нуждаются в сочувствии. Не умеем жалеть, не умеем любить, выпускаем когти средь бела дня. Подозреваем целый мир в измене. А кажется, изменились только мы. Остается перечитывать старые книги и заново впитывать память веков — ведь мы забыли наших предков. *И хотеть до боли в ребрах.*

29 октября 2017 г.

Вадим Муратханов

СТИХИ для себя

«Бабушка, стихи!»

Не сразу попадая в тапочки, бабушка щелкала выключателем и шаркала в сторону серванта, где лежали приготовленные с вечера блокнот и ручка. Чтобы записать очередной тянущийся к бессмертию столбик:

Эти горы и леса,
Реки и болота
Я пройду за два часа —
Это не забота.

Писать и читать стихи я начал почти одновременно. Первой книгой, которую прочел от корки до корки, был том Есенина в ворсистой серо-зеленой обложке. Дядя подарил мне его в меховой и морозный день киргизской зимы.

«Белая береза» и «Письмо к матери» тронули не сильно, а вот «Черного человека» и «Страну негодяев», толком не понимая, перечитывал раз за разом. И в конце концов пришел к выводу, что могу не хуже.

Сочинять было не трудней, чем складывать кубики, бегать по двору с пластмассовым автоматом или играть в настольный футбол. Но я быстро заметил, что именно стихи производят впечатление на взрослых. Надиктованные в бабушкин блокнот, плоды вдохновения зачитывались гостям и всячески поощрялись: «Будет поэт, когда вырастет». «Я уже поэт», — обижался я про себя, и ничто в моей вселенной не могло поколебать эту уверенность.

Дедушка был осторожней в оценках. «Есть задатки», — кивал он после прочитанного, а я отворачивал лицо, чтобы скрыть разочарование.

Когда дедушка умер, я, конечно же, сочинил об этом стихи. Взрослые выслушали их молча и без восторгов. Впервые на моей памяти они отказались играть со мной в вундеркинда. Уткнувшись лбом в прохладную беленую стену построенного дедушкой саманного дома, я долго лежал без сна на мокрой подушке, учась одиночеству.

Вскоре после переезда в Ленинград мама отвела меня во Дворец пионеров. Занятия в литературном клубе «Дерзание» проходили в кабинетах и залах, где роскошные мебель, лепнина и люстры часто отвлекали от ломких голосов, с выражением читавших свое.

Однажды стульев оказалось слишком мало, и Варвара Моисеевна, наша наставница, предложила всем расположиться на огромном, в ширину комнаты, пушистом ковре. Мы читали и слушали друг друга, сидя и лежа на мягком, но мне все

время казалось, что вот сейчас войдет настоящий хозяин дворца — и отчитает нас за вольность.

Обычно после авторского чтения сначала высказывались студийцы, потом Варвара Моисеевна выносила свой вердикт, заодно оценивая и предыдущие отклики на прозвучавшее.

Мое неуязвимое прежде графоманское счастье быстро рухнуло под градом критических стрел ровесников. Многие из них писали лучше и интересней. Тогда и случился мой первый творческий кризис: я замолчал. Стихи, за которые мне так крепко теперь доставалось, перестали складываться в голове. «Ничего, — мрачно утешал я себя, — вот стану критиком — и вы у меня получите».

Не помню, почему в тот день я шел из школы один. Не было рядом ни Вовы Игнатьева, с которым мы после уроков играли в шахматы, ни Стаса Пестрецова, с которым гоняли мяч и то и дело дрались. Был редкий сентябрьский день затишья, когда у деревьев есть время попрощаться с листвой и последним теплом перед затяжными, зачеркивающими пейзаж дождями. Тогда-то я и написал свое первое стихотворение:

Осенние кораблики земли,
Послушные невидимым штурвалам,
И крутятся, и вертятся вдали,
Ложатся желтым покрывалом.

Они, как сны, заносят в наши души
Сомненья и напрасную тревогу.
Вздыхает ветер то шумней, то глуше
И шлет кораблик в дальнюю дорогу.

На заседании клуба оно осталось незамеченным. Как только я начал читать, кто-то из взрослых вошел в кабинет и отвлек Варвару Моисеевну. Студийцы тоже не проявили особого интереса, обсуждение скомкалось. Но впервые это было не важно: листопад заслонял лица критиков, и слова уносило ветром.

На вечерах любители словесности задают традиционный вопрос: для кого вы пишете?

«Ни для кого, — отвечаю честно. — Вырос эгоистом. Пишу для себя».

Илья Кочергин

Чувствительность к географии

Мы почувствовали, что находимся уже в Сибири, когда вышли прогуляться на первой станции за Уралом. По крайней мере, нам так показалось. Правда, Урал на юге такой размытый — непонятно, где еще Урал, а где уже нет. И точных признаков Сибири в воздухе, в людях, в пейзажах или в чем-то другом мы выделить не сумели. Но все равно почувствовали, как иначе?

Для меня Сибирь значит много — я ее долго открывал и присваивал, а для Любы это и вовсе родина. Да и встретились мы там. Поэтому мы настойчиво искали ее неясные признаки и убедили друг друга, что почувствовали въезд в Сибирь. Наверное, они, эти признаки, отыскиались в нас самих, внутри.

Сибирь вообще понятие неопределенное. Только на севере Урала, наверное, можно встать на каком-нибудь крутом перевале и увидеть по одну сторону Европу, а по другую Сибирь. А в других местах непонятно. Где заканчивается Сибирь, и где начинается Дальний Восток? Почему Горный Алтай в Сибири, а Монгольский Алтай нет? Сибиряками можно назвать только некоренное население Сибири, а вот бурят, алтайцев, тувинцев или якутов так не назовешь, да они и сами себя так не называют. Моя Люба — наполовину русская, наполовину бурятка — она сибирячка?

Однако я прожил в поездах этого направления месяца три-четыре своей жизни, и всегда чувствовал, что уже въехал в Сибирь или покинул.

Сколько времени я тогда провел, глядя в окно поезда? Сложно сказать. В подобных медитациях время течет как попало — то быстрее, то медленнее. Сибирские пространства в окошке меня, москвича, завораживают.

Это заоконное пространство очень велико и мало населено. Невообразимое количество деревьев, перелески, леса. Культивируемые и некультивируемые поля. Трава и кусты, занимающие какую-то страшную по величине площадь. Болота и заболоченные участки. Я знаю, что это все будет тянуться весь сегодняшний день и завтрашний день и по ночам невидимо проезжать за окном, а потом мы сойдем с поезда, а он так и продолжит путь по этим нечеловеческим по масштабу землям.

Смотришь, смотришь в окно, и кажется, что никакой тихий ежедневный труд не приручит это пространство, кажется, что здесь возможны только коллективные героические, почти нечеловеческие свершения во имя великой идеи. Что-то вроде подъема целины или освоения Колымы. Порывы, жертвы и подвиги.

Сразу хочется такую великую идею. Неважно, что массовые героические свершения чреваты всякими экологическими и гуманитарными катастрофами, все равно хочется примкнуть и участвовать. Защитная реакция нормального человека, глядящего на неоглядные пространства.

Илья Кочергин — прозаик, фотограф. Закончил Литературный институт им.А.М.Горького. Работал на разных работах, в том числе почтальоном, дворником, строителем, пожарным сторожем в Баргузинском заповеднике на Байкале, рабочим геологической партии на Камчатке, лесником в Алтайском заповеднике. Постоянный автор «ДН».

В мае 2018 года в изд-ве «Время» вышла книга «Точка сборки».

Французский историк Андрэ Берелович утверждал, что русские, ушибленные «огромностью и пустынностью» своих пространств, упорядочивали свой мир за счет жесткой иерархичности общества. Только будучи частью ясной системы и иерархии, русские могли чувствовать себя в России уютно.

Может, он тоже по Транссибу ездил в поезде, этот историк, тоже глядел в окошко и пытался разобраться со своими чувствами? Ладно, будем надеяться, что обойдемся без массовых жертв, иерархичности и жестких систем, не такие уж мы и слабые.

А вот то, что огромность и бескрайность могут ушибить, — это он точно подметил. Стоит справиться с первой реакцией на эту бескрайность, моя ушибленность пространством начинает напоминать состояние постоянной легкой влюбленности. Мир огромен и прекрасен.

Все это я впервые почувствовал в молодости, глядя из иллюминатора вертолета на просторы Камчатки, а потом таращась в окошко поезда, идущего по Сибири.

Эту восхитительную ушибленность легко ощутить, когда смотришь с высоты крутого яра над Обью в Барнауле, на котором поставлены громадные, несколько голливудские буквы Б А Р Н А У Л, когда перед тобой за рекой открываются лесные просторы до горизонта.

(Да, мы уже добрались до Барнаула, сошли с поезда и гуляем по городу с Володей Токмаковым).

Стоишь на этой горе над великой сибирской рекой, за тобой центр Барнаула, трубы, подъемные краны, крыши, купола, муравейники современных жилых и офисных зданий, высотки, улицы. А за Обью, которую пересекает новый красивый мост, — сплошной лес до горизонта.

Не знаю, как у Любы, а у меня — сразу предвкушение лежащих впереди, еще не добытых, не завоеванных пространств, у меня сразу виден новый мир.

Сейчас я применю свою силу, ум, изворотливость, талант. Извернусь, пройду первопроходцем, выживу, захвачу, покорю, присвою. Обещание форта такое (мне нравится это сибирское слово — форт).

— Смотри на него! Выехал из Москвы и бодренький такой, смотрит вдаль, даже осанка изменилась, — довольно говорит Люба Володе Токмакову.

Предвкушение нового мира ощущается и в свободной, размашистой планировке Барнаульского университета, мимо которого мы прошли по пути сюда. Наверное, когда-то новые корпуса и широкие солнечные пространства между ними, где может гулять свободный ветер, отражали свежий мир социалистического полета в будущее, мечта о котором теперь угасла. Тут тоже свой простор, мечта о неизведанном и не открытом. О новом, коллективном фате.

А еще при виде всего этого простора и лесных далей просыпается нутряная, смутная память о пути в Беловодье, счастливую страну, находящуюся где-то далеко на востоке. Смутная, но вполне живая, рабочая такая.

В моей семье никто не был никак связан с землями, которые лежат за Уралом. Все предки были из России — из Пензенской, Смоленской, Астраханской губерний. Бабка утверждала, что в Сибири живут одни «тюремщики». Отец, правда, рисовал ее, как страну величественных пейзажей и суровых, романтических ландшафтов, по которым могут пройти только «крутые» парни, но сам был там один только раз в туристическом походе с коллегами по институту. Мои предки покоряли Москву, а не Сибирь.

Кочергины из Астраханской губернии, старообрядцы, могли бы, в принципе, отправиться на восток сохранять веру и искать убежища «в горах и вертепах и пропастях земных» в глуши сибирских лесов, но то ли земли в Камышинском уезде были слишком плодородными, чтобы их так запросто оставить (жили они довольно зажиточно, не голодали и впоследствии были раскулачены), то ли вера не так сильно мешала жизни, но единственный предок, достоверно ушедший на поиски страны с более кисельными берегами и более молочными реками, отправился в 1905 году не в Беловодье, а в Северо-Американские Соединенные Штаты, где бесследно исчез.

А я вот не устоял перед силой этой тяги к заповедному Беловодью и отправился из Москвы на восток — сначала на Камчатку, потом на Байкал в Баргузинский заповедник, а потом последовал (сам не зная того) прямо по маршруту, указанному

в одном из списков «Путешественника» — рукописного документа, имевшего широкое хождение в среде староверов в XIX веке. «Ход от Москвы на Казань, на Екатеринобург, на Тумень, на камский Кабарнаул, на небесной верх, по реке Котуне...»

Теперь мы с Любой следуем этой дорогой, чтобы добраться до Язулы. Скоро проедем Бийск, Горно-Алтайск и начнем подыматься на «небесной верх» по Катунь. А сегодня гуляем по Барнаулу.

Пока Володя, писатель и журналист, проводит для нас экскурсию по городу, мы успеваем остановиться, познакомиться и поговорить на разные темы с десятком человек. Молодые творческие личности, свежий розовощекий помощник главы города, мама с близняшками, которая рассказывает нам о том, как водит своих девочек на иппотерапию. Кажется, что ходишь по знакомому городу, населенному знакомыми людьми. Кажется, что ты свой. Ощущение, недоступное в родной столице.

Володя заводит нас к себе на работу, открывает большую комнату, заваленную книгами. Это созданный им приют для бездомных, брошенных владельцами книг. Володя находит их на улицах, свалках, в подъездах и берет к себе на передержку, пока не найдет для них новых хозяев. Берет породистых — от знаменитых авторов или из серии «Библиотека приключений», «ЖЗЛ», «Библиотека всемирной литературы» — и совсем беспородных. С хорошей атласной бумагой, в дорогих переплетах и бедолаг, родившихся на плохой бумаге в мягкой обложке в голодные девяностые. Новеньких и потрепанных. Жалеет и подбирает на улицах даже глупые, беспомощные создания, выведенные на потеху домохозяйкам и пассажирам поездов.

С трудом пробираясь между стопками, связками, он берет на руки то одну, то другую книжку, открывает, листает, любит обложкой, рассказывает коротенькие истории о них. Пытается пристроить и нам хотя бы парочку бездомных. Но у нас и так переполнены рюкзаки, нам предстоит еще долгая дорога, и мы покидаем приют с ощущением вины.

На следующий день мы пересекаем на автобусе новый красивый мост, любимся издали голливудскими барнаульскими буквами и едем до Бийска, когда-то уже исхоженного вдоль и поперек. Пересадка на автобус до Горно-Алтайска. И вот, еще не доезжая шукшинских Сростков, мы видим, как земля в окошке автобуса из плоской понемногу становится рельефной.

Ночуем мы и вовсе на склоне горы, куда взбираются крутые улочки Горно-Алтайска.

Наша хозяйка Люба Кергилова уже на скорую руку накормила нас с дороги супом, вареным мясом, пловом, консервированными овощами собственного приготовления, лепешками, и теперь ее муж Мерген готовит на дворе шашлыки для основательного застолья. А моя Люба поднялась на второй этаж для более тесного знакомства с малолетней командой — Кайралом, Каримом и Кюнелькой.

— Пацаны вообще не любят ездить в Язулу, — рассказывает их мама. — А Кюнелька только и мечтает. «Вырасту — туда, — говорит, — поеду жить». Папе летом на покосе помогала, на его Сером все копы свозила.

Люба Кергилова родом из Язулы, старшая дочь моего друга Альберта Кайчина. Окончила филологический факультет Горно-Алтайского университета, в нем же осталась работать. Ее муж Мерген служит судебным приставом.

Выхожу к Мергену покурить, оглядываюсь. Завидую их городской и в то же время уютной деревенской жизни — снизу доносится гул машин, мигают огни рекламы, а здесь передо мной огород, у парника лежит громадная тыква, каких мы на нашей даче в жизни не выращивали. Вдоль огорода тянутся сарай, баня. Из земли торчит шланг с вентилем — водопровод. Открывающийся городской пейзаж мне нравится — взгляду есть где разбежаться, дома не заслоняют простор. По горизонту — горы.

Это мое частое состояние в Сибири — все время кому-нибудь завидую.

Поселился бы здесь навсегда, завел бы такой же огород возле дома, по утрам отводил ребятишек в школу — десять минут пешком, шел на работу в университет (еще пять минут ходьбы) или в суд. И не завидовал бы. Но не селюсь, не завожу у дома огород. Завидовать легче.

А что начнется, когда до Язулы доедем, — просторы, теплый запах скотины, свежая убойна, аромат тайги. Вообще изведусь. Отчего же тогда уехал в 97-м году с

Алтая в свою Москву? И лошадь была, и корова с телкой и бычком, огород опять же. Тайга под боком.

— Мерген, а дом вы покупали или сами строили?

— Сами с отцом строили.

Дом снаружи выглядит небольшим, а внутри кажется просторным. Снова приступ зависти. Сами строили свой городской дом, да к тому же с отцом вместе.

Вечером мы сидим во дворе на диване, за столом, едим ароматные шашлыки, смотрим, как на город внизу опускается вечер. Люба Кергилова сообщает свежие деревенские новости, готовит нас потихоньку к Язуле. Тот-то умер, тот-то теперь в Улагане живет, в районном поселке, та родила троих детей, этот на пастушьей стоянке работает.

Вспоминаем наши давние встречи, когда она еще жила с родителями и училась в язупинской школе.

— От вас, дядя Илья, всегда все самое новое и хорошее в Язулу попадало. Я помню, как вы привозили сникерсы, там, всякое такое...

Моя Люба смеется:

— Нет, чтобы доброе что привезти — он сникерсы привозил.

В шесть утра, потемну, за нами заезжает маршрутное такси — японский праворульный минивэн. Мы грузимся и еще кружим в темноте по городу, по адресам, собираем других пассажиров, а потом снова выезжаем на Чуйский тракт, идущий от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, — одну из десяти самых красивых дорог мира.

Интересно, что появление бурханизма среди северных алтайцев в начале XX века, своего рода духовная революция — резкий отказ от шаманизма, от приношений скота в жертву духам, рост национального самосознания — исследователи связывают именно с тем, что старообрядцы оседали на пути в свое Беловодье в красивых и плодородных долинах Алтая, насильно захватывали и распахивали земли, принадлежащие «иностранцам», а начальство глядело на это сквозь пальцы. Путь в страну блаженных полон искушений, так что неудивительно, что Чуйский тракт по красоте на вершине мировых рейтингов.

Когда рассветает, я вижу перемены, которые опять заставляют меня встревожиться — как там в Язуле? Неужели тоже все переменялось?

Сколько раз зимой и летом я трясся в рейсовых ПАЗиках одиннадцать часов до Улагана, разглядывая окрестные поселки и пейзажи! Для меня, москвича, даже уже пожилого здесь некоторое время, это было необычное, загадочное, новое пространство. Казалось, что жизнь тут идет по другим законам и обычаям, что время тоже идет по-своему.

Другие линии горизонта, другие цвета, другие звуки, другая логика, другие понятия.

Хотелось присвоить это пространство, разгадать, узнать, стать здесь хоть чуть-чуть своим. Хотелось учить язык, на котором говорят названия местных рек и гор. Взглянуть на себя и на окружающий мир, на привычные вещи с несколько другой точки зрения и удивиться чему-то новому.

Теперь древний торговый тракт, разрезающий республику почти пополам, превратился в путепровод для доставки на Горный Алтай туристов. А обочь дороги выросли турбазы, гостевые домики и сувенирные магазины. И совсем не обязательно узнавать что-то новое, чтобы успешно существовать и ориентироваться в этих пространствах. Это ничем не труднее, чем совершить пересадку в международном аэропорту во Франкфурте.

Люба, обычно жадно смотрящая в окошко, задремала у меня на плече до самой Туекты, где мы быстро, дешево и вкусно перекусываем в придорожном кафе.

«За Туехтой начинают встречаться древние курганы, по-местному бугры, остатки прежних жилищ, каменные бабы. Все эти памятники, попадающиеся то здесь, то там вплоть до монгольской границы, свидетельствуют о когда-то живших здесь и ушедших отсюда иных насельниках, седая память о которых сохранилась лишь в местных былинах», — писал инженер Вячеслав Шишков, автор «Угрюм-реки», в 1914—1916 годах проводивший изыскательские работы по расширению Чуйского тракта, где на узкой тропе в горах иногда не могли разъехаться две повозки.

И сегодня вдоль этого пути на скалах можно увидеть древние петроглифы, то справа, то слева лежат каменные курганы с плоской верхушкой, стоят каменные бабы — кезер таш — вытесанные из камня фигуры древних богатырей. Сто лет назад Шишков с укором «сибирскому обществу» отмечал, что «на их каменных носсах упражняются в метании камней проходящие возчики груза». Сейчас каменных витязей не обижают, туристы фотографируются с ними, даже оставляют им скромные подношения — монетки и конфеты. Однако ветер носит по долинам полиэтиленовые пакеты, на обочинах валяются пластиковые бутылки, на склонах блестит битое стекло. Это укор уже не только сибирскому обществу. В Рязанской области, где у нас дача, обочины ничуть не чище, даже, пожалуй, более замусорены.

За Купчегеном, возле скалы Кор-кечу, древние курганы соседствует с еще видными на земле рвами — следами «командировки» 7-го отделения Сиблага. Узкий неудобный, «многогрешный и многострадальный» по словам Шишкова, Чуйский тракт был превращен в автомобильную трассу силами политзаключенных в 1932—1933 годах, которые жили (и умирали) во временных лагерях «командировках», организованных через каждые 15—20 километров вдоль тракта. Основную массу заключенных составляли сибирские раскулаченные крестьяне, но было и много москвичей. Где-то возле Мыюты находилась женская «командировка».

Трасса получилась красивая — на перевал Чике-Таман поднимается изящный серпантин, иногда шоссе вьется вдоль Катунь по прорубленному в бомах уступу. Трудно представить, что все эти скальные работы велись вручную голодными людьми.

Я тоже закрыл глаза и в полусне выхватываю обрывки смысла из рассказа водителя Миши, который делится своими впечатлениями о Дальнем Востоке. Речь идет о его работе на морском корабле — рейсы с Сахалина на Курилы, Камчатку...

Сейчас многие ездят с Горного Алтая на заработки на Дальний Восток. Из Язулы несколько ребят ездили, в этом году младший брат Любы Кергиловой, Байрам, отработал несколько месяцев на рыбзаводе, тоже, наверное, открывал новые для себя, неизведанные пространства, океанское побережье. Некоторые перебираются на постоянку вместе с семьями — говорят, там хорошо платят учителям, врачам.

Мало что из Мишиной речи понимаю — разговор ведется на алтайском, но пассажиры меняются, Миша начинает снова, а я снова вслушиваюсь.

Чем дальше мы едем по Чуйскому тракту, чем дольше говорит по-алтайски Миша, тем более привычными и загадочными становятся пейзажи. Теми, какими они были для меня двадцать пять лет назад. Все меньше турбаз, торговых точек для туристов. А после Акташа, когда мы сворачиваем с тракта в сторону и взбираемся вдоль ручья вверх, я вовсе оказываюсь на своем Алтае. Где горы видятся заснувшими богатырями, у которых легко различить голову — баш, поросший лесом хребет — арка, плечо — ийин, подол шубы — эдек. Здесь вершинки по-прежнему водят хороводы и играют в свои семирадостные игры. Здесь хочется заглянуть за каждую маленькую горную седловинку, потому что интересно, потому что там наверняка скрывается что-то хорошее.

В проигрывателе, безостановочно работающем всю дорогу, вдруг начинает звучать песня «Эркелей» из девяностых, и я окончательно оказываюсь там, куда и ехал.

Соок кышкыда сени мен жылыткам,
Ачу ыйлап, ады?ды адагам...

Коротенький перекур на перевале, и мы подъезжаем к Улагану.

Миша начинает свой рассказ заново, но теперь уже по-русски для нас. Потом мы немного обсуждаем общих старых знакомых, потом он высаживает нас в нужном месте. Мы проехали тот путь, что раньше требовал одиннадцати утомительных часов в рейсовом автобусе, всего за шесть.

Рустам уже ждет нас вместе с Алёшей Темдековым, учителем рисования в язупинской школе. Рустам — еще один брат Любы Кергиловой. Он приехал за нами из Язулы на своем уазике.

Но для начала нас заводят в ближайший дом, незнакомая женщина кормит нас пельменями и поит чаем. В соседней комнате тоненько кряхтит младенец. Мы едим и пьем, благодарим и садимся в машину.

— Это была Алёшина теща, — сообщает мне Люба.

Она гораздо быстрее меня разбирается в семейных отношениях, лучше запоминает имена и людей, — я, наверное, слишком отвлекаюсь на пейзажи, воспоминания и попутные соображения.

— У меня дочка родилась, — сообщает нам Алёша. — Две недели назад.

— Как назвали?

— Назвали Амелия.

Мы едем над рекой Башкаус, и я вижу, как расстроился Улаган — на той стороне вырос целый район.

Улаган — центр большого района на востоке республики Горный Алтай. Находится на высокогорном плато. В 16 километрах от поселка, в урочище Пазырык расположены курганы, раскопанные в 1949 году профессором Руденко. В захоронениях знати V—IV веков до нашей эры были обнаружены мумии вождей, прекрасно сохранившиеся колесница и самый древний в мире ковер, находящиеся теперь в Эрмитаже.

Еще в одном погребении пазырыкской культуры (недолго просуществовавшей, но самой яркой культуры эпохи раннего железа), раскопанном в 1993 году археологами из Новосибирска на плато Укок, была найдена знаменитая «принцесса Алтая», с которой связано много слухов и скандалов. История раздувалась в прессе и по телевидению на центральных каналах, правда и домыслы причудливым образом перемешивались. Природные катаклизмы, произошедшие на Алтае за последние два десятка лет, неторопливая молва и быстрые журналисты часто связывают с тем, что ученые потревожили дух покойной, вынули из могилы и увезли защитницу Алтая.

Немногие по-настоящему верят в то, что из кургана извлекли героиню эпоса Очы-бала, или Белую Госпожу Ак-Кадын. Но время, когда на плато Укок был раскопан могильник Ак-Алаха, совпало с крушением Советского Союза, распадом колхозов и совхозов.

Жизнь людей резко изменилась и еще не успела наладиться. Вполне сказочные, но ставшие привычными советские способы ведения народного хозяйства и выполнения плана умерли. Например, заброска вертолетами сена в высокогорную тундру для подкормки сарлыков (домашних яков), которая делала этих сарлыков «золотыми» по себестоимости, прекратилась, а значит и поголовье резко сократилось. А как жить дальше — было пока неясно.

Создалась ситуация какой-то глухой неясной обиды, а тут еще приезжие тревожат сон предков. Потом объявляют, что принцесса — европеоид. Потом какой-то западный профессор по телевизору говорит, что останки все-таки принадлежат человеку монголоидной расы. И то и другое подогревает недовольство.

Да и кадры из фильма, где видно, как археологи в полевых условиях поливают вмерзшие в лед останки кипятком, способны шокировать любого. Не лучше ли было перевезти мумию в деревянном саркофаге в Новосибирск и разморозить в лабораторных условиях?

Одним словом, тема принцессы Укока так и остается довольно болезненной как для местного населения, так и для археологов, которым теперь периодически пытаются помешать вести дальнейшие раскопки.

От Улагана по автомобильной дороге можно спуститься в долину реки Чулышман и добраться к южной оконечности Телецкого озера. А нам нужно проехать сто километров в другом, восточном, направлении и очутиться в поселке Язула, своего рода тупике, куда не так уж часто забираются туристы.

Через час минуем Саратан, где Рустам захватывает в Язулу посылку кому-то и пару ящиков гвоздей для строительства снегозащитных ограждений. Здесь заканчивается сотовая связь.

От Саратана до Язулы дорогу пробили в 1991 году, до этого существовала только конная тропа, и дважды в неделю летал вертолет. В начале девяностых пассажирские вертолетные рейсы отменили, и добираться приходилось попутным транспортом — в тракторной телеге или кузове грузовика. Шестьдесят километров дороги от Саратана до Язулы занимали тогда целый день с перекусами на пастушьих стоянках и дружескими возлияниями на перевалах.

Теперь дорога хорошая, и мы преодолеваем это расстояние всего за три часа.

Пространство то открывается, и тогда видны уходящие вдаль долинки, склоны, далекие вершины, то сужается до дороги, идущей через лес.

Возле мостика через ручеек останавливается единственная от Саратана встречная машина, такой же уазик. Мы умываемся, зачерпывая ладонями воду. Рустам с Алёшей остаются поболтать с водителем, а мы с Любой уходим пешком дальше. Шагаем еще все такие городские, Люба даже не успела переобуться и идет на каблуках по светлой грунтовой дороге через яркую осеннюю тайгу. Перепархивают и кричат кедровки. Печет солнце. Воздух по-осеннему прозрачный, цвет неба густой. Лиственницы, кусты карликовой березки, трава уже желтые. Горы четкие такие, праздничные, в макияже. Мир велик и прекрасен.

— А ты боялся ехать! — говорит Люба.

Успеваем пройти не меньше километра, когда нас подбирает машина Рустама. А вскоре дорога резко уходит серпантином вниз, в долину Чулышмана, и внизу, на той стороне, уже видны рассыпавшиеся по склону домики Язулы.

Километрах в пяти за ней начинается заповедник. А еще дальше в полусотне километров — хребет, отделяющий Алтай от Тувы, Западную Сибирь от Восточной.

Алтайский заповедник был образован в 1932 году. Он пережил два закрытия: в 1951 и 1961 годах, утратил часть территории за Абаканским хребтом (в 30-е годы туда планировал устроиться лесником Карп Лыков, отец знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой), однако остается одним из крупнейших заповедников России.

В заповеднике запрещены всякая хозяйственная деятельность, охота, рыбалка, сбор грибов и трав. Его территория за исключением водопада Корбу недоступна для посещения. Природу здесь старались сохранить в неприкосновенном виде и в ту недавнюю эпоху, когда она считалась врагом человека, стараются и сейчас, когда она является восполнимым ресурсом.

Но даже охрана границ и запрет хозяйственной деятельности в наше время не могут гарантировать чистоту местных рек и почвы. Бассейны Чульчи, Кыги и Кайры давно находятся в зоне падения отделяющихся частей ракетносителей «Протон-М», запускаемых с космодрома Байконур. В тайге часто приходилось видеть участки обильно замусоренные из космоса. До недавнего времени в заповеднике можно было встретить и неразорвавшиеся огромные «бочки» — топливные баки для ракетного топлива «Гептил», которое является сильным ядом.

Несколько лет назад явно видимый мусор был собран, свежие «бочки» распиливаются и вывозятся вертолетами, что, однако, не препятствует загрязнению земли и воды ядовитым топливом.

Охотятся в заповеднике местные жители, заходят браконьеры с территории Тувы, переваливая хребет. В южной части, в районах высокогорной тундры заезжают и на машинах. Без мощной государственной поддержки охрана территории держится практически на подвижничестве работников заповедника, совершающих трудные многодневные выходы в тайгу.

Сильно вырос за последние годы и туристический прессинг. Горный Алтай посещают около миллиона туристов в год. Знаменитое Телецкое озеро является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая, а между тем весь его восточный берег относится к территории заповедника.

Неконтролируемый приток туристов уже сказался на чистоте вод Байкала, главного на планете хранилища пресной воды. Самодеятельные базы отдыха и отдыхающие за последние годы нанесли озеру урон не меньший, чем печально знаменитый Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и действия гидроэнергетиков. Стремительное распространение нитчатой водоросли спирогиры, которая губит экосистему «славного моря», по словам экологов, связано с загрязнением воды канализационными стоками турбаз, моющими средствами и бытовыми отходами туристов, иначе говоря, является результатом превращения Байкала в туристический бренд без создания правильной инфраструктуры.

А Телецкое озеро во много раз меньше Байкала.

В 1998 году заповедник объявлен объектом Всемирного природного наследия Юнеско. Однако его лучшие времена все же остаются в прошлом, в 70—80-х годах, когда главную усадьбу и кордоны оснастили дизельными электрогенераторами, построили новые дома, вертолеты забрасывали в тайгу патрульные группы и регулярно залетали на отдаленные кордоны иногда только лишь для того, чтобы скинуть лесникам выписываемые газеты или журналы. Активно велась научная работа.

Жизнь на кордонах или в центральной усадьбе перестала быть чем-то экстремальным, требующим самоотречения, и сюда потянулись работать романтики из городов.

В восьмидесятых практически ежедневно в контору заповедника приходили письма со всех уголков Советского Союза с вопросами о возможности устроиться на работу. Приток молодых ребят, жаждущих сибирской экзотики, жизни на природе и таежных походов был необычайно велик. Большинство уезжало в первые месяцы, девять из десяти — после года работы, но некоторые оставались навсегда, а штаты заповедника всегда были забиты под завязку.

Были и серьезные молодые люди, закончившие лесотехническую академию, биофак МГУ или охотоведческий факультет Иркутского сельхозинститута, которые приезжали более осознанно, готовились посвятить свою жизнь заповедному делу. Однако впечатлял именно поток романтиков, ищущих и пока не нашедших свое предназначение.

Еще в начале 90-х последние дети Советского Союза, свежие и недоученные, начитавшись Кастанеды и Блаватской поверх Джека Лондона, Арсеньева и Куваева, наслушавшись Пинк Флойда и бормоча Визбора, надевали рюкзаки и ехали искать свои Беловодье, Шамбалу или Территорию. Приехав в заповедник в 1990 году, я в первые же дни познакомился с ребятами из различных городов и поселков Европейской России, Сибири, Украины, Молдавии, Казахстана, Белоруссии.

Кто-то готовился овладевать шаманскими знаниями, кто-то — стригся налысо и отправлялся в тайгу босиком, кто-то читал наизусть и писал стихи, кто-то отрабатывал приемы Шаолинских монахов и обливался холодной водой, кто-то собирался пробраться в монгольские буддийские монастыри.

Может показаться, что этот прилив молодых маргиналов был пеной, которая потихоньку схлынула, вернее, превратилась в совсем тоненький ручеек к концу девяностых и не оставила следа. Но во-первых, некоторые из них нашли то место для жизни и то занятие, которые им по душе, и до сих пор работают в заповеднике. А во-вторых, настоящий контакт с дикой природой, который состоялся в молодости, не может пройти бесследно для горожанина.

Современный мир, который человечество соорудило для себя («одомашненный мир», по словам профессора Джедедаи Перди), враждебен дикой природе, хотя на эту дикую природу всегда ссылаются как на то, что следует охранять и беречь. Отношения между современным человеком и дикой природой практически умерли, природа существует «где-то там», а специалисты ее охраняют, изучают и каталогизируют. Эту природу современному городскому жителю невозможно по-настоящему «потрогать», вступить в контакт с диким животным, ощутить на себе его взгляд, который когда-то, как писал Джон Берджер, дал возможность человеку ощутить себя человеком.

Дикие животные ушли, их заменили изображения диких животных. «Чем меньше остается животных, тем чаще их изображают... Таков наиболее существенный признак осознания природы в эпоху постмодерна», — пишет Александр Пшера.

Об этом способе восприятия природы почти двести лет назад писал Тютчев: «Не то, что мните вы, природа: не слепок, не бездушный лик...». Однако сейчас он стал общераспространенным.

Трудно с уважением относиться к тому, что не занимает никакого места в твоей жизни, трудно беречь то, с чем ты никогда не сталкивался. Но тем ребятам, которые проработали лесниками хотя бы год, удалось по-настоящему вступить в контакт с этой дикой природой — померзнуть у таежных костров, протоптать свою лыжню в безлюдных пространствах, встретиться в природе со зверем — маралом, медведем, сибирским козерогом.

Эти встречи с теми, кто независимо от тебя и одновременно с тобой живет в этом мире, делают и тебя более «чутким обитателем своего внутреннего леса», по словам поэта Жюлья Сюпервьеля.

И возможно, тот обмелевший поток романтиков только первый, еще не самый осознанный и не самый массовый. Может быть, в будущем мы увидим и вполне прочувствуем даже из своих крупных городов новые волны уезжающих на природу молодых людей.

Ну и в-третьих, просто хочется сказать что-то хорошее в защиту маргиналов, которые пытались выбрать путь чуть отличный от общепринятого покорения крупных

городов, овладения прибыльной профессией и приобретения квадратных метров жилплощади в престижных районах.

Вот, что говорит Википедия: «Маргинал, маргинальный человек, маргинальный элемент (от лат. *margo* — край) — человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей, и т.д. В современном русском языке это слово ошибочно употребляется как синоним понятия "люмпен" (деклассированный элемент)».

Маргиналы, это те возможные связи с миром и те возможности, те непроторенные тропинки, которые могут пригодиться, если выбранная обществом дорога окажется ошибочной, если придется резко менять маршрут, или если устоявшийся способ жизни больше не будет работать.

И неудивительно, что те ребята 80—90-х годов выбирали Сибирь для поисков самих себя. Она занимает около 70 процентов территории России, а проживает в ней меньше 20 процентов населения. Огромная и малонаселенная Сибирь, которая пока используется практически только как ресурс, это территория, не освоенная до конца в культурном плане. Здесь возможны находки новых смыслов, новых идей и новых возможностей. Сибирь — это всегда немного то, что скрывается за перевалом...

Мы плохо чувствуем огромное тело своей страны, словно подростки, не свыкшиеся еще со своими вымахавшими конечностями. Тело работает, иногда устает, истощается, требует отдыха или болит. Но оно для нас только ресурс, мы пугаемся и злимся, когда оно подводит нас.

Я думал, что люблю свою страну, но пока не попал работать в заповедник, я не знал, что на Горном Алтае проживают алтайцы и говорят на алтайском языке. Я не знал, что такое Шория и Хакасия, считал, что Тува — это город то ли у нас, то ли за границей. И если бы весь Горный Алтай вместе с соседними Тувой и Хакасией вдруг исчез с карты мира, я бы ничего не почувствовал. Не заметил бы просто.

Когда я, ушибленный пространством, немного ошалевший от того, как быстро меняется привычный мир (до развала Союза оставался всего год), как стираются и создаются новые границы и смыслы, прибыл сначала на север Камчатки, потом в Баргузинский заповедник, а потом в Алтайский, я открывал для себя и свою страну, и свое тело. От езды в седле начинали мучительно болеть какие-то неведомые мышцы под коленками, от лямок рюкзака немели плечи, ладони покрывались волдырями от работы с топором, непривычные пальцы с трудом додаивали корову. Ходьба на широких охотничьих лыжах, махание литовкой на покосе.

Пришлось осваивать и неведомые мне умения. Работа шилом и крючком, чтобы сшить себе обутки для лыж или починить седло, выделка кож, выпечка хлеба, а в тайге — лепешек, разделка животных, тесание жердей, сметывание стогов, отбивание косы, лечение лошадей, ловля лошадей, перекладка печи, доение коровы и выкармливание телят. Самым экзотическим делом, которое мне пришлось освоить, явилось размельчение поджаренных зерен ячменя с помощью каменной зернотерки. Суровые 90-е, которые называют голодными или «лихими», на заповедничком кордоне казались мне спокойными, интересными и счастливыми.

Заповедник за короткое время моей работы в нем очень много мне дал. А потом, к заповедному берегу Телецкого озера подчалил катер, с которого спустилась на берег Люба, студентка Новосибирского университета, открывающая свои новые пространства. И за это я тоже благодарен заповеднику.

Первый кордон, на который я устроился, находился в восьми километрах от алтайской деревни Язула. На одной из язулинских пастушьих стоянок я тогда и познакомился с Альбертом Кайчиным. Наша дружба продолжается уже двадцать семь лет. Много раз я приезжал к нему с кордона Чодро, на котором потом работал, и из Москвы. В Чодро он тоже гостил у меня, а вот в Москве ни разу не был.

Услышав остановившуюся у дома машину, он выходит нас встречать. Рядом его жена Валя, сын Байрам.

— Альберт, Валя! — кричит Люба.

А мы с Альбертом вроде ничего и не говорим, просто смеемся. Обнимаем друг друга и снова смеемся.

И вот мы сидим в аиле, который, кажется, совсем не изменился, как не

изменился за четверть века и его дом — разве что по мелочам. А в главном — нет, не изменился, здесь уютно и спокойно, здесь хорошо себя чувствуешь, здесь живет счастливая семья.

Полезно иногда пожить несколько дней в большой счастливой семье. Ни с чем не сравнимое ощущение.

Этот шестиугольный аил Альберт строил сам, сам крыл крышу корой лиственницы, которая летом так хорошо защищает от жары. Верхние венцы, сходящиеся к отверстию дымохода — тунюку, так закоптились, что блестят словно бронзовые.

Альберт сам строил дом (тес крыши уже чуть позеленел от времени и непогоды) и клал в нем печку-каменку, которой уже тридцать с лишним лет. Прочная печь, только чуть осыпаться изнутри стала.

А сейчас на дворе уже стоит новый сруб для Байрама, пока еще холостого. За оградой по соседству дом и аил старшего Рустама, у которого уже своя семья и двое детишек. У Любы Кергиловой трое, у младшей Юлечки, которая вышла замуж здесь, в Язуле, тоже уже трое пацанов. Альберт и Валя, с которыми я познакомился, когда у них было двое детей, теперь стали дедушкой и бабушкой шести внуков и двух внучек.

Байрам окончил биофак Горно-Алтайского университета, потом работал медбратом в Акташе, летом отправился на Сахалин, теперь выбирает, чем ему заниматься дальше. Зовут в язulinскую школу учителем, но мир прекрасен, огромен и не полностью открыт. В Язуле ему как будто немного тесно.

— Хочу еще на Сахалин съездить. А вообще, открыли бы здесь «Мария-Ра». Можно было бы товары по акциям покупать! — мечтательно говорит он. «Мария-Ра» — барнаульская сеть супермаркетов, распространенная в Южной Сибири.

Байрам стоит, засунув руки в карманы, улыбается и смотрит куда-то вдаль за дом. За домом в ельнике ручей, куда с коромыслом спускаются за водой Альберт или Валя. С другой стороны — чулан и стайка для коров. Еще ниже по течению ручья огороженный луг, где пасутся три лошади Альберта. А еще ниже, в десяти километрах по Чулышману, — стоянка, где зимой Альберт постоянно дежурит — приглаживает за своей скотиной. За скотом постоянно нужно следить — коров режут зимой волки, лошадей часто угоняют тувинцы.

Несколько лет назад Альберт и еще несколько язulinцев даже ездили в Туву за угнанными лошадьми и добрались до центра Бай-Тайгинского кожууна, села Тээле. Часть лошадей вернули.

— Как же два-три человека могут угнать табун и перевести его через горные перевалы? — спросил я как-то Альберта.

Он объяснил, что пара людей начинает ездить вокруг табуна и закруживать его. Кружат, кружат, потом один из всадников отъезжает, следя за тем, чтобы за ним пошел вожак табуна, остальные лошади послушно следуют за ними. Второй всадник лишь подгоняет отстающих. В Москве один знакомый, услышав от меня об этом приеме, заметил:

— Когда я на фондовой бирже работал, часто такое видел.

Нас положили спать в одной из двух комнат дома. Стены беленые, потолок голубоватый — беленый с синькой, по стенам и на полу ковры. С нами же в комнате спят Валя и Байрам, а Альберт предпочитает не расслабляться в тепле и ночует пока в аиле, хотя ночи уже по-осеннему холодные.

На следующее утро по моей просьбе Альберт ведет нас на один из выгоревших за лето холмов с выстриженной скотиной травой. На холме, на деревенском кладбище лежит Абай.

Поидон Сопрокович Марлужоков, или Абай, как его звали для краткости, тридцать лет проработал в заповеднике, на кордоне.

Я устроился на кордон, когда еще была жива его жена Ульяна Лазаревна (или Абе). Через полгода Абе, которая была старше мужа на двадцать лет, умерла, и старик остался один. Мы дружили с ним, он учил меня премудростям деревенской жизни — колоть дрова, ходить на лыжах, отбивать литовку, косить, метать стога. Я помогал ему, он мне.

Маленький, часто как будто чему-то удивленный, с беспомощной хитрецей, которая ему никогда не удавалась, бездетный. Пока мог, он жил на кордоне, где у него был дом и аил, в последние несколько лет переселился в деревню, поближе к людям.

Ему отвели дом, помогали по хозяйству, он проводил много времени в семье Альберта. Умер четыре года назад.

— Так один и умер, — говорит Альберт. — Хоть люди и не бросали его, а без детей все равно один умрешь. Упал, ушибся головой, и — все. Он же последние годы как пьяный ходил, качался.

Помню, как Абай все время жаловался, что так и не получил медаль «Ветеран труда», хотя имел положенный стаж. «Там в Москве скажи главному профкому, что — так и так, Марлужоков без медали».

Я работал уже на другом кордоне, когда, съездив в отпуск в Москву, привез и вручил ему медаль, оставшуюся от моего отца. Сказал, что «главный профком» слышал о Марлужокове и просил передать, извинялся только, что удостоверение выписать не может: Союз уже развалился, удостоверения больше не выпускают. Абай спрятал медаль, не поблагодарив, — за что благодарить, если награда дана по справедливости? Вскоре поехал в Улаган требовать добавку к пенсии.

Мы долго сидим на склоне холма. С кладбища открывается великолепный вид на деревню. Вовсю играют свою музыку саранчи, внизу видно лошадей, по очереди встряхивающих гривой и в такт музыке стучающих по земле копытом.

После обеда мы с Любой поднимаемся на другую гору — идем на работу к Юле, младшей дочке Альберта. Она работает фельдшером. «Фельдшер-акушерлик пункт» гласит красная табличка на больнице. Небольшой палисадничек, голубое крыльцо, рядом — огромные тарелки спутниковых антенн и большая поленица колотых дров на зиму. Топят больницу в холодное время года Альберт или Валя. Внутри коридор, несколько кабинетов с аккуратно белеными стенами, Юля в марлевой повязке на лице моет полы.

Работа беспокойная: следи за больницей, бегай по вызовам и днем, и по ночам. То вакцинация, то сопровождай больного в Улаган на попутной машине. Поэтому с детьми сидит муж.

— Сидит, в окошко смотрит, хочет на стоянку, в тайгу, на охоту. Но ничего, сидит, — довольно говорит Юля.

Идем к Рустаму с Олей. У них в семье с детьми тоже сидит муж: Оля работает в школе учительницей английского языка. Рустам, быстрый, энергичный, с удовольствием водит нас по двору и показывает нам свое хозяйство — машины, новый аил, баню, сараи, щенков, которые должны вырасти в хороших собак, бензиновый генератор, но, войдя в дом, скучнеет. Рустаму в Язуле вовсе не так тесно, как Байраму — забот и планов полно. Надо обустривать стоянку, строить там новый скотный двор, баню. В прошлом году он проложил до стоянки дорогу на тракторе. Сейчас нужно везти в Улаган коров продавать, недавно заготовил для больницы, для себя и для родителей дрова на зиму.

Старший сын Рустама, шестилетний Ренат, встречает нас радостно — в прошлом году он гостил у нас в Москве с папой и мамой. Любу он называет «эдь» — тетка или старшая сестра, меня зовет «дядя». Младшенькая Регина пока приглядывается.

А завтра мы с Альбертом вдвоем отправляемся в тайгу. Себе он седлает Серого, который с возрастом стал почти белым, мне — коня неопределенного окраса, который отличается тем, что любит все прыгать. Привязанный к забору, конь начинает глотать пакетины.

Раньше мы с Любой часто выбирались в тайгу из Москвы на месяц-полтора. Она вполне освоилась с походной жизнью, ночевками у костра. Но сейчас она остается дома.

— Это приятно — сидеть дома и ждать, пока мужчина в тайге!

Погода испортилась, мы выезжаем в дождь, который утихает только ночью. Едем по тем местам, куда впервые ездили вместе на охоту двадцать семь лет назад, в сторону от заповедника. Вершины уже белые и мне хочется послушать, вспомнить, как режут маралы. Сейчас у них должен начаться гон, во время которого быки вызывают друг друга на поединки. Но это, конечно, не главное. Главное — снова поехать вдвоем с другом в тайгу, помолчать во время дороги, посидеть у костра.

Альберт открывал мне окружающий Язулу мир, открывал мне Алтай. Учил различать следы (правда, я очень плохо освоил эту науку), рассказывал были и сказки, истории о лошадях, которых он очень любит, животных и людях, говорил, что означают названия местных рек, урочищ и гор. Стоило Альберту чуть-чуть увлечься,

и он добавлял в рассказ новые детали, которые казались к месту, которые украшали рассказ или делали его живее. Смешивал щедрой рукой реальность и выдумку.

Целебный источник у Чулышмана охранялся змеями толщиной с ногу, черти-кормосы катали Альберта по земле, когда он заснул в засидке, карауля марала. Белые козочки уводили в тайгу незадачливых пастухов и оборачивались старухами, алмысы заплетали в косички гривы лошадей.

И окружающее пространство становилось понятным и густонаселенным. Не так уж важно, кто его населял — люди, звери или духи. Местность становилась для меня обитаемой и пригодной для обитания, немного своей.

А в эту поездку мы даже мало болтали. Девять лет уже не виделись, надо сначала хорошенько намолчаться вместе, привыкнуть. Какой смысл вываливать на друга все события, которые происходили в эти девять лет или мелочно перебирать старые воспоминания? Гораздо лучше вместе усесться на склоне долины и смотреть на противоположный склон, выглядывая в бинокль зверя. Биноклевать, как здесь говорят.

Сидеть вместе и с интересом и вниманием разглядывать желто-зеленый склон, вести взгляд вдоль подножия склона, вдоль последних лиственнок и елок, где, кажется, вьется тропка.

— Вот они оттуда часто проходят вниз, — показывает Альберт рукой.

И мы снова смотрим напряженно и внимательно.

Вечером, после ужина, как только устраиваемся под елкой на потниках и накрываемся пленкой от дождя, Альберт начинает похрапывать. А я еще долго лежу без сна, вспоминая, сколько таких ночевок у меня было в те годы, когда я жил на Алтае. Осень казалась мне самым веселым временем года — золотой сентябрь, бодрый октябрь и роскошное первозимье. А после Нового года ждут бесконечные лыжные походы до самого марта.

И наконец слышу, как на той стороне долины, где-то на верху склона, коротко трубит марал.

— Слышал? — хриплым голосом по-алтайски спрашивает пробудившийся Альберт.

— Слышал.

Это был всего один короткий крик марала за всю нашу поездку. А раньше я подолгу сидел на склонах и слушал переливы этой осенней музыки.

За ночь выпал снег, и мы едем утром по изменившейся тайге. Чернь, золото и серебро. Ветра нет, и снег неподвижно лежит на ветках. Альберт иногда дудит в деревянную абыргу, но маралы не отвечают.

Альберт уже давно не ездит на охоту. И я знаю, что не буду стрелять в зверя, если увижу его, но охота, особенно охота вместе с Альбертом Кайчиным, — это большое удовольствие. Именно так — с карабином за спиной, верхом, в тайге, покрытой свежевыпавшим снегом.

Следующую ночь мы ночуем вместе с Володей Карабашевым, встретившимся нам по пути. Останавливаемся рядом с Оттутыт — Костровой лиственницей и разводим свой костер недалеко от нее. Утром, перед отъездом, отходим от тропы и сняв шапки привязываем к веткам ленточки тьялама.

Будучи в тайге один, я никогда не привязывал ленточки и не «кормил» огонь, как иногда делают русские лесники, копируя местных жителей. Но сегодня я с удовольствием выполняю этот обряд. Альберт еще дома приготовил кусок новой материи, и сейчас делит его на троих.

Я говорю:

— А в Бурятии наоборот в шапках водкой брызгают и ленточки привязывают.

— У нас тоже по-разному бывает, — отвечает Альберт. — Вон, в Кош-Агачском районе тоже шапки надевают, когда тьялама вешают. А мы снимаем.

Самый необычный обряд, в котором я участвовал, состоялся в Боханском районе Иркутской области, откуда родом Любин отец. Это было знакомство с Любиными предками.

Дядя Виталий повез нас из Бохана на машине в исчезнувшую ныне деревню Бураевск, где до этого ни я ни Люба не были, где родился ее папа.

В последнем на пути магазине дядя Виталий велел мне купить две самые маленькие бутылки водки. Самые маленькие, имеющиеся в наличии, оказались по 0,7 литра.

— А почему заранее нельзя было купить?

— Можно, но до места не получится довезти — там по дороге нужно брызнуть, здесь нужно. Много мест всяких проезжаешь. А с початой бутылкой неприлично приезжать.

Миновали заросшие бурьяном поля, дядя Виталий неодобрительно цокал и качал головой — раньше все засеивалось. Бросили машину в конце проселочной дороги и отправились по лугу, через ручей с чистой холодной водой к зарослям крапивы и иван-чая, обозначившим место, где жил человек. Ходили, искали столбик, нашли.

— Вот здесь, — сказала тетя Катя. — здесь был дом.

Рядом старое кострище, мы развели костер.

Посидели, наливали в пиалушку водки, говорили что-то по-бурятски, плескали в пламя, опять говорили. Пригубляли, передавали дальше. Плескали не скупясь — оставлять нельзя, надо допить, а допивать почти все выпало мне, дядя Виталия за рулем, женщины много не выпьют.

Дошла очередь до Любы.

— Так и скажи: «Здравствуй дед Игнат, здравствуй бабушка Бальжуха. Я правнучка ваша Люба. Приехала вот с мужем к вам». Расскажи, как живете, какой сын у вас, где работаешь. Не стесняйся.

Она начала, сказала немного, потом заплакала.

Я тоже как-то неуверенно говорил. На живых дедушку Игната и бабушку Бальжуху еще можно было бы попытаться произвести впечатление, расположить к себе. А тут вроде прямо и ясно нужно говорить: кто такой, что из себя представляю, зачем приехал. Трудно.

Но я рад, что поговорил с предками моей жены. Погостил в доме, которого давно уже нет.

Привязывать тьялама вместе с язюлинцами тоже хорошо. Чистые белые ленты на черных мокрых ветках, чистый снег. Альберт и Володя без шапок аккуратно расправляют ленточки, разглаживают.

Я представляю, как все эти язюлинские места, вся окружающая тайга, которую Альберт населил для меня людьми, животными и сказочными существами, там и здесь сигналият маленькими белыми ленточками, отражая чьи-то надежды, просьбы, желания, отмечая чье-то присутствие.

Потом приводим с поляны коней, седлаем, болтаем.

Володе Карабашеву было четырнадцать лет, когда я приехал на кордон, он меня помнит. А я хорошо помню его отца, Илью Самсоновича, жившего на пастушьей стоянке на другом берегу Чулышмана. У них в семье было двенадцать детей. Однажды Илья Самсонович сгоряча, когда с вертолета выгружали привезенные для магазина продукты, купил в деревне мешок лаврового листа и привез жене на стоянку. Просто схватил мешок, как хватали все, сунул в сани и сказал, что деньги отдаст продавщице. А потом несколько раз заходил ко мне и, достав из кармана рубахи пару листиков, спрашивал: «Хорошо?» По-русски он почти не говорил. Я заверял, что хорошо, но мне не нужно, у меня пара пакетиков есть, и мне хватит. «Что за лист такой — даже овцы не едят», — жаловался он Абаю.

Обратно мы ехали втроем под снегом и дождем. Рукава у куртки стали тяжелыми, с носа падали капли. Через Чулышман переправились вброд у того места, где раньше был Солдатский мост. Альберт сказал, что его сожгли какие-то дураки — выкуривали норку, спрятавшуюся от собак между камней в основании моста. Какие именно дураки, он не сказал, он вообще старается не говорить о людях плохо.

— Утром коровы пошли к мосту, потом вернулись. Поехал смотреть — моста нет, одни угольки, — рассказал вкратце Володя, который так и работает на стоянке, где работал его отец.

Брод там плохой, с крупными камнями. Но вода не очень высокая была, мы перебрались нормально.

А потом поехали мимо заставы, как называют здесь заповеднический кордон. Это и правда старая пограничная застава, использовавшаяся по назначению до 1944 года, пока Тува не вошла в состав СССР. Здесь размещались бойцы 28-го Ойротского кавалерийского пограничного отряда ОГПУ.

Офицерский дом с крестовой крышей, солдатская казарма, в которой было

устроено несколько квартир для лесников, домик Абая. Конюшня, скотный двор, дизельная. Все это выстроено из крепких лиственничных бревен в начале тридцатых и запросто простоит еще столько же. Тогда же появился и деревянный Солдатский мост, исправно служивший людям почти восемьдесят лет.

Застава стоит в потрясающем по красоте месте под горой Башту, рядом с которой чуть изворачивается на север Чулышман.

Раньше на огромное Язулинское лесничество было выделено восемь ставок лесников и ставка лесничего. Теперь на кордоне живет только один человек — Сергей Шевченко, еще оформлены лесниками два язулинца. Когда Сергей приехал сюда в 1994 году с Донбасса, где работал шахтером, ему тогда было 22 года. Мы познакомились с ним вскоре после этого, когда вместе отправились на патрулирование на озеро Джулукуль, откуда берет свое начало Чулышман.

Хороший был поход, хотя нам и пришлось попоститься, дополнительная заброска продуктов на машине по Чуйскому тракту не состоялась. Во время нереста хариуса на Джулукуль частенько заезжают рыбаки из Тувы, а в этот раз помимо двух групп тувинцев нам удалось задержать даже управляющего делами правительства республики. Чиновник с парой десятков сетей, сорокалитровыми флягами для рыбы и надувной лодкой прилетел отдохнуть на одно из небольших заповедных озер возле Джулукуля.

Как-то в этом походе мы сидели с Сергеем вдвоем на берегу озера, укрывшись от ветра, смотрели на просторы, и я слушал его рассказы о работе на шахте. Перед нами уходил вдаль хребет Цаган-Шибэту — «белая ограда» по-монгольски, вдали белела шапка Монгун-Тайги, самой высокой вершины Восточной Сибири, а за ней лежала и сама Монголия. Там, наверху, очень красивые места. Даже не в красоте дело, не в красках, наверное, и не в живописных ландшафтах. Там, в высокогорном безлюдье, чувствуешь себя свободным, поэтому все, что тебя окружает, становится особенно прекрасным.

Серёга тогда сказал, что ему нравится. Такая жизнь ему по душе. Он, пожалуй, тут и останется работать.

Когда мы расставались с ним (мы возвращались на Телецкое озеро, а он — в Язулу), Сергей на прощанье сказал: «Давайте преломим вместе хлеб», — и мы преломили лепешку, испеченную на костре. Эта лепешка в голодном походе казалась необычайно вкусной.

И он остался работать, уже двадцать с лишним лет живет на кордоне, странствует по окружающим просторам. Несколько раз выбирался в отпуск на родину, спускался в шахту и работал пару месяцев, а потом возвращался в свое лесничество. Под его началом 380 тысяч гектар горной тайги, гольцов и тундры.

Вот этот праздничный Алтай, выглядящий нарядным даже в такую погоду, как сейчас, склоны, парковая тайга с выстриженной травой (я раньше не мог здесь передвигаться иначе, чем бегом, просторы подгоняли) — они принадлежат одинаково (или в неравных долях, но все равно принадлежат) и мне, живущему за четыре тысячи километров, и Серёге Шевченко, оставшемуся здесь работать, и Альберту с Володей, которые родились на этой земле. Мы все любим эти места. Поэтому я еду сейчас с ними и чувствую себя вполне своим. Улеглись мои московские тревоги, прошли приступы зависти, накатывающей на меня в Сибири. Мне хорошо.

Так меня мотает туда-сюда. То свой, то чужой. В Москве тоже часто так.

Кони переступают копытами по раскисшей тропе, торопятся домой, нам почти не приходится их подгонять, мы только поигрываем чумбурами — съезжаемся, чтобы поговорить, или вытягиваемся цепочкой.

В арчаках у нас мясо, возвращаться приятно, хотя мы с Альбертом так и не сделали ни одного выстрела. Володя, добывший молодого бычка, разделил с нами мясо.

— Я первая вас заметила, — говорит Люба. — В окошко увидела.

За время нашей охоты она успела много всего — ходила с Валею доить, перебирала вместе с ней и Байрамом старые фото, готовила еду, сидела с ребяташками Рустама, отправилась вместе с Олей в школу и даже поучаствовала в проведении урока английского языка.

— Такая школа уютная! И звонок дают колокольчиком. Мальчик бежит и звонит. А в школьном музее лежит игрушечный аил, который ты когда-то построил для Рустама и Юлечки.

— Оля такая молодец — занимается экологическим воспитанием, каждый год весной и осенью собирает с учениками мусор вокруг деревни, вдоль ручья.

— Еще мне очень понравился тер, как я раньше не распробовала?

Тер — густая верхняя часть не перемешанного айрака — кисломолочного напитка из коровьего молока.

— Вообще, раньше здесь так много не замечала. Как будто даже не оглядывалась кругом — не видела ни пейзажей, ни людей толком. Вся в себе была, какие-то свои проблемы решала. Теперь увидела.

Альберт одобрительно хмыкает.

Потом, уже наедине, Люба спрашивает:

— А помнишь, как я тебя к тайге ревновала?

К нам приходят Юлины ребята, и мы с ними рисуем. Астам быстро учит стихи, хорошо успевает в школе, Арчин больше мечтает о тайге, хочет работать на стоянке, когда вырастет, — быстрый, спортивный, по физкультуре пятерка. Артык еще совсем маленький, вьется за братьями, чтобы успеть не меньше них, но иногда залезает к деду на колени и замирает.

С детьми Рустам и Оли мы лепим из пластилина. У меня получаются мультяшные животные, а у Альберта — дымковская глиняная игрушка.

Рустам притаскивает нам целый мешок шишек этого года, и мы часто замираем возле огня в аиле, шелкая кедровые орешки. Иногда заходят соседи или родственники. Люба долго сидит с Валиной сестрой Ниной, потом пересказывает мне историю, как пятерых молодых ребят, в том числе и Нинино сына, посадили за хулиганство — устроили драку с новосибирскими туристами, которые шумно отдыхали на берегу Чулышмана, угощали вином местных девушек и раскидывали мусор. Туристы оказались то ли прокурорскими работниками, то ли друзьями прокурорских.

Со стороны, конечно, трудно разобраться в таких историях — кто прав, кто виноват, но у меня есть своя история добрых отношений с теми, кто живет в этой деревне. Мне всегда помогали и со мной делились тем, о чем я просил. Мне никогда не показывали, что я чужой. Может, мне просто везло, и мне попадались только исключительно хорошие люди? Но и исключительно хороших людей можно легко обидеть — вокруг Язулы есть могилы шаманов, которых хоронили, не покрывая землей, их медные украшения с костюма кто-то может взять себе на память из интереса. Есть целебные источники, с которых некоторые приезжие уносили старинные подношения. Летом гнездятся утки-огари, которых не принято стрелять. Какое-то ничего для меня не значащее место может оказаться значащим для язупинцев. Много чем можно обидеть, даже не поняв, что обижаешь.

А ребята, угодившие под суд, так и не сумели отслужить в армии, о чем очень жалеют.

Байрам тоже переживает, что не призвали. Говорит, что на призывной комиссии из-за плоскостопия.

В воскресенье едем с Рустамом и Олей на заставу к Серёге.

Его нет, он в больнице в Улагане. Повредил спину два месяца назад и никак не поправится.

Дома все такие же крепкие, стены темные, чуть красноватые. Но внутри заметно, что бывшие лесниковские квартиры уже нежилые. Осыпается штукатурка, разваливаются печки. Держать на кордонах положенный штат работников, завозить им продукты и ГСМ, обеспечивать какой-то техникой, лошадьми — уже, видно, не по карману заповеднику.

Серёгина жена открывает нам ту квартиру, где я когда-то жил.

Мало что изменилось, только теперь по стенам висят черно-белые фотографии из истории заповедника, фотографии тех людей, кто когда-то жил здесь или проходил через кордон на патрулирование границ заповедника, отдыхал, запасался продуктами или брал здесь лошадей.

Высматриваю, узнаю много знакомых лиц. Вот Абай в вечной своей залатанной телогрейке внимательно глядит в камеру.

Вот Женя Веселовский в своей ковбойской шляпе. Один из первых, с кем я познакомился в заповеднике. Женя недавно был в Москве, читал лекцию в Русском

географическом обществе. В заповедник приехал в 89-м, сначала работал в патрульной группе, потом перешел в отдел экологического просвещения, начал заниматься с детьми и молодежью. Занимается и сейчас. Однажды я наблюдал, как ему доставили из Горно-Алтайска группу неблагополучных ребят из колонии, и он водил их в тайгу заготавливать дрова по избушкам, чистить тропы, одним словом — помогать заповеднику. Они собирали вместе мусор по берегам Телецкого озера. Трудные подростки, очутившись рядом с «дядей Женей» в атмосфере таежного похода, забывали, что они «трудные», на это было интересно смотреть.

Вот Ира Филус, увлеченный зоолог, влюбленный в свою работу и, по-моему, во весь мир. Очень добрый и светлый человек, прекрасный художник и поэт, к сожалению, так рано ушедший из жизни. С ней я познакомился в апреле 91-го во время патрулирования на Богояше и Джулукуле, когда Ирина и Сергей Спицын впервые документально зафиксировали следы снежного барса в заповеднике. Захватив с собой спальники и палатку, мы долго шли по следам этой огромной кошки и двух ее котят, пока отпечатки не замел начавшийся снегопад.

Саша Лотов, неутомимый фотограф, облазивший с камерой весь заповедник, патрульщик и философ, который считает, что историческая миссия России не в том, чтобы пугать соседей или пестовать уязвленное национальное самолюбие, а в том, чтобы показать всему миру пример в деле сохранения природы, в поиске нового диалога между природой и человеком. Он писал письма различным чиновникам от культуры (включая Швыдкого) и на Первый канал ОРТ, излагая идею «нового героя» и Экологических игр, но потом с грустью отметил: «деятели культуры воспринимают природу только в плане «фэнтези». Но Саша не сдаётся.

Володя Труляев, проработавший на четырех кордонах заповедника и в главной усадьбе Яйло. Женился на девушке из Язулы, теперь уже нянчит с ней внуков. Уезжал на пару лет в родной Питер, но вернулся в заповедник. А теперь снова планирует переселиться в Язулу. Нонкомформист до мозга костей, всегда упрямо источающий жар какой-нибудь идеи. Живущий, подобно старообрядцам, в предчувствии наступающего грядущего, в светлый канун чего-то великого. В последнем телефонном разговоре посетовал, что вся Русская Православная церковь во главе с патриархом больна недугом ереси. Но ничего, радостно успокаивал он, все будет хорошо, все исправится, это точно.

Еще и еще знакомые лица, о каждом можно рассказать что-то интересное. Маленький музей одной из уходящих эпох заповедника.

Да и сам заповедник чем-то похож на музей — огромный провинциальный, которому не выделяют достаточного финансирования. Где основные фонды скрыты от людей в запасниках и радуют лишь допущенных туда специалистов, где энтузиасты музейного дела пытаются остановить само время или хотя бы замедлить его ход.

Здание музея, давно требующее капремонта, пытаются отжать заинтересованные влиятельные лица, фонды неудержимо растаскиваются окрестным населением, и бескорыстный энтузиазм работников вызывает не меньшее восхищение, чем самые интересные экспонаты.

Мы покидаем заставу и едем к Чёртову мосту — здешней достопримечательности. Оля родом из Саратана и за время своей жизни в Язуле еще не видела это живописное место.

Чулышман, зажатый скалами, с грохотом продирается в узком русле, падает уступами, поднимая в воздух водяную пыль. Над белой пеной Чёртова порога с каменного выступа на противоположный сторону перекинута четыре бревна — уже почерневшие, провисшие, но еще связывающие берега реки. Всего четыре прогона остались от моста, построенного в одиночку человеком по имени Талбан около ста лет назад.

Красоты природы наводят на мысль заехать в гости к художнику Алёше Темдекову, который встречал нас вместе с Рустамом в Улагане.

У Алёши новый дом, стоящий на выселках — деревни отсюда почти не видно. Дом настоящего художника — бильярдная на втором этаже, на стене лук и японские мечи. Есть даже балкон, откуда открывается очень художественный вид. Алеша пока ходит по пустому дому один или копошится на дворе — сваривает железную печь для бани, ждет, когда к нему из Улагана вернется жена с новорожденной Амелией.

Я смотрю рисунки его учеников. Народные орнаменты, звери, образующие орнамент, орхонские рунические надписи, старомонгольские письмена, юрты, добрые люди в высоких алтайских шапках, родовые знаки — тамга на глиняных табличках, а вот женская фигура «мать Алтая» в высокой кошмяной шапке с вздернутой вверх косичкой, украшенной головой грифона. Именно такая шапка принадлежала принцессе Укока из могильника Ак-Алаха.

— У-у, я учитель строгий. Заставляю их переделывать, пока не получится.

Потом он предлагает сыграть в шатра — алтайские шашки. Шашки обычные, но поле сложное, с крепостями, воротами. В воротах стоит бий — король. А рядовая шатра, дойдя до последнего ряда, превращается не в дамку, а в батыра, который может скакать по полю в любом направлении и рубить врагов.

Тропа от Язулы вниз по Чулышману идет по склону вполгоры, и с нее видны расположенные на речной террасе пастушьи стоянки. Избушка, чуланы для скота, покосы, стога сена, потом изгиб реки, сосняк, а потом снова поляны, избушка, аил, чуланы, стога.

В наш южный склон бьет солнце, противоположный, обращенный на север, лежит в тени и в снегу. Внизу блестит Чулышман. На ручье, где останавливаемся попить коней, маленький водопадик — каждая веточка, травинка превратились в сосульку. Висят, как елочные игрушки, посверкивают на солнце.

На стоянке Альберта мы втроем — Альберт, Люба и я — не разместимся. Едем до следующей, которая называется Салкынду — ветренная. Место и правда ветренное.

Здесь мы ночуем две ночи в тепле, с печкой, под меховыми одеялами.

Днем ездим по окрестностям, гуляем, фотографируем, Альберт ловит рыбу, и мы вечером жарим на сковородке хариусов.

На похожей стоянке в трех километрах от заставы я познакомился сто лет назад с Альбертом. Лесников послали помогать совхозу на ческе козьего пуха. Я провел на стоянке три дня, а потом частенько забегал к своему новому другу.

Мы так же, как раньше, лежим перед сном в темноте и болтаем.

— Осенью поехал на охоту, ночевал возле озера, — и Альберт называет озеро, имя которого я не знаю. — Уже лед от берегов начал становиться, ветер сильный был. Вот я ночую один, вдруг страшный рев, крик такой с озера. Таких никогда не слышал. Я боялся, не знал, как смогу уснуть. Ружье рядом положил, но какое ружье поможет против такого зверя? Это какой-то хан Керидэ огромный кричал, наверное. Потом мужики сказали — это ветер с волнами под лед загоняют воздух, а он обратно с таким криком выходит...

Когда Альберт умолкает, слышно, как шумит в темноте Чулышман. А на склонах над стоянкой провалы, отверстия, уходящие в глубь горы. По утрам вокруг них трава покрыта пыльным инеем — это надышали алмысы, живущие в провалах.

— Одного моего предка сослали в Сибирь. Раскулачили и сослали...

(У него получается как в «Баньке» у Высоцкого — «и меня два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь»)

— ...жена с детьми с ним сама поехала, бросать не хотела. Потом умерла там, дети умерли. Он с одним еще нашим мужиком сговорился, они море на плоту переплыли и домой пошли. Это море — Байкал, я думаю. Плот они бросили, а эти веревки из лосиной кожи, которыми бревна связывали, их ели. Но все-таки дошли до наших, до родных мест и в Кызыл-Кочко в пещерах зиму жили...

(Кызыл-Кочко — Красные Осыпи — находятся в заповеднике, километрах в пятидесяти от Язулы)

— ...у них эти длинные беш-адары (винтовки «трехлинейки») были. Наверное, спрятаны были там раньше. Так что охотились. Он на лыжах здорово бегал, пограничники не могли поймать — прямо с обрывов прыгал на этих лыжах. Наших, язулинских, послали их найти. Они их выманили, а пограничники арестовали. Одному челюсть отстрелили, другого так поймали. Надо было им в Туву уходить, а они не хотели. Раньше многие из наших туда уходили, даже этот, Шойгу, говорят, из наших, из теленгитов.

Ну вот, еще одно красивое, но необитаемое для меня место, где я несколько раз бывал, стало населено. Один раз мы сидели вдвоем с Любой на берегу узкого

вытянутого озера Кызыл-Кочко и наблюдали в бинокль, как медвежонок играет со своей матерью на другом берегу. Теперь это озеро и огромные красные осыпи над ним связаны с какой-то историей. С предком моего друга.

А истории из тех времен мне приходилось слышать здесь и раньше. Одна из поразивших меня — о том, как сдавали государству продналог. Как и другие крестьяне, язюлинцы в числе прочего должны были сдавать куриные яйца, хотя кур здесь отродясь не держали. Поэтому все семьи собирали шерсть, козий пух, и кто-нибудь из язюлинцев отправлялся верхом, с заводными лошадьми за сто с лишним километров вниз по Чулышману в Балыкчу. Совершал обмен, возвращался с яйцами, которые и сдавались государству.

Альберту не спится, он рассказывает о сыновьях одной язюлинской женщины.

— ...мы с Байрамом и с младшим из ее сыновей — Валерой на охоту поехали. Два старших к тому времени уже покончили с собой. Байраму, наверное, лет двенадцать было. Они, пацаны, днем заснули, Валере дедушка его приснился, предупреждал об опасности. Проснулся, смотрит — около их головы змея. Сам осторожно встал потихоньку и Байрама за ноги оттащил. Потом этот сурок — тарбаган — нам встретился. У тропы стоял и с собакой дрался, как будто за морду кусал. Но собаке ничего. Смотрели, а у него передних зубов уже не было — от старости, наверное. Так что он не кусал, а целовал. Кусать нечем было. Валера хотел его убить. Туда-сюда, патронов нет. И я ему сказал: «Камнем убей». Вот ругаю себя, что сказал. Он камень взял, а тарбаган человеческим голосом кричал на него: «Анайтбаза?! Анайтбаза?!» Но он все равно убил. Я хорошо слышал, два раза кричал: «Не трогай, не трогай!» Точно как человек. Тоже предупреждал, наверное. Но эти предупреждения даром пропали. Этот Валерка же, как мы в деревню вернулись, как и старшие братья, покончил с собой...

Горный Алтай давно занимает первые строчки в рейтингах регионов по количеству самоубийств, особенно детских и подростковых. Да вообще, эти верхние строчки принадлежат прежде всего регионам Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Читаешь комментарии в статьях на эту тему — какие только причины не называются. Расслоение общества, уровень пьянства в регионе, плохие школы, плохие родители, плохие чиновники, отсутствие исправно работающих социальных лифтов, «синие киты», секты, даже тема «принцессы Укока» опять всплывает.

Но все-таки мне отсюда, из Язулы, кажется — главная причина в том, что включенный по вечерам телевизор ясно показывает тебе, как живут истинные люди и ради чего следует жить. Настойчиво убеждает тебя, что ты не в тренде и не будешь там никогда. Ты оглядываешься, и понимаешь, что ты — не настоящий. То, что тебя окружает — природа, скот, горы, деревня, язюлинцы — это совсем не интересно. В лучшем случае это какая-то экзотика, но никак не настоящая жизнь. Даже нас с Любой убеждает, пока язюлинский дизель не вырубает в час ночи и телевизор не умолкает.

— Приеду в Москву, опять девчонки спросят, когда же я уже нормально в отпуск съезжу? — со вздохом говорит Люба. — Я им говорю, мне так нравится наша рязанская деревня или Алтай, но они не верят. До того не верят, что я сама сомневаться начинаю. И злюсь на них, и где-то в глубине стыжусь, что не съездила опять на теплое море или в Европу.

В последний день нашего пребывания в Язуле состоялась свадьба. Альберт был дядей жениха.

— Дядя у нас — это не просто дядя... Как объяснить? Это вроде титула. Мои дети — они тоже как дяди для него.

Вся семья загодя готовилась к этой свадьбе, титул обязывает. В пятницу вечером приехала Люба Кергилова из Горно-Алтайска и тоже впряглась в работу. Даже моя Люба приняла участие — ей выпало замешивать тесто для огромного количества баурсаков — готовили на всю деревню и приезжих гостей. Баурсаки жарили в масле на огне в аиле. Получился целый таз.

— Я все Валей люблюсь, — говорит моя Люба. — Все у нее хотят тусоваться в аиле, все забегают что-нибудь перехватить вкусенького, посидеть-поболтать. Какая-то

удивительная мудрость, скорость, выносливость! Я бы так хотела уметь. И при этом все очень спокойно, без нервов. В пятьдесят шесть лет у нее ни одного седого волоса!

Они очень смешно общаются — Валя и моя Люба. Одна по-русски, другая по-алтайски, это им не мешает.

С утра за забором привязан баран, которого растили к нашему приезду, стоит неподвижно, ждет.

Альберт все время в доме жениха, приходит к вечеру усталый, пьет чай и идет в аил резать барана.

Мелкий скот здесь режут через живот, перерывая идущую вдоль хребта артерию в груди. Не давая проливаться крови на землю. Когда-то он учил меня, и это умение пригодилось однажды, когда тесть на даче в Новосибирске решил зарезать барана по своему бурятскому обычаю в честь рождения внука.

— Сегодня там одиннадцать овец резали и бычка. Я — шесть штук. Сначала думал — пусть молодые режут, учатся, а потом решил взять грех на себя, — говорит Альберт. Он кулаком обдирает барана, останавливается, глядит на нас.

— Или это не грех?

Так резать, как это делает Альберт, — вовсе не грех. Все происходит удивительно быстро, чисто и уважительно по отношению к животному и к тому мясу, которое животное дает нам. Баран разделяется прямо на своей шкуре, и через пятнадцать минут на белой изнанке шкуры не остается ни капельки крови, мясо развешано по стенам, ребра плавают в казане, готовится кровяная колбаса и тергом из полосок желудка и нутряного сала, перевитых кишками. Наблюдать за работой — удовольствие.

Альберт берет на себя не грех, а ответственность за то, что он питается мясом животных. Сам убил — сам съел. Или угостил прибывших из Москвы друзей.

В менее «экзотическом» мире большого города, где я живу, связать наличие мяса на столе со смертью животного довольно трудно, да и неприлично, наверное. Наша агрессия скрыта, животные волокна, растираемые нашими зубами, достаются нам без пролития крови.

Еще двести лет назад гуманист Уильям Хэзлитт писал: «Животные, которых мы употребляем в пищу, должны быть настолько мелко разделаны, чтобы их нельзя было распознать. В противном случае нам не следует... допускать, чтобы форма их подачи обличала наши чревоугодие и жестокость».

И мы скрываем от самих себя не только свою хищность. Бескровно взрезая купленные в супермаркете упаковки с сосисками или с филе индейки, мы скрываем свой страх.

«Уже более ста лет продукты, которые мы едим, как и пространства, где мы обитаем, создаются на Западе так, чтобы блокировать любые напоминания о том, что мы смертны», — пишет Кэролин Стил в «Голодном городе», книге о том, как еда определяет нашу жизнь.

Должен сказать, что баран, который ни разу в жизни не пробовал комбикорм, пасся на вольных язулинских лугах и расстался с жизнью под рукой Альберта, очень вкусен.

А на следующий день с утра Альберт опять в доме жениха. Во дворе горят костры, в пяти огромных казанах готовится еда, и Альберт помешивает ее выструганными мешалками, похожими на маленькие лодочные весла. Наваристый бульон с перловкой, плов, бигус с капустой и мясом, чай — все это варится, а потом поддерживается в горячем состоянии, потому что саратанские гости опаздывают. Уже давно выехали на перевал встречающие, но гостей все нет.

Часов до трех люди ходят по двору, сбиваются кучками, перешучиваются, смеются, присаживаются за столы во дворе, смотрят, как Альберт опускает в котел с пигусом свое веслице и нажимает на рукоятку, выворачивая придонные слои на поверхность. По двору и вокруг ограды снуют, ждут костей и грызутся собаки. Ырыс, которому предстоит участвовать в церемонии, учит по книге слова благопожеланий — алкыш.

Наконец подъезжает несколько машин. Идем к дому невесты, который совсем рядом с домом жениха — метров сто. Две девочки с бантами держат тоненькие березки, между ними на веревке висит козого — занавесь. Женщины что-то поют. Но все так сразу не происходит — надо немного еще подождать. Маша Чалчикова поет резким ясным голосом, девочки держат еще не совсем облетевшие березки, за которыми,

наверное, ездили специально вниз по Чулышману — здесь березы уже не растут, слишком высоко. Одна только виднеется у Альберта в ограде, посаженная сразу после постройки дома, выросшая в тепле хорошей семьи.

И вот невеста встала на крыльце, в белом платье, синей — цвета лунного неба — безрукавке с острыми, крылатыми плечами, высокой шапке, загнутой вперед, все вышито золотом. Потом двинулась к дому жениха, скрытая завесой-кожого. Ворота жениха тоже украшены березками.

Вот она уже в своем новом доме, сидит на кровати, по-прежнему скрытая кожого, а там, за занавесью, происходит важное событие — девичья коса расплетается, волосы расчесываются на две стороны. С одного боку женщина из своей родни, с другого — из жениховой расчесывают, прощаются и встречаются, советуют, уговаривают, заплетая две косы. Но мы этого таинства не видим, ждем. Маша опять поет. По телевизору беззвучно идут мультики, котенок играет с уголком занавеси-кожого, в руках натолкавшихся в комнату гостей смартфоны и планшеты, которые фиксируют происходящее.

Ну теперь можно вступать в дело Ырысу с его плеткой-камчи. Входит в комнату, молодой, здоровый, красивый. Улыбается, начинает, сбиваясь, говорить слова благопожеланий, женщины над ним шутят, подсказывают. Плеткой поднимает и откидывает занавесь, а невеста уже с двумя косами.

А вот и жених, тоже в синей безрукавке. Садится рядом с невестой, в окно заглядывает солнце, освещает золотую вышивку на костюмах молодых — красиво. Мама жениха подносит чашку с молоком. Невеста устала от долгого ожидания, но смотреть, как блестят ее глаза, приятно.

И мы перемещаемся в клуб, идем вверх, в гору. Тут, в Язуле, везде так — идешь или в гору, или под гору. Бодро, без одышки шагает, опираясь на свою палку и на Олю, восьмидесятилетняя мама Альберта. Перед входом — большой костер.

В клуб молодые приезжают уже в обычных свадебных костюмах — платье с фатой, костюм. Розыгрыши, конкурсы, первый танец.

Семья дяди за столы не садится — некогда, да и неприлично. Юля с Любой на кухне, на раздаче, Рустам с Байрамом уже подвезли первые фляги с бульоном, поехали за пигусом и пловом. Потом чай, потом подвозить-отвозить гостей.

Клуб украшен, по стенам висят плакаты и поздравления. Народ сидит за длинными столами. Женщины цокают каблуками, мелькают прически, платья. Мужчины в тяжелых куртках, сапогах или обутках, сидят поначалу несколько скованно, положив шапки на колени, держа под столом тяжелые руки. Но стоило мне выйти покурить, как Татышев Альберт в подвернутых болотных сапогах пригласил мою Любу на танец. Собственно, в это время как раз и начались танцы.

Язула прекрасна, жива и хороша. Ни одного пустого дома во всей деревне (обычно принято говорить о темных и мертвых глазницах окон, когда речь идет о современной российской деревне). Живая, бодрая деревня — вот уж что действительно кажется экзотикой человеку из Средней России. Покосы вычищены, на ровных выкошенных полянах ни одной веточки — все подобрано и сложено в кучи. За эти покосы, как и положено, в живой настоящей деревне идет грызня, покосы делят, дарят, передают по наследству, каждый смотрит, чтобы сосед не нарушил границу. В Рязанской области, где находится наша дача, мы встречаем коров только на пакетах с молоком, когда заходим в сельский магазин, а здесь, в Язуле, мы видим коров, овец, коз, коней. Мы слышим голос и обоняем живой запах скотины. В школе сделали ремонт (неоправданно дорогой, но как без этого), и мальчик звонит в колокольчик, объявляя перемены и уроки. Ну и наконец, свадьба с танцами в переполненном здании клуба.

Танцами и закончилось наше пребывание в Язуле. Наутро Рустам отвозит нас в Улаган, где уже ждет Миша на своей маршрутке. Шесть часов — и Горно-Алтайск. А на следующий день — Новосибирск.

Александр Григоренко

Привязка к местности

Каждой весной в нашем дворе разливалась лужа — самая большая городская лужа, какую мне доводилось видеть в своей жизни. Из прямоугольного окна на лестничной клетке третьего этажа был виден только ближний ее берег, а чтобы увидеть дальний, приходилось садиться на корточки.

С первыми предвестиями разлива — когда покрывался прозрачной водой каменеющий снег — начинало бешено колотиться сердце, и все прочие события мира становились неважными. Главное дело наступающей весны — поиск плавсредства, чаще всего это был фрагмент какого-нибудь забора, которыми изобилует строящийся район. Главный подарок весны — резиновые сапоги.

Когда вода становилась темной — открывалось судоходство. Большие и малые суда курсировали без определенного маршрута, ради чистого удовольствия — плыть. Но у судоходства были враги: первый из них — родители. В случае столкновений, довольно частых, экипажи являлись домой мокрыми с ног до головы и получали ремня. Второй враг — дом 17а на северном берегу лужи, подрастающее население которого имело легендарную склонность к насилию, при этом было абсолютно сухопутным, презирало плавающих и вообще всех не причастных к серьезному освоению жизни — уличным грабежам, разделу территорий с такими же, как они. Это были деловые, постоянно занятые люди. Причаливать к северному берегу было опасно — они могли утопить из одного презрения. Но так же опасно было приближаться к этому дому и в прочие, совсем сухие времена. Впоследствии почти все топившие нас переселились в тюрьмы и на тот свет, что в округе считалось не чем-то печальным, но вполне закономерным развитием и завершением карьеры тех подростков. А бесцельно бороздившие лужу превратились большей частью в так называемых нормальных людей. Я стал одним из них.

Не знаю, есть ли теперь лужа на прежнем своем месте — скорее всего, нет. Население стало куда более требовательным к коммунальным удобствам и протестует, если что не так, чем дает телевидению темы для новых сюжетов. Никаких сюжетов из того — моего — района я не видел. А самое главное — в своем дворе я не бывал уже лет двадцать, хотя он вполне доступен и не так уж далек от того места, где я сейчас живу.

Лужа — одна из трех остающихся в памяти привязок к местности. Еще был киоск «Союзпечати» — туда я бегал смотреть на гаванские сигары в красно-золотых коробках — 5 руб. 10 шт. и 3 руб. 5 шт. Сигары никто не покупал (во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы кто-то их курил), это был сигнал из какого-то другого мира, совсем не похожего на наш. Я мечтал поскорее дорасти до тех лет, когда мне будет позволено присвоить это чудо, сделать его своей повседневной вещью.

Другим сигналом был стеклянный прилавок-холодильник в гастрономе через дорогу, заполненный морскими существами грязно-серого цвета, похожими

на огромных насекомых. Объяснить происхождение и предназначение существ никто не мог — продавщицы испытывали к ним полное равнодушие.

Это были креветки. Так же как сигары, они были вне какого бы то ни было спроса, не только по причине цены, но, главное, из-за абсолютной, отталкивающей чуждости.

В остальном пространство, в котором я рос, являло такую нищету красок и форм, что врезались в память только исключения из него, инородные тела. Это был рабочий район, построенный ради двух огромных заводов — алюминиевого и металлургического. Формы и краски подчеркивали первичность предприятия и прикладной характер человека. Господствовали стопроцентная целесообразность, утилитарность и неприятие каких бы то ни было безделушек. Много позже я узнал, что некоторые начальники получали выговоры за попытку украсить жилые коробки неким подобием художественной лепнины по фасаду — это называлось «архитектурным излишеством». Правда, время показало, что эти начальники тоже, видимо, страдавшие от нищеты цвета и форм, боролись с ней, как могли, но главной задачей их жизни была, конечно, не эта борьба... А мне оставалось только одно — бежать. Вот я и сбежал с родины — не просто малой, а самой малой, первичной, можно сказать. Бежать — не значит оказаться далеко. Ведь иногда совсем рядом все может оказаться иным. Бежать — значит не возвращаться. «По несчастью или к счастью истина проста: никогда не возвращайся в прежние места...»

* * *

«Малая родина» появилась, когда Россия превращалась из крестьянской страны в городскую. Люди снимались с мест, по чужой воле и своей, которая часто была, по сути, тоже не своя, и к чему бы ни вело это перемещение, оно переживалось болезненно.

Чтобы появилась «малая родина», как противовес Родине «большой», ее надо было покинуть. Человек, ругающий «малую родину», считается плохим человеком. Хотя до глобального переезда ничего особо зазорного в таком ругательстве не было.

Таганрог «пуст, ленив, безграмотен и скучен», и «все это тут воочию так противно, что мне Москва со своею грязью и сыпным тифом кажется симпатичной» — Чехов не стеснялся таких слов. Хотя навещал отчий дом, благодетельствовал Таганрогу в устройстве библиотеки, установке памятника Петру... Человек не выбирает ни времени, ни места своего рождения, и если не сошелся он душой с тем пространством, где угораздило его появиться на свет, провести детство — что здесь такого? Россия велика и разнообразна, грех не искать в ней новые привязки к местности; они обязательно найдутся, если сам этого хочешь и не будешь слишком привередлив.

В русской жизни издавна существовали два начала — кочевое и оседлое. Они косо поглядывали друг на друга, но только в прошлом веке их соперничество обострилось до предела. «Кочевникам» мы обязаны созданием самой просторной страны на свете, но революции и прочие «коренные переломы» — также их порождение. И понятие «малой родины», ностальгическое по своей сути, исполненное чувством вины, также могло произойти только от них.

Но что могла бы сказать на сей предмет, к примеру, моя прабабка, которая, прожив 94 года, несколько раз выезжала на ярмарку в город и, по надобности, в соседние села? И ведь это была не неволя, тем более не лень, а образ жизни — естественный и единственно правильный, поскольку предки жили точно так же и лучшего доказательства существовать не может. Там, где-то далеко, есть другие села, губернии, Москва, есть Сибирь, наконец, далекие страны и незнакомые народы, но тебе-то что с того? Человек «из персти взят», и потому рождается уже приросшим к земле, подчиняется смене времен года, властям земным и небесным, а всякий шатающийся меж двор, идет против высшего порядка. По-моему, идеал такой жизни

лучше всех выразил человек бесконечно далекий от нас — Лао-Цзы. «Лучше, когда страна маленькая, а население редкое. Даже если имеется много орудий, не надо их употреблять. Корабли и боевые колесницы использовать тоже не надо. Воинам — лучше не воевать. Надо, чтобы жизнь в стране была такой, чтоб люди не стремились страну покинуть. Хорошо, если еда у всех — вкусная, одежда — красивая, жилье — удобное, жизнь — радостная. Хорошо с любовью смотреть на соседнее государство, слушать, как там поют петухи и лают собаки. Хорошо, чтобы люди, дожив здесь до преклонных лет, уходили отсюда с тем, чтобы уже не возвращаться вновь».

* *

Несколько лет назад из вод Рыбинского водохранилища показались купола затопленного в начале 40-х города Мологи. Об этом говорила вся пресса. Тогда же впервые был опубликован документ, который не грех процитировать вновь.

«Начальнику Волгостроя-Волголага майору госбезопасности тов. Журину
Рапорт

В дополнение ранее поданного мною рапорта, докладывая, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища, составляет 294 человека.

Эти люди ранее *абсолютно все* страдали нервным расстройством здоровья, таким образом, общее количество погибших граждан при затоплении города Мологи и селений одноименного района осталось прежним 294 человека. Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками, предварительно обмотав себя, к глухим предметам. К некоторым из них были применены методы силового воздействия, согласно инструкции НКВД СССР.

Начальник мологского лагпункта отделения Волголага лейтенант госбезопасности Складов».

Формулировка «абсолютно все» прикрывает вполне понятную растерянность лейтенанта и, без особых опасений, читается как «никто», потому что не было иного основания объяснить поступок почти трех сотен людей, продемонстрировавших один и тот же симптом своего «сумасшествия».

Мы не знаем ни одного из них, не знаем, что говорили они и что говорили им, и все ли действительно ушли под воду, поскольку затопление — процесс не быстрый. Есть только констатация крайней, смертной решимости не уходить со своей территории. Решимость по своему духу и движению — совершенно раскольническая: своя земля — и не в поэтическом измерении, а в простейшем, осязаемом — ценнее собственной жизни. Если бы такая решимость была изначальной и всеобщей, может быть, мы жили бы в такой стране, о которой говорил Лао-Цзы. Но мы живем совсем в другой...

* * *

«Меня напрасно называют космополитом. Мое отечество — французский язык» — такую строку оставил Альбер Камю в одной из записных книжек. Конечно, я не настолько радикален, одного языка мне мало. Мне нужен снег, хвойный лес и четыре отчетливо проявляющихся времени года. Это не так уж много, и потому легкодоступно на большой Родине. Время вообще делает человека все менее притязательным, отсеивает вещи, некогда большие и важные, оставляя для души лишь некий прожиточный минимум. Наверное, так оно напоминает, что впоследствии освободит тебя от каких бы то ни было привязок к местности.

Валерий Сандлер

Под солнцем — Грузия моя

Ты жив, пока у тебя есть хорошая история и кто-то, кому ты можешь ее рассказать.

*Алессандро Барикко,
«1900-й. Легенда о пианисте»*

Если правда, что пенсионерам приличествует писать мемуары, то это занятие явно не для меня. С другой стороны, как ни крути, а почти полвека из мною прожитых лет отданы журналистике: Киргизское радио, газета «Вечерний Фрунзе», журнал «Литературный Киргизстан»; после эмиграции в США — редактор отдела новостей газеты «Новое русское слово». Короче, есть что вспомнить. И кого. Сюжетов — пусть не на целый роман, но, возможно, на пару-тройку киносценариев. Романист и сценарист из меня никакой, я не художник слова. Лучше возьму пример с киргизского акына: что сам видел и в чем участвовал лично — про то и спою.

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В АДРЕСНОМ БЮРО

Выписывая мне командировочные на поездку в Тбилиси, главбух Киргизского института научно-технической информации, где я целый год трудился редактором за 105 рублей в месяц, не мог не знать, что 70 «ночлежных» копеек в сутки в лучшем случае хватит лишь на койку в деревенском Доме приезжих, но никак не на место в приличной гостинице. Но о том, что в столице Грузии, прежде чем селить постояльцев в только что отстроенную гостиницу, над главным входом вешают табличку «Мест нет», главбух, скорее всего, не догадывался. Это потом мне объяснили умные люди, что вопрос «Есть ли свободные места?» — глупый вопрос, задавать его не следует, а следует, вложив в паспорт 10—20 рублей, подать администратору в обмен на ключ от номера. Поскольку я с этим правилом знаком не был, то, прилетев в Тбилиси 14 октября 1966 года, в поисках ночлега поколесив по городу на трамвае и в троллейбусе, ткнувшись носом в полдюжины пресловутых табличек, подался, пока не поздно, на ж/д вокзал, нашел незанятую дубовую скамью, на ней улегся, в подушку превратив командировочную «балетку»¹, для комфорта обернутую в плащ, — так и прокемарил до утра. Которое, как в старой доброй сказке, оказалось мудренее вечера.

Был к тому времени один памятный эпизод моей биографии: служба в армии. Там я задружил с парнем из Грузии, звали его Шота Гогуадзе. Весельчак и певун, как и подобает грузину, он для меня написал русскими буквами текст знаменитой грузинской песни о Тбилиси. По вечерам, коротая время до отбоя, мы пели на два голоса под его аккомпанемент на гитаре: «Тбилисо, мзис да вардебис мхарео, ушенод, сицоцхлес ар минда. Сад арис, схваган ахали варази, сад арис, чагара Мтацминда». Шота рассказывал мне про свой дом в Тбилиси, приглашал приехать после дембеля к нему в гости, я

¹ Маленький чемоданчик спортсмена, использовавшийся в 60-х в качестве спортивной сумки.

обещал, хотя сам в такую возможность верил слабо: в Киргизии меня ждали жена и дочь, ждала работа сельского учителя, — до разъездов ли мне будет? Когда же меня перевели на новое место службы, в Кишинев (а случилось это по-военному быстро), я даже попрощаться с приятелем не успел...

Но в утро 15 октября, сбросив остаток ночной дремы, я уже знал, на что потрачу первый день в незнакомом городе: разыщу бывшего сослуживца, он поможет найти жилье на неделю, а то и приютит в своем собственном доме — зря, что ли, так красиво о нем рассказывал. Иду в городское адресное бюро, заполняю бланк: фамилия — Гогуадзе, имя — Шота, в графе «отчество» делаю прочерк: солдаты друг друга по батюшке не величают; год рождения — такой же, как мой, 1939-й. Бланк вернулся с адресом: улица Орджоникидзе, 77.

Радуюсь, что все удачно складывается, иду к автобусной остановке. «Зебра» для пешеходов далеко, аж на перекрестке, глянул по сторонам — машин нет, двинул напрямик. Тут, как в известной песенке про старушку, но с поправкой на мой не дамский пол, меня «остановил милиционер». Сержант милиции шел, помахивая жезлом, в мою сторону, я, обреченно, — ему навстречу, на ходу доставая из кармана штрафную трешку. На моем лице, наверно, было написано, что я нездешний, потому что он спросил: «Ты откуда?» Ответил как есть: из Киргизии мы, командировочные. Мою протянутую руку с трояком сержант отвел.

— Гостей не штрафуем. Иди, больше не нарушай...

Без проблем нашел нужный дом и квартиру, постучал в дверь, мне открыли две молодые женщины, назвались сестрами Шота Гогуадзе: старшую звали Надия, младшую — Циури. Попозже пришла средняя, Тамара, Тамрико. Брат здесь жил раньше, а недавно переехал в район Авлабар, на улицу Гутанскую, 17. Но я должен подождать его здесь: «У него сегодня утром дочка родилась, он сейчас в роддом уехал, скоро сюда приедет, расскажет, как там жена и ребенок». Мне было предложено отдохнуть с дороги, на скорую руку перекусить, «а Шота вернется — вместе поужинаем».

Мою руки над кухонной раковиной. Мысленно радуюсь, что проблема ночлега, похоже, решена. Рассказываю сестрам, как мы с Шота тянули солдатскую лямку, да какой он у них бравый, компанейский парень, как здорово играет на гитаре. Сестры слушают, переглядываются, будто я сообщаю об их брате нечто неслыханное...

Первый визит в прежде незнакомую семью не обходится без просмотра семейных фотографий. Вот и теперь — Надия, на правах старшей сестры, достала из комода альбом, раскрыла передо мной: «Это наш Шотико...» Со снимка на меня смотрел парень в солдатской полевой форме, в погонах рядового, с аккуратно подстриженными усами, без которых грузин — не грузин. Звали парня, ясное дело, Шота Гогуадзе, но его лицо я видел впервые!

Продолжаю листать альбом. На каждом снимке вижу незнакомца, который с минуты на минуту может войти, увидеть незваного гостя, и тогда... Чувствую себя воришкой, который забрался в чужой дом и вдруг услышал, что вернулись хозяева. Выпутываться надо — но как? Сказать сестрам, что я не туда попал и вообще не тот, за кого полчаса назад себя выдавал, — и все это после того, как представился сослуживцем и другом их любимого брата?! Беру в одну руку свой выдавший виды плащ, в другую — обшарпанную «балетку», сестрам показываю заполненную, но не отправленную домой открытку: дескать, сбегаю к почтовому ящику, опущу и вернусь. Натия тычет пальцем в мои пожитки: «А это зачем? Оставь, никто не украдет...»

Весь в холодном поту от стыда (мало того, что приперся в незнакомый дом, где тебя приняли по-человечески, так еще обижаешь людей недоверием!), я поставил балетку в угол комнаты, повесил на вешалку плащ, решив: выйду, прогуляюсь, а когда вернусь, Шота уже появится в квартире, ему я все объясню, он правильно меня поймет...

Два часа бродил по городу, о котором пел совсем недавно: «Такой лазурный небосвод сияет только над тобой!», — но до небосвода ли мне, столь глупо попавшему в переплет! Что ж, еще одну ночь придется провести на вокзальной дубовой скамье, но прежде я обязан, придя с повинной, покаяться, да и «балетку» с пожитками забрать...

Полсотни метров оставалось до места моего будущего покаяния, как из-под арки

дома по Орджоникидзе, 77 вышли — нет, вырвались стремглав! — Надия и Циури, и с ними Шота, которого я узнал по недавно увиденной фотографии. На ходу жестикуюлируя, он что-то горячо и сердито выговаривал сестрам, а те виновато оправдывались. Тут все трое заметили меня — и картина резко поменялась, став из грозной — радостной. Мы сошлись, и Шота, крепко меня обняв, тут же начал отчитывать:

— Ты как себя ведешь, кацо? Пошел открытку опустить — и с концом. Знаешь, как я сестер ругал: человек новый, город ему незнаком, зачем одного отпустили? Мы уже шли в милицию заявлять, что у нас гость пропал...

Мой жалкий лепет оправдания — извини, недоразумение вышло, адресное бюро виновато, вот бланк, смотри — Шота слушать не стал, руку мою с бланком отвел, о гостинице даже думать запретил: «Остаешься у меня. Сейчас тут поужинаем, потом поедem ко мне в Авлабар, будем пить за здоровье моей жены и дочери, потом в роддом сходим...»

Уже в Авлабаре, хорошо за полночь, когда мы прилично нагрузились «кахетинским», Шота сказал, что сейчас самое время идти в роддом, до которого, оказывается, рукой подать. Пришли к проходной. Шота постучал в затянутое проволочной сеткой окошко, а я, собрав остаток трезвости, спросил, отчего он так уверен, что нам откроют в столь поздний час. «А у нас пропуск есть, — отвечал Шота, вынимая из кармана трехрублевку. — Любую дверь открывает». И верно: одна «трешка» открыла перед нами ворота роддома, вторая впустила в отделение на третьем этаже, где обрелись Лили и Хатуна — жена и дочь молодого папаша. За третий «пропуск» молодой матери разрешили подойти к застекленной двери на лестничную площадку и показать нам дитя. Помню слова Лили, через стекло обращенные ко мне, незвано-непрошенному: «Шота вас хотя бы покормил? Вы не голодны? Извините, что так неудобно получилось...»

На другой день утром Шота пошел со мной в адресное бюро, чтобы помочь найти своего тезку и однофамильца. Седовласый, вежливый, с тихим голосом, сотрудник бюро перебрал карточки всех тбилисских Шота Гогуадзе, не считая того, кто стоял со мной рядом, и все они оказались «типичные не те». Я был растерян, обескуражен: «Как же так? Он ведь говорил, что живет в Тбилиси, у его родителей свой дом, в гости меня звал...» — «А где вы с ним были знакомы?» — спросил седовласый. — Ах, на Украине, в армии служили! Так я вам, уважаемый, скажу одну простую вещь: если грузин уезжает на сто километров от Грузии, он всем говорит, что живет в Тбилиси. Ваш приятель может жить в каком-нибудь райцентре или в деревне, про которую никто не знает, — а Тбилиси знает весь мир!..»

Мы вышли на улицу. Шота положил мне руку на плечо: «Видишь, как все хорошо вышло. Не нашел одного друга — нашел другого...»

На другой день после моего нечаянного появления во дворе дома на Гутанской, 17, ко мне подошел незнакомый человек: «Николоз меня зовут. Мы с Шота соседи. Если приедешь, а его дома нет, заходи ко мне, отдохни, покушай». Двор был густо населен, квартирки крохотные, убранством небогатые, в нескольких я побывал, приглашенный хозяевами, и везде меня принимали, как гостя, которого ждали, а он долго не шел и наконец явился.

Оказался я невольным свидетелем короткой дворовой перепалки между двумя соседками: не поделили веревку для сушки белья. Во двор вышел муж одной из них, повесил еще одну веревку, и спор утих, не успев разгореться...

По вечерам мужчины усаживались на свежем воздухе за грубо сколоченным столом, пили вино, благо за ним не надо было бежать в магазин — почти у всех имелось свое, домашнее; играли в нарды, в карты, говорили немного о политике, много и горячо — о футболе. В один из таких вечеров я оказался в их компании. За столом сидел незнакомый парень не из «нашего» двора и, как мне показалось, не грузин, хотя по-грузински говорил, словно это его родной язык. «Он русский, — вполголоса пояснил мне Шота, — зовут Анатолий. Родился в Тбилиси, живет на соседней улице. Жалко, что ты скоро уедешь и не увидишь, как он классно в футбол играет». Так же вполголоса я заметил, что в Грузии, это всем известно, любой мальчишка, едва выбравшись из пеленок, начинает играть в футбол, так с чего бы Анатолию быть исключением из этого правила? «Он-то как раз исключение, — ответил мой друг, — у него вместо ног

протезы. Ему обе ноги трамваем отрезало. Но ты прав, в футбол он играет с тех пор, как вылез из пеленок».

Тамаз, сотрудник грузинского ИНТИ, куда я был командирован, выполняя поручение своего директора, взялся показать мне Тбилиси. Мы вышли из института на улицу, он поднял руку, остановил такси, открыл дверцу, что-то сказал водителю, выслушал ответ, вынул из кармана трояк, протянул внутрь, захлопнул дверцу и снова поднял, голося, руку. В недоуменье, я спросил:

— Тамаз, ты зачем заплатил водителю, он же нас не взял?

— А как иначе! Человек ехал в другую сторону, но остановился, чтобы меня выслушать. А мог в это время деньги зарабатывать. О, вот еще одно такси, сейчас в него сядем.

Начав с проспекта Руставели, мы проехали через красивейший центр города — туда, где крепость Нарикала, где гора Мтацминда с Пантеоном, завернули в Ботанический сад... Меня все приводило в восторг: широкие проспекты и крутые, узкие, мощенные булыжником улочки, архитектура старых зданий. Своих эмоций я не скрывал. Так мы прокатились час, второй. Когда подъехали к зданию института, Тамаз, расплачиваясь, протянул таксисту купюру в 50 рублей — тот замахал руками, замотал головой, заговорил по-грузински горячо, помогая себе жестами. Тамаз рассмеялся, сунул деньги в карман, позвал меня из машины и на ходу объяснил: «Ему очень понравилось, как ты говорил о нашем городе, он тебя считает своим гостем, поэтому денег с нас не взял...»

Заканчивалась моя командировочная неделя. Днем я бегал по делам, вечером ехал в Авлабар. Шота приходил с работы, мы с ним шли проведать Лили с Хатуной в роддоме, потом возвращались на Гутанскую, Шота ставил на стол бутылку домашнего вина, привезенного из его родной деревни Ланчхути, и мы делились друг с другом историями из армейской жизни, каждый — из своей.

В последний день, в самый канун отъезда, я чуть было все не испортил. Сестры устраивали что-то вроде прощального ужина в мою честь. Я знал, что предстоят серьезные расходы, которые заметно скажутся на их скромном бюджете, и не хотел выглядеть нахлебником. Зашел в гастроном, купил курицу, конфеты и вино, оттуда завернул на рынок — набрал зелени и фруктов. С полной сумкой снеди явился на Орджоникидзе, 77, вполне собой довольный. Натия, Циури и Тамрико хлопотали в кухне, чему-то весело смеялись; Шота сидел на диване и читал газету. Я вошел, сестры увидели у меня в руках сумку с продуктами, и веселье смолкло. За столом сидели в полном молчании. На мой вопрос — что случилось? — отвечали коротко: ничего не случилось. Не привлекая внимания сестер, Шота шепнул мне: «Выйдем во двор, покурим...» Когда мы оказались во дворе, он сказал: «Валера, может быть там, откуда ты приехал, принято, чтобы гость приносил с собой еду, но у грузин так не делают. Если есть на столе курица — вместе едим курицу, будут одни сухари — грызем сухари. Ты нас больше не обижай, кацо...»

Урок я усвоил. Вернувшись в дом, покаялся перед сестрами, был прощен, на прощанье — поцелован, и мы с Шота отправились к нему на Гутанскую. Вечером другого дня он обещал проводить меня в аэропорт. Спать я лег за полночь — сидел, писал. С утра пораньше, узнав адрес, поехал на проспект Руставели, зашел в редакцию газеты «Вечерний Тбилиси», положил перед приятной дамой, сотрудницей секретариата, пару страничек, итог моих ночных бдений: рассказ о том, как я по недоразумению попал к незнакомым людям и что из этого вышло. Дама прочитала. Спросила:

— Вы хотите, чтобы мы это напечатали, — я угадала?

— Угадали, именно этого я хочу.

— Понимаю ваши чувства, — начала она тоном, каким взрослые объясняют малому ребенку, что ему еще рано мечтать о взрослом велосипеде, — но и вы поймите: читателей ваша заметка не удивит. Это все равно как если бы мы сообщили в газете, что тбилисец Шота Гогуадзе утром встал, почистил зубы, побрился и поехал на работу. Вас не оставили ночевать на улице, приняли, как родного? Но точно так же, поверьте, с вами поступили бы в любом грузинском доме.

Не верить даме у меня не было причин. Оставалось извиниться, попрощаться и уйти.

ВСЕМ ЕХАТЬ НАДО!

Мне все время казалось, что светофоры на тбилисских перекрестках — скорее элемент декорации, нежели «оптическое устройство, несущее световую информацию и регулирующее уличное движение транспорта и пешеходов», как сегодня учит нас Wikipedia. Несчетное число раз я наблюдал за тем, как грузины за рулем автомобиля проскакивали перекресток на красный свет, и точно так же поступали пешеходы. При этом (внимание!) аварий на дорогах Тбилиси случалось меньше, чем в моем Фрунзе, где в те годы частных автомобилей было считанное число, и они застыли перед красным сигналом светофора, как кролик перед удавом. Затормозив, время от времени возникавшие на дорогах Тбилиси, рассасывались мирно и быстро, без мата и мордобоя. Горячие споры между двумя, а то и тремя водителями, с их энергичной жестикуляцией, кого угодно могут ввести в заблуждение: кажется, спорщики вот-вот схватятся за кинжалы, а они всего лишь решают, кому проезжать первому, а кому чуть погодить.

Картинка из жизни. Москвич, путешествуя по Кавказу на своем автомобиле, попадает в Тбилиси. Едет по городу, как порядочный: на желтый сигнал светофора тормозит, на красный — стоит терпеливо, ждет зеленого. И ничего понять не может: водители, все как один, мчатся, не разбирая цветов, и гаишники их не останавливают. Москвича зло взяло — он взял и проехал на красный. Тут же — свисток автоинспектора: остановись.

— Ты что, дорогой, правила не знаешь?

— Как это не знаю! Я двадцать лет за рулем. Езжу строго по правилам. Мимо вас только что проехал нарушитель — вы почему-то его не остановили.

— Так он правила не знает, дорогой! А ты сам сказал, что знаешь. Давай сюда техталон, получи дырку.

Тбилисские автобусы и троллейбусы той поры — отдельный анекдот. Компостер, талончик, проездной билет — про все эти атрибуты городского пассажирского транспорта приезжему следовало забыть. Единственный способ оплаты за проезд — те же советские 5 копеек, только платить их полагалось водителю лично. Естественно, общесоюзные талоны и проездные существовали, но никто их покупать не думал, и у компостеров, установленных в салонах, работы не было. Вам как бы говорили: «У нас все просто, дорогой. Войди в автобус с задней двери, двигайся к передней, вынь пятак, положи перед водителем на переднюю панель и выходи на своей остановке». Водитель сам решал, сколько денег он должен в конце смены сдать в кассу автопарка, чтобы его дневной план считался выполненным, а сколько наличности принести в семью. Передвигался я по городу реже в метро, чаще — в троллейбусе или в автобусе, но ни контролера, который бы отлавливал «зайцев», ни самих «зайцев» мне встретить так и не удалось.

И пусть вас не удивляет сцена, виденная мной не раз. Автобус отошел от остановки, тихонько двинулся к перекрестку, а сзади, взмахивая руками, поспешает женщина: упустила, а ехать надо. Машина плавно притормаживает, останавливается, задняя дверь открывается, женщина догоняет, входит, дверь закрывается — поехали. Не думайте, что водитель сделал это единственно по доброте сердечной. Доброта, конечно, присутствовала, но и 5 копеек лишними не бывают, на дороге не валяются. Во всяком случае, тогда. По крайней мере, в Тбилиси...

ДЕНЬГИ — ЗЛО, КОГДА ИХ МАЛО ИЛИ НЕТ СОВСЕМ

Через четыре года, выкроив из отпуска неделю, лечу к грузинам. Шота встречает меня в аэропорту. Лили с дочерьми (их уже было трое) гостит у свекрови в Ланчхути, родном селе моего друга. Каждый вечер перед сном Шота подходил к висевшей на стене фотографии, на которой засняты жена и дочери, и, обращаясь к ним, тихо и горячо говорил по-грузински. Не сразу я догадался спросить, о чем он с ними беседует. Вот его ответ:

— Я им говорю: мои дорогие, любимые, скорее возвращайтесь, я без вас очень скучаю.

Как-то вечером я заметил (не от большого, знать, ума):

— Любый мужчина, а уж грузин — тем более, мечтает о сыне, а у тебя три девочки. Не обидно тебе?

Шота меня отрезвил одной фразой:

— Пускай хоть десять дочек, лишь бы живы были, здоровы и счастливы.

Выходим из дома, идем в баню. Навстречу пожилой дядька. Шота с ним поздоровался, остановился поговорить, я прошел вперед, чтобы им не мешать. Догнав меня, мой друг какое-то время шел молча, потом заговорил:

— Он тут недалеко живет, вверх по нашей улице. Недавно из тюрьмы вышел. Раньше на меховой фабрике завскладом работал. Мы с Лили решили купить кооперативную квартиру, она стоила десять тысяч рублей, я к нему пришел, попросил займы, он говорит: «Деньги у меня есть, я тебе дам, но подожди, пока я соберу миллион рублей. Мечтаю увидеть их своими глазами, теперь уже недолго осталось». Потом на фабрику пришла ревизия, обнаружила недостачу, его посадили на пять лет, а всё, что он насобирал, конфисковали. И знаешь, что он мне сейчас сказал? «Эх, Шота, какой же я был дурак, что не дал тебе тогда десять тысяч! Сейчас бы ты мне их вернул...»

Через площадь иду к станции метро «26 бакинских комиссаров». Посреди площади стоят и о чем-то громко спорят седой старик и парень лет двадцати. Парень горячится, еще немного — и руки пустит в ход. Обхожу спорщиков стороной и слышу за спиной звук увесистой оплеухи: ну вот, думаю, молодой все-таки не сдержался; оглядываюсь — парень удаляется, прижав ладонь к щеке, а старик что-то гневное говорит ему вслед. Прохожего, который остановился рядом со мной, я спросил: «За что он его ударил?» — «Этот молодой неуважительно разговаривал со стариком, вот за что», — ответил прохожий...

...Поездом выбрались на пару дней в село Ланчхути. Двухэтажный деревянный дом строил еще его дед Шота, сейчас в нем живет мать — 80-летняя калбатона¹ Бабинэ. Как в любом грузинском деревенском доме, первый этаж служит кухней с большой печью-камином, которую топят дровами; тут же — кладовки со всяким инвентарем, необходимым в крестьянском доме; второй этаж — спальня, туда не должны проникать запахи еды. Утром, проснувшись и позавтракав, мы вышли в сад собирать хурму и королек, который та же хурма, только мякоть у него коричневого цвета. Урожай в тот год выдался обильный, и мы с Шота неплохо поработали. Потом мне вздумалось размяться рубкой дров для камина. Я взял топор, выбрал несколько крупных поленьев и на здоровенном пне начал их раскалывать на чурки. Мое усердие прервала калбатона Бабинэ: подошла, отняла топор, что-то насмешливое сказала по-грузински. Шота перевел:

— Она говорит: зачем меня балуешь? Завтра уедешь — кто мне дрова колоть будет? Если ты такой заботливый, оставайся и живи здесь...

Там же, в Ланчхути. Шота повел меня в гости к соседу, который приехал из Батуми навестить родителей. Сидим в саду за столом, уставленным снедью, пьем белое домашнее вино, закусываем зеленью, едим горячее лобио, умные разговоры ведем. Приятель — главный инженер Батумского консервного завода — жалуется на сложности жизни:

— Полтора года как сняли директора, нового никак не назначат. Один всё тяну: финансы, кадры, производство...

— А тебя почему не ставят директором? — наивно интересуюсь.

— Откуда я знаю, почему, — разводит он руками. — Ну, не ставят...

— Может, кому-то денег надо дать?

— Так разве я против? Пускай скажут — сколько и кому. Когда в партию хотел вступить, мне сказали принести 20 тысяч. Я принес, отдал, меня приняли в партию. А сейчас — молчат.

В 1983 году Хатуна, явившаяся на свет в памятный день 15 октября, закончила десятый класс. Собралась поступать в Тбилисский пединститут на факультет русского

¹ Калбатона (груз.) — вежливая форма обращения к женщине.

языка, но родители не имели денег на «вступительный взнос», и мечту о высшем образовании для старшей дочери им пришлось отложить на неопределенный срок.

Такая же история случилась с молодой грузинкой Мананой, приехавшей во Фрунзе к родной тетке, обещавшей помочь племяннице с поступлением в мединститут. Провалив первый же экзамен, девушка духом не пала, решила через год повторить попытку, а до тех пор устроилась курьером в редакцию вечерней газеты, где и я в то время работал. В своей неудаче Манана винила тетушку. Однажды разоткровенничалась:

— Я, как приехала, сразу ей сказала: «Тетя, мне папа деньги дал, чтобы вы серьезным людям подарили, они мне помогут поступить». Она не послушала. Сказала, у нее есть друзья, которые все сделают. А у нас никто никому не помогает за красивые глаза. Сейчас я у нее живу, зарплату откладываю, еще сколько надо — родители добавляют, тетю не буду слушать, деньги кому нужно подарю и поступлю в институт.

Осенью того же 1983 года мы с Заремой поехали в Крым, повидались с родственниками — ее и моими, потом взяли курс на Тбилиси, где нас ждали Гогуадзе.

Кратчайший путь из Крыма в Грузию ведет через абхазскую столицу Сухуми. Мы купили билеты на вечерний автобус до Тбилиси, уселись на свои места, ждем отправления в 20.00, как сказано в расписании. Много мест в автобусе оставались незанятыми, водитель то и дело выбегал на площадь перед автовокзалом, чтобы вернуться с новым пассажиром. Так прошел час, второй, пошел третий. Местный народ, было видно, привык к здешним порядкам, но все же не выдерживал и время от времени начинал роптать. Водитель имел верное средство для подавления бунта.

— Если сейчас же не замолчите — всех высажу и уеду в гараж. — И ропот стихал.

Тронулись в час пополудни. Расстояние до Тбилиси, 440 километров, предстояло покрыть часов за 7—8. Измученные ожиданием пассажиры почти сразу уснули, а ко мне сон не шел. Я уставился в ночное окно, пялился на роскошные особняки, стоявшие по обе стороны от шоссе, в нескольких сотнях метров друг от друга. Каждый в два этажа, каждый отделен от проезжей части чугунной литой оградой, с чугунными же воротами, от которых к дому вела широкая аллея с выстроившимися по бокам электрическими светильниками — их не меньше дюжины, и все включены, ярко освещая территорию перед домом. Свет горел и в первых этажах особняков, чего я, прибывший из мест, где принято экономить электроэнергию, «чтобы не нагорало лишнего», никак не мог понять. Наклоняюсь через проход к соседу-абхазцу, он тоже бодрствует.

— Объясните, пожалуйста, к чему такая иллюминация, ведь ночь на дворе. Да и расходы сумасшедшие...

Сосед как будто ждал случая меня, чужака, просветить. Теперь уже он наклонился в мою сторону и, стараясь не тревожить спящих соседей, зашептал прямо мне на ухо:

— Пойми, дорогой, человек купил или построил дом за пятьсот тысяч рублей, а может, за миллион, и хочет, чтобы это видели все, кто проезжает мимо. Разве он будет экономить на электричестве, сам подумай?

— У вас тоже есть такой дом? — невинно интересуюсь.

— Да если бы он у меня был, разве я сейчас ехал бы с тобой в автобусе?..

Оставшиеся километры до Тбилиси я тупо молчал...

...Нам вдвоем с Заремой, хоть и не сразу, все же удалось уговорить Шота и Лили, чтобы привезли в следующем году Хатуну к нам во Фрунзе, где имелся такой же вуз, а мой хороший знакомый обещал «без особых подарков», то бишь, за пару коньяка, помочь с поступлением. Наконец родительское согласие получено, можно делать следующий шаг. Придя по знакомому адресу в редакцию «Вечернего Тбилиси», я положил перед заведующей отделом писем три машинописные страницы с кратким описанием моей «грузинской эпопеи». На сей раз я был настроен решительно.

Шота, когда я ему рассказал о своем визите в редакцию «Вечерки», поинтересовался: «Сколько ты им заплатил?» — «В каком смысле заплатил? — не понял я. — Это мне, автору, полагается гонорар за статью». Он усмехнулся: «Валико, ты порядков наших не знаешь. Чтобы в газете появилась твоя статья, ты должен выложить 500 рублей, а если хочешь, чтобы про тебя не напечатали уже готовый фельетон, — тебе это будет стоить тысячу».

Похоже, у моего друга были устарелые сведения: платить мне ничего не пришлось. Зарисовка появилась в тбилисской «Вечерке» после нашего отъезда из Грузии. Почтовый перевод из редакции на 30 рублей я получил уже во Фрунзе.

ХАШИ, ХИНКАЛИ, ХОР

Следом за нами должны были прилететь в Тбилиси наши фрунзенские друзья Алексей и Кира Агибаловы. Алексей, талантливый гитарист, выпускник института имени Гнесиных, одним из немногих в тогдашнем Союзе хранил (и хранит по сию пору) верность любимому, незаслуженно забытому инструменту — русской семиструнной гитаре. Выступления по радио и на телевидении, на сцене местной филармонии, сочинение пьес для гитары он совмещал с работой ювелира и чеканщика, — его изумительной красоты изделия из серебра и полудрагоценных камней раскупались, что давало семье серьезный приварок, поскольку, если ты не Кристофер Паркенинг или Пако де Лусия, одной лишь музыкой не прокормиться. От него я впервые услышал имя великого мастера грузинской чеканки Кобы Гурули. Лёша мечтал, что когда-нибудь они с Кирой прилетят в Грузию и, если повезет, побывают в мастерской у Гурули. Осенью 1983-го их мечта осуществилась.

Ко времени их появления в Тбилиси мы с Заремой уже несколько дней гостили у Шота и Лили в их крошечной квартирке на улице Гутанской, где и без нас было не разгуляться. На мою просьбу — подыскать для Алексея и Киры недорогую гостиницу — Шота сказал, как отрезал: «Друзья моих друзей не будут жить в гостинице! Все здесь поместится, не переживай».

Иду по проспекту Руставели. Наблюдаю на привычную для Тбилиси сценку: люди обступили стол, на котором стопкой сложены коробки шоколадных конфет, протягивают продавщице деньги (иные — через головы стоящих впереди), получив, довольные, отходят. Мне как раз сейчас ехать на Гутанскую, прихватчу-ка пару коробок, меня за них не поругают, как когда-то, из дома не погонят, это ведь лакомство, не еда. Пристраиваюсь к толпе. Вижу, из кондитерской, метрах в тридцати, выходит женщина, держит в руках такие же коробки. Схожу-ка на разведку, вдруг там очередь поменьше. В кондитерской покупателей не оказалось вообще, за прилавком две молоденькие продавщицы, на прилавке — искомый шоколад. На тыльной стороне коробки проставлена цена: 4 руб. 25 коп. Прошу две коробки, протягиваю 10 рублей, сдачи не получаю и не жду: Грузия. Пока мне пакует покупку, с улицы вбегает, заметно запыхавшись, девица и возмущенно говорит тем двум, что за прилавком:

— Девочки, послушайте, эта Нана такая бессовестная! Мы тут по пять рублей торгуем, а она на улице — по шесть!..

Сказано это было по-русски, что никого не удивляло в стране, населенной грузинами, армянами, курдами, татарами, представителями доброго десятка других национальностей, в те годы русский был языком межнационального общения...

Агибаловы прилетели. Не хотелось бы в стомиллионный раз повторять избитую фразу, но куда денешься, если в тесноте, да не в обиде — именно то состояние, в котором мы жили до самого возвращения домой. Конечно же, Лёша и Кира побывали в мастерской Кобы Гурули, вернулись от него (снова скажу банальность!) счастливые и довольные. Но то, ради чего я вспомнил это наше совместное гостевание, случилось на следующее утро, сразу после их прилета в Тбилиси.

Накануне вечером, когда наша компания, еще больше выросшая, сидела за накрытым столом, Алексей признался, что обожает грузинское хоровое пение, слышал его в записях, но никогда вживую. На что зашедший познакомиться с гостями хозяйский сосед Кукури сказал: «Это не проблема. Завтра в 6 утра я за вами заеду, сначала отвезу кушать хаши, потом — мужской хор слушать». Хаши — для непосвященных — суп из говяжьих или бараньих ног, с большим количеством перца и чеснока. Грузины называют его незаменимым средством от утреннего похмелья, и я вынужден им верить, хотя сам за все поездки в Грузию ни разу не встречал пьяного грузина, да еще страдающего похмельем. Так что хаши — всего лишь дань традиции,

но дань вкусная и питательная сама по себе, независимо от количества выпитого. «Поедание хаши — обряд сродни религиозному, — просвещал нас Кукури. — Его исполнять полагается рано-рано утром». Оказалось, так считает не только он, но и все мужское население Тбилиси, ибо мы, объездив полгорода и посетив едва ли не дюжину заведений, где готовят хаши, всякий раз попадали к пустому котлу. Наши хаши съели раньше нас!

Агibalов этим не огорчился. Его питейная норма — две-три рюмки водки или коньяка по большим праздникам, ужасное слово «похмелье» ему знакомо разве что понаслышке, для него весь смысл поездки заключался в трех словах: «грузинский мужской хор». «Не волнуйся, дорогой, — успокаивал его Кукури, — обязательно хор услышим».

Заведение, к которому мы подъехали около 9 утра, называлось «Хинкальная», едоков там было полно, но свободный столик для нас отыскался. Ласковым словом «столик» я назвал большой круглый стол, за которым могли бы усесться человек двенадцать, а нас было всего четверо. Кукури прищелкнул пальцами, что-то прокричал в пространство у себя за спиной, и перед нами, словно по волшебству, появилось круглое медное блюдо с горой дымящихся хинкали.

— Ого, как много! — поразился Агibalов. — Кто это все будет есть?

— Запомни, дорогой, — назидательно поднял палец Кукури, — хинкали никогда не бывает много, всегда бывает только мало.

— Да, но как же хор? — не переставал волноваться Агibalов. — Мы не успеем услышать хор!

— Не беспокойся, мы все успеем, — урезонил его Кукури. — Оглянись, посмотри вокруг. Видишь? Эти люди — хор. Еще немного, и они петь будут. Но сначала мы вот что сделаем...

Куда-то отлучившись, он вернулся и поставил на стол стеклянный сосуд литра на полтора, полный чачи. Принес стаканы, разлил напиток и предложил выпить «за то, чтобы нашим друзьям из солнечной Киргизии понравилась у нас в солнечной Грузии». Лёша смотрел на меня умоляюще: какая может быть пьянка, тем более ранним утром, скажи им, Валера!..

Но что я мог, кроме как опорожнить стакан и тем самым поддержать красивый грузинский тост? Агibalов покорно моему примеру последовал — раз, другой... На третий его не хватило. Блюдо с хинкали опустело в полчаса, появилось еще одно, с горой поменьше. Пир продолжался.

Знает даже ребенок: если за столом соберутся трое грузин — следует набраться терпения и ждать, когда они запоют, красиво и слаженно. А тут, в хинкальной, собрались не трое, а все тридцать доморощенных мастеров знаменитого грузинского многоголосия. То и дело люди за одним из столов начинали петь — правда, не хором, а дуэтом или трио, но это уже не имело значения: мой друг Агibalов слушал, вмиг протрезвев, забыв про все съеденное и выпитое...

На другой день Лёша, Кира, Зарема и я поехали в Гори. Вовсе не из желания пройтись «по сталинским местам» (правда, городской музей усатого монстра мы посетили), а в надежде найти в этом городе, первые упоминания о котором относятся к VII веку нашей эры, следы древней грузинской истории. Нашли не так уж много. Издали подивились на развалины средневековой крепости Горисцихе, на остатки разрушенной землетрясением 1920 года армянской церкви Святого Георгия... Больше в этом унылом грязноватом городе ничего интересного не встретили. По пути к автостанции, намерившись ехать обратно в Тбилиси, мы наткнулись на торговый ряд из нескольких захудалых магазинчиков. Стало интересно — чем тут увлекают покупателя. Чтобы не терять времени, разделились: Алексей потащил меня «вон в ту лавочку, вдруг она чеканкой торгует», Зарема и Кира издали увидели вывеску «Рыба» на русском и грузинском и пошли к ней, но не ради рыбы, а так, из спортивного интереса. С чеканкой Агibalову не повезло, ее не было, и мы направились в «Рыбу» за Кирой и Заремой. Войдя, увидели картину, достойную кисти Тициана. За прилавком, скрестив на мощной груди руки атлета, стоял... Аполлон! Нет, что я мелочусь, то были Геракл и Адонис в одном лице. Крутые плечи, скульптурно вылепленная, красиво посаженная голова, румянец во всю щеку, глаза — две греческие маслины, темные,

бархатные, как летняя ночь в ущелье Дарьяла... Красавец писанный, неведомо как попавший в продавцы, служил единственным украшением захудалого магазинчика, торговавшего килькой в томате и мороженой треской в брикетах. А на всю эту красоту невиданную, буквально поедая ее глазами, прижавшись к стеночке и замерев в восторге, взирали с тихим обожанием наши жены.

— Дамы, — строго спросил Алексей, — чего это вы тут застыли? Нам ведь уезжать пора.

— Лёша, ради бога, отстань, — взмолилась Кира. — А лучше взгляни на это чудо! Князь, настоящий князь!

Зарема, натура ко всему красивому равнодушная, сказала примирительно:

— Мальчики, подождите нас на улице, дайте еще минутку на него полюбоваться.

Минутку отчего ж не подождать. Мы парни терпеливые. Во всяком случае, были...

ВСЕ ВЫШЛО ПО ВАХТАНГУ

Собираюсь в очередную поездку к моим грузинам. Звонит домашний телефон. На другом конце провода — главный редактор журнала «Русский язык в киргизской школе» Лев Аврумович Шейман, выдающийся литературовед, пушкинист, педагог, автор учебников и методики преподавания русской литературы, эти пособия высоко ценили не только учителя-русисты в местных школах, но и преподаватели, работавшие с иностранными студентами. Умница, интеллектуал и просто изумительный, светлый человек, которого любили все, кто знал его лично и даже заочно. Увы, мне приходится говорить о нем в прошедшем времени: тому уж десять лет, как Лев Аврумович в лучшем из миров, пусть будет вечная ему память.

— Валерий, — слышу в телефонной трубке голос, мягкий и деликатный, как его обладатель, — у меня к вам огромная просьба. От наших общих знакомых я узнал, что вы на днях летите в Тбилиси. Не возьметесь ли передать моему тбилисскому коллеге Александру Немсадзе из Института педагогических наук от меня привет и в придачу — два свежих номера нашего журнала? Разумеется, если это вас не затруднит...

Чтобы меня затруднила просьба человека, к которому я относился с обожанием?! Да кто ж я буду после этого?

Александр Александрович Немсадзе (в ту пору — заместитель директора Института) принял меня в своем кабинете, скромном по размерам и убранству. Раскрыл полученный из моих рук пакет, вынул оттуда журналы, один — бегло пролистал, потом что-то написал в блокноте, вырвал листок, протянул мне:

— Здесь мой домашний адрес. Обычно мы с женой после 6 часов вечера дома. Будем рады вас принять у себя.

На мое робкое бормотание «не стоит беспокоиться, я всего лишь выполнил просьбу моего хорошего знакомого», хозяин кабинета встал, упершись кулаками в стол, и произнес негромко, но внятно:

— Молодой человек, если вы отказываетесь побывать за столом в моем доме, я не желаю вас больше знать.

Тот самый случай, когда угроза действует сильнее любых уговоров. Пришлось дать слово, что обязательно приду.

Дня через два, пешком спустившись с горы Мтацминда в город, я обнаружил, что нахожусь в двух шагах от дома, в который был столь решительно приглашен. Глянул на часы — половина седьмого. Подходящее время для визита. Вошел в подъезд, поднялся на третий этаж, позвонил в квартиру, номер которой записан в листке из блокнота. Ответа нет. Звоню еще раз, и еще — результат тот же. Стою на площадке, дожидаясь хозяев. По лестнице поднимается мужчина в хорошем теле, на ходу вынимает из кармана ключи. Кожей ощущаю неудобство своего стояния: вон как внимательно он смотрит на меня, еще подумает, что жулик.

— Не подскажите ли, — обращаюсь к мужчине, уже собравшемуся открывать дверь квартиры напротив, — когда ваши соседи Немсадзе возвращаются домой?

— Когда они возвращаются, я не знаю, — мужчина грузно развернулся в мою сторону, — но вам здесь стоять не разрешаю. Пр-р-рашу!

С этими словами он рукой указал мне путь... нет, не вниз по лестнице, а к двери,

которую уже успел открыть ключом. А чтобы я не сомневался в серьезности его намерений, мощной ладонью поддел меня за поясницу и, словно оловянного солдата, буквально вставил в прихожую. И крикнул в глубь своего жилья, откуда веяло ароматами ни с чем не сравнимой грузинской кухни:

— Манана, ужин готов? У нас сегодня гость!

Манана — красавица, но комплекцией явно не спортсменка, вышла в прихожую, на ходу вытирая руки полотенцем.

— Как будто не знаешь, Вахтанг, что в это время ужин у меня всегда готов, сейчас на стол накрою. Проходите, уважаемый гость, чувствуйте себя как дома.

— Мне бы Немсадзе дождаться, — слабо сопротивляюсь я гостеприимству хозяев, — он вот-вот появится, и что мы ему скажем?

— Скажем, чтобы вовремя домой приходил, — сказал, как отрубил, Вахтанг. — Будет знать, как засиживаться на работе. Не беспокойся, дорогой, я услышу, когда он придет, и приведу сюда.

Получилось по слову Вахтанга: мы уже успели «принять по первой», когда он, услышав шум на лестничной площадке, покинул меня «на минуточку», а вернулся, подталкивая перед собой, будто простого инженера, замдиректора Института педагогических наук Александра Александровича Немсадзе. Тот, весь смущение, стал оправдываться:

— Простите, неудобно получилось! Мы с Бертой всегда к этому времени возвращаемся, а сегодня — как назло... Еще раз прошу меня простить. Ну а теперь, пожалуйста, к нам...

Вахтанг, настоящий хозяин положения, заявил решительно:

— Саша, дорогой, ты меня плохо знаешь, если думаешь, что я позволю вот так запросто увести гостя из моего дома. Нет, мы сначала выпьем и скушаем все, что на этом столе, потом пойдем к тебе. Вот тебе стул, генацвале, садись. Держи стакан...

И снова вышло, как хотел Вахтанг.

Домой к друзьям в Авлабаре меня привезли на такси. Остального не помню, хоть убейте...

СТАЛИН В ЕГО СЕРДЦЕ И В ГРОБУ

Сосо Кунелаури прожил на свете всего два года. Сейчас, в 2015-м, ему было бы двадцать восемь, и звался бы он Иосифом. В том, что ребенок до этого не дожил, виноват его отец Теймураз, который, похоже, вины своей не осознал и не собирается.

Из множества грузинских сел с одинаковым названием Ахалсопели нас с Дурмишханом Мchedlishvili, моим другом и по совместительству переводчиком, привлекало то, что находится в Гардабанском районе, недалеко от Тбилиси. Туда мы отправились, чтобы посетить частный музей Иосифа Сталина, познакомиться с его создателем Теймуразом Кунелаури.

Дело, даже не начавшись, могло для нас кончиться плохо: хозяин дома, выйдя за калитку, посоветовал нам убираться подобру-поздорову, пока он не вынес ружье и не спустил с цепи собаку. «Зачем ты привел ко мне этого русского? — спросил он по-грузински у Дурмишхана. — Ты, наверное, забыл, что их солдаты убивали наших девушек, но я помню об этом слишком хорошо...»

Стояла середина октября 1989 года, еще саднила память о 9-м апреля, когда советская власть бросила против мирных демонстрантов, собравшихся на площади в центре Тбилиси, танки, БТРы и солдат с саперными лопатками. Пепел шестнадцати невинно убиенных стучал в сердце этого человека. Дурмишхан перевел мне его тираду, потом обратился к хозяину:

— Уважаемый батона Теймураз, — с легкой укоризной произнес он, — напрасно вы обидели человека. Валерий — друг грузинского народа, к тому же он не русский, а еврей.

— Надо было сразу сказать. — Хозяин сменил тон: — Евреи — наши братья. Проходите.

И отступил в сторону, давая нам дорогу.

Мы прошли в железную калитку, украшенную гипсовым барельефом усатого вождя, и попали во двор старого неухоженного дома. Мне доводилось бывать в Грузии на многих крестьянских подворьях, этих малых оазисах, где обильно растут яблоки, инжир и хурма, зеленым бархатом стелются коврики из кинзы, петрушки, укропа, кресс-салата, сельдерея и прочей огородной зелени, без которой ни одна грузинская семья не сядет к обеденному столу. Здесь же я был поражен полным отсутствием чего-либо зеленого и съедобного на обширном, соток, наверное, в двадцать, участке земли, прилегавшем к дому. Зелени росло предостаточно — только несъедобной, вот беда! Узкие, выложенные керамической плиткой тропинки лучами расходились во все стороны, по бокам от них располагались аккуратно подстриженные кусты самшита и незнакомые мне невысокие, в рост человека, декоративные деревья. В воздухе звучала тихая, печальная музыка, которая, объяснил нам хозяин, льется из миниатюрных динамиков, спрятанных в ветвях самшита. Мини-парк, разлинованный мини-аллеями, заполняли стенды с портретами Сталина и цитатами из его речей, усатые бюсты, бетонные или гипсовые барельефы, статуи в натуральную величину — и всё это изображало одного единственного человека, «самого дорогого для меня, дороже семьи», — эти слова Теймураз Кунелаури, сменный электрик совхозной птицефабрики, произнес с такой силой в голосе, что ни малейших сомнений в их искренности возникнуть не могло.

— Все скульптуры вылепил вот этими руками, материалы покупал на заработанные деньги, — говорил он, а Дурмишхан переводил его речи. — Я и скульптор, и каменщик, и садовник. Жена раньше пилила меня: почему у людей сады-огороды, а у нас вместо этого — музей Сталина? Зачем я трачу на него зарплату, в семью не отдаю? Мы поссоримся, она заберет детей, уйдет к своим родителям, думает — я за ней побегу. Но я спокойно занимаюсь своим делом. Она, конечно, возвращается. Вот как я ее воспитал. Если жена не живет заботами мужа — зачем такая нужна?..

Он вдруг взволновался, заметив, что мы повернули к высокому, в два человеческих роста, усатому бетонному истукану: серая шинель до пят, на голове фуражка полувоенного образца, рука устало сунута за пазуху: нелегкая, видать, работа — читать и подписывать расстрельные списки...

— Не надо туда ходить, — попросил Теймураз. — Пожалуйста...

Мы люди не гордые, не надо так не надо, захочет — сам поведет или скажет, почему нельзя. Подчинившись, мы переключили внимание на возвышавшееся надо всем колесо обозрения, немногим меньшее в размерах, чем те, что можно встретить в городском парке.

— Тоже ваших рук дело? — не спросил, а уточнил я. — Для чего оно здесь?

— Местные ребятишки ко мне во двор приходят. Покатаются на колесе, потом усядутся за этот круглый стол и слушают мои рассказы о Сталине, задают вопросы. Им интересно.

Следуем за хозяином в дальний угол участка, к сплетенной из толстых виноградных лоз невысокой хижине («Это пацха, — на ходу объяснял мне Дурмишхан, — грузинский летний домик, внутри всегда прохладно...»). Теймураз открыл дверь, пропустил нас вперед. Длинный стол накрыт алого цвета скатертью, по обеим сторонам — деревянные скамьи, на стенах — фотографии: Сталин на трибуне, в кабинете, с поделчиками по партии. Коробки патефонных пластинок с речами вождя, выпущенных еще в 1930-е годы. Бюсты. Журнальный столик со стопкой альбомов. На одном из них Дурмишхан прочитал надпись по-грузински, перевел: «Книга отзывов». Беру в руки верхний альбом, листаю: восторженные записи, посетители благодарят хозяина музея за «благородный труд по увековечению образа и памяти великого вождя». Побывали здесь Иркутск, Ташкент, Владивосток, Ашхабад, вся Прибалтика, Минск, Москва и Ленинград, Владимир, Тирасполь...

— За этим столом, — говорил Теймураз, — вечерами сидят мои друзья. Они придут, мы с ними говорим о Сталине, слушаем его речи на пластинках. Раньше я всех приезжих сюда пускал, но после апреля — никого, вы первые.

Мне стало ясно не по себе, но виду я не подавал, только попросил Дурмишхана:

— Спроси, известно ли ему, что «великий вождь» загубил многие миллионы людских душ?

Он задал вопрос, перевел ответ:

— Сталина оклеветали люди, которые мизинца его не стоят. Он, грузин, для Грузии ничего хорошего не делал, боялся, что его после смерти проклянут русские. Всю жизнь возвеличивал Россию, русский народ — и вот как этот народ его отблагодарил. Но я знаю правду о нем и хочу другим передать. Однажды приехали из Москвы четыре генерала, они на войне кровь проливали за Сталина. Один мне сказал: «Сынок, не обращай внимания на людские сплетни, продолжай свое благородное дело». Этот генерал хотел дать мне денег — я не взял. «Если не хочешь брать, тогда скажи, чем еще я могу тебе помочь...»

— И что вы ему ответили?

— Что хочу у себя мавзоль Сталина сделать, мне для этого нужен маршалский мундир. Генерал обещал прислать мундир. И прислал. Только не маршалский, а свой собственный, генеральский.

— А где же мавзоль?

— Мы туда идем.

Еще одна пацха. Хозяин открыл дверь в помещение, стены и даже потолок которого обиты алым бархатом. Посредине стоял стол, на нем гроб, в гробу — бетонный генералиссимус в кителе с генеральскими звездами на золотых погонах. Свисают с потолка на ниточках вырезанные из картона некие подобия птиц. Откуда-то льется тихая, печальная мелодия. Оказалось, в стене, за бархатной драпировкой, замаскирован магнитофон.

— Это грузинская народная песня, называется «Гапринди шаво мерцхало», Сталин ее любил, — пояснял Теймураз. — В ней поется про ласточку, потерявшую родное гнездо. Кто сюда входит — слезы не может сдержать.

Мы покинули «мавзоль» и последовали за хозяином в тот самый угол, куда он еще полчаса назад просил нас не ходить и где на бетонном постаменте возвышался бетонный же генералиссимус. Ансамбль дополняла круглая чаша бассейна, в котором резвились, сверкая на солнце серебристой чешуей, рыбки — зеленые, красные, желтые.

И тут хозяин, неожиданно проявив знание русского языка, задал вопрос, которого я не ожидал:

— Как думаешь, сколько весит этот памятник?

— Трудно сказать. Килограммов сто пятьдесят, пожалуй.

— Двести пятьдесят! — воскликнул он, по-детски смеясь и радуясь, что мне разгадка не далась. — Пятеро наших парней час провозились, пытались поднять его на постамент — ничего у них не вышло. Они сказали: сбегает домой, пообедаем, немного отдохнем и вернемся, чтобы закончить. Вернулись — памятник уже стоял. Кто его поставил, знаешь?

— Понятия не имею, — сделал я круглые, наивные глаза. — Интересно, кто же?

— Я!!! Они не смогли поднять памятник Сталина, а я смог. Потому что я люблю его! Но давайте уйдем отсюда, долго здесь быть не могу, сердце начинает болеть.

Ничего не понимая, мы отошли от бассейна, над которым высился бетонный идол. Хозяин продолжал рассказ уже по-грузински, горячо и волнуясь, Дурмишхан едва успевал переводить:

— Я робота изготовил: Сталин, как живой, по аллеям ходит, речь говорит. Хотел запустить робота 9 мая, в День Победы, — не успел. Пока мы с женой были в доме, мой сын Сосо, Иосиф, я его так назвал в честь Сталина, играл на краю бассейна, нагнулся, наверное, рыбку хотел поймать, упал в воду. Никого из взрослых рядом не было, и он утонул. Ему всего два года было. Мой маленький Сосо погиб у ног Сосо большого, в жертву себя принес за весь грузинский народ. Но ничего, я молодой, у меня еще сын родится. Тоже назову его Сосо. Он продолжит мое дело.

Мы попрощались с хозяином, направились к железной калитке с барельефом Сталина. На крыльце дома стояла высокая худая женщина, держа на руках плохо одетого ребеночка лет трех. На наше «гамарджоба» она не ответила, лишь обожгла взглядом, полным боли и, мне показалось, ненависти.

Дурмишхан долго не попадал ключом в замок зажигания. Мыслями он оставался там, куда нас еще недавно не хотели пускать. Голос его срывался:

— Безумец, фанатик! Вместо того чтобы загнать во двор бульдозер, снести все к чертовой матери, до последнего камушка... Скорее уедем отсюда, Валера, больше не могу здесь оставаться!..

...За два десятка лет жизни в эмиграции я успел подзабыть эту историю. А тут вдруг, гуляя в интернете, набрел на интервью с грузинским актером и режиссером Амираном Амиранашвили, который снял фильм «...о человеке, посвятившем десятки лет жизни музею Иосифа Сталина в своем собственном доме». Вчитался в текст — да, то самое село Ахалсопели и тот самый Теймураз Кунелаури. Человек, назвавший ужасную кончину ребенка «жертвой за грузинский народ», продолжал начатое, твердо уверовав в свою особую миссию и всем давая понять, что отказываться от нее не намерен. Не ясно было из публикации, родился ли у него второй Сосо, зато я узнал, что в связи с энергетическим кризисом на холмах Грузии в сталинском склепе не играет музыка, хотя свечи по-прежнему горят круглые сутки, хозяин на них денег не жалеет. И еще узнал, что день рождения Теймураза Кунелаури — 21 декабря, как у тирана, с чьим именем на устах он преступил вторую библейскую заповедь, сотворив себе кумира.

ШОТА МЕЛЕНТЬЕВИЧ, НЕ НАШ ЧЕЛОВЕК

В мае 1984 года мы встречали в аэропорту города Фрунзе будущую студентку Киргизского пединститута русского языка и литературы Хатуну Гогуадзе и ее родителей.

Вместе с ними вышел из самолета высокий грузин в модной рубашке с галстуком, с сумкой через плечо — Шота Мелентьевич Гогуадзе, мой армейский сослуживец, которого я когда-то безуспешно искал. Если не считать трех лет службы в армии, он никуда надолго не выезжал из своего родного, хоть и не столь знаменитого, как Тбилиси, города Махарадзе. Как отыскался? Его тбилисский приятель переслал ему газету с моей зарисовкой, сопроводив вопросом: «Тут случайно не про тебя написано?» Он прочитал и понял, что «случайно про него». Приехал в Тбилиси, позвонил в квартиру своего тезки и однофамильца (улица и номер дома были указаны в зарисовке), и когда тот открыл дверь, сказал:

— Гамарджоба! Я — Шота Гогуадзе.

— Гагмарджос, — сказано было ему в ответ. — Я тоже Шота Гогуадзе.

Узнав, что тбилисский Шота, его жена и дочь собрались лететь к нам в Киргизию, Шота махарадзевский сказал, что полетит с ними. Авиабилет в оба конца достался ему даром: каким-то хитрым способом он оформил командировку от городского Дворца культуры, где работал кем-то вроде худрука. Наша встреча, первая за двадцать лет после дембеля, оказалась последней. Взяв с меня слово, что в очередной визит в Грузию я приеду к нему в Махарадзе, он улетел вместе с Шота и Лили, оставившими Хатуну на нашем попечении, по прилете несколько дней гостил у них, успев за это время совершить поступок, недостойный грузина.

Узнал я об этом осенью того же 1984 года, когда прилетел в Тбилиси на праздник Тбилисоба. Привык во все прежние приезды видеть на стене в гостинной старинный грузинский меч, доставшийся семье Гогуадзе от прадеда, а тут смотрю — пустая стена. Спросил у Лили — куда делся меч, она отвернулась и заплакала. Потом все же, взяв с меня слово, что я не выдам ее мужу, рассказала.

— Мы из аэропорта вошли в дом. Мелентьевич, как только увидел меч, стал просить моего Шота: «Подари! Я собираю старинное оружие, а такого экземпляра в моей коллекции нету...» Мой Шота говорит: «Возьми все, что тебе понравится в доме, а меч отдать не могу, он не только мой, это семейная реликвия, просто у меня хранится». Тот не отстает: подари, и все! То же самое на второй день. На третий, когда я ушла на базар купить мясо и зелень на обед, мужчины остались дома, сидели, пили вино, Мелентьевич продолжал уговаривать моего Шота, и тот не выдержал: «Бери и уходи, пока Лили не вернулась». Тот так и сделал. Потому что знал: я его не выпущу с мечом.

Дослушав рассказ Лили, я ушел в комнату, взял чистый лист бумаги и написал: «Дорогой Шота, гамарджоба! Я приехал в Грузию, как и собирался. Очень хочу

побывать у тебя в гостях. Но сначала приезжай ты и захвати с собой меч, который выпросил у моего друга. Мне трудно поверить, что ты забыл, какое место занимает такая реликвия в грузинском доме. Жду тебя с мечом. Потом вместе поедem к тебе в Махарадзе».

Грузия — маленькая страна, письма здесь доходят быстро. Уже на четвертый день почта доставила письмо из Махарадзе: «Не думал, что вы с Шота Сергеевичем такие жмоты. Да у меня полный дом таких железок, могу вам привезти штук пять...»

Тут же пишу ответ: «Дорогой, не надо пять мечей, привези один — тот, который забрал».

На сей раз Шота Мелентьевич Гогуадзе промолчал. И я вычеркнул его из числа своих знакомых. Но не вычеркнул чувство собственной вины за происшедшее. Потому что, не появившись я в октябре 1966 года в доме на Орджоникидзе, 77, век бы не знал тбилисский Гогуадзе своего тезку из Махарадзе, и меч, оставшийся от прадеда, не пополнил бы чужую коллекцию «железok»...

Хатуна экзамены в институт успешно сдала, была зачислена, все годы учебы жила в нашей семье, став нам с женой нареченной дочкой, а нашим детям Марине и Саше — названной сестрой. За полгода до защиты диплома мы помогли ей добиться перевода в такого же профиля грузинский вуз, чтоб не попасть «по распределению» в какой-нибудь горный киргизский аил. Диплом она защищала у себя дома, в Тбилиси.

В октябре 1991-го я в последний раз приехал в Тбилиси — попрощаться с семьей Гогуадзе перед эмиграцией в Штаты. Мы сидели за столом в их новой квартире, куда они переехали, поменяв старый район Авлабар на новый микрорайон Варкетили-2, и отмечали две даты: день рождения моей «грузинской дочки» Хатуны и 25-ю годовщину случайной путаницы, с которой началась наша дружба, переросшая в братство. Грустили о предстоящей разлуке, обещали, что непременно свидимся, хотя и понимали, что это будет непросто из-за огромных расстояний, возраста, будущих болезней и бог ведает каких еще причин. Но исправно с тех пор писали друг другу письма, слали фотографии, звонили по телефону.

В 2009 году Шота тяжело заболел и умер. Думаю, это был единственный раз, когда он, с его большим добрым сердцем, готовым открыться каждому, кто в этом нуждался, огорчил свою жену Лили, дочерей и многочисленных друзей. В этом дружеском ряду и мне нашлось место. У меня дома на видном месте стоят деревянные кубки, выточенные его талантливой рукой. Шота был искусным резчиком по дереву, он реставрировал старинную мебель, мог по заказу новую изготовить, люди к нему в очередь записывались за полгода...

Электронные письма и звонки по телефону соединяли грузинский Тбилиси поначалу с американским Нью-Йорком, позже — с городом Уоллд Лейк в штате Мичиган, несколько лет назад к этим проверенным средствам связи добавился Skype. Хатуна и ее муж Давид (Сулико) Мchedlishvili вырастили двух замечательных детей — Георгия и Марию, семь лет назад впервые стали бабушкой и дедушкой: Георгий и его жена Нино подарили родителям красавицу-внучку Софию, а в минувшем апреле — еще одну внучку, назвали ее Лиле. Мария долго берегла свою свободу, но теперь решила с ней расстаться и в июле выходит замуж.

Евгений Абдуллаев

«Ура! Мы побеждены!..»

У нас, похоже, сезон белых флагов. Куда ни глянь, из каждого критического окопа лезет палка с мотающейся белой тканью.

Ну да, дела последний год идут не блестяще. Материальная база сдувается, как проткнутая шина. Одна за другой закрываются премии — «Дебют», «Русская премия», «Поэт»... «Букер» снова бродит в поисках спонсора. В толстых журналах перестают платить гонорары — даже те символические, какие платили прежде. В издательствах не лучше: роялти — если начисляются — все больше из серии «детishкам на молочишко». Сама литература пока еще цветет и плодоносит, но долго на одних волонтерских и полуволонтерских усилиях ничего плодоносить не может.

Сам иногда загрушу и напишу что-то вроде «Как убить литературу»...

Но одно дело — попечалиться, побурчать немного на времена (понимая, что идеальных времен никогда для русской литературы не было и не будет). И другое — торопливо, чуть ли ни радостной скороговоркой объявлять капитуляцию. Капитуляцию писательства как профессии, как цеха с его гамбургскими счетами. Кому, действительно, нужен этот гамбургский счет, если он не подкреплён счетом в банке — или хотя бы счетом лайков?

Почти год назад, в августовском «Барометре», я писал о литературных курсах.

О том, что они стали одной из главных примет литературных 2010-х. Что дело это полезное, если не превращать в коммерческую «замануху». Что вряд ли большинство завтрашних прозаиков выйдут из литературных курсов, но что-то эти курсы безусловно изменят.

Сергей Оробий откликнулся на это в мартовском «знаменском» «Переучете».

«Дело ведь в том, — пишет Оробий, — что писательские курсы — только верхушка айсберга. Автор обзора (то есть я. — Е.А.) похож на человека, который, выйдя на крыльцо своего дома, озабоченно хмурится на столбик термометра — тогда как за его спиной с ближайшей горы несется снежная лавина. Мы переживаем даже не писательский бум, а настоящую революцию — притом что меняется само понятие “писатель”»¹.

Далее Оробий ссылается на Кирилла Мартынова, который предлагает ввести термин «повседневный писатель» для писателей-любителей, которые ежедневно пишут что-то в сетях и «получают свою порцию славы в виде лайков и немедленно становятся известными» среди таких же «повседневных писателей»².

¹ Оробий С. Повседневные писатели, анонимные поэты, прозаики с бородой и без. Критика в литературных журналах второго полугодия 2017 года // «Знамя», 2017, № 3. (<http://magazines.russ.ru/znamia/2018/3/povsednevnye-pisateli-anonimnye-poety-prozaiki-s-borodoj-i-bez.html>)

² Мартынов К. Почему из-за соцсетей все стали писателями и плохо ли это? // theoryandpractice.ru (18 июля 2017).

Что сказать? С Кирилла Мартынова спрос в данном случае не велик: он *не* в литературе. Желает ввести термин «повседневный писатель» — let it, как говорится, be. Больше терминов хороших и разных. Но вот когда Сергей Оробий — коллега и собрат по литературному цеху — уверен, что любительское писательство, получившее сетевую «трибуну», меняет само понятие «писатель», это уже симптом тревожный.

Казалось бы, что — первый раз литература переживает подобный наплыв любителей? И в двадцатые прошлого века это было — вспомним «Армию поэтов» Мандельштама. И в шестидесятые-восемидесятые: «В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи...», Самойлов, в «Дружбе народов», кстати, впервые опубликовано. И никому в голову не приходило утверждать, что эти периодически сходящие лавины и поднятая ими снежная пыль как-то меняют понятие «писатель» или «поэт», как пишет Оробий.

Но это еще не беда, это еще не белый флаг — так, краешек; некоторые идут дальше.

Вот зарисовка «Футбол и поэзия», которой делится поэт и редактор «Детей Ра» Евгений Степанов¹. Привожу полностью.

«В молодости, когда я жил два года во Франции, каждый выходной ходил на футбол, на любительский футбол. На парижском стадионе Georges Carpentier тогда, более двадцати лет назад, играли любительские команды — и взрослые, и детские. И вот этот любительский футбол мне очень нравился, даже больше, чем профессиональный. В любительском футболе — больше порыва, страсти, в нем нет никакой корысти.

...А как быть с поэтами-любителями? Во-первых, не называть их (нас) графоманами. Все люди имеют право на поэтическое высказывание, более того, иные дилетанты мне интереснее многих так называемых профессионалов — своей непосредственностью, чистотой, искренностью, даже милой несурзностью. Такие стихи — всегда от сердца, от души.

Все имеют право на существование».

С последним согласен. Имеют. И выполняют важную для литературы роль — того хора, на фоне которого существование профессиональной литературы только и является возможным. И некоторые дилетанты, опять же соглашусь, могут быть интереснее профессионалов...

Но вот умиления от «непосредственности и чистоты» любительской поэзии не испытываю. Да и Степанов, думаю, не испытывает. Просматриваю номер «Детей Ра», где помещена эта заметка: может, будут теперь печатать стихотворные излияния «от сердца, от души» (хорошее, кстати, было бы название рубрики для такой продукции). Нет, тексты все вполне профессиональные. Литвак, Кальпиди... К чему тогда эти заявления?

Год назад мне уже приходилось в «Знамени» откликаться на похожие сентенции другого главного редактора, Владимира Козлова («Prosodia»). Напомню тезис Козлова: «В постсоветское время в русской поэзии произошла *демократическая революция*... Право писать, выражать себя, никого не спрашивая, входить в литературу стало всеобщим достоянием. Можно только радоваться тому, что всё большее количество людей пытаются подобрать слова к своим мыслям и чувствам, осваивая при этом литературные формы»².

Разделять эту радость в своем отклике я не стал. Впрочем, не буду повторять то, что писал тогда, это есть в сети³. И, опять же, непонятен смысл этого расшаркивания

¹ Степанов Е. Октябрь-ноябрь // Дети Ра/ 2017/ № 11. (<http://magazines.russ.ru/ra/2017/11/oktyabr-noyabr-2017.html>)

² [Козлов В.] Поэтический снобизм — высокого и низкого разлива // Prosodia. 2017. Вып. 6. (<http://magazines.russ.ru/prosodia/2017/6/poeticheskij-snobizm-vysokogo-i-nizkogo-razliva.html>).

³ Абдуллаев Е. Взламывая нейтральность. Поэтическая критика в текущих журнальных публикациях (<http://magazines.russ.ru/znania/2017/7/vzlamyvaya-nejtralnost.html>).

перед любительской литературой. В своем журнале Козлов как печатал, так и печатает профессионалов, а отнюдь не деятелей этой «демократической революции».

Приведу еще один случай — еще более диагностичный.

Кирилл Анкудинов на своей страничке в ФБ (23 апреля).

«Для того чтобы восстановить “культурную модель XIX века” (“высокая культура” против “низкого маргиналитета”), надо восстановить сословную систему XIX века с “публикой” и “народом”. Или, хотя бы, советскую систему начиная с 30-х годов XX века (когда ВСЕХ тянули за уши в “дворянский канон”; какими “невидимым миру слезами” это было оплачиваемо, мы можем лишь догадываться). Ни то, ни другое ныне невозможно. Сейчас “высокая культура” не конвертирована никакой социальной стоимостью, это девальвированная валюта...»

Представить, что иерархия в культуре обладает определенной автономией и совсем не обязательно должна коррелировать с сословной иерархией, Анкудинову, видимо, сложно. И что кроме социальной или экономической стоимости (которые тоже, разумеется, важны) в культуре — и литературе — может быть в хождении своя собственная «валюта», отражающая уровень таланта и мастерства.

Впрочем, Анкудинов все эти годы как раз занят тем, что отрицает любую иерархичность в литературе. Десять лет назад он утверждал, что самодеятельные поэты-«толкиенисты» будут покруче Анатолия Наймана и «наше завтра будут делать “толкиенисты”»¹. Недавно сходным же образом поставил рядом Олега Чухонцева и очередную звезду любительской поэзии (там тоже есть свои «звезды») Ах Астахову.

Тут уже не просто «Кутейкин и Христос — два равные лица»; первый оказывается «равнее». Анкудинов берет на себя роль рупора «кутейкиных», «творцов-любителей», как бы недоумеая от их лица, почему «какие-то» Чухонцев или Найман занимают высокие места в литературной иерархии, откуда вообще эти иерархии взялись... И Анкудинов кивает: да-да, нет сегодня никаких иерархий (для доказательства в ход идет довольно примитивная — и оттого «убедительная» — социология). И вообще нет профессиональной литературы и непрофессиональной, а есть лишь разные субкультуры; просто Чухонцев в одной, а ты, Вася Пупкин, в другой.

Роль эта неблагодарная; для чего Анкудинов взял ее на себя, не знаю.

Литераторы-любители, за которых он печалится, как Некрасов за крестьян, его, похоже, не читают; да и не очень нуждаются в том, чтобы кто-то от их имени выступал. Живут в своем внутренне насыщенном сетевом и тусовочном мире, а если что — могут и сами за себя постоять (сталкивался). Да и не на них все эти заявления о конце «высокой культуры» или «высокой литературы» рассчитаны — а на коллег по литературному цеху, подразнить, пофраппировать немного...

Попытаюсь все же понять логику всех этих заявлений.

Видимо, что-то есть такое в воздухе времени, что заставляет профессиональных литераторов с интересом и чуть ли ни с симпатией глядеть в ту сторону, куда прежде они либо вовсе не смотрели, либо поглядывали с сочувствием и легкой усмешкой.

Одну предположительную причину я уже назвал в начале — критическое состояние с матобеспечением.

Есть и другая — которую, слегка переиначив название известного романа, можно назвать *пришествием дилетантов*.

Об этом — как о новом тренде современной европейской цивилизации — хорошо и точно написал еще в конце нулевых философ Михаил Маяцкий.

«В целых секторах хозяйства профессионализм вымывается, уходит, как вода сквозь пальцы. <...> Целые институты — школа, почта — за считанные десятилетия

¹ Анкудинов К. Критик — это практик-социолог // «Литературная Россия», № 4, 25 января 2008 г. (<https://litrossia.ru/archive/item/2458-oldarchive>). На что я тогда же откликнулся в статье: Автор умер. Да здравствует... // «Арион», 2008, № 3 (<http://magazines.russ.ru/arion/2008/3/ab20.html>)

разбазарили вековой опыт профессионализма. <...> Некомпетентность госчиновников, архитекторов, библиотекарей... стала банальностью, жаловаться на которую неприлично. <...>

На противоположном полюсе процесса массы творцов-любителей захватили арены, некогда безраздельно принадлежавшие профессионалам — от макетирования книг до пения и прочих искусств»¹.

В современной русской литературе некомпетентность, к счастью, не стала банальностью и накопленный опыт профессионализма пока не растрочен. Слишком значительные инвестиции — и материальные, и символические — были сделаны с пушкинской эпохи и вплоть до начала 90-х прошлого века.

И пока будут активны поколения хорошо помнящих и респект, который вызывали литературные профессии, и очереди в книжных, и многое другое, казавшееся тогда таким естественным... — до тех пор профессиональная литература будет держаться. Вопрос только, на сколько этого «векового опыта профессионализма» литературе еще хватит.

А снаружи накатывают те самые «массы творцов-любителей». И благо, если они стремятся к профессионализации. Пройти хотя бы уже упомянутые литературные курсы, например. Кстати, прозаики-любители гораздо более готовы учиться — что лишний раз говорит о том, что **современная русская проза лучше «обустроена», чем поэзия**. Помню, как начав два с половиной года назад вести онлайн-курс по прозе в школе Майи Кучерской, я спросил у нее, почему бы не создать нечто подобное для стихотворцев. Ответ был, что дело это безнадежное: слушатели не набираются; стихотворцы-любители уверены, что они и так все умеют.

И здесь — самое важное отличие профессиональной литературы от любительской.

Любой профессиональный литератор тоже когда-то начинал как любитель; но достаточно быстро эту стадию проходил, вступая на жесткий путь профессионализации. Что же касается тех любителей, для которых литература так и остается увлечением, хобби, «для души»...

Впрочем, лучше снова процитирую Маяцкого. «Редко у кого хобби сочетается с безжалостной требовательностью к себе, со стремлением к виртуозности, к абсолютному мастерству, с утомительными упражнениями и упорным преследованием ускользающего идеала. Не-е-е. Так ведь и удовольствие может пропасть, а ведь в нем цель»¹.

Так что — да, основания для уныния есть. Вопрос в том, что дальше с этой печалью делать.

Можно — и это представляется наиболее разумным — осмыслить этот феномен как очередной «вызов» для литературной профессии — каким в советские годы была, скажем, партийная цензура или все то же массовое любительское стихо- и прозописание, только имевшее другие формы. И что понятие профессионализма, «цеховых» критериев оценки и иерархий (как бы все это не варьировалось внутри «цеха» в зависимости от вкусов и «политик») остается неизменным, какие бы лавины рядом ни сходили и «демократические революции» близлежащий воздух ни сотрясали. «Сим победиши».

Если же сами начнем распевать, как в одном фильме перестроечных времен: «Ура! Мы побеждены!» — тогда, конечно, дело дрянь. Тогда ничего уже не остается как «хором всем совокупиться» — с авторами-любителями, с авторами-песенниками, авторами-рэперами, «повседневными писателями» и прочая, и прочая... и сотворить один большой «бобок» на месте, где некогда стояла русская литература.

¹ Маяцкий М. Курорт Европа: эссе. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2009. С. 154, 157.

² Там же. С. 157.

Александр Эбаноидзе

«Годори» родился из античной трагедии

Послесловие к немецкому изданию

Берлинское издательство «Matthes&Seitz» выпустило роман Отара Чиладзе «Годори». Выход книги приурочен к ежегодной книжной ярмарке в Лейпциге. За послесловием издатели обратились к Александру Эбаноидзе. Перевод романа с грузинского, также как и перевод послесловия осуществлен Кристианой Лихтенфельд.

Отар Чиладзе вошел в литературу как поэт — в 1953 году двадцатилетним студентом опубликовал в альманахе Тбилисского университета свои первые стихи. Поэтическим кумиром юноши, его наставником и предтечей был Важа Пшавела, чей мощный темперамент, укрощенный немногословием истинного горца, слышен в голосе начинающего поэта.

«Стихи — это поцелуи, которые даришь миру», — говаривал Гёте. Отар Чиладзе до конца своих дней писал стихи. Но с начала 60-х годов жанр его лирического высказывания меняется: одна за другой выходят в свет поэмы: «Шапка, полная дэвов», «Человек в газетном столбце», «Световой год», «Поэма любви», «Железное ложе», «Три глиняные таблички», «Цирк», «Итальянская тетрадь». Поэмы приносят широкое признание; талантливый поэт все глубже проникает в то вещество, ту субстанцию, которой искони занимается литература. Его слово набирает силу, сдержанно-напряженная интонация, сохраняя близость с великим предтечей, становится раскованней и самостоятельнее.

С первой из названных поэм — «Шапка, полная дэвов» — связан эпизод, характеризующий культурную жизнь 60-х, свидетелем которого мне довелось быть (дэвы — сказочные существа, призванные исполнить любую прихоть господина).

Следуя примеру кремлевского лидера, руководитель грузинских коммунистов организовал встречу с творческой интеллигенцией. Но если Хрущев грубо кричал на молодого Андрея Вознесенского и грозно стучал кулаками («Забирайте свой паспорт и убирайтесь из страны!»), то Мжаванадзе отечески увещевал Отара Чиладзе: «Отари, сынок, к чему тебе эти дэвы и другая нечисть? Пиши о рабочих, о сталеварах...». Идеологический климат в Тбилиси ментально отличался от московского.

Публикация поэм, глубоких и сильных по мысли, ярких и страстных по интонации, создает впечатление, что талантливый поэт обрел себя; почитатели ждут от него разработки счастливо найденной жилы. Но в 1972 году Отар Чиладзе удивляет всех — он публикует роман «Шел по дороге человек».

В профессиональном цеху давно замечено, что «лета к суровой прозе клонят», и если бы Чиладзе сменил жанр через рассказ или повесть, впечатление не было бы столь ошеломляющим. Но знаменитый поэт дебютировал большим романом (самым объемным из всех написанных впоследствии), исключительно сложным по материалу, архитектонике и прочим компонентам. Надо сказать, что сорокалетний дебютант

более чем успешно справился с трудностями: сохранив лучшие черты поэта — страстную напряженность интонации, глубину и неординарность наблюдений, проявил себя зрелым мастером прозаической формы.

Прообразом романа «Шел по дороге человек» послужил миф об аргонавтах. Грузинский писатель изменил ракурс, угол зрения: его история рассказывается не из Эллады, а из Колхиды, аргонавты не уплывают в страну золотого руна, а приплывают в нее. Мы знали эту историю так, как ее поведали миру греки; теперь мы узнали, как она запечатлелась в сознании колхов.

Кардинально новым по сравнению с первоисточником стал эпизод вторжения царя Миноса в Понт Эвксинский. В нем мифологические мотивировки со всей определенностью заменяются политическими. Если верно, что сквозь сказочную оболочку мифов пробиваются истинные духовные и социальные процессы жизни древних народов (а это безусловно так), то в данном случае мы имеем дело с одним из значительных социально-политических явлений древнего мира, началом колонизации Причерноморья. История Медеи и Ясона в интерпретации Отара Чиладзе с необоримой силой сбрасывает с себя сказочный покров и обретает трезвую силу реальности. Этой «реализации» мифа писатель достигает всем строем романа. Он, так сказать, романизирует миф и добивается этого многими средствами, прежде всего, психологической мотивацией поступков героев, воссозданной во всеоружии современной литературной техники. Добиваясь реалистической достоверности, писатель не забывает о дистанции, отделяющей нас от описываемых событий; поэтому, не лишая персонажей романа конкретной бытовой достоверности, он придает им масштабность и монументальность. Прежде всего, это относится к таким образам, как рыбак Бедиа, воин Ухеиро, виноторговец Баха, блудница Малало, влюбленные супруги Бочиа и Потоло. Особенно выразительны проходящие по обочине сюжета Дедал и Икар, великий скульптор и его обезноженный параличом сынок, нежный отрок, не отрывающий от отца восторженных глаз... Наконец-то рискованный поступок Дедала, одарившего крыльями любимого сына, обрел убедительную мотивацию.

Нельзя не сказать несколько слов и о Медее, созданной грузинским писателем и вставшей рядом с великими литературными предшественницами.

«Это была Мут-эм-энет, женщина роковая» — так не без иронии заканчивает Томас Манн первое описание жены Потифара в своем знаменитом романе об Иосифе. Откровенно говоря, как читатель я ожидал и Медею увидеть «роковой женщиной». Но Чиладзе пишет свой роман без тени иронии, с подкупающей серьезностью. Исполненный любви, сочувствия и участия, он создает удивительный образ Медеи — тоненькой светловолосой веснушчатой девочки, молча следующей повсюду за своей тетушкой, знахаркой и волшебницей. Вся ее жизнь — это подготовка к тому единственному поступку, который изменит, перевернет, разрушит все вокруг нее, сделает ее одной из самых трагичных фигур в мировой литературе. Ясон после первой встречи с Медеей возвращается на «Арго» и все силится вспомнить, кого же напомнила ему младшая дочь царя Аэта. Краешком памяти он перебрал всех довольно многочисленных женщин, с которыми сводила судьба. Нет, среди них не было ни одной, похожей на Медею. И вдруг не без тайного страха он понял, что *Медея похожа на море!* Чем эта тоненькая светловолосая девушка может походить на море? Но мы разделяем тайный страх Ясона и, как и он, видим это грозное, пугающее и прекрасное сходство. Какая боль, какая мука и счастье быть вместилищем страстей, и через тысячелетия волнующих людей, достойных пера Еврипида и Овидия! В какой невероятный узел способны переплетаться беда и счастье, любовь и горе!.. Именно такую Медею показал нам Отар Чиладзе.

Блестящая творческая удача открывает в нем новое дыхание — отныне он по преимуществу романист. Один за другим пишутся «И всякий, кто встретится со мной...» (1976г.), «Железный театр» (1981г.), «Мартовский петух» (1991г.), «Авелум» (1995г.). Романы переводятся и издаются в разных странах, отзывы об их авторе в высшей степени комплиментарны. «Отар Чиладзе — один из крупнейших писателей современности», «Грузия возвращается на мировую литературную карту», «С "Железного театра" только начинается наше знакомство с Отаром Чиладзе. И мы

его заслужили». А рецензент немецкого издания «Авелума», самого велеречивого и растянутого из романов Чиладзе, сравнивает его с симфонией Бетховена.

Отар Чиладзе воспроизводит Грузию на большом историческом фоне, от аргонавтов до наших дней. Из античности он сразу переносится в середину XIX века («И всякий, кто встретится со мной...»), а затем постепенно приближается к нам, вплоть до «Авелума», в котором рефлексии интеллигента в любовном треугольнике, бесконечные и безысходные, как колыбание вагнеровской любовной темы в «Тристане и Изольде», перемежаются трагическими событиями марта 1956 года в Тбилиси.

Но вот наступает 2002 год — дата завершения романа «Годори», как оказалось, последнего в творчестве Мастера. В «Годори» он, наконец, синхронизируется с читателем, воссоздает на страницах итоговой книги дела и события, пережитые нами, прошедшие через наши сердца и души. В литературном смысле «Годори» выбрал лучшее из наработанного писателем за 50 лет творчества: поэтичность и пафос лирических поэм, трагизм и психологизм первых романов, неожиданную метафоричность, яркими вспышками озаряющую страницы повествования, мастерское, почти музыкальное использование тем и лейтмотивов. При этом талант семидесятилетнего писателя наполнен и свеж, как в пору написания его «аргонавтики». Дэвы из волшебной шапки по-прежнему верно служат ему. «Годори» компактней и лапидарней своих объемных предшественников. Все в совокупности позволяет признать эту книгу вершиной творчества Отара Чиладзе.

Чем объяснить такой взлет на склоне лет? Есть ли у него причина?

Всю жизнь, весь творческий путь Отар пестовал и лелеял достоинство — свое, личное, и своей отчизны, всей энергией слова и властью таланта внушал соотечественникам стремление к идеалу — государственному и частному. Он любовался находками в историческом прошлом и национальном менталитете. «Я люблю нашу гордую породу», — вырвалось у него в одном из поздних стихотворений.

Время действия «Годори» — 1990-е годы. Это катастрофа. Развал страны, крушение экономики, обнищание народа, вспышки сепаратизма, раздуваемые коварным соседом. Страна, наделенная «талантом жизни и незаконной радости» (так характеризовал Грузию философ Мераб Мамардашвили), явно не справлялась с обрушившимися на нее испытаниями. В Грузии рухнуло все — промышленность, транспорт, финансовая система, образование, медицина, а главное, нравственные устои. Тот, кто прочитал роман, увидел все это на его страницах. Помню тбилисскую газету той поры: ее пустые полосы по диагонали пересекало единственное слово, диагноз — *AGONIA*.

В «Годори» поставлена последняя точка, смят последний бастион традиционного грузинского уклада — семья. Влечение свекра и невестки — Раждена и Лизико, их греховные помыслы и неистовое соитие, рождение (или нерождение) младенца, убийство отца (реальное ли, мнимое ли) — вот искрящая от напряжения коллизия романа. Можно представить, чего стоило Отару Чиладзе, стоику и моралисту, воспроизведение грузинского Содомы на страницах своей прощальной книги. Самый серьезный недостаток соотечественников и самая большая опасность, в глазах Отара Чиладзе, — безволие и инфантильность того поколения, которому выпало возрождать Грузию и отстаивать ее независимость. Этим недостатком отмечены и главные герои романа Антон и Лизико. Вместе с тем, они наделены обаянием юности, порывистостью и смелостью: достаточно вспомнить эпизоды в баре ночного клуба, на бруствере фронтового окопа или в страшных ежевичных дебрях.

Инфантильность и беспомощность, безволие и трусость, пустословие и жадность, проявившиеся при крушении родного дома, всколыхнули в душе писателя боль, гнев, сарказм; оттого многие страницы «Годори» похожи на голошение.

Загадочный персонаж романа, появившийся на первой же его странице, некто Лодовико из Болоньи, еще в XV веке, посланный Римским Папой на поиски союзника в борьбе с османами, не находит Грузию, христианскую твердыню, прославленную рыцарским благородством и воинской доблестью. «Исчезла страна, ничего не осталось кроме пустошей под колючей стерней». С этими словами перекликаются горестные предчувствия писателя Элизбара, отца прелестной грешницы Лизико: «Скоро нам объявят, что Грузия вообще выдумка жуликоватого картографа!»

В романе много примет тотального кризиса, охватившего страну. И какое волевое усилие, какая эстетическая требовательность и самодисциплина понадобились для того, чтобы собрать этот хаос и выстроить его в художественное целое! Совершенству романа «Шел по дороге человек» способствовало то, что он был налит в античную амфору; по моему убеждению, «Годори» тоже вырос из античной трагедии.

Такие чувства бушевали во мне, когда я решил поделиться ими с автором.

В ту пору наше многолетнее приятельство омрачало одно обстоятельство: будучи редактором журнала «Дружба народов», я воздержался от публикации велеречивого «Авелума». Тем искренней была моя радость по поводу блестящей удачи, выпавшей на его долю.

Вовлеченный в борьбу за становление новой Грузии, я остро переживал ее беспомощность, как и беспомощность своих статей и памфлетов в московской прессе. Чтение «Годори» произвело удивительное действие: эта книга словно сняла тяжесть с сердца, смыла с меня грязь и срам, возродила надежду и даже вернула чувство гордости: ведь не может быть, чтобы эта великолепная античная трагедия, этот могучий плод таланта, страсти и интеллекта вырос из пустоты или кучи мусора. Стало быть, в глубинах нации уцелело то, что продиктовало эту книгу, обусловило ее силу и совершенство.

«Если б я не опасался хватить через край, — писал я Отару, — сказал бы: возможно, пережитые испытания свалились на нас для того, чтобы была создана такая книга». (Тут, кажется, я все-таки хватил через край...) «И вот еще что: твой роман показал, какой энергией обладает литература без всяких новомодных штучек-дрючек — ни постмодернизма, ни минимализма, ни порнухи, ни чернухи, никаких измов и толкиенов — только значительный повод для высказывания и емкость слова».

Дней через пять после отправки письма Отар позвонил мне из Тбилиси и своим глуховатым округлым баском, странно напоминающим волжское «оканье», сказал: «Ты знаешь, кажется, твое письмо взволновало меня так, как тебя мой роман».

Тогда же мы решили, что лучше всего мне самому взяться за перевод.

Прошло два года, и «Годори» увидел свет на страницах журнала «Дружба народов».

Первые отклики в России оказались столь же панегиричны, как и приведенные ранее отзывы европейских критиков. Рецензент «Новой газеты» Ст. Рассадин полагал, что «на всем постсоветском пространстве за весь постсоветский период это первое литературное СОБЫТИЕ». В. Огнев и Н. Иванова толковали о «величии замысла» и об «уникальной метафорической и поэтической природе прозы Чиладзе», а Б. Евсеев признавал «Годори» «романом-мифом и высокой правдой о Грузии и ее народе». М. Тарасова в питерской «Неве» поставила Чиладзе в ряд с Прустом и Джойсом, а Алла Марченко, почитаемая мной за безошибочный вкус, сказала в частном разговоре: «По моему, это великий роман».

Погода критика немного успокоилась и сделалась аналитичней — началась полемика с грузинским писателем, главным образом, по линии антироссийских выпадов в его книге (статьи и рецензии Л. Анинского, Е. Беняша). «Но ведь "Годори" роман, а не учебник истории», — не вступая в полемику, недоумевал Отар. Завершающей в серии аналитических текстов стала рецензия В. Липневича в журнале «Новый мир», емко озаглавленная «В поисках утраченного достоинства».

Работа над переводом и мне дала ощутить «некоторые лакуны» в плотной ткани романа: так эпизод окопной войны в Абхазии и гибели Антона явно не хватает фронтовой достоверности и точных осязаемых деталей, а предыстория Фефе — тещи прелестной грешницы — отдает сентиментальностью диккенсовских историй о трудном детстве. «Разве Диккенс плохой писатель?» — досадливо заметил на это Отар.

С переводом связан один симпатичный эпизод наших телефонных контактов. Рецензенты, оценивая качество перевода, называли меня «полноправным соавтором» писателя и даже «автором русской версии романа». При подготовке книжного издания Отар позвонил мне и без тени иронии спросил: «Можно мне, как соавтору, высказать одно небольшое замечание?» Эту шутку Матадора (прозвище Отара в молодые годы) никто не смог бы оценить так, как оценил ее я. Помню замечания и более содержательные, без тени иронии. Так однажды он сказал: «Ты слишком проясняешь

текст, а я ведь иногда и сам толком не знаю, что там происходит...». Но в целом он высоко оценил мою работу. Привожу его слова не для саморекламы, а как штрихи к портрету: «Представь себе, мой "шедевр" меня же и взволновал в переводе, и это в первую очередь твоя заслуга. Я даже не ожидал, что можно было с таким совершенством и почти без потерь перенести его на другой язык... Благодарю тебя за волнение и трепет, с которыми читал перевод».

От себя замечу: создание романа отличается от его перевода, как рождение ребенка от бережного купания младенца в ванночке.

Мы делали разную работу, но черпали слова и силы из одного источника — это боль и тревога за судьбу отчизны, такой беззащитной на ветрах истории. «Грузия одна» — так назвал свой фильм наш земляк Отар Иоселиани. Грузия одна. Однако, пройдя через тысячелетия «бескормиц, и поражений, и неволь» (Б.Пастернак), она не вправе потерять надежду на самостояние, на сохранение своего лица, отмеченного «талантом жизни и незаконной радости».

На последних страницах «Годори» «из залитого солнцем сияющего пространства неожиданно выступил человек в странных одеждах». Это упрямый Лодовико из Болоньи. Вот уже больше пятисот лет посланник римского Папы бродит по горам и долинам, напоминающим ему далекую родину, бродит в поисках исчезнувшей Грузии. Поиски его тщетны. Но именно он находит для прелестной грешницы Лизико, узницы психбольницы, затерянной на краю города, последние слова надежды, и от волнения вдруг перейдя на стихи, говорит:

Навсегда мы лишь то теряем,
с потерей чего примирились.
Но если без обретения жизнь не имеет смысла,
тогда оно возвращается,
точнее, рождается заново,
и однажды,
как земля из вод
иль как из молока головка сыра,
восходит в ослепительном сиянье...

* * *

Святая гора над Тбилиси была и пребудет лучшим его украшением. Она осеняет и возвышает город. Ее силуэт знаком каждому тбилисцу, как младенцу знаком силуэт матери; с цветущим миндалем и алычой на склонах по весне, с ровной линией фуникулера, по которой ползут два лобастых вагончика, безмолвно расходясь посередине — они так естественны на горе, что, кажется, давно превратились из технических устройств в ее обитателей. Неподалеку от фуникулерной развилки, в распаде, как бы за пазухой Святой горы, белеет чета — белокаменная церковь и колокольня. В склепе под церковью за коваными воротами могилы Александра Грибоедова и его вдовы Нины, дочери князя Александра Чавчавадзе, воина и поэта, крестника Екатерины II. Вокруг прославленной могилы за полтора столетия сложился Пантеон: в тени кипарисов и елей, между кустами сирени и вербы десятка три могил. Здесь покоится цвет нации, гордость и слава Грузии.

Некогда жители Эшвилла, уязвленные книгой Томаса Вулфа, вынудили писателя бежать из родного города.

Тбилисцы поступили иначе: когда после долгой болезни Отар Чиладзе умер, они на руках вознесли его на Святую гору и похоронили в Пантеоне неподалеку от любимого им Галактиона Табидзе, о котором написано «Железное ложе», в двадцати шагах от создателя «Горя от ума», чей Чацкий вдруг аукнулся в его судьбе, рядом с кумиром молодости Важа Пшавелой.

Оказалось, что место упокоения может утешать и радовать.

Если это место — Святая гора.

Анна Трушкина

На дальний гул, к неуловимому эху

Андрей Грицман хорошо известен в литературном сообществе как издатель и главный редактор международного журнала «Интерпоэзия», а также как самостоятельный поэт и эссеист, пишущий на двух языках. Можно сказать, что Грицман успешно сидит сразу на трех стульях: он, несомненно, московский лирик с крепкой традицией за плечами, во-вторых, поэт российской диаспоры в Нью-Йорке и, наконец, в-третьих, стихотворец, пишущий по-английски и занимающий достойное место на англоязычной литературной карте. В издательстве «Воймега» только что вышла его новая книга. Со времени выхода предыдущего сборника, «Кошка», прошло уже четыре года. Интересно сравнить, как трансформировался поэтический мир Андрея Грицмана за это время. И изменился ли он вообще?

Книга разделена на три объемные части: «Прогулка по родному городу», «Спецхран» и «Место для курения». Первый раздел сразу заставляет задуматься: а какой город является для автора родным? Грицман родился в Москве, но живет в США — уже очень давно, с 1981 года. Стихотворение, открывающее книгу, а значит, важное для автора, похоже на ретроспективу, которая проносится в сознании перед сном. Набор разрозненных картин из школьной и студенческой жизни, отнюдь не элегических, как можно подумать, но объединенных ностальгией по юности. Здесь уместно вспомнить, что автор — еще и практикующий врач-диагност. Отсюда и медицинская лексика — *сумерек астма, сукровица ночного разговора, безжизненный анабиозный сад*.

Тема первого стихотворения развивается и в последующих. Это прощание с Москвой 70-х, с молодостью, с тем советским бытием,

которого уже нет. И совсем не потому, что автор поменял место жительства. Это родной город, прогулку по которому можно совершить уже только во сне:

Но свободна моя
по бульварам бредущая память.
Только следом летит
не замеченный в сумерках ворон.

Конечно, тот самый ворон, который каркает свое неутешительное «Nevermore». А поиски себя сегодняшнего, попытка самоидентификации происходит уже среди нью-йоркских пейзажей. Отдельно хочу остановиться на стихотворении «Катер». Оно выстроено вокруг двух персонажей, одиноко выпивающих и — каждый из своего, так сказать, хронотопа — смотрящих на одно и то же судно, которое плывет по Гудзону. Друг, сидящий в старой московской хинкальной, — не альтер эго ли это лирического героя? Двойник, оставшийся в России и проживший отринутый героем сценарий?

Да, родного города поэта не обнаружить на Yandex.maps, он существует только во внутреннем пространстве. Оно вбирает в себя и ностальгическую Москву времен юности, и современную Америку XXI века, впитанную и освоенную. Прошлое и настоящее, Россия и США не разделены в поэтическом сознании, они перетекают друг в друга, вот и получается, что «*Манхэттен плывет в пионерское лето*». Так что и со временем, и с пространством отношения у автора сложные.

Второй раздел, «Спецхран», давший название всей книге, помещен в ее середину не просто так — это ее сердце, ее смысловой центр. Он находится еще глубже, чем метафизический родной город, — там, где границы стран и времен стерты, где главное — поиск вечной истины. Недаром эта часть книги открывается стихами на библейские мотивы.

Это пространство поисков Абсолюта, эгоистически личное здесь уже не имеет особого веса. Для авторского сознания Абсолют ближе всего в инкарнации *Голоса*, постоянно звучащего и зовущего. Только он не теряет ценности:

Голос останется за пределом ткани,
За пределом горечи, речи, ночи.

Дорога, зал ожидания, поезд — образы, знакомые читателю еще по «Кошке», продолжают развиваться и под обложкой новой книги, особенно сгущаясь в третьем разделе, озаглавленном «железнодорожной» метафорой «Место для курения». *Сверхтема* поэта Грицмана, переходящая из стихотворения в стихотворение, — путешествие души по времени и пространству. Вагон, купе — излюбленная авторская локация, где могут зримо воплотиться мотивы одиночества, неприкаянности, бесприютности, самоощущение вечного транзитного пассажира, преследующее лирического героя.

Еще в «Кошке» было заметно, как сильно на Грицмана влияет поэтика современной англоязычной лирики. В «Спецхране» эта тенденция еще более ощутима: автор все чаще не ищет точных рифм, уходит от

силлаботоники, тяготеет к прозаической интонации. Можно сказать, что живая речь, тон задушевного разговора для Грицмана имеет куда больший вес, чем жесткая структура классической формы.

Что ж, мы-то с тобой уроды,
пьем настойку на травах,
нам только известных,
на бессловесном бреде,
на падежах, корнях бесполезных.

Потому что даже в дружеских беседах, в обычных кухонных разговорах, в диалоге с самим собой чувствительное ухо порой может распознать *тот самый голос*.

Мужчина стареет как волк в диком поле,
ища реку родную.
Потом на пределе —
видит душу свою, как маяк в тумане,
плывущий, зримый, недостижимый.

Поэтика Андрея Грицмана не претерпела коренных изменений за четыре прошедших года. Автор додумывает свои мысли, развивает свои темы так, как привык это делать: без крика, экзальтации, резких движений. Просто продолжает свой путь.

Александр Котюсов

Страна победившей антиутопии

Вот и Акунин пытался покончить с Фандориным. Взял и пустил своему аристократическому герою пулю в голову. Действительно, сколько можно писать об одном и том же. Шесть лет не хотел вспоминать об Эрасте, страдал (наверное?), убивая родное, выращенное, выдуманное, обточенное годами...

Случается порою, что выедает автора изнутри созданный им герой, превращая писателя в машину по изготовлению штампов, и начинает

он исторгать их подряд на потребу толпе, забывая, что изначально видел свою жизнь как искусство, но как-то быстро она превратилась в работу, а после и вовсе свалилась в рутину, обыденную, нудную, в вечной суете. Тогда и пуля герою в лоб годна, и другие варианты убийства. Нет героя — нет рутины. Хотя и работы, как выясняется, тоже нет. Следовательно, и денег. Как-то нерасчетливо умерщвлен герой, не все минусы этого действия были учтены. Для таких случаев всегда есть выход — реанимация. Тот же Фандорин: три

Андрей Волос. Шапка Шпаковского: Роман. — М.: Издательство «Э», 2018. — 320 с.

года в коме — и снова как огурчик. «Нельзя пропустить фарш обратно», — соглашается с Иннокентием Догавцевым, главным героем романа Андрея Волоса «Шапка Шпаковского», его издатель. «Будем считать, что ничего не было... секундное помутнение рассудка», — продолжает он. А как же читатель? Да кто его во внимание принимает: «Они же с этих читают, с ридеров... научно доказано, что с ридера — это все без толку. В одно ухо влетело, в другое вылетело», — успокаивает Догавцева издатель.

Впрочем, все по порядку. Главный герой «Шапки» — писатель. Известный. Весьма популярный и даже, отчасти, культовый. Пишет не под своей фамилией, под псевдонимом — Семён Сухотруб. Каждый день из года в год Сухотруб строчит романы. Про полковника Генералова. Полковник — русская транскрипция агента 007. «Высокий, широкоплечий, с рельефной мускулатурой», умный, смелый, любимый женщинами. Автор описывает своего героя просто и незатейливо — здесь и «красивые черты его честного, осененного глубокою мыслью строгого лица», и «простое человеческое сердце», и «чистая и любящая душа». Четкие и понятные читателю штампы. Сколько таких героев, рождению своему обязанных пристрастием непритязательного читателя, живет на страницах современной литературы. Одни, как Эраст Фандорин, уже заслужили всенародную любовь и миллионные тиражи. Другие, как Алексей Лыков, скоро к ним прорвутся. Есть третьи, типа Осипа Тараканова, у которых уже сегодня ощущается огромный потенциал. А есть еще десятки и сотни других, пока еще мало известных, лейтенантов, капитанов, полковников. Каждый день на страницах своих романов они совершают подвиги, раскрывают преступления, ловят преступников. Имя им легион. Живут они на радость массовому потребителю, непритязательному в чтении. Андрей Волос с помощью своего героя Догавцева открывает кухню, на которой создаются такие герои. Каждый день автор «просто тупо пашет — пашет как рабочий конь, садясь за клавиатуру самое позднее в восемь утра, отрываясь самое раннее в четыре пополудни и позволяя себе лишь куцые перерывы на скудный завтрак и три или четыре спешных похода на кухню с целью заварить свежего чаю. Когда наконец ему удастся наколотить урочную порцию

знаков, он, подчас даже не доведя до конца последнее на сегодня предложение, с невольным стоном отъезжает от компьютера. Он разминает ноющую спину. Он моргает глазами, в которых полно песка, массирует виски и чувствует саднящее опустошение. В эти минуты он выглядит как мокрое белье на веревке».

Догавцеву надоело писать про Генералова. С этого начинается роман Андрея Волоса. У его литературного героя кончился запал. «На седьмом году бесконечной возни ресурсы творческой энергии были хищнически исчерпаны». Сил писать больше нет. Кризис сюжетов, кризис идей. «Из колодца легко черпать, когда только начал. А вот если ведро уже скрежещет по гальке...» — объясняет Догавцев свое желание убить полковника. Два романа в год, без отдыха и покоя. А главное, без удовольствия. «Когда-то ради Генералова я отложил свою собственную рукопись», — сокрушается он и радостно поднимает голову в надежде: «Вчера был рабом, а сегодня идешь себе свободным человеком». Вот только надеждам этим не суждено сбыться. И понятие *свобода* он еще не прочувствовал.

С первых страниц романа возникает уверенность, что в «Шапке Шпаковского» речь пойдет прежде всего о творческих исканиях героя, о его переживаниях, рефлексиях относительно правильности сделанного выбора. В конце концов, о возникшей дилемме, как жить дальше, после того, как он узнает об обмане, который приготовило ему издательство. Кажется, что только на эту волну и настраивает читателя Волос. И лишь ближе к концу понимаешь, что направил тебя автор по ложной тропе. Случайно или осознанно? Хорошо, что можно остановиться, перелистнуть страницы назад. С «Шапкой» надо «переспать». Первоначальное ощущение, что роман Волоса о том, как писатель убил своего героя, а потом, оказавшись в крайне неожиданной, для себя в первую очередь, ситуации (когда, перечитав -поддельный, как выясняется позже, но это ничего не изменит — договор с издательством, по которому автор лишается прав на собственный псевдоним и на фамилию придуманного им же самим героя, на все переиздания книги, на ее экранизацию), пытается что-то изменить, вначале разбивается о кучу кажущихся лишними и чуждыми сюжетов, которыми насыщен роман, а ближе к концу и вовсе тонет от осознания того, что

автор, будто проверяя твой интеллект, повел тебя по другой совсем дороге. Андрею Волосу словно все равно, поймет ли сразу смысл его книги читатель, или, пожав плечом, закроет роман и засунет подальше на верхнюю полку, пылиться вечно.

Не привыкшему (или не желающему) отлистывать странички назад читателю покажется, что в книге неаккуратно и хаотично перемешано все и вся: митинги, любовь, нравственные страдания, психбольница, тюрьма, рейдерский захват издательства и мистические события, способные изменить жизнь героя. Волос копирует в своей книге современный мир, будто собрав его в одном рекламном ролике: «Мчались лаковые автомобили, на ходу превращаясь в гепардов и обратно, плясали девушки, призывно маша прокладками, лились в стаканы молоко и сок, дети пищали что-то насчет дедушек, вкладов и пенсионных фондов». Создается ощущение, что он стремится следовать современным трендам и охватить в романе все, что в сегодняшней жизни является «хайпом». Кажется, что в этой погоне он теряет художественность. И динамика убита длинными диалогами. Чем дальше, тем больше автор начинает напоминать нерадивого строителя, который, неожиданно обнаружив пустоты в строящемся доме, спешно заполняет их герметиком.

Но понемногу замысел автора раскрывается. Начинают проявляться всполохи той самой идеи, которая и была заложена в роман. Как это ни удивительно, речь не про полковника Генералова вовсе. Речь о нашей стране, о власти, о ее взаимоотношениях с народом. Речь о маленьком ничтожном человеке, а точнее, о 130 миллионах маленьких людей, живущих в России. Живущих ровно так, как им разрешает жить власть. Тема эта вначале затронута Андреем Волосом крайне боязливо. С первых страниц романа где-то на дальнем плане мелькают «несогласные». Они смешны. С какими лозунгами выходят они на улицы? «Прикратите издИваться». Так они выступают за сохранение гаражей в своих дворах. Старые, ржавые коробки, позабывшие, что такое машина, используемые больше как склады или мастерские, они портят дворы, уродуют их. Участники таких митингов не вызывают желания их поддержать. Удивляет лишь, что власть относится к ним со всей серьезностью и бросает против них «тяжелую артиллерию»,

очевидно, боясь упустить контроль даже за столь незначительными проявлениями несогласия. Эта «тяжелая артиллерия» достойна своего народа, она культивирована с умом — депутат Рюшкин, косноязычный, а потому абсолютно понятный большинству россиян, не кажется читателю совсем уж отрицательным героем, хотя бы потому что выступает он не против свободы слова, а всего лишь за снос гаражей. А днем ранее и вовсе предлагает новую и на первый раз весьма честную схему выборов депутатов. А потому герои романа, очутившиеся неожиданно в тюрьме за проведение несогласованного митинга, уже не вызывают сочувствия — кому кроме них нужны эти убогие, ржавые, заросшие лопухами железки, пусть лучше на их месте появится детская площадка или газон с травой. Рейдерский захват издательства также не вызывает никаких эмоций. Магнатуллин лишается своего детища. И поделом — несколько дней назад он украл у Догавцева его будущее — право на авторство. Теперь приходит и его черед. А что за рейдерством этим стоит мощная и решительная система, обслуживаемая чиновниками и депутатами, так к этому все привыкли.

Андрей Волос описывает нашу банальную незатейливую жизнь. Все герои его романа по-своему ничтожны и жалки. Догавцев, превратившийся в литературного негра, Алиса, закончившая престижнейший институт, знающая четыре иностранных языка, но вынужденная выполнять, как дрессированная собачка, команды сильных мира сего, Витюша Полчанков, озадаченный сохранением ржавого гаража во дворе, Шпаковский, находящийся где-то на грани сумасшествия. А еще примитивный (зато депутат) Рюшкин, богатый (но неприятный) Магнатуллин... Под конец автор, словно ильфо-петровский сеятель, рассыпает десятки и десятки фамилий по страницам книги. Сидящие в тюрьме за невыплату мелких штрафов, лежащие на койках в психиатрической лечебнице и даже поднимающие бокал за здоровье именинника в дорогом коттедже. Объединяет их одно — тут автор словно забывает об осторожности и честно и прямо говорит про своих героев: «море людей: плотно стиснутых, но не стоящих на земле, не имеющих под ногами хоть чего-нибудь твердого, а свободно подвешенных в пространстве, а потому мотающихся верх и вниз и из стороны в сторону, как мотаются на

поверхности настоящего моря оторванные от его дна безжизненные водоросли».

И сразу же (впрочем, снова иносказательно, добавляя, что это всего лишь сон) Волос выводит на страницы романа тех, кто руководит этими безвольными людьми, давая им нарицательное имя — Бесы! «Размашистые, языкатые и косноязыкие, блеющие, лопочущие, трясущие многочисленными головами, пучащие буркалы, пируэт за пируэтом наяривающие круги лаковыми копытами». Бесовская банда, которая «использует государство в своих целях. Те органы, что должны действовать как государственные, банда использует для решения своих бандитских задач». Люди для них лишь масса, у которой нет «ни крупницы собственной воли: потому она и послушна, как никчемная водоросль, потому и следует тому, что единственное здесь имеет волю: послушна этим вихрям, следует этим бесам».

С автором трудно не согласиться. В романе нет ни одного героя, который бы вызвал уважение у читателя. Все они «никчемная водоросль». За исключением одного. Вымышленного. По фамилии Генералов. Того самого богатыря из русской сказки Семена Сухотруба, которого в начале романа убил автор. Может, потому и убил, что даже в своих шестнадцати томах тот уже начинал раздражать власть имущих. Хоть и говорили Догавцеву: «Вам главное — экстремизма не допускать. А все остальное — если в книжке, то пожалуйста. Высказывайте. Хоть бы даже и антиправительственное. Дескать, например, страна в развале, сил нет терпеть, где выборы, где честный суд, коррупция жрет», — но, наверное, лукавили. Слишком честен, слишком умен, слишком, слишком, слишком... Таких общество выталкивает. А может быть, Догавцев убил своего героя, потому что сам ему завидовал? Кто ж его знает.

Шапка Шпаковского — многослойный головной убор из фольги, опутанный системой проводов, с антеннами. Если ее надеть, становишься невидим. Ты исчезаешь из реальной жизни, переходя грань, за которой

все выглядит по-иному. Главному герою эта шапка достается случайно. Что он с ней сделает? Вариантов много. Выкрадет договор с издательством, восстановит справедливость и снова начнет писать про Генералова? Или пойдет освобождать друга, осужденного на три года за сопротивление должностным лицам во время все того же глупого митинга? Или уедет в Канаду, где оказалась его любовь, таинственная Алиса? Андрей Волос не дает ответа, предлагая читателю сделать выбор самостоятельно. Важно другое. Главный герой романа наконец начинает понимать истинное значение слова «свобода» и его ценность. Правда понимание это приходит не от хорошей жизни, а после пятнадцати суток, проведенных в тюрьме. «Неужто и правда в России, чтобы почувствовать себя по-настоящему свободным, нужно оказаться на нарах? Неужели только там, за решеткой, за железной дверью, под недобрый взглядом надзирателя, под лязганье мисок с капустной баландой, русского человека может посетить это сладкое чувство?» — удивляется вслед за Догавцевым Волос.

Закрывая последнюю страницу романа осознаешь, что хоть и мельком, но вовсе не случайно упомянул Волос в своей книге про аммиачный завод: «Экспортная продукция. Четыре действующих аммиакопровода до госграницы. Обороты гигантские. Особо ценный актив». За него вся борьба. Отнять, забрать, озолотиться. Ради него не жалко убить Генералова, посадить в тюрьму Полчанкова, отнять все у Магнатулина, уволить Ларису Михайловну, отправить за границу Алису. Аммиачный завод. Там, наверное, трудно дышать? И вредно. Впрочем, с какой стороны посмотреть — ведь пары аммиака способны привести человека в чувство. И хочется верить: вдохнув его пары, миллионы людей вспомнят, что они в первую очередь люди, а не водоросли, что каждый или почти каждый сможет, если захочет, стать сильным и смелым, как полковник Генералов. И тогда наше государство перестанет быть страной «победившей антиутопии». Главное, не прятаться под шапкой Шпаковского.

Да, именно так: родина исчезает и воскресает, вечно манящая и вечно недостижимая.

В связи с этим очень важным понятием в стихах Ларисы Йоонас является понятие рубежа, границы, контура — «...ночью граница проходит по коже».

Поиски родины, страны, очерчивание ее границ неизбежно приводят к поиску самого себя. Родина становится твоей, насколько ты становишься ее частью и насколько она часть тебя. Тот случай, когда часть целого больше самого целого.

Ощуцаю себя страной.
Или менее, чем страной.
Или более —
например, человеком.

Но и это еще не долгожданный итог, не окончательный и умиротворяющий вывод. Да и есть ли такой в нашем вечно становящемся, текущем, неуловимом, как мгновенье, мире?

«Пусть я буду остров человеческий, не укоренившийся пока...» В желании стать «островом» с четко очерченными границами скрыто убеждение, что «укорениться» вообще-то невозможно, что удел человека в нескончаемом процессе становления, а творчество — это бесконечная погоня за ускользающим идеалом.

Как уже было сказано, поиски родины — одна из ведущих, магистральных тем книги Ларисы Йоонас. Та основа, та творческая установка, философская подкладка, без которой, по-моему, не обходятся настоящие стихи.

А рядом с глубокими раздумьями о, так сказать, экзистенциальных вопросах бытия:

длинные облака
вертят монету луны
меж пальцев,

— в книге соседствуют стихи с явным ироническим звучанием:

приходил господин сантехник
с ценовыми предложениями на вошеной
бумаге
рисовал тонкие линии
вытягивал язычок рулетки
с нежным звуком
будто играл на бандонеоне...

Бросается в глаза убедительная живописная изобразительность этих строк, и совершенно неважно, какую форму на этот раз избрала поэтесса.

Краткое ли хокку, в котором так и видишь посверкивание бледной монеты луны, так же как видишь «вошеную бумагу» в стихах о визите «господина сантехника», слышишь звук вытягиваемого язычка рулетки и аккомпанемент совершенно неведомого, например, мне, но несомненно замечательного бандонеона.

«Я смотрю не отрываясь в жизни острые зрачки...» — пишет Лариса Йоонас. Тут вполне резонно стоит отметить, что и у героини этих стихов, мужественно глядящей в глаза жизни, зрачки не менее острые. Более того, они остро видят не только какой-либо предмет или явление, но и невидимую суть вещей, тонко улавливают скрытые за ними ассоциации. Слово обретает цвет, вкус, а вещи — такие качества, что на поверхностный взгляд совершенно им несвойственны. Об этом стихотворение «Синестезия»:

...Тот, кто родился не таким, как все,
ощущает биение поверхностей,
осязает пространство,
заполненное полярным заревом,
мчащимися
кометами и белыми густыми снегами.
В домашней обстановке это выглядит
намного проще:
шелковый чай,
клубки лаванды,
желтое сияние,
бесконечное объятие.

Верлибр до сих пор в русской поэзии «вещь в себе» — спорная и неоднозначная. Часто невозможно отделаться от ощущения, что перед тобой «проза в столбик», как скромно называет свои стихи поэтесса Светлана Василенко, являющаяся «по совместительству» еще и прекрасным прозаиком. Возможно, неоднозначность эта существует потому, что пока, как мне кажется, нет канона русского верлибра, того эталона, который задает масштаб и координаты этому «понаехавшему» явлению. И действительно, вроде бы ни ритма, ни рифмы, непонятно, на чем держится стихотворение. Увы, читая иные верлибры, понимаешь, что довольно часто слова так и не могут уцепиться за что-либо, а просто безвольно и вяло нанизываются на

произвольную строфику. Все это оставляет тягостное впечатление нереализованного, не нашедшего адекватной формы замысла.

Лариса Йоонас смело и даже несколько демонстративно прибегает к верлибру. И, надо сказать, верлибры ей удаются. Каким-то непостижимым образом ей удается ставить перед словами невидимую преграду, в которую они упираются, с которой борются, а в итоге стихотворение обретает упругость, держится на завораживающей интонации, на тончайшей, но прочной словесной паутине.

...Кинематографическое
отражение непогоды-
в неживом свете на мокром асфальте
в луже
пустой пластиковый стакан
с леденящим скрежетом
описывает полукруг —
и возвращается к прежнему положению.
Никого на улице.
только фонари,
только дождь, который почти бесшумен.
Живого —
только этот резкий звук, вызывающий
содрогание.
Невероятное одиночество
и неприкаянность, хочется подойти и —
Но что будет делать исправленный мир,
лишенный единственного смысла?

Тут и звукопись, и резкий контраст между живой, бесшумной поступью дождя и неживым скрежетом. И загадочная точка после так и не произнесенного слова, и вопрос, повисающий в этой ночной метафизической тьме и чудесным образом становящийся ответом.

Сложно перечислить все тематическое, изобразительное, жанровое содержание этой книги. Просто хочется вернуться к теме поиска родины, столь императивно звучащей в стихах Ларисы Йоонас.

И, словно школьнику с первой парты, хочется подсказать ей, что русский язык — это и есть та самая желанная и осязаемая родина, которую так страстно и бескомпромиссно ищет поэтесса. Но если задуматься, то это, конечно, правильно, однако правильно только отчасти, здесь далеко не вся истина. Ибо найдя ответ, мы как бы поставим унылую точку в напряженном творческом поиске, а это невозможно.

Когда в древнем Китае строили дворец императору, то одну комнату навсегда оставляли недостроенной, ибо становление, созидание — бесконечно. Так и в стихах что-то должно быть недосказано, они должны стремиться к неведомому и недостижимому свету, который тоже их родина.

Ольга Русинова

Скульптор Никогосян: образы мысли*

К 100-летию Мастера

Николай Багратович Никогосян — значительная фигура нашей художественной жизни. Он начал работать в 1940-е годы, и как у каждого большого мастера, время отражается в его произведениях, но верно и обратное: его произведения в известном смысле создают панораму эпохи.

Скульптор, живописец, великолепный рисовальщик, автор книги рассказов и воспоминаний, Никогосян существует в сплошном потоке образов, требующих воплощения. Его жизнь не разделяется на «творчество» и «обыденность»: во всем присутствует энергия мысли и художественного выражения. <...>

Основа пластического видения художника была заложена в самой ранней юности — перед тем, как учиться скульптуре, он занимался в только что открывшемся Ереванском хореографическом училище (1934—1937). Отсюда — осознание ритма и пластики, отсюда и понимание того, как движется человек в пространстве. Армянский писатель старшего поколения Дереник Демирчян говорил о его «пластичных движениях» и темпераменте портретиста: «Он не приближался — набегал, не брал — захватывал, урывал. Он плясал. Так бывает, когда двое недругов при встрече кружат друг против друга, намечая, куда бы вонзить нож. Каждый брошенный им взгляд — это поиск, откровение, поражение или победа. Его вечное движение наглядно доказывает, что ваяние — это сведение воедино, такт за тактом, пластичных движений. Что двигаться и течь может не только симфония, но и скульптура». <...>

Действительно, портрет стал излюбленным жанром Никогосяна, хотя он, казалось бы, полная противоположность его статуям обнаженных. По требованиям жанра в портрете должна быть предельная достоверность лица и характера,

* полностью статья опубликована в издании «Николай Никогосян. Уходящая классика». Каталог выставки (Государственная Третьяковская галерея). Галерея Нико, М., 2018.

в статуях обнаженных — обобщенность и типизация фигуры. У Никогосяна иначе: портрет не «отменяет» статуарную пластику, но продолжает ее. Это квинтэссенция понимания натуры, когда «человек вообще» конкретизируется в своей единичности, приобретает характер и ярко выраженные (иногда даже преувеличенные) личные качества.

Неповторимость натуры, модели — внутренняя основа любого образа у Никогосяна, сознание неповторимости — его отправная точка и художественный результат, «сознание» и «создание» здесь совпадают. <...>

В начале творческого пути, в первые два десятилетия, он более всего обращает внимание на чувства и эмоции своих моделей — такова выполненная им женская фигура в рост («Ночь», бронза, 1943). Во второй половине 1950-х мастера интересует уже не столько переживаемое, сколько пережитое, не чувственный, но духовный опыт моделей. Они буквально пронизаны духом классики, как, например, портрет Аветика Исаакяна (1955, дерево). <...>

Материал в скульптуре действительно много значит, и Никогосян удивительно чуток к его выбору. Именно дерево, материал органический, живой, с неоднородной структурой, сам по себе неповторим. Конечно, на память тут же приходят знаменитые скульптуры из пней с корнями Сергея Коненкова, но для Никогосяна они, судя по всему, служили подтверждением собственных мыслей: в его композициях не будет ни сказочности, ни органической витальности Коненкова, ни его оживающих, почти шевелящихся корней. <...>

Соглашаясь с авторами статей о Никогосяне, можно назвать эту раннюю манеру его работы импрессионистической. Действительно, помимо Матвеева он выделяет среди скульпторов «импрессиониста» Родена, говорит, что Роден сильно повлиял на него, хотя не объясняет, как именно.

Но какие же уроки извлек из роденовских произведений молодой скульптор? Назову два, на наш взгляд, наиболее важных: работа с фактурой поверхности и с движением. <...>

Скульптурное творчество Никогосяна можно условно разделить на два направления, и оба так или иначе соотносятся с представлением о древности, или вечности, оставляющей следы на поверхности скульптуры.

Первое направление — образы, как будто затронутые действием потока времени. Детали несущественны, «расчислены и отмерены», словно бы течение веков решает, что оставить, что поглотить. Крупная форма, оплывающий книзу общий контур, впечатление подвижной оболочки, стекающей и приводящей в движение инертную массу. Бронза начинает приобретать текучесть, сохраняя как свойства застывшего металла, так и первоначального материала — глины. <...>

Второе направление — не образ разворачивающегося воздействия-размывания, но готовый результат, фрагмент вечности, древности. Насколько в первом случае важна была текучесть, настолько во втором — жесткость, определенность формы. Образ должен и нести в себе фрагментарность, и одновременно выражать целое (еще одно открытие Родена). Здесь нет ни следа пассивной текучести — все туго, неподатливо, как сама материя. Портрет — срез этой материи, *pars prototo*, часть вместо целого, это и есть внутреннее содержание образа. Отсюда такая сдержанность: вечность сохраняет только внеличностные качества, отсекая индивидуальное. <...>

Древность завораживает. Она обнаруживается в самых различных проявлениях, в виде воздействия времени, обломка или архаической формы.

НИКОЛАЙ БАГРАТОВИЧ НИКОГОСЯН
К 100-летию Мастера



НОЧЬ. 1943
Фигура в рост. Бронза, патина. 172 x 34,5 x 42



ДОЯРКА. 1956
Бюст. Дерево. 65 x 95 x 60



ТРУЖЕНИЦА АРАРАТСКОЙ ДОЛИНЫ. 1960-е
Фигура. Дерево. 90,5 x 54 x 62



ПОДРУГИ. 1967
Композиция. Дерево. 54 x 59 x 50



БАГРАТИК. 1967
Фигура сидячая. Мрамор. 66 x 33 x 38



АРМЯНСКАЯ ЗЕМЛЯ. 1975

Фигура сидящая. Гранит 89 x 51 x 71



РУССКАЯ ЗЕМЛЯ. 1979

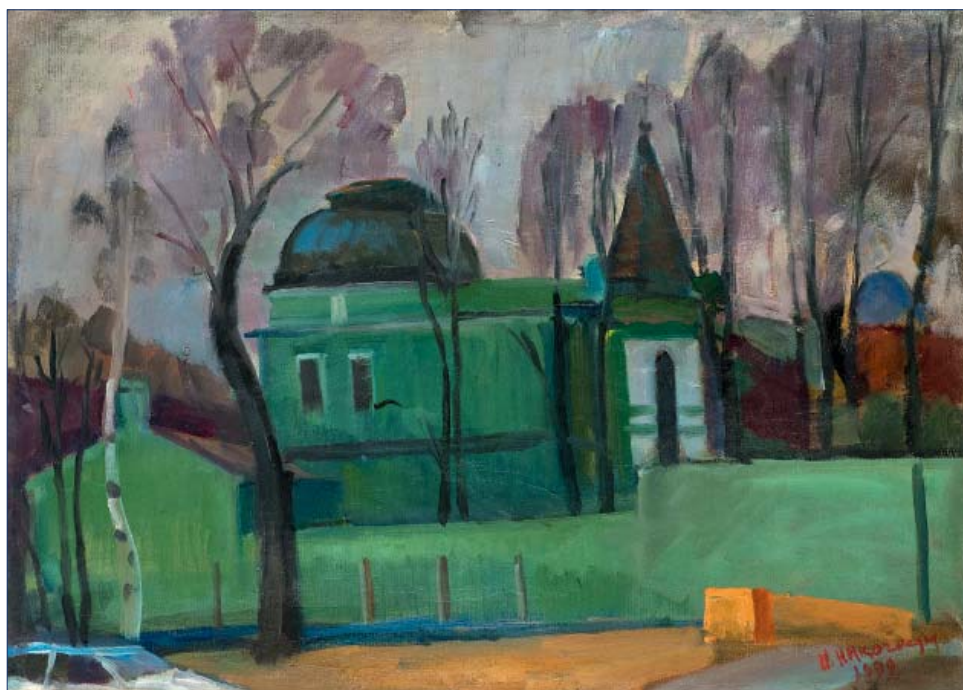
Фигура лежащая. Гранит 52 x 73 x 178



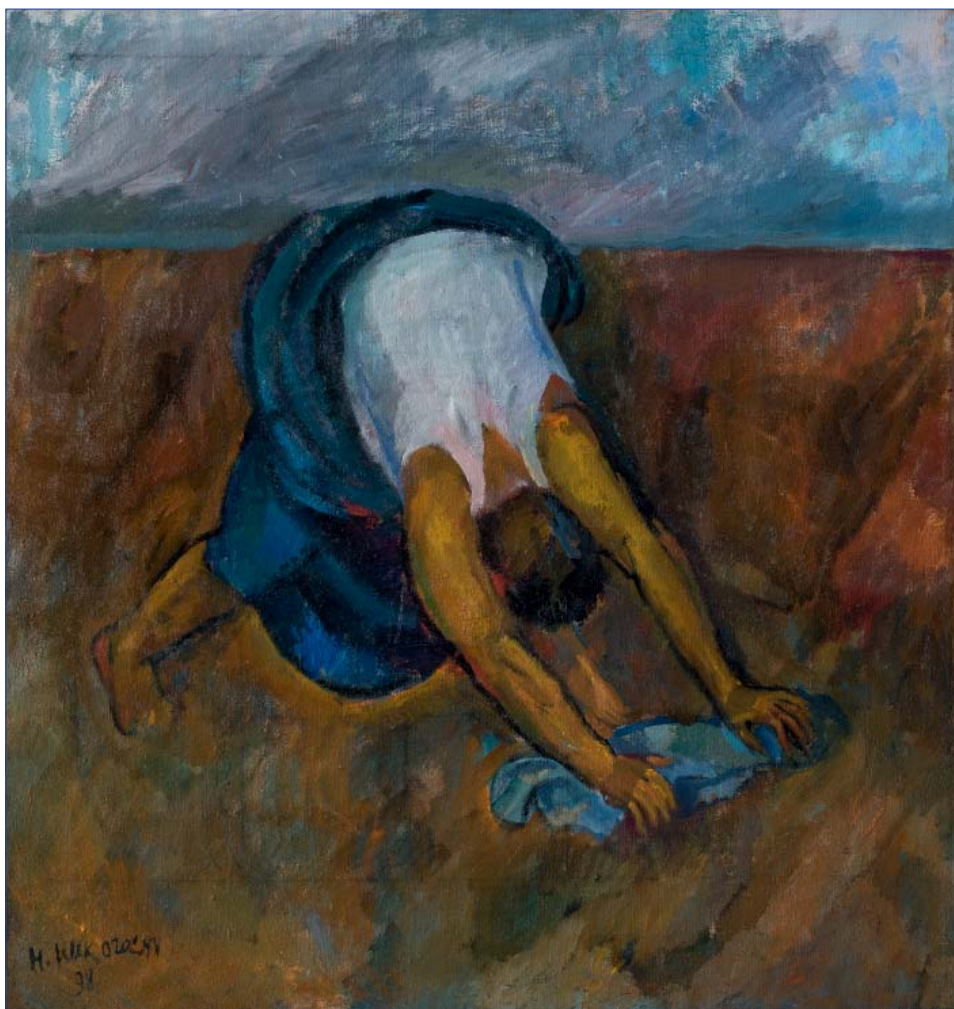
ИТЕРИ. 1985
Мрамор. 37х25х37



МОЁ ДЕТСТВО. 1998
Холст, масло. 67,5 x 101



ОСОБНЯК ГОРБУНОВЫХ НА БОЛЬШОЙ ГРУЗИНСКОЙ. 1999
Холст, масло. 59,7 x 83,9



МОЮЩАЯ ПОЛ. 1998
Холст, масло. 124 x 119



ДВЕ ВОРОНЫ НА СНЕЖНОЙ КРЫШЕ
(Ирландия). 1990-е
Холст, масло. 74,5 x 70,5



АВТОПОРТРЕТ В КРАСНОМ ДЖЕМПЕРЕ И КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ. 2014
Холст, масло. 70 x 57

«Древним» кажется Комитас (1969) — трагическая фигура армянского геноцида XX века. Представить его как композитора (кем он и был в жизни) — одно из возможных решений. Другое — подчеркнуть символическое измерение судьбы музыканта, не перенесшего национальную катастрофу. <...>

Скульптор Никогосян противопоставляет образы портретам: «Это не портрет, а образ», — говорит он.

Так можно сказать, например, о посмертном портрете Дмитрия Шостаковича (1983), который выполнялся отчасти по памяти. И прижизненный портрет композитора-лирика Георгия Свиридова (1986) — тоже «образ» с подчеркнуто властным профилем римского императора. <...>

Как правило, мы безошибочно узнаем, к какой из недавних эпох, к какому из поколений принадлежит портрет того или иного человека. О времени свидетельствует тип и выражение лица, манера держаться, равно как и множество отдельных трудноуловимых признаков. Интерес скульптора к передаче эмоций и состояний также включен в атмосферу времени. <...>

Здесь в силу вступают законы собственного языка скульптуры, когда человек рассматривается как объемное тело в пространстве. Его движения, пластика и положения определяют, как именно человек в этом пространстве держится, как стоит, сидит, лежит, сопротивляется действию пространства и его давлению на себя. Иными словами, не предписанные идеи, а поведение человека является содержанием скульптурной формы. Об этом же говорил ученикам и Александр Матвеев, противопоставляя скульптуру «сделанным памятникам», которые в послевоенные годы становились все выше и все театральнее.

Дипломная работа Никогосяна «Ночь» (1943) представляла именно такую классическую скульптуру, по сути, формулу абсолютной цельности, согласованности всех движений по вертикали и горизонтали в устойчивом равновесии.

Вертикальное положение, умение держаться прямо и с достоинством, оказывается для скульптора более значимым именно в 1960-е годы, когда после «Доярки» появляется фигура сидящей армянской крестьянки («Труженица Араратской долины», 1960-е, дерево). Массивная круглая голова, туго повязанная платком, плотное тело, спокойно сложенные тяжелые руки. Она опирается о землю весом широких бедер — полененный срез дерева решительно ограничивает композицию, подчеркивая тяжесть. В отличие от «Доярки» выпрямление дается ей с усилием, в этом движении и состоит ее не повседневный, скорее, *внутренний* труд. К этому образу скульптор возвращается, выполняя его в 1975-м в камне (1975, гранит). Голова сидящей пожилой женщины уходит в плечи, корпус отклоняется, сопротивляясь неумолимому земному притяжению, живое тело становится камнем, камень — телом. Камень как субстанция и сущность делает ее сродни «Хоренаци» и «Комитасу». Не случайно скульптор называет ее «Армянская земля», и в граните же выполняет композицию «Русская земля» (1979). В лежащей фигуре жизнь развивается по горизонтали, как пейзаж. Не смерть, не сон — скорее, ленивая нега и грезы молодого обнаженного тела, щедрого и пребывающего в полном согласии с миром внешних физических сил.

* * *

С 1940-х годов, когда работы Никогосяна экспонируются на выставках сначала в Ереване, затем в Москве и в союзных республиках, о нем написано немало, увидели свет несколько альбомов с репродукциями его произведений,

опубликованы многочисленные интервью. И тексты только подтверждают, что таких определений, как советский (или российский, или армянский) скульптор, художник школы Матвеева, мастер портрета или монументальной пластики, недостаточно, даже если перечислять их списком. Можно возразить, что с помощью определений мы всегда можем объяснить место художника в искусстве, но в том-то и проблема, что творческому процессу противопоказаны определения. В отношении искусства Никогосяна — в особенности, потому что он и сам не признает готовых решений, раз и навсегда сложившихся формул. Каждая его работа — ответ на какой-то внутренний вопрос, художественное высказывание о неповторимости человека.

И все творчество скульптора — о том, что каждый имеет право быть самим собой, а значит, быть свободным. Таким, как он сам.

На рубеже эпох, народов и вер

Рубрику ведет Лев Аннинский

Не рискну угадывать, сколько экземпляров из трех сотен тиража ляжет в фундаментальные книгохранилища, а сколько будет удержано и усыновлено в домашних собраниях, но мимо этой книги не пройдет никто. Потому что книга уникальна.

Жанр — семейная хроника. Тысяча страниц текста.

Автор — Леонора Москаленко. С уточнением: Хаджи Мурат.

Тут впору ахнуть: это какой Хаджи Мурат? Тот, которого увековечил для нас Лев Толстой?

Он самый. Леоноре — прямой прадед. Достаточно?

Еще один ее родственник — маршал Великой Отечественной войны Кирилл Мерецков.

Более чем достаточно, чтобы приняться за родословную. Сотни свидетелей. Тысячи документов. Обильнейший фотоальбом.

Бесконечное уточнение концепций, спорящих друг с другом. Все встык: эпохи, народы, веры... Такое не придумаешь. Сага!

Двум вышеназванным легендарным деятелям Хаджи-Мурату и Кириллу Мерецкову — посвящены в книге специальные очерки, воспринимаемые вполне независимо. Общая же зависимость частей Саги связана, я думаю, с образом героини-повествовательницы. Ее биография вызывает у меня особый интерес, потому что мы одного поколения: дети военного времени, не поспевшие со старшими братьями в окопы. Я наше поколение называю: спасеныши. Вот из этих спасенных — и Леонора.

Родители ее встретились в Москве в конце 1920-годов: отец прибыл в столицу с Владимирщины, мама — из Дагестана. Стали студентами. Мама (потомок Хаджи-Мурата) окончила медфак университета, там какое-то время работала, потом защитила диссертацию, стала научным сотрудником биолого-почвенного факультета, трудилась всю жизнь, изучая под микроскопом вирусы... (пока не занялась родословной Сагой). Она созидала советскую и постсоветскую реальность, уже совсем не похожую на чреполюсье гражданских и прочих войн с их засадами и атаками, сцепками и предательствами, милостями и казнями.

Я должен сказать, что финальная, третья часть Саги («Фрагменты из автобиографии») достойно увенчивает логику первых двух частей («Мои родители и мое детство», потом — «Корни и ветви — наша родословная») и по силе изложения, и, что не менее важно, — потому что в этой финальной части развязываются некоторые нравственные узелки, завязанные выше.

Например: с какими чувствами покидают горцы родные места, отъезжая в столицу?

Лоонора Москаленко вникает в эту ситуацию, рассказывая о своей маме, Умочке (внучке Хаджи-Мурата). Дело происходит в 1914 году. Нашелся инженер, который предложил родителям Умочки отправить их дочь из Дагестана в Россию, Она поехала. Там, в Саратове, она «сформировалась как личность, приобщилась к русской культуре и из маленькой диковатой горянки превратилась в интеллигентную образованную девушку».

И ни грустинки, что родная земля оставлена?

Подождите. Вот через несколько лет 15-летняя обрусевшая девушка, овладевшая русским языком и грамматикой (только легкий акцент остался), по воле родственников возвращается жить в родные места.

Я процитирую, потому что грустинка в ее душе вдруг обнаруживается:

«Умочка мучительно привыкала к новому образу жизни. Законы адата (обычаев) были очень сильны в аулах Дагестана, новая жизнь на бытовом уровне весьма робко заявляла о себе. Моей маме пришлось снова надеть платок, опустить глаза, помалкивать при разговоре со старшими, с гостями за стол не садиться и много чего еще, с чем уже трудно было смириться. Она тосковала без книг, без общения на соответствующем ей уровне...»

И это — неизбежно? Готовность их родного уголка отбыть в Россию и тоска при возвращении в родные места?

Да нет же! Грустинка чувствуется и в том, и в этом случае. И при отъезде, и при возврате. Я это чувствую при чтении всех частей Саги. Но только истоки грусти разные. Если ты покидаешь родной аул в надежде скомпенсировать себя в России, как было прежде, то о чем жалеть? Но это прежде. А в новое время, учась в Москве, Леонора Москаленко вовсе не чувствует необходимости что-то компенсировать в душе сравнительно с утратой горской первородности. Напротив, она эту приверженность хранит! Никакой потери! Горянка в столице вовсе не теряет связей со своей малой родиной. Наоборот, в русской культурной среде она чувствует непреходящий интерес к своему Дагестану. И у подруг, у друзей-студентов — к другим неповторимым местам их детства.

А это уже особенность России.

Южная Сибирь, огромное евразийское пространство, где веками кочевали по меняющимся дорогам (или по бездорожью) колобродящие племена, — собирается в единую Державу. История подталкивает (а иногда толкает) эти племена двигаться все дальше... От днепровских порогов до сахалинских ворот — к Океану. И утверждается в этой Державе уникальная традиция уважения к тому, что в памяти своей хотят сберечь эти собравшиеся отовсюду люди. К неповторимости малой родины. К этническим обычаям, выношенным предками. К вековой вере, ими же выношенной.

Это не потеря родного ради всеобщего, не взбирание по ступенькам, не обмен сегодняшнего на всеобщее.

Это — всеобщее, которое дает тебе возможность остаться собой. Непременно! Обязательно! Естественно!

Русская культура собралась воедино не только в резонанс мировому человечеству. Не менее важна интернациональная чуткость, которая делает русскую культуру великой.

Это уникально! Чувствуя такую общность и сохранность, можно создавать *Непридуманную Сагу*, в которой Дагестан дышит в унисон контексту всероссийской, а значит, и всемирной культуры.

Книга, которую я держу в руках, — доказательство тому.

Summary

Anatolij KIM. House with Protuberances. Long short story

About life and death, tangible and intangible in the human life, about philosophic problems of human beings Anatolij Kim is meditating in his new long short story on behalf of... a house which has been standing over two hundred years in the small town of Tuma and witnessed the lives of many its inhabitants.

Poetry

Under the heading «Double Portrait» Natalia BELCHENKO from Kiev presents her own poems and translations from today's Ukrainian poets Vassil GERASIMJUK and Marianna KIYANOVSKA.

Civic poetry of Alexej IVANTER, philosophic lyrics of Oleg KHLEBNIKOV and Andrej KOROVIN are neighbouring with the verses of a young art-group #belkavkedah (squirrel in the sneakers), which is presented in «DN» for the first time.

Alexander GRIGORENKO. Orienting reference

«To run doesn't mean to get far away. Sometimes everything nearby may become quite different. To run means not to return. To obtain one's small motherland as a counter to the big motherland one sometimes has to leave it», — claims prosaist from Krasnoyarsk in his essay.

Ilya KOCHERGIN. Susceptibility to Geography

«Yazula is wonderful, lively and beautiful». This essay by prosaist I.Kochergin is an exalted ode to Gorny Altai, its nature, people and the settlement of Yazula where the author used to live in the old days and where he is returning twenty five years later.

Valerij SUNDLER. Under the Sun is My Georgia

Touching, amusing, often humorous memoirs of a former dweller of Kirghizia about the history of his relationships with Georgia — about his friends, peculiarities of their national character and impressions of his many trips to the country.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на <https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**7/2018**

Читайте:

Повесть Игоря Булкаты «Цорион»:

“Парение над городом детства — это контракт со смертью. Оно вовсе не облегчает страданий, просто дает возможность видеть все с высоты птичьего полета. Такой взгляд укорачивает жизнь, наделяя, впрочем, парящего ощущением вседозволенности, причастности к вечному. Но это заблуждение. Просто на короткое время разгружается совесть, как от действия наркотика, успокаиваются крылья ноздрей, и Досыр, отвыкшая улыбаться, убаюкивает на груди Смерть. Ей стало холодно, и у нее мелькнула мысль прижаться к детям и согреться, но она не позволила себе этого и осталась возле отца. — Холодно? — Она покачала головой. — Отец тоже мерзнет? — снова был вопрос. И Досыр ответила, чтобы не переживал за отца, с ним все хорошо, и тогда ты понял, что он умер. Соберись, сынок! — сказала Досыр. — Теперь вам с Бего и Александром нужно быть мужчинами. Александру было семь лет, Бего шесть, а Цориону пять.”

Рассказ Сергея Муратова «Красная площадь»:

“Он подошел к самым зубцам стены и взглянул на город. Перед ним лежало Замоскворечье. Нагромождение домов сливалось в сплошной темный холм. И словно догорающие костры, тлели редкие точки окон. «А вот почему они не спят? Ведь почти два... Завтра на работу, а они не спят... впрочем, догадаться не трудно, — Юрий Владимирович усмехнулся, — спорят, гадают, кто будет генсеком... мыслители. Глядят из окошек, а ни черта не видят. Одни ждут перемен... другие боятся, как бы пайку не потерять... Сограждане... Хотят порядка, достатка, но почему никто не хочет подчиняться? И наивны, как дети... Взять хотя бы Афганистан... разве объяснишь, что кровь бывает малая и бывает большая...”

И многое другое...